

Жорж Санд Лелия

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Когда, поддавшись легковерной надежде, кто-то решается окинуть участливым взглядом сомнения истерзанной, опустошенной души, стремясь проникнуть вглубь, чтобы ее исцелить, он повисает над бездной, в глазах у него темнеет, голова кружится – это холод смерти.

Неизданные мысли отшельника

1

«Кто ты? И почему любовь твоя приносит столько зла? В тебе, должно быть, скрыта некая тайна, неведомая людям и страшная. Можно с уверенностью сказать, что ты вылеплена не из той глины, что все мы, – в тебя вдохнули другую жизнь! Верно ты или ангел, или демон, но уж никак не человеческое существо. Почему ты скрываешь от всех нас свое происхождение, свою природу? Почему ты продолжаешь жить среди нас, если мы не можем тебя понять? Если ты послана богом, говори, и мы будем тебя чтить. Если же ты явилась из ада... Ты – из ада? Ты, такая прекрасная, такая чистая! Может ли быть у духа зла такой божественный взгляд, такой гармоничский голос? Может ли злой гений изрекать слова, которые возвышают душу и возносят ее к престолу господню?

А меж тем, Лелия, в тебе есть что-то от дьявола. Горькая улыбка омрачает твой обещающий счастье взгляд. Иные слова твои повергают в отчаяние, как все безбожное: временами ты как будто заставляешь усомниться – и в боге и в тебе самой. Почему, почему вы такая, Лелия? Где ваша душа, ваша вера, когда вы решаетесь отрицать любовь? О, небо! Вы в силах произносить кощунственные слова! Но кто же вы, если вы действительно думаете так, как порой говорите?»

2

«Лелия, я боюсь вас. Чем больше я вижу вас, тем меньше я вас понимаю. Вы кидаете меня в море тревог и сомнений. Вы как будто забавляетесь моей мукой. То вы подымаете меня к небу, то втаптываете в землю. То увлекаете меня за собою к сияющим облакам, то низвергаете в темный хаос! Моему слабому разуму не выдержать таких испытаний. Лелия, пощадите меня!

Вчера, когда мы блуждали по горам, вы были такой величественной, такой возвышенной, что мне хотелось стать перед вами на колени и целовать благоуханные следы ваших ног. Когда Христос преобразился в золотистое облако и, на глазах у своих учеников, воспарил среди пламени, они простерлись перед ним ниц и сказали:

– Господи, воистину ты сын божий!

И потом, когда облако растаяло и пророк спустился со своими учениками с горы, те в тревоге стали вопрошать друг друга:

– Неужели этот человек, что идет вместе с нами, говорит на нашем языке и собирается разделить нашу трапезу, это тот самый, которого мы только что видели окутанного пламенем и сияющего духом господним?

Так вот и вы, Лелия! Каждое мгновение вы преображаетесь на моих глазах, а потом сбрасываете свою божественность, чтобы сделаться равной мне, и тогда я в ужасе спрашиваю себя, не есть ли вы небесная сила, некий новый пророк, еще раз воплотившееся в образе человека слово, и не хотите ли вы поступками своими испытать нашу веру и распознать среди нас истинных христиан.

Но Христос, эта великая мысль в образе человека, это высшее олицетворение бессмертной души, всегда раздвигал пределы, которые ему ставили его плоть и кровь. Напрасно он снова принимал человеческий образ, ему не удавалось затеряться среди людей – он неизменно становился среди них первым.

Вот что меня больше всего пугает в вас, Лелия: когда вы спускаетесь со своих высот, вам

не удастся удержаться даже на том уровне, на котором находимся все мы, вы падаете еще ниже и развращенным сердцем своим как будто хотите властвовать над нами. Иначе – что означает эта глубокая, жгучая, незатухающая ненависть к нам, людям? Можно ли любить бога так, как любите вы, и так жестоко ненавидеть его творения? Допустимо ли, чтобы высокая вера, уживалась с закоренелым безбожием, порывы, устремленные к небу, – с наущением дьявола? Еще раз, скажите, откуда вы, Лелия? В чем ваше назначение на земле – спасти или мстить?

Вчера, когда солнце садилось за ледником, окутанное голубовато-розовой дымкой, когда нежный воздух чудесного зимнего вечера овеивал ваши волосы и заунывные звуки колокола эхом отдавались в долине, знайте, Лелия, тогда вы были настоящей дочерью неба. Ласковые лучи заката отблеском своим озаряли ваше лицо, окружая вас каким-то волшебным ореолом. Глаза ваши, воздетые к лазурному своду, где еще только начинали загораться одинокие звезды, пламенили священным огнем. Поэт лесов и долин, я слушал таинственные шепоты вод, я глядел на едва заметное колыхание сосен и вдыхал нежный запах фиалок, которые в первый же теплый день, с первым же лучом согревшего их солнца раскрывают под высохшим мхом свои голубые цветы. Но вас это нисколько не занимало; ни цветы, ни лес, ни водный поток не привлекали к себе вашего взгляда. Ничто земное не пробуждало в вас никаких чувств, вы вся были на небесах. И когда я хотел обратить ваше внимание на изумительную картину, расстилавшуюся у ваших ног, вы сказали мне воздев руку к воздушному своду: «Взгляните ввысь!». О Лелия, вы воздыхали по вашей отчизне, не правда ли? Вы спрашивали бога, почему он так надолго оставил вас среди смертных; почему он не возвращает вам ваших белых крыльев, чтобы вы могли улететь к нему.

Но когда в зарослях вереска поднялся холодный ветер и нам пришлось искать убежища в городе, когда, привлеченный звуками колокола, я просил вас войти со мной в церковь и прослушать вечернюю мессу, увы, Лелия, почему вы тогда не покинули меня? Почему вы, владеющая силой совершать и более трудные деяния, не приказали облаку сойти на землю и окутать ваше лицо? Увы! Зачем я увидел вас, когда вы стояли, нахмурив брови, надменная и жестокая? Зачем вы не опустились на каменные плиты, не столь холодные, как ваше сердце? Зачем вы не скрестили рук на своей груди, которую присутствие бога должно было бы наполнить умилением или ужасом? Откуда это гордое спокойствие и это открытое презрение к нашим обрядам? Неужели же вы не чтите истинного бога, Лелия? Или вы явились сюда из знойных краев, где поклоняются Бrame, или с берегов больших безымянных рек, где люди молятся злему духу, отвергая доброго? Мы ведь не знаем ни вашей семьи, ни страны, где вы родились. Никто этого не знает, окружающая вас тайна помимо нашей воли заставляет пускаться в догадки, вселяя в нас суеверный страх.

Вы бесчувственная! Вы нечестивая! Нет, не может быть! Но скажите мне, бога ради, что же творится в эти ужасные часы с душою, проникнутой поэзией, с великой душою, объятый восторгом и трепетом, исторгающей пламя, которое перекидывается и на нас, увлекая за собою в область неизведанных ощущений? О чем вы думали вчера, что сделали вы с собой, когда, немая и холодная, вы стояли в храме, как фарисей, взирая на бога без трепета, не внемля песнопениям, не чувствуя запахов ладана и облетающих цветов, не слыша звуков органа, не ощущая всей поэзии, заполнившей благословенные стены? А сколько красоты было в этой церкви, напоенной влажными ароматами, где все трепетало от торжественных песнопений. Как пламя серебряных светильников, бледное и тусклое, вливалось в опаловые клубы раскаленных смол, в то время как из золоченых кадилниц вились, поднимаясь к самому своду, кольца благоуханного дыма! Сколько изящества было в золоченых гранях дарохранительницы, как они сверкали, отражая сияние свеч! А когда священник, этот высокий, красивый ирландский священник, черноволосый, с величественной осанкой, суровым взглядом и звучной речью, медленно спустился со ступенек амвона, влача по ковру свою длинную бархатную мантию; когда он заговорил своим громким голосом, грустным и пронизывающим насквозь, как ветры его страны, когда, вынося блистающую дароносицу, он произнес это слово, с такой силой прозвучавшее в его устах: «Adoremus!»¹, тогда, Лелия, я почувствовал, что меня охватывает священный трепет, я упал на колени прямо на мраморные плиты, я ударил себя в грудь, я опустил глаза.

¹ Помолимся! (лат.)

Но ваши мысли так тесно связаны в моей душе со всеми великими мыслями, что я почти тотчас же повернулся к вам, чтобы разделить с вами это сладостное волнение или, может быть, да простит меня господь, чтобы обратиться к вам половиною моих смиренных молитв.

Но вы, вы продолжали стоять! Вы не преклонили колен, не опустили глаз! Ваш гордый взгляд холодно и испытующе обвел священника, гостию, простертую толпу; вам ни до чего не было дела. Одна-единственная среди нас всех, вы не стали молиться богу. Неужели же вы – существо более могущественное, чем он?

Так вот, Лелия (да простит меня еще раз господь!), на какую-то минуту я этому поверил и едва не отпрянул от бога, чтобы все молитвы свои вознести к вам. Я дал себя ослепить и поработить таившейся в вас силе. Увы! Надо признаться, никогда еще я не видел вас такою красивой. Вы были бледны, как одна из тех статуй белого мрамора, что стоят у надгробий, в вас не осталось уже ничего земного. Глаза ваши горели темным огнем, и ваш высокий лоб, с которого вы смахнули черные пряди волос, величественно и гордо высился над толпой, над священником, над самым господом богом. Глубина вашего нечестия вселяла страх, и при виде того, как вы окидываете взглядом пространство между нами и небом, все окружающие ощущали свое ничтожество. Не вас ли видел Милтон, изобразивший таким благородным и таким прекрасным чело своего падшего ангела?

Говорить ли вам об ужасе, который меня тогда охватил? Мне казалось, что в ту минуту, когда священник, возносивший символ веры над нашими склоненными головами, увидел вас – а вы возвышались, как и он, над толпой, вы стояли так, будто вас было в мире только двое, – да, мне показалось, что тогда взгляд его, глубокий и строгий, встретив ваш бесстрастный взгляд, невольно потупился. Мне показалось, что священник побледнел, что чаша едва не выпала из его задрожавших рук и что голос замер в его могучей груди. Что это, бред моего расстроенного воображения или действительно, когда слугитель всевышнего увидел, что вы противитесь изреченному им слову божью, негодование сдавило вдруг ему горло? Или в эту минуту у него, как и у меня была необыкновенная галлюцинация: ему почудилось в вас что-то сверхъестественное, сила, исторгнутая из бездны или откровение, ниспосланное небом».

3

«Какое тебе до этого дело, юный поэт? Зачем тебе хочется знать, кто я и откуда явилась?.. Я родилась, как и ты, в долине слез, и все несчастные, что ползают по земле, – мои братья. А так ли уж велика эта земля – ее ведь можно обнять мыслью, а ласточка облетает ее вокруг за несколько дней? Что может быть необычайного и таинственного в человеческом существе? Можно ли приписывать столь большое влияние солнечному лучу, который всюду почти под прямым углом падает нам на головы? Полно! Мир этот очень далек от солнца; он очень бледен, очень тесен. Спроси лучше у ветра, сколько часов ему нужно, чтобы растряссти его весь от полюса и до полюса.

Родись я на противоположном конце земли, мы и то очень мало бы рознились друг от друга. Мы оба осуждены страдать, оба слабы, несовершенны, надорваны всеми нашими радостями, вечно в смятении, жадные до неведомого счастья, вечно не в себе, – вот наша общая участь, вот что сближает нас как товарищей, как братьев на этой земле, где все изгнание и рабство.

Вы спрашиваете, не есть ли я существо иной природы, чем вы? Неужели вы думаете, что я не страдаю? Я встречала людей более несчастных, чем я, по положению, но куда более счастливых по характеру. Не все люди способны в одинаковой степени страдать. В глазах великого мастера, ниспосылающего нам страдания, эти различия наших натур, разумеется, значат не так уж много. Что же касается нас, существ с ограниченным кругозором, то мы целых полжизни разглядываем друг друга и примечаем различие оттенков, которые принимает явившееся к нам в жизнь горе. Какое это имеет значение для бога? Не больше, чем для нас различие травинки где-нибудь на лугу.

Вот почему я не молюсь богу. О чем мне просить его? Изменить мою участь? Он посмеялся бы надо мной. Дать мне силу справиться с посланным мне страданием? Но ведь он уже дал ее,

и мне надо только воспользоваться ею.

Вы спрашиваете, не поклоняюсь ли я злему духу. Злой дух и добрый дух едины, это и есть бог: это неведомая и таинственная воля, которая превыше воли каждого из нас. Добро и зло – понятия, созданные нами самими. Бог не знает их, как не знает он счастья и несчастья. Поэтому не спрашивайте тайны моего предназначения ни у неба, ни у ада. Это я могу упрекнуть вас в том, что вы заставляете меня непрерывно то кидаться куда-то выше себя самой, то опускаться ниже. Поэт, не ищите во мне этих глубоких тайн: душа моя – родная сестра вашей, вы огорчаете, ее, и вы отпугиваете ее тем, что хотите измерить ее глубину. Берите ее такой, какая она есть, как душу, которая страдает и ждет. Если вы будете так жестоко все у нее выпытывать, она затворится в себе и больше не дерзнет вам открыться».

4

«Я слишком откровенно высказал свое назойливое беспокойство о вас, Лелия; я оскорбил этим вашу целомудренную душу. Я ведь тоже несчастен, Лелия! Вы думаете, я разглядываю вас с любопытством, достойным философа. Вы ошибаетесь. Если бы я не чувствовал, что принадлежу вам, что с этой поры мое существование неразрывно слито с вашим, словом, если бы я страстно вас не любил, у меня не хватило бы смелости расспрашивать вас, будь вы даже *объектом*, на редкость интересным для физиолога.

Все, кто видел вас, разделяют то недоумение, которое я осмелился высказать. Люди в удивлении спрашивают, кто вы – проклятое или избранное существо, любить вас или бояться, принять или оттолкнуть, грубая чернь оставляет присущую ей беспечность, чтобы устремить все свое внимание на вас. Ни выражение ваших губ, ни звук вашего голоса ничего для нее не значат, и стоит только послушать нелепые их разговоры, как убеждаешься, что все эти люди в равной степени готовы и бросаться перед вами на колени и проклинать вас как наваждение. Люди более образованные внимательно наблюдают за вами, одни из любопытства, другие из симпатии; но ни для кого из них это не вопрос жизни и смерти, как для меня. У меня одного есть право быть смелым и спрашивать вас, кто вы, ибо (я это ощущаю всеми фибрами души и чувство это слито для меня со всею жизнью) отныне я сделался частью вашего существа, вы завладели мною, может быть сами того не замечая; но так или иначе, я уже поработен, я больше себе не принадлежу, душа моя не может больше жить сама по себе. Ей уже недостаточно бога и поэзии: бог и поэзия – для нее теперь вы, а без вас нет ни поэзии, ни бога, нет вообще ничего.

Так скажи мне, Лелия, раз ты хочешь, чтобы я считал тебя женщиной и говорил с тобою как с равной, скажи, есть ли у тебя сила любить, из огня или из льда твоя душа и, отдавшись тебе – а я ведь действительно тебе отдался, – обрекаю я себя на гибель или готовлю себе спасение. Я ведь ничего не знаю и в ужасе взираю на неведомый путь, которым мне предстоит идти за тобой. Грядущее затянуто тучами, порою розовыми и светящимися, вроде тех, что виднеются на горизонте, когда восходит солнце, порою же багровыми и темными, как те, что предвещают грозу и таят в себе молнии.

Начал ли я вместе с тобою жизнь или, напротив, окончил, чтобы последовать за тобою в смерть? Во что обратишь ты все, чем я жил доселе, мои спокойные неискушенные годы? Увянут они от твоего дыхания или вновь расцветут? Изведал ли я уже счастье и теперь его потеряю или только еще вкушу его, сам, не зная, какое оно? Годы эти были так хороши; в них была и свежесть и сладость! Но вместе с тем они были спокойны, темны, бесплодны! Всю мою жизнь, с тех пор как я появился на свет, я только мечтал, ждал, надеялся... Создал ли я наконец что-нибудь свое? Сделаешь ты меня великим или достойным презрения? Преодолею ли я свое ничтожество, выйду ли из этого отупения, которое начинает меня тяготить? Сумею ли я подняться или опущусь еще ниже?

Вот о чем я спрашиваю себя каждый день с тревогой. А ты ничего мне не отвечаешь, Лелия, ты будто и не подозреваешь, что речь идет о человеческой жизни, о чьей-то участи, слитой с твоей, за которую ты теперь должна отвечать перед богом!

Рассеянная и беспечная, ты взяла в свои руки один конец моей цепи и каждую минуту за-

бываешь о ней, роняя ее на землю!

Теперь я боюсь своего одиночества, боюсь того, что ты можешь покинуть меня. И вот я призываю тебя и заставляю спускаться вниз из неведомых пределов, куда ты устремляешься без меня.

Жестокая Лелия! Как вы счастливы тем, что душа ваша свободна и что вы можете мечтать одна, любить одна, жить одна. А я больше не могу, я люблю вас. Я люблю только вас. Все эти пленительные образы красоты, все эти переодетые женщинами ангелы, которые являлись в моих мечтах, одаривая меня поцелуями и цветами, все они ушли. Они больше не приходят ко мне ни во сне, ни наяву. Теперь я вижу вас, только вас, бледную, спокойную и молчаливую, то рядом со мной, то на небе.

До чего же я жалок! Положение мое не из обычных; речь ведь идет не только о том, чтобы я решил, достоин ли я вашей любви, я ведь не знаю, способны ли вы вообще любить мужчину, и – мне стоит большого труда начертать это страшное слово – скорей всего нет!

О Лелия! Ответите ли вы мне на этот раз? Сегодня я дрожу, оттого что задал вам этот вопрос. Завтра я, может быть, снова уже смогу жить сомнениями и иллюзиями. Завтра, может быть, мне будет нечего бояться и не на что надеяться».

5

«Какое же вы дитя! Давно ли вы появились на свет и уже торопитесь жить. Ибо надо вам сказать: вы еще не жили, Стенио. Куда вы так спешите? Неужели вы боитесь, что не успеете добраться до этой проклятой скалы, у которой все мы терпим крушение? Вы разобьетесь, как и другие, Стенио. Так пользуйтесь временем, не торопитесь, резвитесь вволю, чтобы как можно позже переступить порог школы, в которой учатся жизни.

Счастлив ребенок, спрашивающий, где счастье, какое оно, вкусил ли он его уже или только еще вкусит! О, глубокое и драгоценное неведение! Я не отвечу тебе, Стенио.

Не бойся ничего, я не приведу тебя в уныние, открыв хоть что-нибудь из того, что ты тщишься узнать. Люблю ли я, могу ли вообще любить, одарю ли я тебя счастьем, буду ли добродетельной или развратной, будешь ли ты возвеличен моей любовью или уничтожен моим равнодушием: все это, видишь ли, не так просто узнать; господа не угодно открывать эту тайну такому неискушенному юноше, и он запрещает мне говорить с тобою об этом. Подожди!

Благословляю тебя, юный поэт, спи спокойно. Завтрашний день настанет, как и другие дни твоей юности, украшенный самым великим благодеянием провидения, завесой, скрывающей от людей грядущее».

6

«Вот как вы всегда отвечаете! Ну что же! Ваше молчание наводит меня на мысль о предстоящих мне муках, и я вынужден только благодарить вас за то, что вы мне ничего не сказали. Вместе с тем это состояние неведения, которое вы считаете столь сладостным, на самом деле ужасно, Лелия; вы говорите о нем с высокомерной легкостью потому лишь, что вы его не испытывали. Ваше детство, может быть, и было похоже на мое, но, думается, вспыхнувшей в вас первой страсти не приходилось столько бороться с тоской и страхами, как моей. Разумеется, вас уже любили, прежде чем вы полюбили сами.

Ваше сердце, это сокровище, о котором я бы все так же молил на коленях, будь я даже царем всей земли, ваше сердце должно было лишь ответить на пламенный призыв другого сердца; вы не знали томлений ревности и тревоги; любовь вас ждала, счастье ринулось вам навстречу, и вам достаточно было согласиться, быть счастливой, быть любимой. Нет, вы не знаете, как я страдаю; иначе бы вы пожалели меня, ибо в душе-то вы ведь добры и поступки ваши доказывают это наперекор всем вашим словам. Я видел, как вы смягчили чужие страдания, видел, как вы творили евангельское милосердие с вашей злобной усмешкою на губах, видел, как вы кормили и одевали голодных и голых, продолжая изрекать ужасающие своим скептицизмом суждения. Вы

добры прирожденной, не зависящей от вас добротою, которую ваше холодное раздумье не в силах отнять.

Если бы вы знали, каким вы меня делаете несчастным, вы бы пожалели меня; вы сказали бы, что мне делать: жить или умереть, ведь вы тотчас же даровали бы мне счастье, которое пьянит, или разум, который несет утешение».

7

«Кто этот бледный мужчина, который появляется сейчас, будто сумрачное видение, всюду, где появляетесь вы? Чего он хочет от вас? Откуда он вас знает? Где он вас видел? Почему в первый же день он пробрался сквозь толпу, чтобы взглянуть на вас, и вы тут же обменялись с ним печальной улыбкой?

Человек этот тревожит меня и пугает. Когда он приближается, я весь холодею; когда одежда его касается меня, по телу моему словно проходит ток. Вы говорите, что это великий поэт, который не показывается на людях. Его высокое чело обличает в нем гения, но я не нахожу в нем той небесной чистоты, той лучистой восторженности, которая присуща поэту. Человек этот мрачен и скорбен, как Гамлет, как Лара, как вы, Лелия, когда вы страдаете. Мне неприятно видеть, что он ни на шаг не отходит от вас, приковывает к себе ваше внимание, поглощает ваше расположение к людям и ваш интерес ко всему земному.

Я знаю, что у меня нет права на ревность. Поэтому я и не буду говорить вам о том, как я иногда страдаю, но меня огорчает (огорчаться-то мне полезно), когда я вижу вас подпавшей под влияние этого зловещего человека. Ведь вы и без того такая грустная, такая разочарованная, вас надо бы поддерживать надеждой и нежностью. А вместо этого около вас находится существо отчаявшееся, опустошенное. Ибо человек этот иссушен дыханием страстей. В его окаменевших чертах нет и следа юношеской свежести, губы его разучились улыбаться, щеки не знают румянца, он ходит, говорит, совершает какие-то поступки, движимый привычкой, воспоминанием. Но искра жизни давно уже погасла в его груди. Я в этом убежден, я давно уже наблюдаю этого человека, я проник сквозь завесу окутывающей его тайны. Если он говорит вам, что любит вас, это ложь! Он уже не способен любить.

Но, может быть, тот, кто ничего не чувствует сам, способен возбудить чувство в других? Вот страшный вопрос, разрешить который я стараюсь уже давно, с тех пор как живу, с тех пор как я вас люблю. Я никак не решаюсь поверить, что столько любви и поэзии может исходить из вас, а в душе не таится очага той и другой. От человека этого веет таким холодом. Все, к чему он прикасается, становится таким отвратительным, что пример его утешает меня и воодушевляет. Если бы сердце ваше так же омертвело, я бы не любил вас, я питал бы к вам такой же ужас, как и к нему.

И вместе с тем в каком безысходном лабиринте сомнений терзается мой разум! Вы ведь не разделяете того ужаса, который человек этот мне внушает. Напротив, вас как будто притягивает к нему какая-то неодолимая сила. Бывают минуты, когда, видя вас вдвоем с ним на наших празднествах, обоих таких бледных, таких рассеянных среди кружащихся в танцах пар, среди смеющихся женщин и мелькающих в воздухе цветов, мне кажется, что из всех присутствующих только вы двое способны понять друг друга. Мне кажется, что в чувствах ваших и даже в чертах утверждается некое скорбное сходство. Что это, перенесенное горе роднит ваши чувства и даже черты? Или чужестранец этот, Лелия, в самом деле ваш брат? В жизни вашей все так таинственно, что готов пускаться на всякие домыслы.

Да, бывают дни, когда я убеждаю себя, что вы его сестра. Так знайте же, ревность моя не опрометчива и не слепа — от предположения этого мне не становится легче. Мне все равно бывает больно видеть, как вы доверяете ему, как близки с ним, вы, такая холодная, такая недоверчивая, такая сдержанная, — с ним вы другая. Если он ваш брат, Лелия, то отчего же у него больше прав на вас, чем у меня? Неужели вы думаете, что я люблю вас не такой чистой любовью, как он? Неужели вы думаете, что если бы вы были моей сестрой, я любил бы вас нежнее, заботливее? Ах, если бы вы были моей сестрой. Я бы ничем не запятнал наших кровных уз. Вам не при-

ходило бы на каждом шагу сомневаться в чистоте глубокого чувства, которое вы возбуждаете во мне. Нельзя разве страстно любить сестру, если душа у вас страстная, а сестра такая, как вы, Лелия! Как бы много ни значили узы крови для натур заурядных, что значат они в сравнении с тем таинственным сродством душ, которым наделили нас небеса?

Нет, если он даже ваш брат, он не может любить вас больше, чем я, и вы не должны быть с ним откровеннее, чем со мной. Как же он счастлив, проклятый, если вы веряете ему все ваши страдания и если у него есть сила их облегчить! Горе мне, вы не оставляете за мной даже права их разделить! Значит, я совершеннейшее ничтожество! Значит, любовь моя совсем ничего не стоит! Значит, я дитя, слабый еще и ни на что не годный, если вы боитесь переложить на меня хотя бы частицу вашего тяжелого бремени! О я несчастлив, Лелия! Ибо несчастны вы, и вы не пролили ни одной слезы у меня на груди. Есть дни, когда вы стараетесь быть со мною веселой, будто боитесь стать мне в тягость, дав волю одолевающей вас печали. Ах, Лелия, эта учтивость ваша оскорбительна, я не раз от нее страдал! С *ним* вы никогда не бываете веселой. Подумайте сами, есть ли у меня основание быть ревнивым!»

8

«Я показала ваше письмо человеку, которого здесь зовут Тренмор и настоящее имя которого знаю лишь я одна. Он отнесся с необычайным участием к вашему страданию, а сердце его (то самое сердце, которое, по-вашему, уже омертвело) преисполнено такого сочувствия, что он позволил мне поведать вам его тайну. Вы убедитесь, что с вами обходятся не как с ребенком, – это великая тайна, из тех, которые один человек редко доверяет другому.

Скажу вам прежде всего, почему я так интересуюсь Тренмором. Это несчастнейший из людей, каких только я встречала в жизни. Чашу страданий он испил до самой последней капли; у него есть над вами большое, неоспоримое преимущество – он изведal больше горя, чем вы.

Знаете ли вы, юноша, что такое горе? Вы едва только вступили в жизнь, вы выносите ее первые волнения, страсть ваша вскипает, кровь начинает быстрее бежать по жилам, вы теряете сон; страсть эта порождает новые ощущения, приступы тревоги, тоски, и вы называете это словом «страдать»! Вы думаете, что испытали это великое, страшное, торжественное крещение – крещение горем. Вы действительно страдали, но какое это благородное и драгоценное страдание – любить! Сколько поэзии из него родилось! Как горячо, как плодотворно страдание, которое можно высказать вслух и встретить сочувствие.

Но что сказать о том, которое приходится скрывать, как проклятие, прятать в глубинах души, как некое горькое сокровище; оно не жжет вас, а леденит; у него нет ни слез, ни молитв, ни мечтаний – холодное, окаменевшее, оно притаилось в глубинах сердца, чтобы денно и ночно напоминать о себе! Вот какое страдание испил Тренмор, вот чем он может гордиться в судный день перед богом, ибо от людей эту муку приходится прятать.

Выслушайте историю Тренмора.

Он появился на свет в недобрый час, и, однако, люди считали участь его достойной зависти. Родился он богатым, но это было богатство князя, фаворита, ростовщика. Родители его разбогатели нечестным путем: отец его был любовником легкомысленной королевы, мать – служанкой своей соперницы, и так как все эти бесстыдства прикрывались роскошными ливреями и громкими титулами, их отвратительная жизнь при дворе вызывала гораздо больше зависти чем презрения.

Итак, Тренмор рано окунулся в светскую жизнь, и на пути его не было никаких препон. Но в том возрасте, когда наивные стыд и робость мешают людям переступить порог, его не знавшая настоящей юности душа приближалась к жизненному пиру без смущения и без любопытства; это была душа неразвитая, невежественная и уже ослепленная дерзкими парадоксами и цинизмом. Его не научили распознавать добро и зло; родители не утруждали себя его воспитанием, боясь, что он станет презирать их и от них отречется. Его научили только тратить золото на легковесные удовольствия, на бессмысленное бахвальство. В нем взрастили все ложные потребности, научили его всем ложным обязанностям, которые делают богачей несчастными. Но если его

и можно было обмануть в отношении необходимых для человека добродетелей, природу его и инстинкты переделать было нельзя. Тут тлетворное начало вынуждено было остановиться, тут развращенность должна была уступить место божественному бессмертию разума. Гордость, которая есть не что иное, как ощущение собственной силы, возмутилась окружающей жизнью. Тренмор увидел картины рабства, но он не мог их вынести, ибо слабость человеческая приводила его в ужас. Вынужденный жить, не ведая, что такое добродетель, он нашел в себе силу оттолкнуть все, что носило печать страха и лжи. Воспитанный среди ложных благ, он научился только тщеславию и распутству, которые неизбежно должны были его всех этих благ лишить; он не постиг и не принял низость, которая помогает людям снова их обрести.

У природы есть свои таинственные ресурсы, свои неиссякаемые сокровища. Из сочетания самых дурных элементов она нередко создает замечательные творения. Хотя семья его и погрязла в пороках, Тренмор родился великим, но он был суров, груб и страшен, словно сила, призванная бороться, словно одно из тех растущих в пустыне деревьев, которые защищены от вихрей и гроз своей твердой корой и глубокими корнями. Небо одарило его разумом; душа его знала божественное прозрение. Его близкие старались заглушить в нем это духовное начало и насмешливо разгоняли реявшие вокруг колыбели небесные видения, уча его искать радости жизни в материальных благах. В нем воспитали животное, дикое и необузданное, да иначе и быть не могло. Но сила его натуры облагораживала эти животные черты. Тренмор был так устроен, что после ночей разгула у него не было чувства подавленности, а чаще всего наступала какая-то экзальтация. От непробудного пьянства своего он жестоко страдал, оно возбуждало в нем неумную жажду радостей души – радостей, которых он еще не изведал и даже не знал, как они называются! Вот почему все наслаждения мигом превращались у него в гнев, а гнев – в скорбь. Но что это была за скорбь? Тренмор напрасно искал причины этих слез, падавших на дно чаши на пиршестве, словно ливень с грозой среди знойного дня. Он спрашивал себя, почему ни смелость и энергия его богатой натуры, ни его несокрушимое здоровье, ни все жестокие прихоти и непреклонный деспотизм не могли утолить ни одно из его желаний, почему ни одна из его побед не заполняла зияющей пустоты?

Он был так далек от понимания своих истинных потребностей и способностей, что в детстве еще им овладела странная мысль. Он сообразил, что над ним тяготеет злой рок, неведомый вершитель событий, возненавидевший его, когда он был еще во чреве матери, и что теперь он вынужден искупать грехи, которых не совершил. Он, краснея, вспоминал, что родители его придворные, и говорил иногда, что единственная его добродетель, гордость, на самом деле проклятие, ибо злой рок рано или поздно ее должен сломить. Таким образом, страх и кощунство – таковы были единственные отблески, оставшиеся у него в душе от небесного света; и весь ужас этот породила в нем жизнь. Это была болезнь мозга, исполненного самых благородных побуждений, но сжатого тяжелым и тесным обручем слабости. Простые люди, которые оказались свидетелями происшедшей с Тренмором катастрофы, были поражены слетевшим с его уст пророчеством и тем, что оно потом сбылось. Они никак не могли согласиться с тем, что это в порядке вещей, что это лишь простое предчувствие и неизбежный конец печальной истории, представлявшейся им лишь внешне в образе дворца и тюрьмы: шумного благоденствия и спрятавшейся от глаз тоски.

Объезжать лошадей, возиться с псами, окружать себя самыми разнородными произведениями искусства без всякого разбора и понимания, упиваться роскошью порочной и праздной, держать лакеев изнеженных и распущенных, при этом еще больше, чем о них, заботясь о своре свирепых псов, жить среди шума и насилия, под вой ищек с окровавленной глоткой, под песни оргий и ужасающее веселье женщин, которых он поработил своим золотом, ставить на карту свое состояние и жизнь, чтобы заставить говорить о себе, – вот чем первое время развлекался этот незадачливый богач. На лице его едва успел пробиться пушок, как все эти развлечения ему опостытели. Шум уже больше не возбуждал его, вино больше не согревало, загнанный олень уже не тешил его жестокие инстинкты; инстинкты эти присущи всем людям, они развиваются и растут, удовлетворяя себя, и чем независимее человек, чем прочнее занимаемое им положение, тем меньше он их стыдится, тем меньше боится закона. Ему доставляло удовольствие бить собак; скоро он стал бить и своих наложниц. Их песни и смех уже не оживляли его; ругань и дикие

крики еще чуть-чуть его будоражили. По мере того как в отяжелевшем мозгу пробуждался зверь, божественное гасло во всем его существе. Пребывая в безделье, он ощущал в себе силы, которые не на что было направить; сердце терзалось от безграничной скуки, от неопишуемого страдания. Тренмор ни к чему не мог привязаться. Вокруг него все было низко, развращено; он не знал, где отыскать людей с благородным сердцем. Он в них не верил. Бедных он презирал, ему говорили, что бедность порождает зависть, и он презирал зависть, потому что не понимал, как это она может терпеть бедность и не возмутиться. Он презирал науку, потому что прошло уже то время, когда он мог бы понять ее благодеяния. Он видел только результаты ее в промышленности, он считал, что покупать их благороднее, чем продавать. Ученые внушали ему жалость, и ему хотелось, чтобы они стали богаче и могли пользоваться всеми благами жизни. Он презирал благоразумие, потому что у него были силы для распутства, а воздержание казалось ему бессилием. Но и в его преклонении перед богатством и любви к соблазнам таилась какая-то необъяснимая непоследовательность, – в самом разгаре празднеств он вдруг начинал испытывать отвращение ко всему на свете. Все элементы его существа были в разладе между собою. Он ненавидел людей и вещи, без которых не мог обойтись, и вместе с тем он отталкивал от себя все, что могло бы увести его с проклятых путей и успокоить его тайные страхи.

Вскоре его охватила какая-то ярость; казалось, что его золотой храм и та атмосфера наслаждения, в которой он жил, сделались ему омерзительны. Во время своих оргий он принимался ломать мебель, разбивать зеркала и статуи, которые потом выбрасывал из окон в толпу народа. Он срывал со стен дорогую обивку, разбрасывал вокруг золото для того только, чтобы от него избавиться; пачкал всяческой мерзостью богато накрытые столы и выгонял на грязные улицы своих увенчанных цветами наложниц. Слезы их приносили ему минутную усладу; он мучил этих женщин, и ему казалось, что их корыстные вожделения и отвратительный страх – одно из проявлений любви. Скоро, однако, возвращаясь к страшной действительности, он убегал в ужасе, оттого что в окружающем его гомоне и шуме притаилось столько одиночества и тишины. Он уединялся в своих пустынных садах, и ему мучительно хотелось плакать. Но у него уже не было слез, ибо у него не было сердца; не было у него и любви, ибо он не знал бога. И эти ужасающие приступы тоски кончались неистовыми судорогами, а потом он засыпал сном, который был тяжелее смерти.

На сегодня довольно. В вашем возрасте люди бывают нетерпимы, и я бы вас оглушила, если бы за один день рассказала вам до конца тайну Тренмора. Я хочу, чтобы покамест вы подумали о том, что я вам уже рассказала; завтра вы узнаете остальное».

9

«Вы правы, что пощадили меня: то, что я узнаю, поражает меня, потрясает. Но вы переоцениваете мой интерес к тайне Тренмора, если думаете, что это именно она так меня тревожит. Больше всего меня волнует ваше собственное суждение обо всем этом.

Вы, должно быть, сами много выше других людей, если позволяете себе так легко относиться к преступлениям, совершенным против них? Впрочем, может быть вопрос мой неправомерен; может быть, общество людей столь достойно презрения, что сам я значу больше, чем оно; но простите мое смущение – я ведь еще совсем юн и ничего не успел узнать о настоящей жизни.

От всего, что вы говорите, у меня остается ощущение чересчур яркого солнца, которое слепит глаза, привыкшие к темноте. И вместе с тем я чувствую, что вы щадите их, укрываете их от света – из дружбы или из сострадания... О боже! Что же мне еще остается узнать? Каковы же те иллюзии, которые тешили меня в детстве? Вы говорите, что не следует презирать Тренмора? Или, если он и может вызвать презрение в высших существах, он не должен его вызывать во мне? Я не вправе судить его и говорить: «Я выше, чем этот человек, он только вредит себе и никому не приносит пользы»? Ну что же, пусть. Я молод, и я не знаю, что из меня выйдет, – я не прошел еще испытаний, которым подвергает нас жизнь. Но вы, Лелия, вы, которая душою своей и дарованиями выше всего, что существует на земле, вы можете осудить Тренмора и его ненавидеть; а вы не хотите этого делать! Ваше снисходительное сочувствие или ваше неблагоприятное

восхищение (не знаю уж, как назвать его) следует за ним в его преступных победах, рукоплещет его успехам, поощряет его дурные стороны.

Но если этот человек так велик, если в нем столько энергии, так почему же он не воспользуется ею, чтобы победить свои столь пагубные стремления? Почему он употребляет свою силу во зло? Пираты и бандиты, выходит, тоже великие люди? Значит, человек, прославившийся дерзкими преступлениями или из ряда вон выходящими пороками, заслуживает того, чтобы взволнованная толпа почтительно склонила перед ним головы? Значит, для того, чтобы понравиться вам, надо быть героем или чудовищем?... Может быть. Когда я думаю о полной и бурной жизни, которую, должно быть, вы прожили, когда я вижу, сколько иллюзий для вас погибло, когда я в мыслях ваших нахожу изнеможение и усталость, я говорю себе, что безвестная и тусклая жизнь вроде моей окажется для вас лишь тягостным бременем, что только необычные и сильные впечатления могут пробудить сочувствие в вашей истерзанной душе.

Так скажите же мне хоть слово, чтобы ободрить меня, Лелия! Скажите мне, кем вы хотите, чтобы я был, и я буду им. Вы считаете, что любовь женщины не может дать человеку столько сил, сколько любовь к золоту... Продолжайте, продолжайте его историю, она невероятно меня волнует – ведь в конце концов это же история вашей души; этой глубокой, переменчивой, неуловимой души, которую я все время ищу и которую мне так никогда и не удастся постичь».

10

«Без сомнения, юноша, вы намного выше нас – да успокоится ваша гордость. Но через десять лет, даже через пять сравнитесь ли вы с Тренмором, с Лелией? Кто знает!

Таким, какой вы теперь, я люблю вас, юный поэт! Пусть это слово не пугает и не пьянит вас. Я не берусь разрешить сейчас вопрос, который вас так волнует. Я люблю вас за вашу чистоту, за ваше неведение того, что знаю я, за ту большую духовную молодость, с которой вы так опрометчиво спешите расстаться! У меня к вам иное чувство, чем к Тренмору: несмотря на его буйные страсти, несмотря на его высокую натуру, общение с ним не столь соблазнительно для меня, как общение с вами, и я вам сейчас объясню, почему иногда я жертвую собой и покидаю вас ради него.

Но прежде чем продолжить мой рассказ, я отвечу на один из ваших вопросов.

«Почему, – спрашиваете вы, – этот человек, обладая такой сильной волей, не употребил ее на то, чтобы обуздать себя?»

Почему?... Счастливцев Стенио! Но как вы представляете себе природу человека? На что, по вашему, он способен? И чего вы ждете от себя самого?

Стенио, ты очень неблагодарен, если хочешь окунуться в нашу пучину! Вот что ты вынуждаешь меня сказать тебе!

Видишь ли, люди, которые подавляют свои страсти ради других, до того редки, что я, например, не встречала еще ни одного такого. Я видела героев гордости, любви, эгоизма и больше всего – тщеславия! Но что касается человеколюбия?... Многие хвалились им, но они бесстыдно лгали, лицемерили! Взгляд мой с грустью заглядывал в глубину их души и находил в ней только тщеславие. После любви тщеславие – это самая прекрасная из страстей человека, и знай, бедное дитя, оно пока еще встречается очень редко. Алчность, грубая гордость, порождаемая различием общественных положений, разврат, все дурные наклонности, даже лень, которая тоже не что иное, как страсть, хоть и бесплодная, но упорная, – вот побуждения, которые движут большинством людей.

Тщеславие значительно хотя бы по своим результатам. Оно заставляет нас быть добрыми, ибо добрыми нам хочется выглядеть, оно толкает нас на героизм, до того радостно нам бывает видеть, как нас превозносят, столько неодолимого и вкрадчивого соблазна таит в себе популярность! Тщеславие – это нечто такое, в чем люди никогда не хотят признаться. Другие страсти не способны обманывать. Тщеславие может скрыться под чужим именем, и глупцы его не распознают. Человеколюбие! О боже! Какая наивная ложь! Где он, тот человек, который предпочитает счастье других людей собственной славе?

А что лежит в основе христианства, создавшего все самое героическое на свете? Надежда получить награду, место на небесах. А те, которые создали этот великий кодекс, самый прекрасный, самый всеобъемлющий, самый поэтичный памятник человеческого духа, так хорошо знали сердце человека, и его тщеславные помыслы, и его мелочность, что в соответствии с этим учредили целую систему божественных обещаний. Прочтите творения апостолов, вы увидите, что на небе тоже не все равны; там существует иерархия блаженных, привилегированные места, хорошо организованное воинство, свои военачальники и степени. До чего же ловко истолкованы слова Христа: «Первые да будут последними, а последние первыми! Истинно говорю вам, тот, кто был меньше всех на земле станет самым великим в царствии небесном».

Но для тех, кто углубляется в себя и со всей серьезностью ставит перед собою вопросы жизни, для тех, кто освобождается от золотых химер своей юности и вступает в полосу суровых разочарований зрелого возраста, для смиренных, для мрачных, для искушенных, слова Христа, должно быть, осуществляются в этой жизни. Поначалу возомнивший себя сильным, человек, упав с высоты, признается себе в своем ничтожестве. Он ищет прибежища в жизни мысли; только терпением и трудом добывает он то, что по неведению своему и тщеславию еще в юные годы считал своим достоянием.

Если вы на рассвете выйдете в поле, вас прежде всего поразят цветы, раскрывающие чашечки свои первым лучам. Из самых красивых вы выбираете те, которые уцелели после грозы, которых не успел подточить червяк, и далеко отбрасываете от себя розу, которую накануне испортил паук, чтобы вобрать в себя запах другой, распутившейся на заре во всей своей первозданной благоухающей красоте. Но нельзя ведь жить одним только созерцанием, одними ароматами. Солнце всходит на небо. Наступает день, вы ушли далеко от города. Вас мучат голод и жажда. Тогда вы ищете самые сочные плоды и, забывая уже увядшие и ни на что вам теперь не нужные цветы на первой же лужайке, срываете с дерева подрумяненный солнцем персик, гранат с толстой, потрескавшейся от морозов коркой, винную ягоду с шелковистой кожурой, разодранной благодатным дождем. И нередко случается, что плод, изъязвленный червяком или поклеванный птицей, и есть самый сочный, самый вкусный. Не успевший затвердеть миндаль, горькая еще маслина, зеленая земляника не привлекут вас.

На утре моей жизни я предпочла бы вас всему на свете. Тогда все было мечтою, символом, восторгом, поэтическим порывом. Годы солнца и лихорадки прошли над моей головой, и мне надобна здоровая пища; скорби моей, усталости, разочарованию нужны не красоты, а сила, которая могла бы меня поддержать, не грациозная прелесть, а благо, которым дарит мудрость. В прежние времена любовь могла заполнить всю мою душу. Теперь мне нужнее всего дружба, дружба целомудренная и священная, дружба твердая и непоколебимая.

Первые да будут последними! В жизни Тренмора настал день, когда, низвергнутый с вершин светского благополучия в бездну страдания и позора, он только старался стать тем, кем уже считал себя и кем на самом деле никогда не был.

В течение нескольких лет, начав катиться под откос, не будучи в состоянии привязаться ни к убеждениям, ни к стихам, он чувствовал, что светильник разума в нем угасает. Нашлась женщина, которая на миг влила в него смутное желание вырваться из разврата и поискать свое предназначение в другом. Но эта женщина, хоть она и угадывала, сколько ума и необузданной силы погрязло в трясине порока, с ужасом и отвращением от него отвернулась. Правда, у нее остались к нему жалость и участие, проявившиеся уже позднее и которых он оказался достоин. Имеет же ведь право на человеческое участие истерзанное существо, которое примирилось с богом.

У Тренмора была любовница, красивая и бесстыдная, как менада. Ее звали Мантована. Он предпочитал ее остальным, и порою ему казалось, что он видит в ней искорку священного огня: не зная в точности, что это такое, он называл огонь этот искренностью и искал его повсюду с тоской и отчаянием неудачника. Однажды, во время ночной оргии, он ударил эту женщину, и она выхватила из-за корсажа кинжал, чтобы его убить.

Эта вспыхнувшая вдруг ярость мщения понравилась Тренмору: в охватившем Мантовану порыве гнева он почувствовал и силу и страсть. На миг он ее полюбил. И тогда случилось нечто необычайное. В этот миг, сквозь весь его пьяный угар, в нем пробудились чувства, к которым

стремится каждая возвышенная душа. Явившийся вновь мир промелькнул перед ним как видение во хмелю. Но одного непристойного слова вакханки было достаточно, чтобы весь этот сказочный замок рухнул и на дне бокала снова появился горький осадок. Тренмор сорвал с шеи своей любовницы жемчужное ожерелье и растоптал его. Она разрыдалась. Безумная горечь овладела тогда Тренмором: как, у нее только что хватило сил мстить ему за обиду, а тут вдруг она проливает слезы из-за какого-то ожерелья! Нервы его напряглись; он схватил тяжелый хрустальный графин с гранями острыми, как лезвие ножа, и ударил. Женщина вскрикнула и упала к ногам Тренмора. Он не обратил на это никакого внимания. Положив локти на стол, он уставился угрюмым взглядом на догорающие свечи и только с презрительною улыбкой покачал головой, оставшись совершенно глухим к крикам своих товарищей и к волнению перепуганных слуг. Через час он пришел в себя, огляделся вокруг и увидел, что он один; у ног его была лужа крови. Он поднялся и тут же упал в эту лужу. Мантовану уже унесли. Потерявшего сознание Тренмора из дворца препроводили прямо в тюрьму. Ему сообщили, какие ужасные последствия имел его гнев. Он как будто слушал, улыбался, но был глубоко ко всему безучастен. Это тупое равнодушие всех поразило. Его стали допрашивать. Он рассказал всю правду.

– Вы хотели убить эту женщину? – спросил судья.

– Да, хотел, – ответил он.

– Где ваш защитник?

– У меня его нет, и я не хочу никакого защитника.

Ему зачитали приговор; он выслушал его с безразличным видом. Его заковали в железо позора – он почти не обратил на это внимания. Потом, когда, внезапно подняв голову и сделав несколько шагов, он увидел, что прикован к страшным людям, участь которых он теперь разделил, он окинул любопытным взглядом свидетелей своего унижения. Тут он увидел женщину, которая не отошла от него, когда он задел ее своим арестантским халатом.

– Вы здесь, Лелия, – вскричал он, – а Мантованы больше нет! Сколько времени я кормил и ласкал эту мерзкую тварь, а она осудила меня на бесчестие за минутную вспышку гнева. А теперь, когда я прощаюсь навеки с человеческой жизнью, у нее не нашлось для меня даже взгляда, в котором было бы сочувствие или сострадание! Она, конечно, хочет скрыть угрызения совести...

– Мантована умерла, – ответила я, – и это вы ее убили. Покайтесь и понесите наказание.

– Ах, так это я поскользнулся в ее крови! – воскликнул он. И, растерянно поглядев на свои ноги и увидав, что на них железные кандалы, он улыбнулся.

– Понимаю, – сказал он, – это тоже кровь Мантованы!

Он упал, точно сраженный молнией. Его посадили в повозку, и я потеряла его из виду.

Пять лет спустя у берега моря, на горной тропинке, я повстречала бледного мужчину; он шел медленно и словно задумавшись, подняв голову к небу. Я не узнала его, до того изменилось выражение его лица. Он подошел и заговорил со мной. Голос его тоже изменился. Он назвал себя, я протянула ему руку, и мы сели на одной из прибрежных скал. Он долго говорил со мной, и, когда мы расставались, я поклялась в вечном сострадании, как потом поклялась в вечном уважении к несчастному, которого теперь зовут Тренмор и который в течение пяти лет...»

11

«Действительно, это страшная тайна, и я испытываю сердечную признательность к человеку, не побоявшемуся мне ее доверить. Значит, вы высокого мнения обо мне, Лелия, а он – о вас, если эта тайна могла так быстро дойти до меня! Что же! Теперь мы все трое связаны священными узами; я все же боюсь этих уз – этого я от вас не скрываю, – но порвать их я больше не вправе.

Хоть вы и рассказали мне все с большими предосторожностями, Лелия, я все равно потрясен. Стоило мне вспомнить, что за час до того, как я прочел эти строки, я видел, как человек этот пожимал вашу руку, которой я ни разу не осмеливался коснуться и которую вы, насколько я знаю, ни разу не протягивали никому другому, я почувствовал, что сердце мое холодеет. Как, вы

в союзе с этим истрепавшимся человеком! Мне на минуту представилось, что вы, ангельское создание, которому я поклонялся, становясь на колени, вы, сестра светлых звезд, сделали сестрою этого... Я не могу написать кого...

А теперь, оказывается, вы не только сестра! Сестра, простив его, только исполнила бы свой долг. Вы сделали добровольно его подругой, его утешительницей, его ангелом-хранителем. Вы подошли к нему и сказали: «Приди ко мне ты, которого проклинали, я верну тебе потерянный рай! Приди ко мне, непорочной, и я прикрою грязь твою вот этой рукой!». Сколько в вас величия, Лелия! Еще больше, чем я мог думать! Не знаю почему, поступок ваш причиняет мне боль, но я восхищаюсь им, я преклоняюсь перед вами. Для меня непереносимо только, что этот человек, внушающий мне ненависть и вместе с тем жалость, осмелился коснуться руки, которую вы ему протянули, что он с гордостью принял вашу дружбу – вашу священную дружбу, которой смиренно стали бы добиваться величайшие люди земли, если бы только они знали, как она много значит. Тренмор получил ее, Тренмор владеет ею, и Тренмор не говорит с вами, опустив глаза. Тренмор стоит с вами рядом и вместе с вами проходит сквозь изумленную толпу, он, который пять лет влачил за собой привязанное к ноге ядро бок о бок с вором или отцеубийцей... О, я его ненавижу! Но презрения у меня к нему уже нет, не браните меня.

А вас, Лелия, я жалею, жалею я и себя, ставшего вашим учеником и вашим рабом. Вы слишком хорошо знаете жизнь, чтобы быть счастливой; я все еще надеюсь, что это несчастье ожесточило вас, что вы преувеличиваете, я все еще отвергаю удручающий вывод, которым вы заканчиваете ваше письмо: «Лучшие из людей – в то же время и самые тщеславные, а героизм – химера!».

Ты так думаешь, бедная Лелия! Бедная женщина! Ты несчастна, я люблю тебя!»

12

«У Тренмора было только одно средство заслужить мою дружбу – это принять ее. Так он и сделал. Он не побоялся довериться моим обещаниям, он не думал, что на такое великодушие у меня не хватит сил. Вместо того чтобы быть со мною смиренным и робким, он спокоен, он полагается на мою деликатность, он отнюдь не настороже со мной, ему и в голову не приходит, что я могу унижить его и дать ему почувствовать, сколь тягостно мое покровительство. У этого человека действительно благородная и величественная душа, и дружба его мне льстит, как ничья другая.

Вы уже не презираете его характер, вы презираете его положение, не так ли? Юный гордец! Как еще вас назвать! Неужели вы дерзнете ставить себя выше этого человека, сраженного молнией? Оттого, что он стал жертвой судьбы, оттого, что он родился под зловещей звездой, ему суждено было наткнуться на подводные камни, а вы корите его этим падением, отворачиваетесь, завидев, как, изможденный и окровавленный, он выходит из бездны. Ах да, вы ведь человек светский! Вы разделяете все жестокие предрассудки света, его мстительный эгоизм! Пока грешник еще стоит на ногах, вы способны терпеть его, но едва только он упал, как вы пинаете его ногами, поднимаете с дороги камни и комки грязи, чтобы поступить как толпа, чтобы, увидев, как вы жестоки, другие палачи поверили в вашу правоту. Вам страшно было бы выказать к нему малейшую жалость, ибо ее можно дурно истолковать и решить, что вы брат или друг жертвы. А если бы люди сочли, что вы сами способны на подобное же злодеяние, если бы можно было сказать о вас: «Взгляните на этого человека; он протягивает руку изгнаннику; верно он и сам так же низок, такой же преступник, как тот! Давайте лучше закидаем изгнанника камнями, будем пихать его ногами в лицо, добьем его! Будем заодно с поносящей его толпой».

Когда в отвратительной повозке осужденного везут на эшафот, вокруг собирается толпа, она осыпает оскорблениями этот огарок, который вот-вот догорит. Поступите как эта толпа, Стению! Что стали бы говорить о вас в этом городе, где вы чужеземец, как и мы, если бы вдруг увидели, что вы ему подали руку! Подумали бы, пожалуй, что вы были с ним вместе на каторге! Вот что, юноша, чем навлекать на себя подобные толки, лучше бегите прочь от того, над кем тяготеет проклятие! Дружба с ним опасна. Безграничную радость облегчить страдания несчастного

приходится покупать дорогою ценою – яростной злобой толпы. Таковы ли ваши помыслы? Таковы ли ваши чувства, Стенио?

Не вы это разве плакали каждый раз, когда читали в истории Англии про молодую девушку, которая, видя, как одного знаменитого человека ведут на эшафот, пробилась сквозь толпу равнодушных зевак и, в порыве детского простодушия, не зная, чем выразить свои чувства, протянула ему розу, чистую и нежную, как она сама, розу, которую ей, может быть, подарил ее возлюбленный, – единственное и последнее свидетельство сочувствия и жалости, выпавшие на долю монарха, которого вели на казнь. А разве вас не тронул в восхитительной истории прокаженного из Аосты простой и естественный поступок рассказчика, подавшего ему руку? Несчастный прокаженный! Сколько лет рука его не касалась руки себе подобного! Как трудно было отказаться от этого дружеского рукопожатия, и он все же заставил себя отказаться от него, боясь заразить своего нового друга!..

Зачем же было Тренмору отталкивать мою руку? Разве несчастье столь же заразительно, как проказа? Ну что ж! Пусть нас обоих хулит толпа, и пусть сам Тренмор за это меня не поблагодарит! На моей стороне будет бог и сердце мое, а разве это не больше, чем уважение толпы и признательность человека! О, дать жаждущему стакан воды, приобщиться к несущим крест, спрятать чье-то красное от стыда лицо, кинуть травинку несчастному муравью, которому не выбраться из потока, – все это совершенно ничтожные благодеяния! И, однако, общественное мнение запрещает нам совершать их или оспаривает их у нас! Горе нам! Нет ни одного доброго порыва, который не приходилось бы подавлять в себе или прятать. Детей человеческих учат быть тщеславными и безжалостными – и это еще называют честью! Проклятие нам всем!

А что, если я вам скажу, что отнюдь не считаю поступок актом милосердия, что этот человек, пробывший пять лет на каторге, вызывает во мне чувство благоговейного уважения. А что, если я скажу вам, что такой, как сейчас, разбитый, опустошенный, погибший, он в моих глазах в духовном отношении выше любого из нас? Знаете вы, как он перенес свое горе? Вы бы, верно, покончили с собой; ну конечно же, с вашей гордостью вы не смогли бы выдержать такого позора. А он! Он покорился, он решил, что наказание справедливо, что он заслужил его не столько самим преступлением своим, сколько тем злом, которое он безнаказанно творил в течение нескольких лет. А коль скоро он считал, что кара эта заслуженна, он и хотел ее. И он ее перенес. Он прожил пять лет среди этих страшных людей, сильный и терпеливый. Он спал на камне бок о бок с убийцей, он сносил взгляды любопытных; пять лет прожил он в грязи, среди этого стада диких зверей: он сносил презрение последних негодяев и власть самых подлых шпионов. Он был каторжником, этот человек, некогда такой богатый, такой изнеженный, приверженный утонченным привычкам и деспотическим прихотям! Он, который любил кататься в своей быстрой гондоле, окруженный женщинами, овеянный ароматом духов, под звуки песен! Он, который на скачках доводил до изнеможения самых чистокровных арабских лошадей! Человек этот, вкушавший отдых под небом Греции, как Байрон, изведавший роскошь во всех ее самых разнообразных видах, стал другим, помолодел, преобразился на каторге, где до еще большей степени нравственного падения доходят и торговавший дочерью отец и изнасиловавший, а потом отравивший родную мать сын, откуда люди обычно возвращаются покалеченными и превратившимися в зверей. Тренмор вышел оттуда прямой, спокойный, как видите, бледный, но еще прекрасный, как творение господ, как отблеск, который божество бросает на чело человека просветленного».

13

В этот вечер озеро было спокойно, как обычно в последние дни осени, когда зимний вечер не решается еще смущать его безмолвные воды и розовые заросли шпажника на берегу дремлют, убаюканные тихою зыбью. Светлая дымка незаметно заволакивала угловатые контуры горы и, спускаясь на воду, словно отделяла линию горизонта, которая в конце концов исчезла совсем. Тогда поверхность озера расширилась так, что оно стало походить на море. В долине уже нельзя было различить ничего примечательного, ничего, что могло бы порадовать глаз. Внешний мир

никак не заявлял о своем присутствии, не старался ничем развлечь. Раздумье само стало торжественным, глубоким, смутным, как затянутое дымкой озеро, широким, как бескрайнее небо. Во всей природе остались только небесная твердь и человек, душа и сомнение.

Тренмор плыл в лодке; он стоял у руля, и его закутанная в темный плащ фигура отчетливо выделялась на фоне ночной синевы. Он высоко поднял голову, мысли его устремились к небу, с которым он столько времени враждовал.

– Стенио, – сказал он молодому поэту, – не мог бы ты грести помедленнее, чтобы дать нам полнее ощутить свежесть волн, их гармонический плеск? Гребь ровно, поэт, гребь ровно! Это так же важно, так же прекрасно, как ритм самых лучших стихов. Теперь хорошо! Слышите жалобные стоны волн, которые бьются о берег? Слышите, как нежно падают капли одна за другой, замирая позади нас, будто звуки песни, которые удаляются все дальше и дальше?

Я подолгу сидел так, – прибавил Тренмор, – на тихом берегу Средиземного моря, под его синим небом. С наслаждением слушал я, как плескались под нами волны, как они бились о наши стены. По ночам, среди ужасающей тишины бессонниц, наступающих вслед за шумом работы и проклятием поистине адских страданий, слабые и таинственные звуки волн, бившихся у подножия моей тюрьмы, неизменно меня успокаивали. И впоследствии, когда я почувствовал, что силы мои сравнялись с судьбой, когда моя укрепившаяся душа могла уже обойтись без помощи извне, этот сладостный шум воды баюкал мои мечты и приводил меня в блаженный восторг.

В эту минуту серая чайка пронеслась над озером; скрытая в дымке, она задела влажные волосы Тренмора.

– Еще один друг, – сказал бывший каторжник, – еще одно сладостное воспоминание! Когда я отдыхал на песке, неподвижный, как каменные плиты порта, эти воздушные странницы, принимая меня за холодную статую, подлетали ко мне совсем близко и без страха на меня глядели. Это были единственные существа, у которых не было ко мне ни отвращения, ни презрения. Они не понимали моей тяжелой доли. Они не корили меня ею, и стоило мне пошевелинуться, как они улетали прочь. Они не видели, что ноги мои закованы в цепь, что следовать за ними я все равно не могу; они не знали, что я в неволе; они спешили улететь прочь от меня, как от любого другого человека.

– Ответь мне, – попросил поэт, – откуда твоя закаленная душа набралась сил, как она смогла вынести первые дни этой жизни.

– Этого я тебе не скажу, Стенио, теперь я и сам уж не знаю. Эти дни я вообще не ощущал себя, я не жил, я ничего не понимал. Но когда я наконец понял, как все ужасно, я почувствовал в себе силу все перенести. Если я чего-то смутно боялся, так это жизни ничем не занятой и однообразной. Когда я увидел, что мне предстоит работа, усталость, которая валит с ног, горячие дни и ледяные ночи, удары, оскорбления, стоны, беспредельное море перед глазами, под ногами – камни, неподвижные, как могильные плиты, ужасающие рассказы и ужасающие страдания, я понял, что могу жить, ибо могу страдать и бороться.

– Потому что твоей великой душе, – сказала Лелия, – необходимы сильные потрясения и жгучие возбудители. Но скажи нам, Тренмор, как тебе удалось обрести покой, – ты ведь только что сказал, что покой пришел к тебе на самом дне пропасти; к тому же все ощущения притупляются, оттого что им приходится повторяться.

– Покой! – сказал Тренмор, подняв к небу проникновенный взгляд. – Покой – это величайшее благоденствие создателя, это – будущее, к которому неустанно стремится бессмертная душа, это блаженство; покой – это сам господь бог. Так знай же, покой я нашел в аду. Не будь этого ада, я никогда бы не понял тайны человеческого предназначения, никогда бы не ощутил ее на себе – я ведь ни во что не верил, ни к чему не стремился: усталый от жизни, исход которой я тщетно пытался найти, мучимый свободой, которую мне некуда было девать – ведь у меня не было даже нескольких минут, чтобы помечтать о ней, – так я подгонял бег времени, стараясь сократить надоевшую мне жизнь! Мне необходимо было на какое-то время избавиться от моей собственной воли и подчиниться воле чужой, грубой и злобной: она-то и научила меня ценить свою. Эта неумная энергия, которая цеплялась за опасности и трудности жизни в обществе, насытилась наконец, когда ей пришлось бороться с тяготами другой жизни – той, что должна

была искупить вину. Могу сказать, что в этой борьбе она победила; но вслед за победой пришло удовлетворение, пришла спасительная усталость. Впервые я наслаждался сном. И наслаждение это там, на каторге, было еще благотворнее, еще слаще оттого, что, когда я жил среди роскоши, оно доставалось мне лишь изредка и обманывало меня. На каторге я понял, что такое уважение к себе, ибо, нимало не униженный присутствием всех этих отверженных людей и сравнивая их трусливую заносчивость и мрачную ярость с тем просветленным спокойствием, которое было во мне, я вырос в собственных глазах и стал даже верить, что между человеком храбрым и небом может существовать некая отдаленная слабая связь. В дни моей лихорадочной, дерзкой жизни мне никогда не удавалось прийти к этой надежде. Покой породил во мне эту живительную мысль, и понемногу она пустила во мне корни. В конце концов я достиг того, что направил душу мою к богу и мог довериться ему и его молить. О! Какие потоки радости заструились в этой несчастной, опустошенной душе! Каким смиренным, каким кротким и милосердным должен был стать господь, чтобы снизойти до меня в слабости моей, чтобы я мог узреть его. Только тогда я понял таинственный смысл слова божьего, воплощенного в человеке, дабы увещевать и утешать людей, понял смысл всех этих христианских легенд, таких поэтичных и таких нежных, эти связи между землею и небом, это животворное влияние духа, открывающего наконец человеку несчастному путь надежды и утешения! О Лелия! О Стенио! Вы ведь тоже верите в бога, не так ли?

Оба молчали. Лелия, по-видимому, была настроена еще более скептически, чем обычно. Стенио не мог побороть отвращение, которое вызывал в нем Тренмор: душа его не решалась открыться душе каторжника. Однако он сделал над собой усилие – не для того, чтобы ответить, а чтобы еще о чем-то спросить.

– Тренмор, – сказал он, – ты не говоришь о себе то, что мне так важно знать. В словах твоих, как мне кажется, больше поэзии, чем правды. Ведь прежде чем ты вкусил покой и пришел к вере, ты должен был великим раскаянием очистить разум свой и искупить душу?

– Да, великим раскаянием! – ответил Тренмор. – Но раскаяние это было глубокое и искреннее, освобожденное от страха перед людьми. В этой бездне унижения я не поддался слабости считать, что унизили меня люди, и посланное мне наказание принял не от них, а от одного господя.

В первые дни я обвинил во всем судьбу, единственное божество, в которое верил. Потом я стал находить удовольствие в борьбе с этой необузданной силой, которой я, однако, не мог отказать в высокой справедливости и в осуществлении замысла провидения, ибо за этим грубым символом я видел истинного бога, видел его, сам того не зная и как бы помимо воли, так, как видел всегда. Что меня больше всего поражало в истории, так это великие богатства Креза и Сарданапала и постигшие их великие удары судьбы. Мне нравилась угрюмая мудрость этих людей, которые стоически выдерживали все унижения, доставшиеся им от себе подобных, и в то же время бросали неблагодарным богам такие жестокие упреки. Но разве само их кощунство не таило в себе великой веры?

Мало-помалу вера эта проявилась моему взору; но, должен признаться, что, несмотря на мое презрение к роли человека в моей судьбе, я был вынужден начать снизу, чтобы возвыситься до идеи божественной справедливости. И вот, вникая в мои преступления и в то наказание, которому подвергли меня такие же люди, пораженный их варварством и их несправедливостью, я снискал себе приют на лоне божественного милосердия.

– Неужели вы осмелитесь утверждать, – сказал Стенио, едва сдерживая охватившее его возмущение, – что вы не заслужили наказания?

– Нет, конечно, я заслужил какое-то наказание, – невозмутимо ответил Тренмор, – мой жизненный опыт подтвердил, что мне нужен был страшный урок. Но какое это было унижающее и ужасное наказание! Неужели же общество ставит себе целью мстить? Мне кажется, что сущность наказания в том, чтобы искупить содеянное преступление и сделать преступника другим человеком?

– Ну, разумеется, – в волнении воскликнул Стенио, – преступление ваше не заслуживало такой суровой кары. Вы ведь убили не преднамеренно, а вас смешали с ворами и убийцами.

– Я действительно не заслужил столь сурового наказания, – сказал Тренмор, – но тем не менее наказать меня следовало, и наказать строго. Преступление мое отнюдь не в том, что я убил человека. Я совершил это убийство оттого, что был пьян. И дело не только в том, что я пьянствовал в эту роковую ночь – это была привычка к вину, к оргиям, вся моя невоздержанная, развратная жизнь. И наказать меня следовало не за распутство одного только дня, а за всю эту непотребную жизнь, которую надлежало пресечь. Вот что я понял, когда сравнивал свое положение с положением злодеев, к которым меня бросили, как в древности бросали гладиатора к диким зверям. Я спрашивал себя, для чего меня приобщили к страшному сонмищу нечестивцев: для того ли, чтобы я исправился, глядя на весь этот ужас, или для того, чтобы наказать меня за мои проступки смертельной заразой – невозвратимой потерей всякого проблеска божественного начала и всех человеческих чувств. Признайтесь, что это престранный способ наказания, до которого додумалось общество! Негодование мое было так велико, что некоторое время, подпав под власть самых страшных мыслей, я колебался, не принять ли мне ту судьбу, которую для меня уготовили, не сделать ли себя врагом рода человеческого, не дать ли клятву обратить всю ярость мою против него и объявить ему войну с того дня, как я выйду на свободу; освободись я в пору этого дикого отчаяния, не было бы разбойника страшнее меня, никакой убийца не купался бы в крови так исступленно, как я!

Но как ни велика была моя ненависть, мне приходилось запастись терпением, и я долго вынашивал планы мести, которые религиозное чувство потом во мне погасило. Разве у меня не было причин ненавидеть это общество: оно ведь завладело мною с колыбели и с той поры так слепо расточало мне свои благодеяния, что даже в какой-то мере способствовало тому, что во мне вспыхнули неугасимые страсти и потребности? Ему потом нравилось удовлетворять их и беспрерывно возбуждать вновь. Зачем оно создает богатых и бедных? И если оно разрешает иным наследовать богатства, почему оно не указывает им, как достойным образом его употребить? Где та сила, которая должна направить нас в молодые годы? Где те обязанности, которым нас должны учить, которые нам должны предписывать, когда мы мужаем? Где те грани, которые оно ставит нашей распущенности? Какую помощь оказывает оно мужчинам, которых мы развращаем своими подачками, и женщинам, которых мы губим своими пороками? Откуда в этом обществе такое множество лакеев и проституток? Почему оно терпит наши оргии и почему оно раскрывает нам само двери непотребства?

И почему же мне пришлось испытать на себе суровый закон, который так редко применяется к богачам? Да потому, что мне не пришло в голову заранее купить себе отпущение всех грехов. Если бы я поместил свое золото, свою репутацию и свою жизнь под охрану какого-нибудь принца, такого же развратного, как я, если бы низкими политическими интригами сумел сделать себя полезным коварным замыслам какого-нибудь правительства, у меня были бы всемогущие друзья, чье бесстыдное покровительство спасло бы меня, как и столькоких других, от огласки позорного приговора и от ужаса безжалостной кары. Но хоть я и сумел найти множество способов разориться, мне было не по душе разоряться в обществе сильных мира сего. Я презирал их еще больше, чем себя я к ним не обратился в беде. Они мне отомстили, бросив меня на произвол судьбы.

Это была первая воодушевившая меня мысль: она немного возвысила меня в собственных глазах.

Затем, когда я окинул взором всех этих несчастных, меня охватил не только ужас, но прежде всего огромная жалость. Ибо хоть между их преступлениями и моим была целая пропасть, они, как и я, терпели наказание непомерное и несправедливое. Они тоже были обречены на еще большее моральное падение; им тоже предстояло потерять всякое желание и всякую надежду восстановить свое доброе имя. А ведь и у них было право на целительную кару, которая не только бы не сломила им душу, а напротив, укрепила бы ее разумными наставлениями, благородными примерами, обещала бы ей милосердие. Ибо отнюдь не насилие и не ярмо, еще более тяжкое, чем содеянные ими преступления, могли заставить их смиренно склониться и искупить свой грех. Чем ниже было их падение, тем решительнее надо было стараться поднять их. Чем более бесчувственными и дикими создала их природа, тем ответственнее был долг, возложенный на

общество богом, воспитать их и наставить на путь истины. Да, им, так же как и мне, наказание было нужно. Оно должно было быть достаточно длительным, достаточно суровым, но таким, какое отец налагает на провинившегося ребенка, – в нем не должно было быть той жестокости, с какою палач вливается в свою жертву. О человечество! Разве Христос не говорил тебе о милосердии небес? Разве он не учил тебя призывать высшего судию, называя его отцом? Но ты ведь его не послушало, ты распяло праведника. Какого же милосердия может ждать от тебя преступник?

Чем больше я наблюдал распущенность и нравственное уродство этих несчастных, тем больше я обвинял общество, которое наказывает безвестные преступления и покровительствует стольким другим, которые творятся у всех на виду.

Оно умеет мстить только отдельным личностям. Оно не способно распространить свою месть на целые сословия и защититься от них. Богатые правят с помощью низости и обмана. Бедным приходится расплачиваться вдвойне – за свои собственные грехи и за чужие, за те, которые знать выставляет им напоказ, возлагая нечистые жертвы на роскошные алтари. Подумав об этих примерах, которые я привел сам (как-никак один из наименее преступных среди счастливых нашего времени), я перестал гордиться собой и ставить себя выше моих товарищей по несчастью; смирившись перед господом, я принял из его рук то унижение, в котором был вынужден жить среди них.

Эти глубоко прочувствованные мысли толкнули меня на путь стоицизма, и я без единой жалобы перенес мое горе. Но стоицизм этот не был холодной мудростью человека, умеющего обрести покой, день ото дня подавляя свои страдания. Душа моя была надорвана жалостью, сердце мое обливалось кровью при виде всех этих ран, всех язв, которые окружали меня, и если я и нашел успокоение, то только тогда, когда уверовал в высшую доброту и справедливость всепрощения. Всеми фибрами своего существа я чувствовал, что эти погибшие для общества люди не погибли для неба, ведь вера в вечные муки – это выдумка, достойная людей бессердечных и не знающих, что такое прощение. Могущество господа они измеряли по своей мерке. Они возомнили, что он употребит свою власть на то, чтобы держать в преисподней мириады погибших душ. Они забыли, что он властен дать этим душам новые жизни и очистить их множеством испытаний, которых люди не в силах предвидеть.

– Все это хорошие слова, – сказал Стенио, обернувшись к Лелии, внимательно следившей за впечатлением, которое речи Тренмора произвели на молодого поэта. – Но только, – добавил он тихо, – можно ли одними хорошими мыслями и хорошими словами смыть кровь и позор?

– Ну конечно, нет, – громко ответила Лелия. – Нужны еще хорошие поступки, а у него они были. Переноса мучения, он стал жить жизнью героической, самозабвенной и милосердной и будет жить так всегда. Он начал с того, что стал утешать и обращать на путь истинный наименее очерстневших из тех несчастных, которых суд людей сделал его братьями. И даже там, на каторге, он добился успеха. Он, во всяком случае, мог говорить себе в утешение, что вместе со слезами вливает каплю бальзама небесного в наполненные вечной горечью чаши их жизней. Он нашел слова сочувствия и облегчения для людей, которые всю жизнь были к ним глухи, которые их никогда не слышали и никогда больше не услышат, но которых они никогда не забудут. После того как он уже десять лет на свободе, после того как и вид его и все привычки до такой степени переменились, что никто его не может узнать, после того как в силу странных и романтических обстоятельств он стал владеть состоянием большим, чем то, которое он потерял, жизнь его, суровая для него и щедрая для других, сделалась примером самого высокого самоотвержения. Одно слово раскроет тебе, что это за человек, которого ты по тщеславию своему все еще боишься; одно слово...

– Подождите! – воскликнул Тренмор. – Если моя новая жизнь может иметь какое-то значение в его глазах, когда он ее узнает, не лишайте его высокого мужества поверить в меня без доказательств и без гарантий. Это не может совершиться за час. Я спокойно могу вынести его недоверие и презрение еще несколько дней!

– Мое недоверие – может быть! – вскричал Стенио. – Признаюсь, что добродетель, полученная таким исключительным путем, как ваша, удивляет меня и пугает, ибо мне знакомы толь-

ко обсаженные цветами дорожки, по которым люди бегут к надежде. Только знайте, несчастный человек, презрения моего вам бояться нечего...

– Ваше презрение не может меня напугать, юноша! – оборвал его Тренмор, и в голосе его звучала торжественная гордость. – Я знаю, что презирать меня должен всякий, кто узнает, что я изгнан из общества. Знаю также, что любой человек, узнав мою тайну, вправе оскорбить меня и отказаться драться со мной на дуэли. Поэтому я должен был уважать и чтить себя вне зависимости от мнения людей. Это великое благо я заработал в поте лица – я смыл с себя грязь и кровь не кровью кого-нибудь другого, а своей самой чистой кровью. Поэтому ни один человек не властен меня унижить. Вы будете уважать меня, Стенио, когда сможете, но и тогда не заботьтесь о том, чтобы выказать мне это уважение. Оно не принесет мне добра, равно как и ваше презрение не может причинить мне зла. Давно уже в поступках своих я не руководствуюсь мнением людей. Тот, на кого они рассчитаны, – добавил Тренмор, поглядев на небо, – выше, чем все вы.

В лице изгнанника, в его голосе, в манере себя держать сквозило столько благородства и столько энергии, что Стенио был потрясен. Он робко оглядел себя самого и мысленно попросил у господ прощения за то, что оскорбил человека, снискавшего покровительство небес.

Тренмор погрузился в глубокую задумчивость; спутники его тоже замолчали. Красавица Лелия смотрела на борозду, которую лодка оставила на воде, – по ней золотыми ниточками извивались отблески трепещущих звезд. Стенио впился глазами в свою спутницу – во всей вселенной он видел только ее одну. Когда время от времени вздымались порывы ветра, и лица его касались черные волосы Лелии или хотя бы бахрома ее шарфа, он весь дрожал, как воды озера, как прибрежный тростник. Потом ветер замирал, словно последний вздох истерзанной страданием груди. Волосы Лелии и складки ее шарфа снова падали ей на грудь, и Стенио тщетно искал ответного взгляда в глазах ее, огонь которых так стремительно прорезал мрак, когда Лелия снисходила до того, чтобы стать женщиной. Но о чем же думала Лелия, глядя на борозду за кормой?.. Ветер развеял туман; Тренмор увидел вдруг впереди, в нескольких шагах от себя, прибрежные деревья, а на горизонте – красноватые огни города; он глубоко вздохнул.

– Как, уже? – сказал он. – Вы слишком быстро гребете, Стенио, вы очень торопитесь вернуть нас к людям.

14

Несколько часов спустя они были на балу в доме богатого музыканта Спуэлы. Тренмор и Стенио вошли под своды круглой залы, где каждый звук отдавался трепетным эхом; взглядам их открылась целая анфилада других зал, полных движения и гула. Танцующие пары скользили затейливыми кругами при бледном свете свечей, цветы увядали в тяжелом воздухе, звуки оркестра замирали под мраморным сводом, и в горячем тумане бала двигались взад и вперед фигуры людей в праздничных нарядах, бледные и молчаливые. Но над всем этим пышным празднеством, над этими яркими красками, смягченными реющей в глубине дымкой и сгустившейся атмосферой, над диковинными масками, над сверкающими бриллиантами, над легкой кадрилию и группами молодых и веселых женщин, над движением и шумом – над всем возвышалась одинокая фигура Лелии. Стоя на ступеньках амфитеатра, опершись на бронзовую полуколонну, она смотрела на бал. На ней тоже был маскарадный костюм, но костюм этот был благороден и мрачен как и она сама, строг и вместе с тем изыскан; лицо ее было бледно, серьезно, глубокие глаза напоминали юных поэтов былых времен, когда вся жизнь была пронизана поэзией и когда поэзия не спускалась в толпу. Откинутые назад черные волосы Лелии оставляли открытым ее лоб, на котором десница всевышнего, казалось, запечатлела ее таинственную, несчастную судьбу; взгляд юного Стенио беспрерывно устремлялся к ней, с тревожной настороженностью кормчего, который прислушивается к малейшему дуновению ветра и приглядывается к движению едва заметных облачков на совсем чистом небе.

Большие глаза Лелии, смотревшие из-под то и дело хмурившихся бровей, казались еще чернее, еще бархатистее, чем надетая на ней мантилья. Матовая бледность ее лица и шеи сливалась с широким белым воротником, а холодное дыхание ее словно застывшей груди, казалось,

даже не шевелило ни черной атласной курточки, ни золотой цепочки, трижды обвивавшей ей шею.

– Взгляните на Лелию, – сказал Стенио восхищенно, – взгляните на этот высокий греческий стан, облаченный в одежды благочестивой и страстной Италии, на эту античную красоту, пропорции которой утратило нынешнее ваяние, на эту глубокую задумчивость, присущую философическим векам; на эти богатые формы и черты; на эту восхитительную стройность, воплощения которой, ныне утраченные, могли быть созданы только под гомеровским солнцем; взгляните, говорю вам, на эту физическую красоту: она одна могла бы быть всемогуща, а господу было угодно вдохнуть в нее весь великий разум нашей эпохи!..

Можно ли представить себе что-либо более совершенное, чем Лелия в этом одеянии, в этой позе, погруженная в такое глубокое раздумье? Это безупречная мраморная Галатее с небесным взглядом Тассо и с горькой улыбкой Алигьери. Это непринужденная и рыцарственная поза юных героев Шекспира: это поэтический любовник Ромео, это бледный аскет, это духовидец Гамлет; это Джульетта, полумертвая Джульетта, которая прячет на груди своей яд и воспоминание о разбитой любви. Можно начертать самые великие имена истории, театра, поэзии на этом лице, которое как бы подводит итог всему, ибо вмещает в себе все. Молодой Рафаэль, должно быть, пребывал в таком восторге, когда господь явил ему прелестные видения целомудренной красоты. Так сурово и сосредоточенно умирающая Коринна слушала свои последние стихи, которые молодая девушка читала у стен Капитолия. Молчаливый и таинственный паж Лары замыкался так в уединении, презирая толпу.

Да, Лелия сочетала в себе все эти идеальные качества, ибо в ней слились воедино гении всех поэтов, величие всех героев. Вы можете наречь Лелию всеми этими именами; самым великим, самым гармоничным из всех перед богом будет все-таки имя Лелии! Лелии – чье светлое и ясное чело, чье большое и щедрое сердце вмещает в себе все великие мысли, все благородные чувства: религию, энтузиазм, стоицизм, жалость, упорство, страдание, милосердие, прощение, чистоту, смелость, презрение к жизни, ум, энергию, надежду, терпение, все, вплоть до невинных слабостей, до прелестного женского легкомыслия, до переменчивости и беззаботности, которые являются, может быть, ее самым приятным преимуществом и самой могучей притягательной силой.

– Все, кроме любви, – мрачно добавил Стенио после минутного молчания. – Тренмор, вы, который знаете Лелию, скажите мне, знала ли она любовь? Что же, если нет, то Лелию нельзя назвать человеческим существом. Это только мечта, такая, какую может создать себе человек, красивая или возвышенная, но ей всегда не хватает чего-то, чему нет имени и что скрыто от нас облаком, что превыше небес, к чему мы неустанно стремимся и чего не можем ни достичь, ни когда-либо увидеть, нечто истинное, совершенное и неизменное; может быть, это и есть бог, может быть, это зовется богом! Но человеческому уму все это недоступно! Взамен господь дал человеку любовь, слабое излучение небесного огня, душу вселенной, которую он способен ощутить, эту божественную искру, этот отблеск всевышнего, без которого самое прекрасное существо ничего не значит, без которого Христос только образ, лишенный жизни, – вот этой-то любви и нет в Лелии. Что же такое Лелия? Тень, мечта, самое большее – мысль. Там, где нет любви, нет и женщины.

– И вы думаете так же, – сказал Тренмор, не отвечая на то, что для Стенио было вопросом, – что там, где нет любви, нет и мужчины?

– Я верю в это всей душой! – воскликнул юноша.

– В таком случае я тоже мертв, – сказал Тренмор, улыбаясь, – ибо у меня нет любви к Лелии, а уж если Лелия не пробудила ее во мне, никакая другая женщина не сможет этого сделать. Мне только кажется, Стенио, что вы ошибаетесь и что с любовью происходит то же, что и с другими эгоистическими страстями. Я думаю, что там, где они кончаются, только и начинается человек.

В эту минуту Лелия спустилась со ступенек и подошла к ним. Величие, полное печали, окружавшее Лелию словно ореолом, почти всегда отчуждало ее от толпы. Женщина эта никогда не выказывала своих чувств на людях. Она замыкалась в себе, чтобы посмеяться над жизнью, но

она шла по ней, исполненная ненависти и недоверия, и старалась казаться суровой, чтобы по возможности избавиться от всякого соприкосновения с обществом. Вместе с тем она любила празднества, шумные сборища. Для нее они были своего рода театром. Она приходила туда, чтобы предаваться раздумью, одинокая среди толпы. Толпа не сразу привыкла к тому, что она как бы парит над пей и все время старается почерпнуть новые впечатления, никогда не делаясь своими. Между Лелией и толпой не было никакого общения. Если у Лелии и возникали некие тайные пристрастия, она не позволяла себе возбуждать их в других – ей это было не нужно. Толпа могла не понять этой странности, но она была зачарована и, стараясь, чтобы это неведомое ей существо, независимость которого ее оскорбляла, спускалось к ней, разверзлась перед этой удивительной женщиной с каким-то безотчетным почтением, к которому примешивался и страх.

Бедный молодой поэт, который любил ее, несколько лучше понимал причины ее власти над людьми, хотя и не решался еще себе в этом признаться. Временами он был так близок к печальной истине, которую искал и в то же время отталкивал от себя, что испытывал к Лелии нечто вроде ужаса. Ему казалось тогда, что Лелия – его бич, его злой гений, самый опасный для него на свете враг. Видя, как она теперь приближается к нему, одинокая и задумчивая, он почувствовал какую-то ненависть к этому существу, которое ничто как будто не связывало с остальным миром. Этому безумцу не пришло даже в голову, что если бы он видел, что она улыбается и говорит, страдания его были бы куда больше.

– Вы словно мертвец, приоткрывший свой гроб и явившийся сюда, чтобы разгуливать среди живых, – сказал он жестко и с горечью. – Смотрите, люди сторонятся вас, они боятся коснуться вашего савана, вам едва смеют взглянуть в лицо: зловещая тишина парит вокруг вас, как ночная птица. Рука ваша тоже холодна, как тот мрамор, которого вы только что касались.

Лелия ответила ему странным взглядом и холодной улыбкой; некоторое время она молчала.

– Мне только что приходили в голову другие мысли, – сказала она наконец. – Я принимала вас всех за мертвецов, а сама, живая, наблюдала за вами. Я говорила себе, что есть что-то необычайно мрачное во всех этих, маскарадах. В самом деле, разве не печально воскрешать так канувшие в вечность эпохи и заставлять их развлекать наши дни? Все эти костюмы былых времен, являющие нам давно ушедшие поколения, здесь, в разгаре празднеств, какой это страшный пример, напоминающий нам о быстротечности человеческой жизни? Где они, горячие головы, кипевшие под этими беретами и тюрбанами? Где молодые и пламенные сердца, которые бились под этими атласными куртками, под этими корсажами, вышитыми золотом и жемчугом? Где все гордые красавицы, которые кутались в эти тяжелые ткани, которые украшали свои пышные волосы этими старинными диадемами? Увы! Где все эти калифы на час, которые блистали так же, как ныне мы? Они прошли по жизни, не думая ни о поколениях, которые проходили перед ними, ни о тех, которые за ними последуют, не думая о своей собственной жизни, украшая себя золотом, обливаясь духами, живя среди роскоши и звуков музыки, в ожидании могильного холода и забвения.

– Они отдыхают от жизни, – сказал Тренмор. – Счастливы те, которые покоятся в мире!

– Должно быть, ум человека очень уж ограничен, – ответила Лелия, – и удовольствия его очень пусты; должно быть, простые и легкие наслаждения быстро теряют для него свою прелесть, если среди радости и торжества он неизменно испытывает вновь и вновь это ужасающее чувство тоски и страха. Видите, человек богатый и веселый, один из счастливых этой земли, чтобы одурманить себя и забыть, что дни его сочтены, не может придумать ничего лучшего, чем выкапывать остатки прошлого, одевать своих гостей в личины смерти и устраивать у себя во дворце танцы для теней своих предков!

– Душа твоя мрачна, Лелия, – сказал Тренмор, – можно подумать, что ты одна здесь боишься не умереть в свой черед.

щины только прелесть и обаяние. Неужели же в вас гнездятся и присущие ей бесстыдное тщеславие и жестокая неблагодарность? Нет, я готов скорее усомниться в существовании бога, нежели в доброте вашего сердца. Лелия, скажите же мне, что вы хотите сделать с душой поэта, которая отдалась вам и которую вы приняли, поступив, может быть, неблагоразумно! Теперь вы уже не можете оттолкнуть ее – она разобьется, и берегитесь, Лелия, господь спросит у вас за нее отчета, ибо от него она к нам пришла к нему и должна вернуться. Нет сомнения в том, что юный Стенио – один из его избранников. Разве он не наделил его красотой своих ангелов? Есть ли на свете юноша чище и нежнее? Я никогда не видел более умиротворенного лица, никогда не видел неба, такого синего и прозрачного, как его глаза. Я никогда не слышал девического голоса более сладостного и гармоничного, чем его голос, произносимые им слова подобны слабым и чуть приглушенным звукам, которые издают струны арфы от дуновения ветерка. А его медленная походка, его движения, небрежные и грустные, его белые тонкие руки, его нежное и гибкое тело, его шелковистые белокурые волосы, цвет его лица, переменчивый как осеннее небо, этот яркий румянец, который заливают его щеки от одного вашего взгляда, эта голубоватая бледность, которую одно ваше слово разливает по его губам, – по всему видно, что это поэт, что это целомудренный юноша, душа, которую господь послал в этот мир на страдание, чтобы испытать ее и тогда лишь возвести ее в ангельский чин.

А если вы оставите эту душу на ветру разъедающих страстей, если вы погасите ее подо льдами отчаяния, если покинете ее в глубине пропасти, как найдет она тогда путь к небесам? О женщина! Обдумайте ваши поступки! Не раздавите это нежное дитя тяжестью вашего страшного разума! Берегите его от ветра, и от солнца, и от света, и от холода, и от ударов молнии – от всего, что нас обессиливает, опрокидывает, сушит и убивает. Помогите ему ходить по земле, укройте его полою вашего плаща, проведите его меж рифов. Разве вы не можете быть ему подругой, сестрой или матерью?

Я знаю все то, что вы мне уже успели сказать, я понимаю вас, я вас поздравляю, но раз вы счастливы (в той мере, в какой вам дано быть счастливой), я забочусь уже не о вас, а о нем, о том, кто страдает; я его жалею. Послушайте, женщина! Неужели у вас, которой известно столько всего, неведомого мужчине, – неужели у вас нет средства помочь его горю? Неужели вы не можете поделиться с другими частицей той мудрости, которую вам даровал господь? Неужели вы можете творить только зло и бессильны содействовать добро?

Ну что же, Лелия, если это действительно так, надо удалить от вас Стенио или вам самой бежать от него».

16

«Удалить Стенио или бежать от него! О, пока еще нет. Вы так холодны, сердце ваше так старо, друг мой, что вы говорите о том, чтобы бежать от Стенио, будто речь идет о том, чтобы покинуть этот город ради другого, людей сегодняшнего дня ради людей завтрашнего, будто речь идет о том, чтобы вы, Тренмор, покинули меня, Лелию!

Я знаю, вы достигли своей цели, вы спаслись от кораблекрушения, и вот вы в гавани. Никакое чувство не возвышается в вас до настоящей страсти, вам уже ничего не нужно, никто не может ни создать, ни разрушить ваше счастье, вы сами и творец его и его хранитель. Я тоже, Тренмор, поздравляю вас, но я не могу подражать вам. Я восхищаюсь вашей упорной и основательной работой, но все, созданное вашими усилиями, – это крепость, а я женщина, я художник, и мне нужен дворец: я не буду в нем счастлива, но, во всяком случае, не умру. А в ваших ледяных и каменных стенах я не проживу и дня. Нет, пока еще нет! Господь этого не хочет! А можно ли опережать его веление? Если мне дано достичь той ступени, на которой вы находитесь сейчас, я по крайней мере хочу быть достаточно зрелой, чтобы воспринять всю мудрость, и достаточно уверенной в себе, чтобы с грустью не оборачиваться назад.

Мне уже слышатся ваши слова. «Слабая и жалкая женщина, – скажете вы, – ты боишься получить то, о чем часто просишь, я ведь видел, как ты добивалась победы, которую отталкивала теперь от себя!..» Ну что же! Я слаба, я труслива, но во мне нет ни неблагодарности, ни тщеславия.

славия, я лишена этих женских пороков. Нет, друг мой, я не хочу разбивать сердце человека, не хочу гасить душу поэта. Успокойся, я люблю Стенио».

17

«Вы любите Стенио! Женщина, вы лжете. Подумайте о том, кто мы – вы, он и я. Вы любите Стенио! Этого нет и не может быть. Подумайте только о столетиях, которые вас разделяют! Вы увядший, измятый, сломанный ветром цветов; вас без конца качали волны всех морей сомнения и разбивали потом о берег отчаяния! А вы решаетесь пуститься еще в одно путешествие? Нет, не может этого быть, Лелия! Что надобно теперь таким, как мы с вами? Покой могилы. Вы прожили жизнь! Так дайте же жить и другим. Не кидайтесь, печальная и всегда ускользающая тень, на путь тех, которые не завершили своей задачи и не потеряли надежды. Лелия, Лелия! Могила зовет тебя. Разве ты недостаточно страдала, несчастная, от всей своей философии? Так закутайся в саван, спи наконец в тишине, усталая душа, которую господь больше не осуждает уже ни на труд, ни на страдание.

Это верно, вы достигли меньшего, чем я. У вас остались еще какие-то воспоминания о прошлом. Вы еще боретесь иногда с врагом человека – с надеждой на земные блага. Но верьте мне, сестра моя, всего лишь несколько шагов отделяют вас от цели. Состариться легко, но никому еще никогда не случалось помолодеть.

Повторяю, дайте ребенку спокойно расти и жить, не губите еще не распустившийся цветок. Не овевайте вашим ледяным дыханием чудесные, залитые солнцем дни его весны. Не надейтесь дать ему жизнь, Лелия, жизни в вас больше нет, вам остается лишь сожаление о ней; вскоре, как и у меня, у вас останется только воспоминание».

18

«Ты мне это обещал, ты будешь нежно любить меня, и мы с тобой будем счастливы. Не пытайся опередить время, Стенио, не старайся во что бы то ни стало добраться до тайн жизни. Дай ей подхватить тебя и унести туда, куда все мы идем. Ты боишься меня? Самого себя тебе надо бояться, самого себя надо сдерживать, ибо в твои годы воображение портит самые сочные плоды, принижает все радости. В твои годы люди не умеют пользоваться ничем, они все хотят знать, всем владеть, все исчерпать, а потом удивляются, что блага человека так ограничены, в то время как удивляться следовало бы только сердцу человека и его потребностям. Послушай меня, иди тихонько, упивайся по очереди всеми этими невыразимыми радостями слова, взгляда, мысли, всеми этими столь много значащими мелочами рождающейся любви. Разве мы не были счастливы вчера под сенью этих деревьев, когда сидели рядом и одежды наши соприкасались, а взгляды находили друг друга во мраке? Было совсем темно, и все же я видела вас, Стенио; я видела вас таким, какой вы есть, – прекрасным, и мне казалось, что передо мною силф этих лесов, душа этого ветра, ангел этого таинственного и нежного часа. Заметили ли вы, Стенио, что есть часы, когда мы вынуждены любить, часы, когда нас охватывает вдохновение, когда сердце бьется чаще, когда душа вырывается на свободу и разбивает все оковы воли, чтобы найти другую душу и слиться с нею?

Сколько раз с наступлением ночи, когда всходит луна, или с первыми лучами дня, сколько раз в полуночной тишине и в тишине другой, полуденной, такой подавляющей, такой мучительной и тревожной, я чувствовала, как сердце мое устремляется куда-то к неведомой цели, к неясному, безымянному счастью, рассеянному повсюду в воздухе, в небе, будто незримый возлюбленный, будто сама любовь! И все-таки, Стенио, это не любовь. Вы слепо верите, вы ничего не знаете и на все надеетесь, а я знаю все, знаю, что по ту сторону любви есть желания, потребности, надежды, которые никогда не гаснут. Чем был бы без них человек? Для любви ему дано на земле так мало дней!

Но в эти часы то, что мы чувствуем, настолько живо, настолько властно, что мы распространяем его на все, что нас окружает; в эти часы, когда господь владеет нами и нас наполняет

собою, мы изливаем на все его творения сияние озарившего нас луча.

Разве вы никогда не плакали от любви к этим светлым звездам, которыми усеян синий покров ночи? Разве вы никогда не становились перед ними на колени, не простирали к ним руки и не называли их вашими сестрами? А потом – человек ведь привык к тому, чтобы его привязанности сосредоточивались на чем-то одном, для больших чувств он слишком слаб, – разве вам не случалось воспламениться страстью к одной из них? Разве вы в любви своей не выбирали из всех то ту, что мерцает красным светом над полосой темных лесов у самого горизонта, то другую, бледную и кроткую, которая прячется, словно стыдливая дева, за влажными, густыми отблесками луны; то эти три сестры, одинаково белые, одинаково прекрасные, которые светятся таинственным треугольником; то эти две сияющие подруги, которые спят, прижавшись одна к другой, в чистом небе, среди мириад менее ярких звезд. А если эти каббалистические знаки, все эти неведомые письмена, все эти странные фигуры, огромные и исполненные величия, которые они чертят над нашими головами, – неужели у вас никогда не являлось желание объяснить их и прочесть в них великие тайны нашего предназначения, летоисчисления мира, имени всевышнего, будущее души. Да, вы вопрошали эти светила с горячим восторгом, и в дрожащем блеске их лучей вам чудились влюбленные взгляды; вам чудился голос, звучавший с высоты, чтобы приласкать вас, чтобы сказать вам: «Надейся, от нас ты ушел, к нам ты и вернешься! Я твоя отчизна, это я зову тебя, я иду за тобой, рано или поздно я буду тебе принадлежать!»

Любовь, Стенио, это не то, что вы думаете, это отнюдь не тяготение всех наших сил к одному существу: это священное тяготение самых возвышенных сфер нашей души к неизведанному. Будучи существами ограниченными, мы беспрерывно хотим утолить терзающие нас ненасытные желания; мы ищем некую цель вокруг нас и, по несчастной нашей расточительности, наделяем наших недолговечных идолов всеми духовными красотами, виденными нами во сне. Одних чувств нам мало. В сокровищнице наивных радостей, которыми нас тешит природа, нет ничего достаточно изысканного, чтобы утолить снедающую нас жажду счастья. Нам нужно небо, а у нас его нет!

Вот почему мы ищем неба в подобном себе создании и тратим на него всю ту высокую энергию, которая была нам дана для более благородного употребления. Мы отказываем господу богу в благоговении, чувстве, которое было вложено в нас, чтобы возвратиться вновь только к богу. Мы перенесли это чувство на несовершенное и слабое существо, которое для нас, идолопоклонников, становится богом. В дни молодости мира, когда человек не грешил перед своей природой и не изменял зову сердца, любовь одного пола к другому в нашем теперешнем понимании этого слова не существовала. Единственным связующим звеном было наслаждение; страсть духовная со всеми возникающими на ее пути препятствиями, страданиями, всей ее напряженностью – зло, которого прежние поколения не знали. Ибо в то время существовали божества, а теперь их нет.

В наши дни души поэтические переносят свой благоговейный восторг даже на физическую любовь. Странная ошибка жадного и бессильного поколения! Вот почему, когда ниспадает божественный покров и когда из-за клубов ладана, в ореоле любви появляется на свет творение слабое и несовершенное, мы в испуге от нашего обмана, мы краснеем и опрокидываем идола и попираем его ногами.

А вслед за тем мы ищем другой! Нам ведь надо любить, а мы еще часто ошибаемся, до того самого дня, когда, образумившиеся, очищенные, просветленные, мы наконец расстаемся с надеждой надолго привязаться к чему-то земному, и обращаем к богу восторженную и чистую хвалу, которую нам всегда следовало бы воссылать только ему одному».

19

«Не пишите мне, Лелия; зачем вы мне пишете? Я был счастлив, и вот вы снова повергаете меня в тревогу, от которой я на мгновение избавился! Этот час, проведенный возле вас в молчании, открыл мне столько удивительного неизъяснимого наслаждения! Как, Лелия, вы уже жалеете о том, что дали мне его изведать? Но отчего же мое горячее нетерпение вас страшит? Вы

нарочно не хотите меня понять. Вы знаете, что я удовлетворюсь самым малым и буду счастлив: ничто из того, что вы сделаете для меня, не покажется мне малым, ибо я воздам должное вашим самым незначительным милостям. Я не самонадеян; я знаю, насколько я ниже вас. Жестокая женщина! Зачем вы без конца призываете меня дрожать от моего ничтожества, от которого я и так столько всего выстрадал.

Я понимаю, Лелия! Увы, я понимаю! Вы можете любить только бога! Душа ваша может найти себе успокоение и жить только на небесах! Когда вы в часы раздумья, охваченная порывом чувств, посмотрели на меня с любовью, вы ошиблись: вы думали о боге, вы приняли человека за ангела. Когда взошла луна, когда она осветила мои черты и рассеяла эту тьму, укрывающую ваши вымыслы, вы улыбнулись от жалости: вы узнали чело Стенио – чело Стенио, на котором вы, однако, запечатлели свой поцелуй!

Все ясно, вы хотите, чтобы я об этом забыл! Вы боитесь, что я сберегу это пьянящее ощущение и буду жить им целый день! Успокойтесь, это счастье не ослепило меня; хоть оно и выпило мою кровь, хоть оно и разбило мне сердце, разум мой не помутился. Разум никогда не может помутиться возле вас, Лелия! Успокойтесь, говорю вам, я не из тех самоуверенных шалопаев, для которых поцелуй женщины – залог любви. Я не считаю себя способным оживлять мрамор и воскрешать мертвых.

И вместе с тем дыхание ваше разгорячило мой мозг. Едва только губы ваши коснулись моих волос, мне показалось, что меня пронзает электрическая искра. Волнение было так сильно, из груди моей вырвался страдальческий крик. Нет, вы не женщина, Лелия, я это отлично вижу! Я мечтал, что один из ваших поцелуев станет для меня раем, а вы низвергли меня в ад.

Вместе в тем ваша улыбка была так ласкова, в ваших нежных словах было столько нежности, что я потом отдался утешению, которое вы несли. Это страшное чувство немного улеглось, я научился касаться вашей руки и не дрожать. Вы явили мне небо, и я поднимался туда на ваших крыльях.

Я был счастлив в эту ночь, вспоминая ваш последний взгляд, ваши последние слова: я не льстил себе, Лелия, клянусь вам. Я отлично знаю, что вы меня не любите, но я уснул в том оцепенении, в которое вы меня повергли. И вот вы уже будите меня, ваш зловещий голос кричит: «Помни, Стенио, любить тебя я не могу!» Ах, я это знаю, Лелия, я слишком хорошо это знаю!»

20

«Прощайте, Лелия, я лишу себя жизни. Сегодня вы сделали меня счастливым, завтра вы мгновенно отнимете у меня счастье, которое по неосмотрительности или из прихоти вы мне подарили сегодня вечером. Мне не надо жить до завтра, мне надо уснуть в моей радости и больше уже не пробуждаться.

Яд готов; теперь я могу говорить с вами свободно – больше вы меня не увидите, вы не сможете привести меня в отчаяние. Может быть, вы еще пожалеете жертву, которую вам дано было мучить, игрушку, которую интересно было трепать в угоду своему капризу. Вы говорили, что любите меня больше, чем Тренмора, но уважали вы меня меньше, чем его. Разумеется, вы не можете его мучить так, как захочется; когда дело доходит до этого, ваша сила изменяет вам, ваши когти не могут поцарапать это сердце, твердое как алмаз. Я же был мягким воском, на котором каждое прикосновение оставляло след; как художник, я понимаю, что со мною вам было легче. Вы всячески терзали меня и придавали мне все формы, какие только создавало ваше воображение. Когда вы бывали мрачной, вы приобщали ваше творение к чувству, которое вами владело. Когда вы бывали спокойнее, вы наделяли его ангельским спокойствием; когда вы бывали раздражены, вы заражали его страшной улыбкой, которую дьявол запечатлевал на ваших губах. Так скульптор из одного и того же кусочка глины может вылепить и божество и змею.

Лелия, прости мне эту минуту ненависти, которую ты вселяешь в меня – я ведь люблю тебя страстно, иступленно, отчаянно. Я могу тебе это сказать, и в словах моих не будет ни ослушания, ни обиды – они будут последними, которые я обращаю к тебе: ты причинила мне много зла! А ведь как легко было сделать из меня счастливого человека, поэта с радужными мечтами, с жи-

выми чувствами: стоило сказать мне одно только слово днем, стоило только раз улыбнуться вечером – и ты сделала бы меня великим, ты бы сохранила мне молодость! Вместо этого ты стараешься только опустошить меня, лишити меня мужества. Говоря, что ты хочешь сохранить во мне священный огонь, ты гасила его до последней искорки; ты со злобой его раздувала и выжидала пока разгорится пламя, чтобы совсем его погасить. Теперь я отказываюсь от любви, отказываюсь от жизни. Ты довольна! Прощай!

Приближается полночь. Я уйду... туда, куда ты не придешь, Лелия! Ибо не может быть, чтобы в будущем пути наши сошлись. Мы никогда не будем поклоняться одной и той же силе, мы никогда не будем жить на одном и том же небе...»

21

Прошло двенадцать. Когда Тренмор пришел к Стенио, поэт сидел задумчиво у огня. Было холодно и темно; ветер с пронзительным свистом пробирался под деревянную обшивку дома. На столе перед Стенио стоял наполненный до краев бокал. Задев его плащом, Тренмор его опрокинул.

– Вам надо пойти со мной к Лелии, – сказал он многозначительно, но спокойно. – Лелия хочет вас видеть. Мне кажется, что час ее пришел – она скоро умрет.

Стенио стремительно вскочил, но тут же снова упал на стул: он весь побледнел, силы ему изменили; потом он снова поднялся, судорожно схватил руку Тренмора и побежал к Лелии.

Она лежала на диване; лицо ее было мертвенно-бледно; глаза глубоко запали; глубокая складка залегла на лоб, всегда белый и гладкий. Но голос ее был звучен и уверен, и презрительная улыбка играла, как обычно, на ее беспокойных губах.

Возле нее стоял миловидный доктор Крейснейфеттер, приятный человек, совсем еще молодой, светловолосый, румяный, с белыми руками, снисходительно улыбающийся и говоривший успокоительным и покровительственным тоном. Доктор фамильярно держал руку Лелии и время от времени проверял пульс, а потом гладил ее прелестные шелковистые волосы, изящно подобранные на затылке.

– Все это пустяки, – говорил он, любезно улыбаясь, – сущие пустяки. Это холера, азиатская холера, самая обыкновенная сейчас вещь на свете и лучше всего изученная болезнь. Успокойтесь, мой ангел! У вас холера, эта болезнь уносит за полчаса тех, кто по слабости своей ее пугается, но несколько не опасна для таких стойких натур, как мы с вами. Главное, не пугайтесь, любезная иностранка! Нас здесь двое, кто не боится холеры, мы с вами не поддадимся ей! Отпугните же это мерзкое привидение, это отвратительное чудовище, от которого у людей волосы встают дыбом. Посмеемся над холерой – это единственный способ справиться с ней.

– А что, если попробовать пунш доктора Мажанди? – предложил Тренмор.

– Почему бы и не попробовать пунш доктора Мажанди, – отвечал миловидный доктор, – если у больной нет отвращения к пуншу?

– Я слышала, – с язвительным хладнокровием заметила Лелия, – что он очень вреден. Попробуем лучше успокаивающие средства.

– Попробуем успокаивающие средства, если вы в них верите, – сказал миловидный доктор Крейснейфеттер.

– Но что бы вы нам посоветовали сами по совести? – спросил Стенио.

При слове «совесть» доктор Крейснейфеттер посмотрел на молодого поэта: во взгляде этом были сочувствие и насмешка; потом он быстро совладал с собою и серьезным тоном сказал:

– Моя совесть предписывает мне совсем ничего не предписывать и никак не вмешиваться в течение этой болезни.

– Это очень хорошо, доктор, – сказала Лелия. – Но уже становится поздно, покойной ночи. Не лишайте себя дольше драгоценного сна.

– О, не обращайтесь внимания, – ответил доктор, – мне здесь очень хорошо, и мне интересно следить за развитием болезни. Я изучаю, я страстно люблю свою профессию, и я охотно пожертвую ради нее развлечением и отдыхом, я готов даже пожертвовать жизнью, если бы это понадо-

билось для блага человечества.

– А что же вы называете своей профессией, доктор Крейснейфеттер? – спросил Тренмор.

– Я утешаю и ободряю людей, – ответил доктор, – в этом мое призвание. Наука раскрыла мне всю важность болезней, которые грозят человеку. Я устанавливаю их, наблюдаю, присутствую при развитии и извлекаю пользу из моих наблюдений.

– Чтобы применить все ваши гигиенические познания к вашей дражайшей персоне, – заметила Лелия.

– Я не очень верю во влияние какой-либо системы, – продолжал доктор. – В нас всех с самого рождения заложены зачатки грядущей смерти, и рано или поздно она все равно наступит; наши усилия отдалить ее часто только ускоряют ее наступление. Лучше всего не думать о ней и ждать ее, забыв, что она придет.

– Вы великий философ, – сказала Лелия, беря табак из табакерки доктора.

Тут у нее начались судороги, и она почти без чувств упала на руки Стенио.

– Крепитесь, прелестное дитя! – воскликнул юный доктор. – Если вы хоть чуточку поддадитесь вашей болезни, все пропало. Но если вы сумеете сохранить присутствие духа, она для вас будет не страшнее, чем для меня.

Лелия приподнялась на диване и, глядя на него потускневшим от страдания взглядом, все же нашла еще в себе силу иронически улыбнуться.

– Бедный доктор, – сказала она, – хотела бы я тебя видеть на моем месте!

«Благодарю покорно», – подумал доктор.

– Так вы говорите, что не верите в действие лекарств; выходит, вы не верите в медицину, – сказала она.

– Простите, я изучаю анатомию и науку о человеческом организме, его изменениях и его недугах. Это наука позитивная.

– Да, – сказала Лелия, – наука, которую вы изучаете как приятное искусство. Друзья мои, – продолжала она, повернувшись спиной к доктору, – сходите-ка за священником: я вижу, что врач бросает меня на произвол судьбы.

Тренмор побежал за священником. Стенио порывался сбросить врача с балкона.

– Не трогай его, – сказала Лелия, – мне с ним забавно; дай ему какую-нибудь книгу, отведи ко мне в кабинет и посади там перед зеркалом, пусть он займется. Когда я почувствую, что присутствие духа меня покидает, я пошлю за ним, чтобы он поучил меня стоицизму и чтобы я, умирая, могла смеяться над этим человеком и над его наукой.

Священник явился. Это был высокий и представительный ирландский священник из капеллы святой Лауры. Он приблизился к больной медленно и торжественно. Вид его внушал благоговейное уважение: одного его спокойного, глубокого взгляда, который, казалось, отражал небо, было бы достаточно, чтобы вселить в человека веру. Истрадавшаяся Лелия уткнула лицо в сведенную судорогой руку, на которую упали ее черные волосы.

– Сестра моя! – воскликнул священник голосом звучным и проникновенным.

Лелия опустила руку и медленно повернулась к святому отцу.

– Опять эта женщина! – воскликнул он, в страхе от нее отступая.

Лицо его перекошилось, его полные ужаса глаза впились в нее, он весь побелел, и Стенио вспомнил тот день, когда священник этот побледнел и задрожал, встретив скептический взгляд, которым Лелия окинула толпу молящихся в церкви.

– Это ты, Магнус, – прошептала она, – ты узнаешь меня?

– Как не узнать тебя, женщина! – вскричал растерянный священник. – Как не узнать! Ложь, отчаяние, гибель!

В ответ Лелия только расхохоталась.

– Подойди сюда, – сказала она, притягивая его к себе своей холодной, посиневшей рукой, – подойди сюда, священник, и поговори со мною о божестве. Ты знаешь, зачем тебя позвали сюда? Тут есть душа, которая покидает землю, и надо отправить ее на небо. Можешь ты это сделать?

Оцепеневший от ужаса священник молчал.

– Послушай, Магнус, – сказала она с печальной иронией, поворачивая к нему свое бледное

лицо, уже покрытое тенью смерти, – выполняй миссию, которую тебе доверила церковь, спасай меня, не трать времени зря – я скоро умру!

– Лелия, – ответил священник, – я не могу спасти вас, вы это отлично знаете: вы сильнее, чем я.

– Что это значит? – спросила Лелия, приподнимаясь со своего ложа. – Неужели я уже в стране грез? Неужели я больше не принадлежу к человеческому роду, который пресмыкается, просит и умирает? Неужели этот обьятый ужасом дух не человек, не священник? Не помутился ли у вас разум, Магнус? Вы вот стоите передо мною живой, а я умираю. И вместе с тем мысли ваши путаются, а ваша душа слабеет, в то время как моя спокойно просит дать ей силу взлететь ввысь. О вы, маловерный, призовите бога к вашей умирающей сестре и оставьте детям этот суеверный ужас; он способен только внушить жалость. В самом деле, кто такие вы все? Вот изумленный Тренмор, вот Стенио, юный поэт; он смотрит на мои ноги, и ему кажется, что на них когти. А вот и священник, он отказывается дать мне отпущение грехов и напутствовать меня! Неужели я уже умерла? Неужели все это сон?

– Нет, Лелия, – сказал наконец священник голосом печальным и торжественным. – Я не считаю вас злым духом. В злых духов я не верю, и вы это хорошо знаете.

– Ах! Ах! – воскликнула она, поворачиваясь к Стенио. – Послушайте только этого священника. Нет ничего менее поэтичного, чем человеческое совершенство. Хорошо, отец мой, давайте отвергнем сатану, осудим его на небытие; я не дорожу союзом с ним, хотя все демоническое теперь в моде и это он внушил Стенио хорошие стихи в мою честь. Если дьявол не существует, я спокойна за свое будущее. Я могу хоть сейчас расстаться с жизнью, и в ад я не попаду. Но куда мне тогда идти, скажите? Куда вам угодно меня направить, отец мой? Вы говорите, на небо?

– На небо! – воскликнул Магнус. – Вас на небо? И ваши уста дерзнули произнести это слово?

– А что, разве неба тоже не существует? – спросила Лелия.

– Женщина, – ответил священник, – для тебя его не существует!

– И это называется утешитель! – воскликнула она. – Но раз ты не можешь спасти мою душу, пусть приведут врача и пусть он за любые деньги спасет мне жизнь.

– Мне тут нечего делать, – сказал доктор Крейснейфеттер, – болезнь развивается нормально, и все известно наперед. Вам хочется пить? Так пусть вам принесут воды, и успокойтесь. Будем ждать! Лекарства вас сейчас могут убить. Предоставим все природе.

– Добрая природа! – сказала Лелия. – Мне бы хотелось признать тебя! Но где ты, где твое милосердие, где твоя любовь, где твоя жалость? Я хорошо знаю, что произошла от тебя и к тебе должна возвратиться, но во имя чего должна я молить тебя оставить меня здесь еще на один день? Мол-сет быть, есть где-нибудь клочок иссушенной земли, которому нужен прах мой, чтобы там могла вырасти трава. Если это так, то надо, чтобы я осуществила мое предназначение. Но вы, святой отец, призовите на меня взгляд того, кто выше природы и кто может повелевать ей. Он может приказать чистому ветерку влиться в мое дыхание, соку растений оживить меня, солнцу, которое взойдет в небе, разогреть мою кровь. Так научите же меня молиться богу!

– Богу! – повторил священник, сокрушенно опустив голову. – Богу!

Горячие слезы потекли по его бледным щекам.

– О, господи! – сказал он. – О бежавшая от меня сладостная мечта! Где ты? Где мне найти тебя? Надежда, почему ты безвозвратно меня покидаешь? Дайте мне уйти отсюда, сударыня! Здесь сомнения снова застилают мне душу мраком; здесь перед лицом смерти рассеивается моя последняя надежда, моя последняя иллюзия! Вы хотите, чтобы я даровал вам небо, чтобы я помог вам найти господина. Так вы ведь узнаете тогда, существует он или нет; выходит, вы счастливее меня – я-то ведь этого не знаю!

– Уйдите, – сказала Лелия, – гордые люди, уйдите от меня прочь! А вы, Тренмор, взгляните на все это, взгляните на этого врача, который не верит в науку, и на этого священника, который не верит в бога. А ведь врач этот – ученый, а священник – теолог. Говорят, что один облегчает страдания умирающих, а другой утешает живых; и обоим им не хватает веры у постели умирающей женщины!

– Сударыня, – сказал Крейснейфеттер, – если бы я вел себя с вами как врач, вы бы высмеяли меня. Я знаю вас, вы не обыкновенная женщина, вы философ...

– Сударыня, – сказал Магнус, – вы забыли нашу прогулку в лесу на Гримзеле? Ведь если бы я осмелился вести себя с вами как священник, вы заставили бы меня впасть в безверие.

– Так вот, оказывается, в чем ваша сила! – с горечью сказала Лелия. – Вы черпаете ее в слабости другого. А как только вы встречаете сопротивление, вы отступаете и со смехом признаетесь, что занимались обманом людей. О шарлатаны и лицемеры! Горе нам, Тренмор, куда мы с вами попали! В какое время мы живем! Ученый все отрицает, священник во всем сомневается. Посмотрим, существуют ли еще поэты. Возьми свою арфу, Стенио, и спой мне стихи Фауста или загляни в свои книги и расскажи мне о страданиях Обермана, о восторгах Сен-Пре. Посмотрим, поэт, не разучился ли ты понимать страдание; посмотрим, юноша, веришь ли ты еще в любовь.

– Увы, Лелия! – вскричал Стенио, заламывая свои белые руки, – вы женщина, и вы в это не верите! Что же такое творится с нами, со всем нашим веком?

22

«Бог неба и земли, бог силы и любви, услышь чистый голос, который исторгнут из чистой души и из девственного лона! Услышь мольбу ребенка, верни нам Лелию!

Почему, господи, ты хочешь так рано отнять у нас нашу любимую? Услышь громкий и могучий голос Тренмора, человека, который страдал, человека, который жил, услышь призыв другого, еще не изведавшего в жизни зла. Оба просят тебя оставить им Лелию, их богатство, их поэзию, их надежду! Если ты уже можешь подарить ей небесную славу и окружить ее вечным блаженством, возьми ее, господи, она принадлежит тебе; то, что ты предназначил ей, выше того, что ты у нее отнимаешь. Но, спасая Лелию, не терзай нас, не губи, господи! Позволь нам следовать за ней и встать на колени у ступенек трона, на котором она должна восседать...»

– Все это очень хорошо, – сказала Лелия, прерывая его, – но это всего-навсего стихи. Оставьте в покое эту арфу или положите ее на окно: ветер сыграет на ней лучше, чем вы. Теперь подойдите ближе. А ты, Тренмор, оставь нас – спокойствие твое печалит меня и приводит в отчаяние. Подойди, Стенио, говори мне о себе, обо мне. Бог слишком далеко, боюсь, что он нас не услышит; но частица его вложена в тебя. Покажи мне бога, сокрытого в твоей душе. Мне кажется, что пылкое тяготение этой души к моей, горячая молитва, которую ты обратил бы ко мне, дали бы мне силу жить. Силу жить! Да! Надо только захотеть. Моя болезнь, Стенио, состоит в том, что я не могу найти в себе эту волю. Ты улыбаешься, Тренмор. Уходи. Увы! Стенио, верь мне, я пытаюсь противостоять смерти, но это лишь слабая попытка. Я не столько ее боюсь, сколько хочу, мне хотелось бы умереть просто из любопытства. Увы! Мне необходимо небо, но меня одолевает сомнение... И если над всеми этими звездами нет никакого неба вообще, я хотела бы насладиться его видом, покамест я еще на земле. Может быть, ожидать его надо только здесь, внизу? Может быть, оно в сердце человека?.. Ты молод и полон жизни, так скажи мне, может быть, любовь – это и есть небо? О, как путаются мысли, прости мне эти минуты бреда. Так хотелось бы во что-нибудь верить, пусть в тебя, пусть даже за час до того, как я навсегда расстанусь с людьми и с богом!

– Сомневайся в боге, сомневайся в людях, сомневайся во мне, если хочешь, – сказал Стенио, становясь перед ней на колени, – только не сомневайся в любви: не сомневайся в сердце своем, Лелия! Если ты должна сейчас умереть, если мне суждено потерять тебя, мука моя, мое сокровище, моя надежда, дай мне по крайней мере поверить в тебя на час, на миг. Увы! Неужели ты умрешь так, что я даже не увижу тебя живой? Неужели я умру с тобой, и ты, та, которую я обнимал, останешься для меня только грезой? Господи! Неужели любовь существует только в сердце, которое стремится, в воображении, которое страдает, в снах, которые баюкают нас ночами, когда мы одни? Неужели это неуловимое дыхание ветра? Неужели это метеор, который сверкнет и исчезнет? Неужели это слово? Что это такое, господи? О небо! О женщина! Неужели вы так и не скажете мне, что же это такое!

– Это дитя хочет вывести у смерти тайну жизни, – сказала Лелия, – он преклоняет колена

над гробом, чтобы изведать любовь! Бедное дитя! Боже, пожалей его и верни мне жизнь, чтобы сохранить его жизнь! Если ты мне вернешь ее, я даю тебе обет жить ради него. Он говорит, что я богохульствовала, возводя хулу на любовь. Ну что же, я склоню мою гордую голову, я буду верить, буду любить!.. Сделай только так, чтобы я жила жизнью плоти, и я попытаюсь жить жизнью души.

– Ты слышишь, господи, – воскликнул Стенио, – слышишь, что она говорит, что обещает? Спаси ее, спаси меня! Отдай мне Лелию, верни ей жизнь!..

Лелия вся похолодела и упала на пол. Это был последний, страшный приступ. Стенио прижал ее к груди; он был в отчаянии и плакал. Грудь его горела, горячие слезы падали на лицо Лелии. От его живительных поцелуев губы ее покраснели, молитва его, может быть, умилила небо: Лелия чуть приоткрыла глаза и сказала Тренмору, который помог ей приподняться:

– Стенио возвысил мне душу, если вы хотите снова сломить ее вашим разумом, убейте меня сейчас же.

– Зачем я буду отнимать у вас единственный остающийся вам день? – сказал Тренмор. – Последнее перо с его крыла еще не упало.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

23. МАГНУС

Однажды утром Стенио спускался по лесистым склонам Монте-Розы. Пробираясь по тропинке, заросшей густой травой, он вышел на открытую площадку, образовавшуюся от обвала. Это были дикие и величественные места. Вокруг обломков скалы разрослась пышная зелень. Высокие ломоносы обвивали своими пахучими ветками разбросанные по оврагу запыленные камни. С обеих сторон огромными отвесными стенами высились склоны горы, окаймленные темными елями и увитые диким виноградом. На самом дне жерловины по выстланному разноцветными камушками руслу катился прозрачный поток. Если вам никогда не приходилось видеть стремнины, бегущей по разрытому чреву горы с бесчисленным множеством водопадов, очищающих ее воды, вы не знаете, сколько красоты может быть в водной стихии и сколько чистой гармонии.

Стенио любил проводить ночи, завернувшись в плащ, где-нибудь у края водопада, под благоговейной сенью высоких кипарисов, в немых, неподвижных ветвях которых замирали ветры. Их густые верхушки приглушают стоны бури, а таинственный и глубокий рокот воды, вырывающийся откуда-то из недр земли, подобен церковному хору, доносящемуся из мрачных катакомб. Улегшись на свежей, искрящейся росинками траве у самого края потока, поэт любовался луной и, слушая журчание воды, забывал о часах, которые он мог бы провести с Лелией, ибо в этом возрасте все становится счастьем любви, даже разлука. Сердце того, кто любит, так богато поэзией, что ему бывает нужно уединиться и сосредоточиться, чтобы с упоением предаться мыслям о любимой, наделяя ее в своем представлении теми качествами, которые в действительности существуют лишь в нем самом.

Много ночей Стенио провел в этом экстазе. Багряные заросли вереска укрывали его голову, полную пылких мечтаний. Утренняя заря усыпала его мягкие волосы своими благоухающими слезниками. Высокие сосны в лесу обдавали его ароматом, который они источают всегда на рассвете; зимородок, живущая у воды красивая одинокая птица, печально кричал среди черных камней и белой пены потока, который любил поэт. Это была чудесная жизнь любви и молодости, жизнь, которая впитала в себя счастье сотни жизней и которая вместе с тем пронеслась столь же стремительно, как эти кипучие воды и парившая над водопадами птица.

В падающей, в бегущей речке слышатся тысячи голосов, разнообразных и мелодичных, переливаются тысячи красок, темных и светлых. То, незаметная и робкая, она набегает, вся дрожа, на полосы мрамора, которые оставляют на ней свой иссиня-черный отблеск; то, белая как молоко, она пенится и впрыгивает на скалы – голос ее тогда словно перехвачен гневом. То, зеленая,

как трава, которой она едва касается проходя, или голубая, как тихое небо, которое она отражает, она свистит в тростнике, словно охваченная страстью змея; то спит на солнце и просыпается, чуть слышно вздыхая от малейшего дуновения ласкающего ее ветерка. Порой она ревет будто заблудившаяся в ущельях телка, и низвергается торжественно и мерно в пучину, которая захватывает ее, укрывает в своих глубинах и душит. Тогда она бросает солнечным лучам легкие капельки брызг, и те окрашиваются всеми оттенками радуги. Когда ее прихотливые переливы пляшут над зияющей пропастью, она кажется нам прозрачной сильфидой, и взгляды наши зачарованы всем этим волшебством, словно по мановению заклинателя змей. Воображение наше бессильно, ибо то, что создано мыслью, не может быть прекраснее дикой и грубой природы. Надо только глядеть на нее, надо все ощутить: самым великим поэтом становится тогда тот, кто меньше всего сочиняет.

Но в глубине сердца Стенио таился источник всякой поэзии – любовь. И, упоенный этой любовью, он как бы венчал самые поразительные картины природы великою мыслью, великим образом – образом Лелии. До чего же хороша была Лелия, отраженная в горных потоках и душе поэта! Какой строгой и возвышенной она казалась ему в серебряном сиянии луны! Каким звучным, каким вдохновенным был ее голос в стенаниях ветра, в воздушных аккордах водопада, в магнетическом притяжении цветов и трав, которые ищут, призывают и целуют друг друга во мраке ночи, в час священных тайн и божественных откровений! Лелия была тогда всюду: в воздухе, в небе, в каждом ручейке, в цветах. В отблесках звезд Стенио видел ее переменчивый и пронизательный взгляд; в дуновении ветерка он слышал ее едва различимые слова; шепот волны нес ему ее священные песни, ее глаза провидицы; ему чудилось, что в чистой небесной лазури парит ее мысль – то словно бледный, смутный и полный грусти крылатый призрак, то словно ангел, излучающий свет, то будто демон, презрительный и насмешливый. Раздумья Лелии всегда были отмечены чем-то ужасным, но ужас этот только разжигал страстные желания юноши.

В безумии своем, бродя ночами по безмолвным пустынным долинам, он громко ее призывал; и когда голос его пробуждал уснувшее эхо, ему казалось, что далекий голос Лелии печально отвечает ему из недр облаков. Когда шум его шагов спугивал лань, которая паслась на траве, и он слышал, как, убегая, она шуршит разбросанными по тропинке листьями, ему чудилось, что это легкие шаги Лелии, что это шуршит ее платье, осыпающее с куста цветы. А если какая-нибудь из красивых птиц этих долин – горный тетерев с серебристой грудью, розовато-жемчужный поползень или куропатка с черными без отблесков перьями – садилась рядом и глядела на него спокойно и гордо, готовая взмахнуть крыльями и взлететь в небо, Стенио думал, что, может быть, это Лелия, принявшая ее образ и готовая улететь в вольные края.

«Может быть, – думал он, снова спускаясь в долину, доверчивый и боязливый, как ребенок, – может быть, мне уже больше не отыскать Лелию среди людей».

И он в ужасе упрекал себя за то, что мог покинуть ее так надолго, хоть в мыслях его она была с ним на всех его прогулках, хоть все горы и облака были полны ею, хоть образ ее чудился ему на самых недостижимых вершинах, там, где меньше всего можно было надеяться ее встретить.

В этот день он остановился у глубокой лесной прогалины и приготовился было уже возвращаться назад, ибо увидел перед собой человека, а самые красивые пейзажи теряют свою прелесть, когда одиночество того, кто приходит помечтать, бывает нарушено.

Но незнакомец был красив и суров, как сами эти места. Взгляд его горел, как восходящее солнце, и первые вспышки зари, которыми был окрашен ледник, яркими отблесками своими озарили величественное лицо священника. Это был Магнус. Казалось, он взволнован чем-то только что виденным. В глазах его можно было прочесть то радость, то скорбь. Волнение его молодило.

Увидев Стенио, он поспешил к нему.

– Ну вот, юноша, – торжествующе воскликнул он, – ты один, ты плачешь, ты ищешь бога! Женщины больше не существуют!

– Женщины! – повторил Стенио. – Для меня на свете существует только одна женщина. Но о какой женщине вы говорите?

– Об единственной для вас и для меня женщине на свете, о Лелии! Скажите мне, юноша,

верно ли, что она умерла? Отреклась ли она от бога, предав свою душу дьяволу? Видели ли вы, как черная фаланга духов тьмы толпится возле ее изголовья и терзает ее в минуты агонии? Видели ли вы, как покинула тело ее душа, проклятая, мертвенная и мрачная, с огненными крыльями и окровавленными когтями? Так вздохнем же теперь свободно! Господь очистил землю, он низверг сатану в его хаос. Теперь мы можем молиться, можем надеяться. Посмотрите, как радостно всходит солнце, как свежи и красны в долине розы! Посмотрите, как птицы взмахивают своими крыльями, как легко они взмывают к небу! Все возрождается, все надеется, все будет жить! Лелия умерла!

– Несчастный! – вскричал Стенио, хватая священника за горло. – Что за дьявольские слова у вас на языке? Какое безумие, какая гибельная мысль вами овладела? Откуда вы? Где вы провели ночь? Откуда вы знаете то, что вы дерзнули сказать? Давно ли вы покинули Лелию?

– Я покинул Лелию туманным, холодным утром. Начинало светать. Пронзительно кричал петух. Голос его врезался в тишину и отдавался под кровлей домов, как зловещее пророчество. Ветер завывал под пустынным порталом собора. Я прошел по наружной галерее, чтобы пойти к умирающей. Шпили зубчатых башенок скрывались в тумане, и большая статуя бледнолицего архангела на восточной стороне тонула в утренней мгле. Тут я отчетливо увидел, как архангел взмахнул своими большими каменными крыльями, словно готовый вспорхнуть орел, только ноги его остались прикованы к карнизу, и я услышал, как он произнес: «Лелия еще не умерла!». В эту минуту пролетела сова – она задела мой лоб своим влажным крылом и скорбным голосом повторила: «Лелия не умерла!». И белая мраморная дева, укрывшаяся в западной нише, испустила глубокий вздох и сказала: «Еще нет», голосом таким слабым, что мне показалось – все это я вижу во сне, и я останавливался несколько раз по дороге, чтобы удостовериться, что не сплю.

– Святой отец, – сказал Стенио, – вы помутились умом. О каком утре вы говорите? Знаете вы, сколько времени прошло с тех пор, как все это совершилось?

– С того дня, – ответил Магнус, – я видел, как несколько раз солнце всходило и, сияя, разливалось на этот сверкающий лед свои ослепительные лучи. Не могу вам сказать, сколько раз это повторялось. С тех пор, как Лелии нет на свете, я перестал считать дни, перестал считать ночи, жизнь моя течет чисто и беззаботно, как сбегает с холма ручеек. Душа моя спасена...

– Слава богу, вы не своим уме! – сказал юноша. – Вы говорите о той страшной болезни, которая месяц назад едва не отняла у нас Лелию. В самом деле, по волосам вашим и бороде я вижу, что вы давно уже в горах. Пойдемте со мной, несчастный человек, я постараюсь выслушать историю ваших страданий и облегчить их.

– Мои страдания окончились, – сказал священник с улыбкой, которую можно было принять за ниспосланную свыше – такой она была спокойной и кроткой. – Я живу; Лелия умерла. Выслушайте рассказ о моей радости. Когда я явился в жилище этой женщины, я почувствовал, что земля колеблется у меня под ногами, а когда я хотел взойти на лестницу, ступеньки три раза ускользали у меня из-под ног. Но когда двери открылись, я увидел множество людей и тут же вспомнил, как должен себя держать священник перед народом, чтобы заставить уважать и бога и себя. Я совсем позабыл о Лелии. Я прошел по комнатам без волнения и без страха. Когда я очутился в самой дальней комнате, я больше не помнил имени женщины, которую хотел видеть, ибо, повторяю, там было много народа и я чувствовал на себе чужие взгляды. Знаете ли вы, как тяжел человеческий взгляд? Случалось ли вам когда-нибудь прикидывать его на вес? О, он тяжелее, чем вот эта гора; но чтобы в точности знать, что это такое, надо быть священником, носить рясу, которую вы видите на мне, сын мой: помнится, это был кабинет, весь обтянутый белым и заполненный капканами и ловушками. Сначала у меня было такое чувство, что я иду по мягкой и тонкой шерсти ковра, – мне показалось, что в алебастровых вазах стоят белые розы, а из матовых стеклянных шаров льется белый ласковый свет. Мне показалось также, что на белой атласной постели я вижу женщину в белой одежде. Когда она повернула ко мне свое мертвенно-бледное лицо, когда я встретил ее холодный взгляд, владевшее мною очарование сразу исчезло. Я стал ясно все видеть вокруг и узнал место, куда меня привели. Розы превратились в змей, стебли их стали извиваться, страшные головы потянулись ко мне. Стены окрасились кровью, благоухающие вазы наполнились слезами, и я увидел, что ноги мои больше не касаются земли.

Лампы извергали красное пламя, оно поднималось в воздух пылающими кольцами, которые душили меня, как угрызения совести. Я снова взглянул на диван: это была по-прежнему Лелия, но она лежала на раскаленных углях, она умирала в страшных мучениях. Хорошо помню, что она просила меня спасти ее; но тут я сразу же вспомнил о том, как когда-то обращался к ней с тщетными мольбами, вспомнил, сколько напрасных слез я пролил у ее ног, и меня охватило злобное чувство. Она погубила мою душу, она отняла у меня бога, я был рад, что получил возможность отомстить ей, погубить ее душу и, в свою очередь, отнять у нее бога; вот почему я проклял ее и спасся, и господь вознаградил мою храбрость, ибо тотчас же облако заволокло мой взгляд. Лелия исчезла, исчезли и змеи; языки пламени, и кровь, и слезы – все исчезло, и я очутился под сводами собора, и вокруг меня не было ни души. Светало, туман понемногу рассеивался; каменный архангел у входа поднес тогда к губам трубу, которую столько веков держал в неподвижной руке. Он громко затрубил, и в звуках фанфары я услышал спасительный крик:

– Лелии больше нет!

Тогда пресвятая дева из белого мрамора, та дева, на которую, проходя у ее ног, я не смел взглянуть, ибо она была похожа на Лелию, это дева, такая бледная и такая красивая, у которой семь мечей в груди и все страдания души на челе, упала на ступеньки церкви и разбилась вдребезги. Доживи я до ста лет, я никогда этого не забуду. Скажите мне, вы видели осколки?

– Вчера вечером я проходил мимо, – ответил Стенио, – и могу вас уверить, что она все так же хороша собой и с ней ничего не случилось.

– Не кощунствуйте, юноша, – сказал священник с ужасающей серьезностью.

– Господь поразит вас своим проклятием, он отнимет у вас разум; я боюсь, что вы и теперь уже сошли с ума, ибо говорите вы как умалишенный. Знаете вы, что такое человек? Знаете вы землю? Знаете вы небо?

– Пустите меня, святой отец, – сказал Стенио, которого сумасшедший тащил уже за собой в свою пещеру. – Я не могу без ужаса слушать ваши слова. Вы проклинаете Лелию, вы осуждаете ее на небытие – и вы еще смеете говорить о боге и смеете носить одежду его служителей!

– Дитя, – отвечал священник, – именно потому, что я боюсь бога, потому, что я уважаю свое одеяние, я проклинаю Лелию! Лелию! Мою беду, мое искушение, мою гибель! Лелию, которой мне не позволено было владеть, не позволено даже возжелать ее! Лелию, эту мерзкую и подлую женщину, которая явилась ко мне в церковь, которая осквернила священный алтарь, чтобы опьянить меня своими дьявольскими ласками!..

– Вы лжете! – вскричал Стенио в гневе. – Лелия никогда вас не преследовала, никогда не любила!..

– Ах, я это знаю, – спокойно сказал священник. – Вы меня не понимаете: послушайте, сядьте вместе со мной на эту вот лиственницу, перекинутую над пропастью. Вот тут, поближе ко мне, дайте мне руку и ничего не бойтесь. Дерево гнется, поток ревет, внизу, в темной глубине, пенится пучина. Какая красота! Это прообраз жизни.

С этими словами сумасшедший обхватил Стенио своими сведенными лихорадкой руками. Он был на голову выше юноши, и безумие придавало его мускулам невероятную силу. Мрачный взгляд устремился в бездну и измерял ее глубину, в то время как его растопыренные руки, казалось, готовы были столкнуть туда юношу. Несмотря на грозившую ему опасность, Стенио не терпелось услышать, что ему скажет священник – тайна, связывавшая его с Лелией, столько времени мучила его ревнивую душу, что он остался спокойно сидеть на дрожавшем над пропастью стволе. Такое место зовется чертов мост. В каждом ущелье, у каждого водяного потока есть свои опасные переправы, названные тем же выразительным именем и доступные только сернам, храбрым охотникам и ловким горским девушкам.

– Послушай, послушай, – вскричал священник, – было две Лелии: ты этого не знал, юноша, потому что ты не был священником, потому что у тебя не было ни откровений, ни видений, ни предчувствий. Ты жил самой обыкновенной жизнью, грубой и легкой. Я был священником, я знал и небесное и земное, и видел Лелию всю целиком, видел ее обе стороны, женщину и идею, надежду и действительность, тело и душу, дар и обещание; я видел Лелию такой, какой она вышла из лона господня: ее красоту – то есть соблазн; надежду – то есть испытание; благодеяние –

то есть ложь; вы меня понимаете?.. О, это ведь совершенно ясно, и если бы все люди не были сумасшедшими, они слушали бы слова мудреца, они бы знали, где опасность, они бы остерегались врага. А это был мой враг. Он двоился: вечером он приходил и садился в церковной галерее; я отчетливо его видел, я отлично знал место, где он имел обыкновение появляться. Я и сейчас еще вижу это проклятое место! Это было на отделанной бледно-голубым бархатом галерее, наверху, под самым сводом, между двумя высокими колоннами, на их хрупких каменных гирляндах. Там были две статуи ангелов, белых как снег, прекрасных как надежда; они сплели свои белые руки и скрестили свои мраморные крылья над гербовым щитом балюстрады. Туда-то она пришла и села! Она склонилась в нечестивом спокойствии, нагло облокотилась на склоненные головы двух прекрасных ангелов; она играла серебряной бахромой драпировки; она трепала свои локоны, дерзко оглядывала храм, вместо того чтобы опустить голову и поклониться всевышнему. О нет! Женщина эта явилась туда не для того, чтобы молиться! Она пришла, чтобы поразвлекаться, чтобы показать себя, как в театре, чтобы на час отдохнуть от празднеств и маскарадов, слушая звуки органа и песнопения. И вы все – молодые и старые, богатые и знатные, – вы собрались там, следя глазами за каждым движением, подмечая каждый ее мимолетный взгляд, стараясь уловить мысль в непроницаемой глубине ее глаз; вы бились, как грешники в могиле, когда наступает полночь, дабы привлечь к себе внимание этой женщины, которую все так добивались. А она! А Лелия! О, сколько в ней было власти над всеми, сколько величия! С каким презрением взидала она на мужчин! Как я любил ее тогда, как благословлял эту гордость! Какой она мне казалась красивой при матовом отблеске свечей, бледная и серьезная, надменная и кроткая! О, вы не знали ее! Вы не подозревали, что творится у нее в сердце, ее взгляд вам этого никогда не открыл, вы были столь же несчастны, сколь и я! Как мысль эта привязывала меня к ней! Скажите мне, скажите! Понимали вы когда-нибудь ее душу? Угадали ли вы, что рождалось под ее высоким челом? Проникли вы в ее мозг, рылись вы в сокровищах ее мысли? Нет, вам не довелось это сделать. Лелия не принадлежала вам. Вы не знаете, что такое Лелия. Вы не видели, как печально она улыбалась, как со скучающим видом мечтала; вы не видели, как вздымается ее грудь, как струятся слезы; вы не видели, как разливается ее гнев, ненависть или любовь! Скажите мне, юноша, вы ведь были не счастливее меня! Если только вы станете уверять меня, что это не так, бойтесь пропасти, что у вас под ногами!

– А что такое другая Лелия? – спросил молодой человек, нисколько не испугавшись истопленных слов Магнуса.

– Другая Лелия! – воскликнул Магнус, схватившись за голову, как будто она разрывалась от боли. – Другая! Это отвратительное чудовище, гарпия, дух; и, однако, то была все та же самая Лелия; то была только другая ее половина!

– Но где вы ее встречали? – с беспокойством спросил Стенио.

– О, повсюду, – ответил священник. – Вечером, как только кончалась служба, когда гасли свечи и толпы народа выходили из церкви, устремляясь вслед за мертвенно-бледной женщиной, которую звали Лелией; она медленно шла, закутанная в свою черную бархатную мантилью, увлекая за собой целый кортеж, который она не устаивала даже взглядом... Я тоже устремлялся за нею вслед – глазами, душою, но я чувствовал, что я священник: я был прикован к подножию алтаря; я не мог позволить себе побежать под портал, смешаться с толпой, поднять ее перчатку, подобрать лепесток розы с ее букета. Я не мог предложить ей воды из кропильницы и дотронуться до ее длинных, тонких рук, таких мягких и таких красивых!

– И таких холодных! – добавил Стенио, захваченный его рассказом. – Этот гранит, непрестанно омываемый струящимися из ледника потоками, не так холоден, как руки Лелии, когда бы вы их ни коснулись.

– Так, значит, вы прикасались к ней? – воскликнул священник и яростно сжал его плечи. Стенио остановил его одним из тех магнетических взглядов, в которых воля человека достигает такой степени, что способна подчинить себе даже волю диких зверей.

– Продолжайте! – сказал он. – Приказываю вам продолжать свой рассказ, или одним моим взглядом я сброшу вас в пропасть.

Сумасшедший побледнел и продолжал свой рассказ, охваченный глупым ребяческим стра-

хом.

– Ну, так знайте, – сказал он дрожащим голосом, робко глядя на Стенио, – знайте, что произошло со мною тогда. Я отрицал бога, я проклинал мою участь, я разорвал ногтями кружево моего белоснежного стихаря. О, я губил свою душу – и все-таки я боролся... Тогда... О господи, каким испытаниям ты подверг меня!.. Тогда в глубине погруженной во мрак церкви я видел тень; казалось, она прошла сквозь плиты гробниц. И эта неуловимая и парившая в воздухе тень все росла и росла, и я в ужасе почувствовал, как она хватает меня своими мертвенными руками. Это было страшное видение; я отбивался от нее, я тщетно молил ее и падал перед ней на колени, как перед господом.

«Лелия, Лелия! – говорил я. – Чего ты требуешь от меня? Чего ты хочешь? Разве я не воздвиг тебе нечестивый алтарь в сердце моем? Разве имя твое не смешалось в устах моих со священным именем девы Марии и ангелов? Разве не к тебе я возносил клубы ладана? Разве не поместил я тебя рядом с самым господом, о *ненасытная*? Чего только я не делал ради тебя! Каким только страшным и нечестивым мыслям я не открывал мое сердце! О, не мешай мне, не мешай мне молиться богу, чтобы он простил меня и чтобы сегодня я мог уснуть без этого нависшего надо мною проклятия». Но она не слушала, она обвиняла меня своими черными волосами, впиалась в меня своими черными глазами, зачаровала своей странной улыбкой, и я отбивался от этой безжалостной тени до тех пор, пока, замученный и совсем обессиленный, не упал на ступеньки алтаря.

И что же! Иногда, оттого что я смирялся перед господом, оттого что омывал мрамор слезами, мне случалось обрести ненадолго покой. Я выходил из церкви умиротворенный, я возвращался в мою тихую келью, измученный усталостью и одолеваемый сном. Но знаете, что делала тогда Лелия? Что придумала эта нечестивица для того, чтобы посмеяться надо мной, чтобы лишить меня мужества и погубить? Опередив меня, она забегала ко мне в келью; хитрость ее и злоба были таковы, что она забивалась в коврик моего анаоя, в песочные часы или в жасмины у меня под окном; и едва только я начинал мою последнюю молитву, как она вырастала вдруг передо мною и, кладя свою холодную руку мне на плечо, говорила: «Вот и я». И тогда мне снова приходилось приподнимать свои отяжелевшие веки, снова бороться с моим смущенным сердцем и повторять слова заклинаний до тех пор, пока призрак не исчезал. Иногда даже это страшное чудовище ложилось ко мне на кровать, на мою бедную, одинокую, холодную кровать, растягивалось на этом ложе, и, когда я раздвигал саржевые занавески алькова и находил ее там, она похотлива протягивала мне руки и смеялась над моим ужасом! О господи, сколько я всего выстрадал!

О женщина, о мечта, о желание! Сколько зла ты мне причинила! Сколько разных форм ты принимала, чтобы пробраться ко мне! Сколько ты мне лгала! Сколько ловушек ты мне расставляла!

– Магнус! – с горечью сказал Стенио. – От ваших слов кровь приливает мне к лицу. Надо быть священником, чтобы обладать таким бесстыдным воображением, так бесчестить Лелию.

– Нет, – ответил священник, – я не осквернил ее даже во сне. Господь видит меня и слышит, пусть он низвергнет меня в бездну, если я лгу! Я храбро боролся, в этой борьбе я истребал мою душу, истерзал мою жизнь и все-таки не уступил; и после этих страшных и жгучих ночей тень Лелии каждый раз уходила девственницей. Моя ли вина, что искушение было так ужасно? Почему призрак этой женщины шел за мной по пятам? Почему он преследовал меня всюду? Бывало, что, сидя в исповедальне, я сосредоточенно слушал мрачные признания отвратительной старухи в лохмотьях. И знаете, когда мне вдруг случалось, отвечая ей, на нее взглянуть, чье лицо возникало за решеткой вместо изъеденного морщинами лица старухи? Бледный лик, злобный и холодный взгляд Лелии. Тогда слова мои замирали на губах: холодный пот проступал на лбу, глаза застилал туман; мне казалось, что я умираю. Напрасно пытался я произнести слова заклинания. Я все забывал, забывал даже имя всевышнего; я был не в состоянии призвать небесные силы, и галлюцинация эта кончалась только тогда, когда раздавался хриплый и надтреснутый голос старухи, молившей меня об отпущении грехов. Мог ли я их отпустить, мог ли я освободить чужие души, когда моя собственная душа была скована нечистой силой!

Но, по счастью, Лелии больше нет. Она осуждена на вечные муки, а я живу и спасусь! Ибо, признаюсь, пока она жила, я был во власти ужаснейших искушений; мысли еще более разрушительные, чем все, что я только что вам поведал, роились в моем мозгу, и, побеждая все остальные, целыми днями его не покидали. Это были сомнения, это был атеизм, проникавший в меня, как яд. Были дни, когда я настолько уставал от борьбы, когда надежда на спасение мерцала где-то так далеко, что я старался с головой окунуться в окружающую меня жизнь. Что же, говорил я себе, будем счастливы хотя бы один этот день, будем человеком, если не можем быть ангелом. Почему надо мною непременно должен тяготеть закон смерти? Почему я должен отказывать себе в человеческой жизни и жить химерами грядущего? Другие люди счастливы, они свободны! Они вольно дышат, они ходят, приказывают, они любят, а я, я – труп, простертый на могильной плите, жалкий прах человека, неотделимый от останков религии! Они возлагают надежды на эту жизнь, и надежды их могут осуществиться, ибо они способны действовать. К тому же то, что мы видим, и впрямь существует, женщина, которую можно заключить в объятия, это не тень. У меня же есть только надежда на другую жизнь, а кто мне поручится, что жизнь эта действительно будет? Господи, ты, должно быть, вовсе не существуешь, если ты оставляешь меня во власти этих страшных сомнений! Говорят, было время, когда ты творил чудеса, чтобы поддержать в людях их заколебавшуюся веру. Ты посылаешь ангела, чтобы коснуться раскаленным углем немых уст Исая, являлся в неопалимой купине, в золотом облаке, в дуновении ночного ветра, а теперь ты глух, ты равнодушен к нашим заблуждениям, к нашим грехам. Ты покинул свой народ, ты более не протягиваешь руку помощи блуждающим во тьме, ты не обращаешься со словами, вливающими бодрость и силу, к тому, кто страдает и борется за тебя! О, ты всего только выдумка, ты пустое тщеславие человека, ты ничто! Тебя нет!..

Так я богохульствовал и давал себя увлечь порывам желаний. О, если бы я только дерзнул отдаться им безраздельно!.. Если бы я дерзнул взять мою долю жизни и овладеть Лелией хотя бы в душе!.. Но я не осмеливался и на это. В глубине души во мне таился где-то страх, мрачный и нелепый, и когда жар лихорадки становился всего сильнее, страх этот леденил мне кровь. Сатана не хотел ни овладеть мною, ни отпустить меня на свободу. Господь не удостоил ни позвать меня, ни оттолкнуть от себя. Но все мои страдания теперь окончились, ибо Лелия умерла, и я возвращаюсь к вере. Она ведь умерла, это так?

Священник опустил голову и впал в глубокое раздумье. Стенио ушел, а он даже не заметил его ухода.

24. ВАЛЬМАРИНА

Когда Стенио возвращался ночью в город, он, спускаясь с горы, встретил Эдмео; тот даже не заметил его и торопливо устремился в темное ущелье.

– Куда ты бежишь так быстро и с таким таинственным видом? – крикнул Стенио вслед своему молодому другу. – Я всегда считал тебя философом; неужели ты отказался от высшей мудрости во имя человеческой страсти, во имя чего-то земного? Говори же: я много выстрадал с тех пор, как мы с тобою расстались, мне надо, чтобы кто-то воодушевил меня на жизнь или смерть. Душа моя охвачена страшной тоской. Тысячи надежд манят меня, тысячи страхов удерживают; что бы ты ни посоветовал мне в эту минуту, я сделаю все. Сама судьба послала мне эту встречу; в голосе твоём я слышу голос провидения. Скажи мне, куда ты идешь в жизни? Скажи мне, что ты ищешь и чего стараешься избежать, во что ты веришь и что отрицаешь? Скажи мне, совершил ли ты выбор между скромным счастьем и благородным страданием?..

Он забросал Эдмео вопросами, и тот уступил желаниям своего друга. Он сел рядом с ним на скалу, поросшую мхом, у подножия разбитого каменного креста и взял руку Стенио в свои руки.

– Прежде чем отвечать тебе, – сказал он, – позволь мне самому тебя что-то спросить. Прежде чем согласиться на роль отца, которую ты на меня возлагаешь, надо, чтобы ты увидел во мне своего духовника. Расскажи мне, как ты жил этот год, раскрой мне до конца свою душу.

Стенио рассказал о своей любви, о своих сомнениях, страданиях, желаниях и надежде. Он

говорил с жаром, лоб, на который спадали влажные волосы, горел, и руки его дрожали в руках юноши. Когда он окончил, Эдмео в ответ только улыбнулся грустной улыбкой; на какое-то время он погрузился в раздумье и наконец ответил.

– Ты говорил мне, – сказал он, – о мире, который мне доселе еще незнаком, но тайны которого я понимаю. Все, что ты мне рассказал, я предчувствовал, видел в моих мечтах. Сколько раз, когда ты рассказывал мне о своих восторгах, когда я размышлял о твоих надеждах, сердце мое билось, лицо горело. Но теперь вот эти радостные фантазии тают, как сумеречные тени. Взгляни на эту белую звезду, что поднимается там над снежной вершиной... – Это Сириус, – сказал Стенио. – И это единственное, чему ты поклоняешься? Неужели ты посвятил себя безраздельно науке?

Эдмео покачал головой.

– Хотя у меня и есть склонность серьезно заниматься наукой, – сказал он, – я бы ни минуты не колебался между жизнью разума и жизнью сердца, такую, какую ты только что мне описал. Я ведь старше тебя всего на какой-нибудь год, Стенио, и хоть я не владею поэтическим даром, хоть взор мой потуплен и с женщинами я сдержан, я всякий раз дрожал, касаясь одежды прекрасной Лелии...

– Лелии! – воскликнул Стенио. – Я ведь не назвал вам этого имени! Так что же? Если бы я стал вопрошать эту скалу, то и она обрела бы голос и ответила бы мне: «Лелия»! А откуда вы знаете Лелию? Откуда вы узнали, что я ее люблю, Эдмео?

– Я ушел от нее час тому назад, – ответил Эдмео, – у меня было к ней важное поручение, несколько мгновений я с ней говорил... Лицо, голос, манеры – все в ней показалось мне странным, и, покинув ее, я долго не мог прийти в себя. Когда я встретил вас, я вас не видел, потому что был занят своими мыслями. Образ этой высокой бледной женщины витал передо мной. Слова ее холодны, Стенио, взгляд ее мрачен, душа словно из бронзы; поступки ее высоки, и печаль ее полна глубины и величия. Когда ты описал мне предмет твоей страсти, мог ли я не узнать в нем женщину, которую только что видел и которая заполнила собой мою душу?

– Так ты ее любишь, несчастный! – вскричал Стенио. – Ты тоже ее любишь?

– Какое тебе до этого дело! – сказал Эдмео с горькой усмешкой. – Я уверен, что больше никогда ее не увижу. Успокойся, у меня нет времени на любовь. Жизнь моя поглощена другими заботами.

– Но что тебе было нужно от Лелии? Какое у тебя к ней было поручение?

– Это не секрет, и я могу тебе это сказать. Я ходил просить у нее помощи несчастным, и она дала мне огромную сумму денег так же просто, как другая кинула бы грош...

– О, она чудная, она добрая, правда? – воскликнул Стенио.

– Она богата и щедра, – ответил Эдмео. – Не знаю, добра ли она. Она равнодушно прочла письмо, которое я ей вручил. Она ничего не спросила меня о том, кто его писал. Она улыбнулась, когда я говорил ей о чаяниях религиозных и социальных. Потом она протянула мне свою холодную руку, сказав: «Не говорите со мной, если хотите сохранить веру...».

– Она холодно приняла от вас письмо, – сказал Стенио с волнением. – Вот как! Не знаю почему, но я счастлив, что она была равнодушна. Не могли бы вы мне сказать, Эдмео, кто вас послал к ней?

– Слыхали вы когда-нибудь о Вальмарине? – спросил путник.

– Вы произнесли имя, которое проникло мне в самое сердце, – ответил поэт. – Все, что мне рассказывали о добродетели, о самоотвержении и о милосердии этого человека, казалось мне баснословным. Неужели действительно на свете существует человек с таким именем, неужели он совершает все то, что ему приписывают?

– Человек этот достоин еще большего уважения, он совершает еще больше благодеяний, чем можно себе представить, – ответил Эдмео. – Если бы вы его знали, друг мой, вы бы поняли, что на свете существуют вещи более могучие и более драгоценные, чем красота, любовь, поэзия или слава...

– Добродетель, – сказал Стенио, – да, говорят, что человек этот – воплощенная добродетель. Расскажите мне о нем, познакомьте меня с ним. О нем ходит так много разнообразных слу-

хов, имя его окутано такой славой, что женщины готовы даже приписать ему дар творить чудеса.

– Эта слава, которой он так хотел избежать, – для него настоящая мука, – ответил Эдмео. – Его скромность, его старания остаться незамеченным доходят до странности и, по не менее странной иронии судьбы, эта слава, которой столько людей напрасно добиваются и от которой он непрестанно бежит, непрестанно гонится за ним по пятам.

– Верно ли, – сказал Стенио, – что ни один из тех, кому он покровительствовал, помогал, кого выручал из беды, никогда не видел его и что ему долго удавалось, оказывая благодеяния несчастным, скрывать их источник?

– Пока его огромного состояния хватало на эту помощь, ему действительно удавалось оставаться безвестным. Но чтобы продолжать это великое дело, ему надо было установить связь с другими, такими же, как и он, и образовать сообщество...

– Погодите! – оборвал его Стенио. – Вы тоже там состоите?

– Я не состою ни в какой корпорации, – ответил Эдмео, – я просто сделался другом, учеником и посланцем Вальмарины. Я не знал, на что употребить мою молодость. Я ощущал в себе большой прилив сил, высокие потребности сердца. Любовь казалась мне эгоистической страстью, наука – иссушающим занятием, тщеславие – детской забавой; я встретил на пути своей добродетель, я дал ей себя увлечь. Я принес ей кое-какие жертвы. Может быть, мне придется принести еще большие. Я чувствую, что она может вознаградить меня за все и что я никогда о них не пожалею.

– Твои простые слова, твои благочестивые убеждения меня трогают, – сказал Стенио. – Мне хочется отказаться от любви; мне хочется бросить все, чтобы следовать за тобою. Куда ты идешь сейчас?

– Я возвращаюсь к тому, кто меня послал.

– Отведи меня к нему. Я хочу, чтобы он исцелил меня от моей безумной страсти; я хочу, чтобы он избавил меня от страдания и дал мне чистое счастье, которым я буду наслаждаться без непрестанного страха за завтрашний день... Уйдем вместе!

– Я не могу взять тебя с собой, – ответил Эдмео. – Надо ведь знать, какой таинственностью любит окружать себя Вальмарина. Он не позволяет никому из друзей без предупреждения приводить новых учеников. Я поговорю с ним о тебе, и если он найдет, что ты можешь следовать этим суровым путем...

– А что же в нем особенно сурового? – в пылу увлечения воскликнул Стенио. – С тех пор как я существую, я мечтал о том, чтобы отказаться от ложных мирских благ во имя благ высоких, духовных. Когда, на мое несчастье, я встретил Лелию, в мыслях у меня был один Вальмарина. Я хотел присоединиться к нему. Эта роковая любовь совратила меня с пути; но теперь я понимаю, что провидение привело тебя ко мне, чтобы ты меня спас...

– Да услышит тебя господь! Пусть даже то, что ты говоришь, Стенио, правда, позволь мне все же усомниться в твоём решении. Один только взгляд Лелии – и оно растает, как этот только что выпавший снег, который ветер метет сейчас вокруг нас...

– Ты не хочешь взять меня с собой, – запальчиво воскликнул Стенио. – Понимаю! Ты гордишься своей легко доставшейся мудростью, исключаящей всякую человеческую привязанность, и тебе доставляет удовольствие сомневаться во мне, чтобы этим меня унижить. Возьми меня с собой, пока я увлечен, иначе я стану думать, Эдмео, что добродетель – всего-навсего гордость.

На это обвинение Эдмео не сказал ни слова. Он справился с искушением на него ответить; потом, поднявшись, он приготовился покинуть Стенио. Тот все не отпускал его.

– Ну вот, – воскликнул юноша, – твоё стоическое спокойствие мне все разъясняет, Эдмео, и теперь я уверен в том, что до сих пор только предчувствовал. Мне сказали – и напрасно ты хочешь теперь от меня это скрыть, – что Вальмарина – нечто большее, нежели обыкновенный благодетель и догадливый утешитель. Святое дело, которое вы совершаете, не ограничивается отдельными самоотверженными поступками. И сам ты, Эдмео, ты же не согласен играть роль раздатчика милостыни при богатом филантропе. Тебе поручено более серьезное дело. Богатства Лелии пойдут, может быть, на то, чтобы заплатить выкуп за пленников и помогать бедным, но

это отнюдь не обыкновенные пленники и не заурядные бедняки. Вальмарина, может быть, не только отдает золото, но проливает свою кровь, а ты – ты хочешь чего-то большего, чем благословения нищего. Ты мечтаешь о мученическом венце. Вот единственная причина, почему ты куда-то торопишься сейчас один тихой и холодной ночью... Не отвечай мне, Эдмео, – добавил Стенио, видя, что его друг старается увильнуть от его вопросов. – Ты еще слишком молод, чтобы без волнения говорить об этих тайнах. Ты умеешь молчать, но притворяться не научился. Доставь моему сердцу радость тебя разгадать и позволь мне из деликатности ни о чем тебя не спрашивать. Я знаю то, что хотел узнать.

– А если бы твои предположения подтвердились, ты бы пошел со мною?

– Теперь я знаю, что не могу этого сделать, – ответил Стенио, – я знаю, что не буду допущен до Вальмарины раньше, чем выдержу долгие и страшные испытания. Я знаю, что прежде всего мне предпишут навсегда отказаться от Лелии... О, я знаю, что какие бы нити ни связывали ее таинственную судьбу с вашими героическими жизнями, от меня потребуют доказательства моей добродетели, залога моей силы, больше мне будет нечего представить, и поэтому я ничего не представляю.

– Я был в этом уверен, – сказал Эдмео, вздохнув. – Я видел Лелию. Так прощай же, друг! Если когда-нибудь, освободившись от этого обмана чувств или разочаровавшись в своих надеждах...

– Да, конечно! – воскликнул Стенио, пожимая другу руку. Потом он отпустил ее и добавил:

– Быть может!..

Но в ту же минуту надежда вдруг снова пробудилась в его сердце, и он прошептал:

– Никогда!

Спустя полчаса после того как они расстались, Эдмео, который шел на север, достиг вершины горы и, как обещал, запел прощальную песнь. Поэт все еще сидел на скале. Ночь была ясная и холодная, земля – сухая, воздух прозрачный. Мужественный голос Эдмео пропел гимн, и друг его ясно расслышал:

– Сириус, царь долгих ночей, солнце темной зимы, ты, который опережаешь осенью зарю и погружаешься за горизонт вослед весеннему солнцу! Брат солнца, Сириус, повелитель небес, ты, который соперничаешь с белым светом луны, когда все другие светила бледнеют перед нею, и пронзаешь своим огненным взглядом густую завесу ночного тумана! Ты, извергающий пламя пес, который без усталости лижет окровавленную ногу страшного Ориона, ты, который в сопровождении своей сверкающей свиты поднимаешься ввысь, в эмпирей, ты, у которого нет ни равных, ни соперников! О, самый красивый, самый великий, самый яркий из ночных светочей, озари своими белыми лучами мои влажные волосы, верни надежду моей трепещущей душе и силу моему окоченевшему телу! Сверкай над моей головой, озаряй мой путь, излей на меня потоки твоего яркого света. Царь ночи, проводи меня к другу моего сердца. Помоги мне в моем таинственном пути сквозь мрак; тот, к кому я иду, то же среди людей, что ты – среди несметной толпы малых звезд.

Учитель мой велик, как ты; как ты, он блистателен и могуч; как ты, он проникает свет; как ты, он царит над холодной ночью; как ты, он возвещает о том, что ясным, солнечным дням настал конец!

Сириус, ты не звезда любви, ты не светило надежды. Твоей мужественной красотой не вдохновляется соловей, и под твоим суровым сиянием не раскрываются чашечки цветов. Горный орел приветствует тебя утром голосом угрюмым и диким; под твоим бесстрастным взглядом нагромождаются снега, и ветер воспекает твою красоту, шелестя бронзовыми струнами твоей зловещей арфы.

Так вот, душа, в которой ты царишь, о добродетель, не открывается больше ни надежде, ни нежности; она запаяна, как свинцовый гроб, она замкнута, как северная ночь границами горизонта, когда Сириус доходит до половины пути. Она мрачна, как зима, темна, как безлунное небо; ее пронизывает один только луч, холодный и пронзительный, как сталь. Она завернута в саван, у нее нет больше ни восторгов, ни песен, ни улыбок.

Душа моя – это ночь, это холод, это тишина; но твой блеск, о добродетель, – это луч Сири-

уса, сверкающий и ни с чем не сравнимый.

Голос растаял вдали. Несколько минут Стенио был еще поглощен своими мыслями. Потом он сошел в долину, устремив взор на восходившую на горизонте Венеру.

25

Снова вернулась весна и вместе с нею – пение птиц и ароматы цветов. Вечерело, красные отблески заката уступали место фиолетовым теням. Сидя на террасе виллы Виолы, Лелия мечтала. Это был богатый дом, который один итальянец построил у подножия гор для своей любовницы. Она умерла там от тоски. И вот итальянец, не желая больше жить в местах, с которыми у него было связано столько тяжелых воспоминаний, сдал в аренду иностранцам сад, где была похоронена умершая, и виллу, носившую ее имя. Есть страдания, которые сами себя питают; есть другие, которые пугаются себя и бегут от себя, как от угрызений совести.

Нежная и томная, как ветерок, как волна, как весь этот майский день, такой теплый и клонящийся ко сну, Лелия, опершись о перила, смотрела на одну из самых живописных долин, куда ступала нога цивилизованного человека. Солнце зашло за горизонт, но озеро все еще было огненно-красным – как будто античный бог, который, по преданию, каждый вечер возвращается в море, и на самом деле погрузился в эту прозрачную гладь.

Лелия мечтала. Она слушала смутные звуки долины: блеянье маленьких ягнят, теснившихся возле матерей, шум воды, поднявшийся, как только открыли шлюзы, голоса высоких загорелых пастухов с греческим профилем, одетых в живописные лохмотья. С карабинами на плече они спускались с гор и пели гортанными голосами. Слушала она и высокие звуки бубенцов, привешанных к шеям породных пестрых коров, и задорный лай больших дворняжек, которому с горных склонов раскатисто отвечало эхо.

Лелия была спокойна и лучезарна, как небо. Стенио принес арфу и стал петь гимны удивительной красоты. Спустилась тьма, медленная и торжественная, как аккорды арфы, как прелестный голос поэта, мужественный и нежный. Когда он окончил, небо уже сокрылось под этим первым серым покровом, в который облачается ночь, когда трепещущие звезды едва проглядывают на небе, далекие и бледные, как слабая надежда на лоне сомнений. Только вдоль горизонта сквозь туман едва заметно обозначилась белая линия: то был последний свет сумерек, последнее прости уходящего дня.

Тогда поэт опустил руки, звуки арфы затихли; припав к ногам Лелии, Стенио попросил ее сказать ему хотя бы слово любви или жалости, хоть чем-нибудь дать ему почувствовать, что она жива, что она может быть к нему нежной. Лелия взяла руку юноши и поднесла ее к глазам; она плакала.

– О, – воскликнул он, вне себя от волнения, – ты плачешь! Значит, ты жива?

Лелия провела рукою по душистым волосам Стенио и, прижав его голову к груди, покрыла ее поцелуями. Не часто ей случалось касаться губами этого прекрасного лба. Ласка Лелии – это был дар богов, столь же редкий, как не тронутый морозом цветок, который распускается на снегу!

И этот неожиданный и жаркий порыв чувств едва не стоил юноше жизни – холодные губы Лелии в первый раз подарили ему поцелуй любви. Он побледнел, сердце его перестало биться; едва живой, он со всею силой оттолкнул Лелию, ибо никогда смерть не была ему так страшна, как в эту минуту, когда перед ним открывалась жизнь. Он чувствовал потребность говорить, чтобы уйти от избытка счастья, которое было мучительно, как лихорадка.

– О, скажи мне, – вскрикивал он, вырываясь из ее объятий, – скажи мне наконец, что ты меня любишь!

– Разве я уже не сказала тебе этого? – отвечала она и посмотрела на него таким взглядом, улыбнулась такой улыбкой, какие на картинах Мурильо бывают у пресвятой девы, уносимой ангелами на небо.

– Нет, ты мне этого не говорила, – ответил он, – ты сказала мне в тот день, когда ты была при смерти, что ты хочешь любить. Это означало, что перед тем, как потерять жизнь, ты жалела

о том, что не жила.

– Вы так думаете, Стенио? – спросила она вдруг кокетливо и насмешливо.

– Я ничего не думаю, но я стараюсь разгадать вас. О Лелия, вы обещали попытаться меня полюбить. Это все, что вы мне обещали.

– Разумеется, – холодно ответила Лелия, – только обещать, что мне это удастся, я не могла.

– Но ты надеешься когда-нибудь полюбить меня? – спросил он тихим и грустным голосом, который тронул Лелию до глубины души.

Она обвила его руками и притянула к себе с нечеловеческой силой. Стенио, который думал было воспротивиться ей, почувствовал, что он во власти ее чар, и похолодел от ужаса. Кровь его кипела, как лава, и, как лава же, застывала. Его бросало то в жар, то в холод, ему было худо и вместе с тем хорошо. Была это радость или тоска? Он не знал. Это было и то, и другое, и еще большее. Это было небо и ад, любовь и стыд, желание и ужас, экстаз и агония.

Наконец, к нему вернулось мужество. Он вспомнил, сколько безумных обетов он давал, чтобы только настал этот час смятения и восторгов; он презирал себя за малодушную робость, которая удерживала его, и, поддавшись порыву, в котором было отчаяние, он, в свою очередь, подчинил себе Лелию. Он заключил ее в свои объятия, припал губами к ее мягким и нежным губам, прикосновение к которым продолжало его изумлять... Но Лелия, внезапно оттолкнув его, сказала сухо и жестко:

– Оставьте меня, я вас больше не люблю.

Стенио упал на плиты террасы. Теперь-то он действительно почувствовал, что умирает: на место неистовой любви и лихорадки, вызванной ожиданием, явился леденящий сердце стыд.

Лелия принялась смеяться. Гнев воодушевил поэта, ему вдруг захотелось убить ее.

Но женщина эта была настолько равнодушна к жизни, что ни отомстить ей, ни испугать ее у него не было возможности. Стенио попытался сохранить хладнокровие и отнестись ко всему как философ; но стоило ему сказать несколько слов, как он залился слезами.

Тогда Лелия снова обняла его, но как только он попытался было ответить на ее ласки, она оттолкнула его, сказав:

– Берегись, не надо рисковать нашими сокровищами, не надо доверять их прихоти волн.

– Проклятая! – вскричал он, пытаясь подняться, чтобы от нее убежать.

Она удержала его.

– Вернись, – сказала она. – Вернись к моему сердцу. Я только что так любила тебя, а ты, наивный и пугливый, почти помимо воли принимал мои поцелуи. Ведь когда ты спросил меня: «Но ты надеешься когда-нибудь полюбить меня?» – я почувствовала, что люблю тебя. Ты был тогда таким покорным! Оставайся таким, таким я тебя люблю. Когда я вижу, как ты дрожишь и убегаешь от любви, которая ищет тебя, мне кажется, что я моложе и доверчивее тебя. Это возбуждает во мне гордость и чарует меня, жизнь больше меня не пугает, мне думается, что я могу отдать ее тебе; но когда ты смелеешь, когда ты требуешь от меня большего, я теряю надежду, я боюсь любить, боюсь жить. Я страдаю и жалею, что обманулась еще раз.

– Несчастливая женщина! – сказал Стенио, побежденный жалостью.

– О, если бы ты мог всегда оставаться таким робким, таким смятенным, когда я тебя ласкаю! – сказала она, снова притягивая его голову и кладя ее себе на колени. – погоди, дай мне обнять твою белую шею, она блестит, как античный мрамор; дай мне погладить твои волосы, такие мягкие и шелковистые; они так скользят и так льнут к моим пальцам. Юноша, какая у тебя белая грудь! Как гулко, как порывисто бьется твое сердце! Это хорошо, дитя мое. Только есть ли в этом сердце уже зачатки настоящего мужества? Сумеет ли оно пройти по жизни, не надломившись, не иссушив себя? Погляди, над тобою всходит луна, луч ее отражается у тебя в глазах. Вдохни вместе с этим ветерком запахи трав и цветущего луга. Я узнаю запах каждого растения, я чувствую, как они льются один за другим в воздухе, который их уносит. Только что пахло диким тмином, а перед этим нарциссами с озера, а сейчас вот пахнуло геранью из сада. Как, должно быть, радостно воздушным силфидам гоняться за этими тонкими запахами и в них окунаться. Ты улыбаешься, мой прелестный поэт, усни.

– Уснуть! – повторил Стенио удивленно и с укором.

– А почему бы и нет? Разве ты не спокоен теперь, разве не счастлив?
– Счастлив – да, но могу ли я быть спокоен?
– Ну, раз так, значит, ты меня не любишь! – воскликнула она, отталкивая его.
– Лелия, вы делаете меня несчастным, пустите меня.
– Трус! Как вы боитесь страдания! Идите! Ступайте прочь!
– Нет, не могу, – ответил он, снова падая перед ней на колени.
– Боже мой! – вскричала она, обнимая его. – Зачем же страдать? Вы не знаете, как я вас люблю: мне нравится ласкать вас, смотреть на вас, как будто вы мой ребенок. Я ведь никогда не была матерью, но мне кажется, что у меня к вам такое чувство, будто вы мой сын. Я люблю вашу красоту – и это целомудренная материнская нежность... Да и какие другие чувства могу я питать к вам?

– Значит, у вас не может быть любви ко мне? – спросил он дрожащим голосом; сердце его разрывалось.

Лелия ничего не ответила; она судорожно провела руками по его пышным волосам, локонами спадавшим на лоб, склонилась над ним и смотрела на него так, как будто хотела вложить в один взгляд силу нескольких душ, в один миг – упоение сотни жизней. Потом, обнаружив, что сердце ее менее пламенно, нежели ум, и надежда слабее, нежели мечта, она еще раз отчаялась в жизни. Рука ее бессильно повисла; она печально посмотрела на луну; потом поднесла руку к сердцу и глубоко вздохнула.

– Увы! – сказала она раздраженно и с грустью на него посмотрела. – Счастливы те, которые могут любить.

26. ВИОЛА

У подножия садовых террас маленькая речка струилась в густой тени тисов и кедров, исчезая под их низко нависшими ветвями; под одним из этих таинственных сводов виднелось мраморное надгробие, и его отражение; белизною своей оно резко выделялось среди темных отсветов окружавшей его листвы. Легкий ветерок едва колыхал чистые контуры отражавшегося в воде мрамора; разросшийся вьюн обвивал его с обеих сторон: гирлянды голубых колокольчиков свисали вокруг заброшенных скульптур, совсем уже потемневших от дождя. Груды и руки коленапоклоненных фигур поросли мхом; печальные кипарисы сонливо опускали свои ветви на эти неподвижные головы, укрывая от глаз обреченную на забвение могилу.

– Вот, – сказала Лелия, раздвигая высокую траву, скрывавшую надпись, – вот могила женщины, умершей от любви и страдания!..

– В этом памятнике столько поэзии и благоговения, – сказал Стенио. – Посмотрите, как им гордится природа! Как ласково обвивают его гирлянды цветов, как обнимают его деревья, как нежно воды реки лобзают его подножие! Бедная женщина, умершая от любви! Бедный ангел, осужденный жить на земле и скитаться среди людей; наконец-то ты мирно спишь в своем гробу и больше не страдаешь, Виола! Ты спишь, как этот ручеек, ты простерла на своем мраморном ложе твои усталые руки, похожие на ветви склоненного над тобой кипариса. Лелия, возьми с могилы этот цветок, укрой его на груди, нюхай его почаще, только нюхай скорее, пока, оторванный от стебля, он не утратил свой чистый аромат, – может быть, это и есть душа Виолы, душа женщины, любившей до самой смерти. Виола! Если частица вас живет в этих цветах, если дыхание любви и жизни перешло в эту таинственную чашечку из вашей груди, неужели вы не можете проникнуть и в сердце Лелии? Неужели вы не можете согреть воздух, которым она дышит сейчас, и сделать, чтобы она перестала быть бледной, холодной и мертвой, как эти статуи, которые печально смотрят на свои отражения?

– Дитя! – сказала Лелия, бросая цветок в лениво текущий ручей и следя за ним рассеянным взглядом. – Неужели ты думаешь, что и меня не точит страдание, столь же глубокое и немилосердное, как то, что убило эту женщину? О, что ты знаешь? Может быть, это была жизнь очень богатая, очень вольная, очень плодотворная. Жить в любви и от любви умереть! Какая прекрасная участь для женщины! Под каким огненным небом ты родилась, Виола? Откуда в сердце тво-

ем нашлось столько силы, что оно разорвалось на части, вместо того чтобы сжиматься под тяжестью жизни? Какое божество вложило в тебя эту неодолимую мощь, лишить которой может только смерть? О высокое, высочайшее из созданий! Ты не склонила голову под ярмом, ты не захотела примириться с судьбой, и, однако, ты не спешила умереть, как те слабые существа, которые убивают себя, чтобы не дать себе исцелиться. Ты была так уверена, что не найдешь утешения, что погибала медленно, не делая ни шагу вперед, к могиле, и не отступая ни на шаг назад, к жизни; смерть пришла и захватила тебя, слабую, разбитую, уже мертвую, но все еще стойкую в своей любви, говорившую природе: «Прощай, я презираю тебя и не хочу исцеления. Храни благодеяния твои, твою исполненную обмана поэзию, твои успокоительные иллюзии и усыпляющее забвение и непоколебимый скептицизм; побереги это все для других, а я хочу любить или умереть!». Виола! Ты оттолкнула даже бога, ты открыто возненавидела эту несправедливую силу, которая сделала участью твоей одиночество и страдание. Ты не пришла на берега этих вод петь печальные гимны, как поет Стенио в те дни, когда я его огорчаю; ты не простиралась ниц в храмах, как Магнус, когда им овладевает бес отчаяния; ты не подавляла чувств своих размышлениями, как Тренмор; ты не убивала, как он, страстей своих хладнокровием, чтобы жить на их обломках гордой и одинокой. И ты, как Лелия, не...

Она не договорила до конца; облокотившись на мрамор и пристально глядя на бегущие волны, она не слышала Стенио, молившего ее открыть ему душу.

– Да, – сказала Лелия после продолжительного молчания, – она умерла! И если какая-нибудь человеческая душа заслужила, чтобы ее взяли на небеса, то это она. Она сделала больше, чем ей было определено. Она испила чашу горечи до дна, потом, отвергнув награду, которая ждала ее после этого испытания, отказавшись забыть и презреть свое горе, она разбила чашу и сохранила яд в сердце своем, как самое горькое сокровище. Она умерла! Умереть от горя! А мы все, мы живы! Даже вы, юноша, вы, который полон еще сил, чтобы вынести страдание, вы живете или начинаете говорить о самоубийстве, а ведь это было бы малодушием, большим, чем выносить эту поруганную жизнь, которую нам оставляет презревший нас господь!

Видя, что она стала еще печальнее, Стенио начал петь, чтобы развлечь ее. В то время как он пел, слезы струились из его глаз; но он совладал со своим страданием и искал в своей надломленной душе вдохновения, чтобы утешить Лелию.

27

– Ты часто говорила мне, Лелия, что я молод и чист, как ангел, иногда ты говоришь мне, что любишь меня. Сегодня утром еще ты улыбалась мне и сказала: «Счастье мое – это ты, ты один». Но к вечеру ты все позабыла и безжалостно опрокидываешь то, на чем зиждется мое счастье.

Ну что же, сломай меня, как этот цветок, который ты только что нюхала и который ты теперь бросила на прибрежном песке: если тебе будет интересно посмотреть, как меня унесет прихоть волны и будет подкидывать и мять на пути, если ты испытаешь при этом удовлетворение, ироническое и жестокое, разорви меня, кинь под ноги; не забудь только, что в тот день и час, когда ты захочешь поднять меня и понюхать еще раз, ты увидишь меня расцветшим, готовым ожить от твоих ласк.

Ну что же, моя бедная, ты будешь любить меня так, как сможешь. Я хорошо знал, что ты уже не можешь любить так, как люблю я; к тому же это ведь справедливо, что из нас двоих на твою долю выпадает повелевать. Я не заслужил той любви, какую заслужила ты, я не страдал, не боролся, как ты. Я ведь еще дитя, у меня нет ни славы, ни ран, жизнь моя только начинается, и мне еще предстоит бороться. Ты, разбитая громом, ты, сто раз поверженная и всякий раз подымавшаяся снова, ты, которая оскорбляешь его и любишь, ты, увядшая, как старик, и в то же время юная, как ребенок, Лелия, бедная душа моя, люби меня так, как сможешь; я всегда буду стоять перед тобой на коленях, чтобы благодарить тебя, и я отдам тебе все мое сердце, всю жизнь мою взамен того небольшого, что ты еще можешь мне дать.

Позволь мне только любить тебя; прими без презрения страдания, которые я, как очисти-

тельную жертву, несу к твоим ногам; позволь мне истратить мою жизнь и сжечь мое сердце на алтаре, который я тебе воздвиг. Не жалею меня, я еще счастливей, чем ты, ведь это за тебя я страдаю! О, если бы я только мог умереть от любви к тебе, так, как от любви умерла Виола! Сколько наслаждения в муках, которые ты вложила мне в грудь, сколько счастья в том, чтобы быть всего лишь твоей игрушкой и твоей жертвой, в том, чтобы искупить, будучи юным, чистым и смиренным, застарелую несправедливость, ропот, безверие, которые нависли над твоей головой!

Ах, если бы можно было отмыть пятна чужой души большим страданием и кровью из своих жил, если бы можно было искупить ее грехи как новоявленный Христос, и отказаться от своей доли вечного блаженства, чтобы она не канула в небытие!

Так вот, я вас люблю, Лелия. Вы этого не знаете, ибо не хотите знать. Я не прошу вас уважать меня и еще меньше – меня жалеть; только придите ко мне, когда вы будете страдать, и причините мне какую хотите боль, лишь бы рассеять ту, что вас гложет...

– Пойми, сейчас я нестерпимо страдаю, – сказала Лелия, – в груди моей клокочет гнев. Может быть, ты будешь богохульствовать, за меня? Мне это, может быть, принесло бы облегчение. Может быть, ты закидаешь камнями небо, будешь поносить провидение, проклинать вечность, призывать силы мрака, поклоняться злу, ратовать за разрушение всего сотворенного богом, за презрение к его алтарям.

Слушайте, может быть, вы способны убить Авеля, чтобы отомстить богу – моему тирану? Может быть, вы станете выть как испуганная собака, которая видит на стене причудливые блики луны? Может быть, вы станете кусать землю и есть песок, как Навуходоносор? Может быть, вы, как Иов, изольете мой гнев и ваш в яростных проклятиях? Может быть, вы, чистый и благочестивый юноша, погрузитесь по уши в скептицизм и скатитесь в пропасть, в которой я гибну? Я страдаю, и у меня нет больше сил кричать. Так богохульствуйте за меня! Как, вы плачете!.. Вы еще можете плакать? Счастливы те, кто плачет. Глаза мои суше, чем песок пустыни, на который никогда не упадет ни капли росы, а сердце мое еще того суше. Вы плачете? Ну что же, послушайте же, чтобы развлечься, песню одного иностранного поэта, которую я перевела.

28. ГИМН БОГУ

«Что же я сотворила такое, чтобы меня поразило это проклятие? Почему ты оставил меня? Ты не отказываешь в солнце ленивым травам, ты не отказываешь в росе незаметным колосьям в поле; ты даришь тычинкам цветка могучую силу любви и чувство счастья – бесчувственному кораллу. А у меня, которую тоже сотворила твоя десница, у меня, которую ты как будто создал натурой высоко одаренной, у меня ты отнял все, ты поступил со мною хуже, чем со своими падшими ангелами; у них ведь есть еще сила ненавидеть и проклинать, а у меня нет и ее! Ты поступил со мною хуже, чем с илом на дне ручейка и песками дороги, ибо их топчут ногами, а они ничего не чувствуют. А я чувствую, что существую, и не могу укунить попирающую меня ногу и избавиться от проклятия, которое давит меня, как гора.

Почему ты так обошлась со мной, неведомая сила, чья железная длань простерта теперь надо мной? Почему ты заставила меня родиться человеческим существом, если так скоро решила превратить меня в камень и, ни на что не нужную, вытолкнуть вон из жизни? Чего ты хочешь? Возвысить меня надо всеми или унижить меня, о бог мой! Если таков удел избранных, то сделай, чтобы он был мне легок и чтобы я перенесла его без страданий; если же эта стезя наказания, то почему ты повел меня по ней? О горе мне! Неужели я была виновна еще до рождения?

Что такое душа, которою ты меня наделил? Это ли называют душой поэта? Всегда колеблющаяся, как свет, всегда блуждающая, как ветер, всегда жадная, всегда тревожная, всегда трепещущая, всегда ища устойчивости во внешнем мире, растрчивающая себя всю, едва успевая набраться сил. О жизнь! О мука моя! Всего домогаться и ничего не охватить, все понять и ничем не владеть! Дойти до скептицизма сердца так, как Фауст дошел до скептицизма ума! Участь еще более ужасная, чем участь Фауста; ибо он хранит в груди своей сокровища юных и пылких страстей, созревших в тишине под книжною пылью и дремавших в то время, когда бодрствовал ум;

ведь когда Фауст, уставший искать совершенство и не находить его, останавливается, готовый проклясть создателя и от него отречься, бог, чтобы его наказать, посылает ему ангела мрачных и роковых страстей. Этот ангел от него не отходит, он согревает его, молодит, сжигает, сбивает с пути, пожирает, и старик Фауст вступает в жизнь юным и бодрым, проклятым, но всемогущим! Он уже больше не любит бога, но он полюбил Маргариту. Господи, прокляни меня так же, как ты проклял Фауста!

Господи, ты ведь не можешь удовлетворить меня. Ты это хорошо знаешь. Ты не хочешь быть для меня всем! Ты не раскрываешься мне со всей полнотой, чтобы я могла овладеть тобою и привязаться к тебе безраздельно. Ты притягиваешь меня к себе, ты ласкаешь меня благоуханным дыханием твоих небесных ветров, ты улыбаешься мне, проглядывая между золотистыми облаками, ты являешься мне в моих снах, ты привязываешь меня, ты непрестанно побуждаешь меня взлететь к тебе, но ты позабыл дать мне крылья. Зачем же ты тогда дал мне душу, которая стремится к тебе? Ты все время от меня ускользаешь, ты окутываешь это прекрасное небо и всю прекрасную природу тяжелыми тучами. Ты направляешь на цветы знойное дыхание юга, которое их иссушает, а меня ты овеваешь холодным ветром, который леденит и пронизывает до мозга костей. Ты посылаешь нам пасмурные дни и беззвездные ночи, потрясаешь нашу жалкую вселенную бурями, которые раздражают нас, опьяняют, помимо воли делая нас дерзкими атеистами! И если в эти мрачные часы нас одолевает сомнение, ты будишь в нас угрызения совести, и во всех голосах земли и неба начинает звучать упрек!

Зачем, зачем ты создал нас такими! Какая тебе польза от наших страданий? Какую славу наше уничижение и наша гибель может прибавить к твоей славе? Неужели муки эти нужны человеку, для того чтобы он устремился к небу? Неужели надежда – это хилый и бледный цветок, растущий только на скалах, где его овевают грозы? Драгоценный цветок, нежный аромат, приди же и поселись в этом высохшем и опустошенном сердце! Ах, ты давно уже напрасно стараешься омолодить его; корни твои больше не могут укрепиться на его непроницаемых стенах, его ледяная атмосфера иссушает тебя, его бури вырывают тебя и, сломанного, увядшего, бросают наземь!.. О надежда! Неужели ты больше не можешь расцвести для меня?..»

– Эти песни печальны, эта поэзия жестока, – сказал Стенио, выхватывая у нее из рук арфу, – вам по душе это мрачное раздумье, и вы без жалости меня терзаете... Нет, это вовсе не перевод иностранного поэта; текст этой поэмы идет из глубины вашей души, Лелия, я это знаю! О жестокая и обреченная! Послушайте эту птицу, она поет лучше нас, она воспевает солнце, весну и любовь. Это маленькое существо устроено лучше, чем» вы. Вы ведь можете воспевать только страдание и сомнение.

29. В ПУСТЫНЕ

– Я привел вас в эту пустынную долину, которую никогда не топтали стада, ни разу не осквернила нога охотника. Я провел вас туда, Лелия через пропасти. Вы без страха одолели все опасности этого пути; спокойным взглядом измеряли вы расселины, бороздящие глубокие ледники, вы переходили их по доске, которую перебрасывали наши проводники; доска эта качалась над бездонными пропастями. Вы перебирались через водопады легко и свободно; так белый аист шагает с камня на камень и засыпает, согнув шею, поддерживая тело в равновесии, стоя на тонкой ноге среди бурного потока, который извивается над пропастью, извергающей пену. Вы ни разу даже не вздрогнули, Лелия, а я, как я дрожал! Сколько раз кровь моя леденела, сколько раз замирало сердце, когда я видел, как вы проходили так над бездной, беспечная, рассеянная, глядя на небо и не устаивая даже взглядом уступов, которых касалась ваша маленькая нога! Вы очень храбрая и очень сильная, Лелия! Когда вы говорите, что душа ваша измождена, – это ложь: нет человека более смелого и уверенного в себе, чем вы.

– Что такое смелость? – ответила Лелия. – И у кого ее нет? Кто в наше время любит жизнь? Это беспечность зовется храбростью, когда она способна что-то создать, но когда риску подвергают ни на что не нужную жизнь, то не просто ли это лень?

Лень, Стенио! Это недуг, одолевающий наши сердца, это великий бич современности. В

наши дни существуют только отрицательные добродетели, мы храбры, потому что мы уже разучились испытывать страх. Увы, все исчерпало себя, даже слабости, даже человеческие пороки. У нас уже нет той силы, которая заставляет любить жизнь упорной и вместе с тем трусливой любовью. Когда на земле было еще много энергии, люди воевали хитро, благоразумно, расчетливо. Жизнь была непрерывным сражением, борьбой, в которой самые храбрые неизменно отступали перед опасностью, ибо самым храбрым оказывался тот, кто мог дальше всех жить среди опасностей и людской злобы. С тех пор как цивилизация сделала жизнь легкой и спокойной для всех, все стали находить ее однообразной и скучной; ее ставят на карту из-за одного слова, из-за одного взгляда – так мало она значит! Это безразличие к жизни и породило у нас дуэли. Вот зрелище, в котором нашла себе выражение вся апатия нашей эпохи: двое людей спокойно и вежливо бросают жребий, кому из них убивать другого – без ненависти, без гнева, без пользы. Увы, Стенио, мы больше ничего не стоим, мы ни добры, ни злы, мы даже не подлецы – мы просто инертны.

– Вы правы, Лелия, когда я окидываю взглядом общество, я печалюсь так же, как и вы. Но я привел вас сюда, чтобы вы могли хотя бы на несколько дней это общество позабыть. Посмотрите, где мы с вами сейчас, разве это не изумительно? Можно ли тут думать о чем-нибудь другом, кроме бога? Сядьте на этот мох, по которому ни разу не ступал человек, и взгляните на бездонные глубины у вас под ногами. Случалось ли вам когда-нибудь видеть природу такую дикуую и такую полную жизни?

Взгляните, как упорны эти беспорядочно разбросанные кусты, как неумны эти леса, «которые ветер гнет и колышет, эти грозные орлиные стаи, непрерывно парящие над окутанными туманом вершинами, описывая в воздухе круги, словно огромные черные кольца на белой муаровой скатерти ледника? Слышите шум, который подымается отовсюду? Потоки, которые плачут и рыдают, как души грешников, олени, которые стонут жалобно и страстно, ветер, который поет и хохочет над вереском, грифы, которые кричат, как испуганные женщины; и эти вот другие шумы, странные, таинственные, *неописуемые*, которые глухо грохочут в горах, эти потрескивающие в недрах своих гигантские ледяные глыбы, эти снежные обвалы, уносящие за собою песок, эти могучие корни деревьев, которые без усталости борются с недрами земли и усилиями своими вздымают камень и раскалывают шифер, эти неведомые голоса, эти неясные вздохи, которые почва в вечных родовых схватках исторгает из своих зияющих глубин. Разве во всем этом не больше великолепия, не больше гармонии, чем где-нибудь в церкви или в театре?

– Все это действительно красиво, и именно сюда надо приходить, чтобы видеть, сколько у земли еще юности и силы. Бедная земля! Она тоже идет к своей гибели!

– Что вы говорите, Лелия! Неужели вы думаете, что земля и небо виноваты в нашем духовном растрепе? Дерзкая мечтательница, неужели вы обвиняете и их?

– Да, я их обвиняю, – ответила она, – скорее, впрочем, я обвиняю великий закон времени, который всему на свете велит истощаться и гибнуть. Неужели вы не видите, что лавина веков уносит нас всех, людей и миры, чтобы вечность поглотила нас, как те сухие листья, которые мчатся к пропасти, увлекаемые потоком? Увы, после нас не останется даже этой жалкой трухи! Мы даже не всплывем на поверхность, как увядшие травы, те, что плывут там, печальные, и стелются по воде, словно волосы утопленницы. Трупы империй обратятся в тлен, человеческий прах смешается с морскими песчинками. Бог свернет всю вселенную в комок, как старое тряпье, которое надо выкинуть, как платье, которое сбрасывают с себя, потому что оно ни на что не нужно. Тогда бог *останется один*. Тогда, может быть, ничто не заслонит его могущества, его сияния. Но кто тогда их увидит? Родятся ли из нашего праха новые расы людей, чтобы увидеть или чтобы угадать того, кто творит и кто разрушает?

– Мир погибнет, я это знаю, – сказал Стенио, – но для того, чтобы его разрушить, понадобится столько веков, что мозг человеческий даже не в силах все это исчислить. Нет, нет, это еще не агония мира. Мысль эта могла зародиться только в раздраженной душе какого-нибудь скептика вроде вас; но я чувствую, что мир еще молод: сердце мое и разум говорят мне, что он не достиг еще и середины жизни, не вступил в пору своего расцвета; мир еще развивается, ему предстоит еще столько всего узнать!

– Без сомнения, – иронически ответила Лелия, – он еще не постиг тайны воскрешать мерт-

вых и делать живых бессмертными; но он совершит и эти великие открытия, и тогда миру не будет конца, человек станет сильнее бога и сумеет выжить без помощи посторонней силы, опираясь только на свой собственный разум.

– Вы все шутите, Лелия! Но послушайте: не думаете ли вы, что люди сегодня стали лучше, чем были вчера, и поэтому...

– Я этого не думаю, но какое это имеет значение? Мы с вами разных мнений о возрасте мира, вот и все.

– Если бы мы знали его в точности, – сказал Стенио, – мы нисколько бы не подвинулись вперед. Мы не знаем тайны его создания, мы не знаем, сколько времени мир, устроенный так, как наш, может и должен жить. Но сердцем я чувствую, что мы движемся к свету и к жизни; на нашем небе сияет надежда, взгляните только, как прекрасно солнце! Какое оно яркое, какое щедрое, как оно улыбается горам, которые покрываются багрянцем от его ласк и краснеют от любви, как робкая девушка! Существование бога доказывается отнюдь не логикой разума. Люди верят в бога, потому что неизъяснимое чувство подсказывает им, что он существует. То же самое относится и к вечности – ее нельзя измерить мерилom точных наук, но человек ощущает душою присутствие в духовном мире свежести, силы, так же как своим физическим существом он чувствует присутствие в воздухе живительных и укрепляющих начал. Неужели вы будете вдыхать этот ароматный, горный воздух и он не проникнет в вас? Неужели вы будете пить эту прозрачную ледяную воду, пахнущую мятой и диким тмином, и даже не ощутите ее дивной свежести? Неужели вы не почувствуете себя помолодевшей и возрожденной, овеянная этим легким и нежным ветерком, среди цветов, таких красивых, таких гордых, оттого что они ничем не обязаны человеку? Обернитесь и взгляните на эти густые кусты рододендрона; как свежи, как чисты эти пучки лиловых цветов! Как они поворачиваются к небу, чтобы увидеть его лазурь, чтобы собрать росу! Цветы эти красивы, как вы, Лелия, они от всего отчуждены и дики, как вы; неужели вам непонятно, как они могут возбудить к себе любовь?

Лелия улыбнулась и, устремив свой взор на пустынную долину, погрузилась в раздумье.

– Конечно, нам следовало бы жить здесь, – сказала она наконец, – чтобы сохранить то немногое, что еще осталось у нас в сердце, но достаточно нам было бы провести тут три дня, и растительность бы поблекла и воздух бы потерял свою свежесть. Человек не может жить, не истерзав чрева своей кормилицы, не истощив почвы, которая его взрастила. Он непременно хочет исправить и переделать творение божье. Повторяю: достаточно вам пробыть здесь три дня, к вам захочется перетащить камни с горы в глубину долины и пересадить кустарники, растущие во влажных расселинах, на бесплодную каменную вершину. У вас это называют «разбивать сад». Если бы вы явились сюда пятьдесят лет назад, вы бы непременно поставили здесь еще статую и беседку.

– Вы все шутите, Лелия! Вы еще можете смеяться здесь, среди всего этого величия! Без вас я бы, может быть, лежал здесь, простертый перед творцом, который все это создал. Но вы мой злой дух, вы этого не захотели. И я должен слушать, как вы отрицаете все, даже красоту природы.

– Я вовсе ее не отрицаю! – вскричала она. – Слышали вы разве, чтобы я что-нибудь отрицала? Разве я оставалась хоть на миг равнодушна к красоте и величию какой-нибудь веры? Но кто даст мне силы обманывать себя? Увы, почему богу было угодно создать такое несоответствие между иллюзиями человека и действительностью? Почему каждый раз приходится страдать оттого, что хочешь счастья, которое является нам каждый раз в ореоле красоты, парит в наших мечтах, и никогда не спускается на землю? Не только наша душа страдает от отсутствия бога, а и все наше существо – наши глаза, наше тело – страдает от равнодушия или суровости неба.

Скажите мне, есть где-нибудь на земле такой климат, чтобы человеку не было ни слишком холодно, ни слишком жарко? Есть еще такая долина, где зимою бы не было сыро? Есть ли горы, где бы ветер не иссушал и не вырывал траву? На востоке изможденные зноем люди прозябают, томятся, они всегда лежат, всегда бездельничают. Женщины там блекнут под сенью гаремов, ибо солнце их просто бы спалило. А потом сухой, жгучий ветер поднимается с моря и, кружа головы

этому склонному к лени народу, порождает преступления или героические деяния, неведомые нам, северянам. Тогда эти люди опьяняются деятельностью, изливают в диких криках, кровавых наслаждениях и ничем не сдерживаемых оргиях ту силу, которая до сих пор в них дремала, пока наконец, изведенные страданием и усталостью, оупевшие до предела, они снова бессильно не опускаются на свои диваны.

И, однако, это еще самые закаленные, самые энергичные народы: самые счастливые в часы отдыха и самые неистовые в работе. Взгляните на народы жаркого пояса – солнце поистине к ним великодушно. Растения там необыкновенно велики, земля изобилует плодами, ароматами и красотой. Там царит какая-то особая, кичливая роскошь красок и форм. Птицы и насекомые там сверкают, как драгоценные камни, цветы источают пьянящие ароматы. Благовонны там и покрытые толстой корой деревья. Ночи там прозрачны, как наши осенние дни, звезды кажутся раза в четыре крупнее. Природа там щедра и прекрасна.

Человек, еще грубый и простодушный, не ведает иных зол, какие изобрели мы. Как повашему, счастлив он? Нет. Ему приходится бороться со стадами отвратительных диких зверей. Возле его жилья рычит тигр. Змея, это холодное и скользкое чудовище, более страшное для человека, чем любой другой враг, подползает к колыбели его ребенка. Его настигает гроза, эти страшные корчи могучей стихии, которая взвизгивает на дыбы, как разъяренный бык, раздирает себя самое, как раненый лев. Человеку остается либо бежать, либо гибнуть: ветер, молния, вышедшие из берегов потоки опрокидывают и уносят его хижину, заливая его поле, увлекая за собою стада. Ложась спать, он не знает, увидит ли опять родные места, когда проснется; слишком уж много было в этих родных местах красоты: господь не пожелал их сохранить. Каждый год приходится искать себе новое пристанище. Богу неприятен вид счастливого человека. О господи! Ты, может быть, тоже страдаешь, тебе, может быть, тоже скучно среди всей твоей славы, коль скоро ты причиняешь нам столько зла!

Так вот, эти дети солнца, которым мы, поэты, завидуем в наших мечтах, как земным избранникам, разумеется, спрашивают себя порою, не существует ли страны, облюбованной небом, которая не исполосована потоками раскаленной лавы, которую не опустошают разрушительные ветра, страны, которая пробуждается по утрам такая же ровная, спокойная и теплая, какой была накануне. Они спрашивают себя, неужели бог в гневе своем населил все земли жаждущими крови пантерами и отвратительными змеями; может быть, эти простодушные люди мечтают о земном рае под нашими умеренными широтами, может быть они видят во сне, как холодный туман опускается на их загорелые лица и смиряет окружающий их неумный зной. Мы-то ведь в снах наших видим красное и горячее солнце, сверкающую равнину, раскаленное море, а под ногами – горячий песок. Мы призываем южное солнце отогреть наши закохневшие спины, а южане готовы вымалывать капельки нашего дождя, чтобы увлажнить ими горящую грудь. Так повсюду человек страдает и ропщет: это нежное и нервное создание напрасно возомнило себя царем вселенной; он – ее самая несчастная жертва, он – единственная из всех живых тварей, чей интеллект находится в таком великом несоответствии с физической силой. Среди тех, кого он называет грубыми животными, властвует материальная сила, инстинкт у них не более чем средство сохранить жизнь. У человека развитый сверх меры инстинкт сжигает и мучит его хрупкий и слабый организм. Он бессилен, как моллюск, и при этом вожделеет, как тигр; ничтожество и нужда заточают его в черепашую скорлупу; честолюбие, беспокойство раскрывают в его мозгу орлиные крылья. Он хотел бы соединить в себе способности всех рас, но у него есть только одна способность – тщетно к чему-то стремиться. Он окружает себя останками прошлого; недра земли отдают ему золото и мрамор, он растирает цветы, добывая из них ароматные вещества, убивает птиц, чтобы украсить себя самыми красивыми перьями из их крыльев; нырки и гагары уступают ему свои пуховые шубки, чтобы разогреть его онемевшее, холодное тело; шерсть, меха, панцирь черепахи, шелк, внутренности одного зверя, зубы другого, шкура третьего, кровь и сама жизнь всех существ принадлежат человеку. Жизнь человека поддерживается лишь разрушением; и, однако, до чего же эта жизнь печальна и коротка!

Самое страшное из всего, что создали художники и поэты, поддаваясь причудам своей необычайной фантазии, и самые частые картины, преследующие нас в кошмарах, – это шабаш

оживших трупов, окровавленных скелетов животных, и разного рода чудовищные несообразности: птичьи головы на лошадиных туловищах, крокодильи морды на верблюжьих шеях; это нагромождение человеческих костей, это оргия ужаса, от которой пахнет кровью, это вопли страдания и зловещие крики изменившихся до неузнаваемости животных. Неужели вы считаете, что сны – это простая игра случая? Не кажется ли вам, что, помимо законов, связей и привычек, утвержденных правом и властью, у человека могут быть еще тайные угрызения совести, смутные, инстинктивные – и никакой ход его повседневных мыслей не может склонить его признать в том, что его мучит, и поделиться с кем-нибудь своей тайной? Угрызения эти выявляются только в суеверном страхе и в сновидениях. Теперь, когда нравы, обычаи и верования разрушили некоторые стороны нашей духовной жизни, жизнь эта запечатлелась в каких-то уголках нашего мозга и может быть обнаружена, лишь когда наше сознание засыпает.

Есть немало других сокровенных ощущений такого же рода. Есть воспоминания, словно оставшиеся в нас от прежней жизни; дети, появляясь на свет, несут с собою страдания, уже испытанные в могиле, ибо очень может быть, что человек покидает холодный гроб, чтобы улечься в мягкой и теплой колыбели. Кто знает! Не прошли ли мы все через смерть и хаос? Эти страшные картины преследуют нас во всех наших снах! Откуда у нас этот живой интерес к угасшим жизням, откуда эти сожаления и эта любовь к людям, от которых в истории человечества осталось всего-навсего одно имя? Не есть ли это бессознательное влечение памяти? Иногда мне кажется, что я знала Шекспира, что я плакала вместе с Торквато, что вместе с Данте пронеслась по небу и аду. Одно имя былых времен возбуждает во мне чувства, похожие на воспоминания, так как некоторые запахи экзотических растений напоминают нам страны, откуда эти растения привезены. Тогда наше воображение ведет себя с ними так, как будто они ему давно привычны, как будто нога наша ступала уже по этой неведомой стране, в которой, однако, как мы думаем, мы никогда не жили и не умирали. Что мы, несчастные, обо всем этом знаем?

– Мы знаем только то, что мы не можем этого знать, – сказал Стенио.

– Вот это-то нас и мучит, Стенио! – воскликнула она. – Бессилие, которое целой вселенной, поработанной и покалеченной, плохо удается скрыть под блеском своих иллюзорных трофеев. Искусство, промышленность, науки, нагромождения цивилизации – что это, как не постоянные попытки человеческой слабости утаить свои недуги и прикрыть свою нищету? Поглядите, может ли роскошь, сколько бы изобилия, сколько бы утех она ни несла, создать в нас новые чувства или усовершенствовать организм человека; поглядите, удалось ли непомерно развитому человеческому разуму применить теорию на практике; привели ли все усилия к тому, что наука продвинулась за пределы недостижимого; чудовищно возбуждав наши страсти, вкусили ли мы всю полноту наслаждения? Сомнительно, чтобы прогресс, достигнутый шестьюдесятью веками поисков, мог сделать существование человека терпимым и уничтожить для многих необходимость самоубийства.

– Лелия, я даже не пытался доказать вам, что человечество достигло апогея своего величия. Напротив, я уже говорил вам, что, на мой взгляд, еще немало поколений сменяют друг друга, прежде чем достичь этой высоты, а достигнув ее, оно, может быть, сумеет продержаться еще века, прежде чем дойдет до той степени падения, какую вы приписываете ему сейчас.

– Как вы можете думать, юноша, что мы идем неуклонно вперед, если вы видите, что вокруг вас гибнет столько убеждений и на смену им не приходят новые, если вы видите, что все общество в разброде и не стремится жить в соответствии с законами природы, все способности истощаются от излишеств, все устои, вчера еще незыблемые, начинают обсуждаться и становятся игрушками для детей, и на смену им не приходят принципы новой веры. Не так ли обноски королевских и священнических одежд стали маскарадными костюмами для народа, у которого есть право быть самому королем и священником, хотя короли все еще царствуют, а народ им служит!

– Да, я знаю, напрасные усилия во все времена томили человечество. Но лучше уже такое время, когда господствует тирания и рабы страдают, чем такое, когда тирания дремлет, оттого что рабы ей безропотно покорились.

– В былые времена, после войн, которые человек вел с человеком, после этих потрясений

всего общества мир, еще молодой и сильный, поднимался и восстанавливал свое здание для последующих веков. Этого больше не будет. Мы не только переживаем, как вы считаете, последствие одного из недавних кризисов, когда разум человеческий в утомлении засыпает на поле битвы, прежде чем успевает взять в руки оружие освобождения. Вынужденный падать и подниматься вновь, лежать простертым на боку в надежде увидеть, как его раны откроются и закроются снова, метаться в оковах и, обращая крики свои к небу, доходить до хрипоты, колосс стареет и слабеет: теперь он качается, как развалины, которые вот-вот рухнут, – еще несколько часов предсмертных судорог, и ветер вечности равнодушно пронесется над хаосом отпустивших поводя народов, все еще вынужденных оспаривать остатки поверженного мира, который уже не может удовлетворить их потребности.

– Так вы верите в наступление Страшного суда? О моя бедная Лелия! Ваша сумрачная душа порождает эти невероятные ужасы, ибо она слишком велика для мелких суеверий. Но во все времена ум человека занимали мысли о смерти. Аскетические души всегда находили уладу в мрачном раздумье и старались представить себе конец мира и гибель вселенной. Вы не первая пророчите его, Лелия. Иеремия явился раньше вас, и ваша гневная дантовская поэзия не создала ничего столь зловещего, как Апокалипсис, который блаженный безумец распевал в бреду по ночам на скалах Патмоса.

– Я это знаю, но голос Иоанна Богослова, мечтателя и поэта, люди услышали и восприняли. Он поверг в ужас мир и, хоть его невозможно было понять, он обратил в христианскую веру множество самых заурядных людей, которые были глухи к высоким евангельским истинам, внушив им страх. Иисус отверз небо спиритуалистам, Иоанн отверз ад и выпустил оттуда смерть на бледном коне, деспотизм с окровавленным мечом, войну и голод, скакавших на лошадином скелете, чтобы испугать чернь, которая спокойно переносила все бедствия рабства, но испугалась, увидав их в языческом обличье. А в наши дни пророки вещают в пустыне, и ни один голос не отвечает им, ибо мир ко всему равнодушен; он глух, он ложится и затыкает себе уши, чтобы умереть в покое. Напрасно иные разбросанные по земле кучки сектантов стараются разжечь в людях искорку добродетели. Последние обломки духовной мощи человека, они всего лишь на несколько мгновений вынырнут над бездной, чтобы потом, вместе с другими обломками, погрузиться на дно этого безбрежного моря, которое зальет весь мир.

– О, зачем так отчаиваться, Лелия, в людях, которые стараются в наш железный век возродить добродетель! Если бы я, как вы, сомневался в том, что им это удастся, я не стал бы высказывать этого вслух. Я боялся бы совершить преступление.

– Люди эти меня восхищают, – ответила Лелия, – и я хотела бы быть среди них, пусть даже последней. Но что могут сделать эти пастыри со звездой на челе перед великим чудовищем Апокалипсиса, перед этой огромной, и страшной фигурой, неизменно главенствующей над всем, что в писаниях своих изображает пророк. Эта женщина, бледная и прекрасная, как преступление, эта великая блудница народов, украшенная драгоценностями Востока, верхом на гидре, изрыгающей потоки яда на всех человеческих путях, – это цивилизация, это человечество, соvrащенное роскошью и наукой, это ядовитая лавина; она поглотит всякое слово добродетели, всякую надежду на возрождение.

– О Лелия, – воскликнул поэт, охваченный суеверным предчувствием. – Не вы ли этот несчастный и страшный призрак? Сколько раз великий ужас овладевал мною в снах! Сколько раз вы являлись мне как олицетворение невыразимых мук, в которые бросает человека его пылкий разум! Не олицетворяли ли вы с вашей красотой и вашей печалью, с вашей скукой и вашим скептицизмом избыток страдания, порожденный чрезмерностью мысли? Не вы ли высвободили, если так можно выразиться, растратили по мелочам, прельстившись новыми впечатлениями, впадая в новые заблуждения, духовную силу, которую столь развили занятия искусством, поэзией и наукой? Вместо того чтобы, вняв голосу благоразумия, по-настоящему привязаться к простодушной вере ваших отцов и к той прирожденной беззаботности, которую господь вложил в человека, для того чтобы он мог насладиться отдыхом и сохранить свои силы; вместо того чтобы жить благочестивой и скромной жизнью, вы предались соблазнам тщеславной философии. Вы окунулись в поток цивилизации, который поднимался, чтобы разрушать, и кото-

рый слишком быстрым своим бегом смысл едва заложенные основания грядущего. И только потому, что вы на несколько дней отодвинули осуществление того, что творили века, вы считаете, что разбили песочные часы в руках у времени! В вашем страдании много гордости, Лелия! Но господь даст схлынуть этому потоку бурных веков – для него это не более, чем капля воды в море. Ненасытная гидра погибнет без пищи, и из ее труп, который закроет собою весь мир, явится на свет новая порода людей, более сильных и выносливых, чем мы.

– Вы заглядываете далеко вперед, Стенио! Вы олицетворяете для меня природу, а вы ведь ее невинное дитя. Вы еще не пробудили своих способностей, вы считаете себя бессмертным, оттого что чувствуете себя молодым, как эта дикая долина, красивая и гордая в своем цветении, не задумывающаяся над тем, что в один прекрасный день, когда лемех плуга и сторукое чудовище, имя которому промышленность, могут изрыть ее лоно и похитить ее сокровища; вы растете доверчивый и самонадеянный, не видя жизни, которая грядет и которая придавит вас тяжестью своих заблуждений, изуродует вам лицо румянами своих обещаний. Подождите, подождите несколько лет, и вы скажете, как мы: «Все проходит!».

– Нет, не все проходит! – воскликнул Стенио. – Взгляните на это солнце, на эту землю, на это чудесное небо, и на эти зеленые холмы, и даже на этот лед, на эти возведенные морозом хрупкие своды, веками противоборствующие лучам летнего солнца. Так вот, слабый человек восторгается! И значит ли что-нибудь гибель нескольких поколений? Возможно ли, что вы плачете из-за такого пустяка, Лелия. Неужели вы думаете, что хоть одна мысль может умереть во вселенной? Не останется ли это нетленное наследие неприкосновенным под пылью вымерших племен, так же как вдохновенные создания искусства и научных открытий, извлекаемые день ото дня из-под пепла Помпеи или из гробниц Мемфиса? О великое и потрясающее доказательство бессмертия разума! Глубокие тайны были погребены во мраке времен, мир позабыл, сколько ему лет, и, все еще считая себя молодым, испугался, почувствовав себя вдруг таким стариком. Он говорил как вы, Лелия: «Час мой скоро пробьет, ибо я слабею, а я еще так недавно родился на свет! Как же мало времени мне будет нужно, чтобы умереть, раз так мало его понадобилось, чтобы вызвать меня к жизни». Но вот настает день, и трупы людей извлекаются из гробниц Египта, Египта, который пережил эпоху цивилизации и который только что вышел из состояния варварства! Египта, в котором вновь вспыхнуло давно исчезнувшее пламя; отдохнув и набравшись сил, оно скоро, может быть, разгорится в нашем потухшем светильнике.

Египет – живое воплощение мумий, проспавших в пыли веков и теперь пробудившихся с расцветом науки, чтобы поведать новому миру возраст старого! Скажите, Лелия, разве это не величественно и не ужасно? В высохших внутренностях труп пыливый взгляд нашего века отыскивает папирус, таинственный и священный памятник вечного могущества человека, еще темное, но неоспоримое свидетельство очень долгого существования мира. Жадной рукой мы разворачиваем эти пропитанные благовониями повязки, ветхий и вечный саван, перед которым бессильно разрушение. Этот саван, в который обернуто тело, эти манускрипты, которые покоились под ребрами на том месте, где, может быть, когда-то находилась душа, – это человеческая мысль, выраженная непонятными знаками и переданная с помощью искусства, секрет которого для нас утрачен и вновь обретен в гробницах Востока, искусства спасти мертвые тела от укусов разрушения – самой страшной силы на свете. О Лелия, можно ли отрицать молодость мира, видя, как он наивно и простодушно взирает на уроки прошлого и начинает новую жизнь на позабытых развалинах неведомых ему времен!

– *Знать* еще не значит *мочь*, – ответила Лелия, – переучиваться не значит идти вперед; видеть не значит жить. Кто вернет нам способность действовать, и прежде всего – искусство наслаждаться жизнью и ее сохранять? Мы зашли слишком далеко, чтобы отступать назад. То, что было только отдыхом для цивилизаций, которых уже нет, будет смертью для нашей измученной цивилизации; помолодевшие народы Востока будут опьяняться адом, который мы разлили по нашей земле. Отчаянные кутилы, варвары продлят, может быть, на несколько часов роскошную оргию в ночи времен, но яд, который мы им завещаем, будет столь же смертоносен и для них, как для нас, и все канет во мрак!..

Ах, разве вы не видите, Стенио, что солнце уходит от нас? Разве усталая земля в беге своем

не клонится заметно к мраку и хаосу? Разве кровь ваша так уж пьяна и молода, что она не ощущает прикосновений холода, который, подобно траурному одеянию, застилает эту планету, покинутую на волю рока, самого могучего из богов? О холод! Этот пронизывающий нас недуг, который острыми иглами вонзается во все поры! Это проклятое дыхание, иссушающее цветы и испепеляющее их, как пламя; этот недуг физический и в то же время духовный, который овладевает душою и телом, который проникает в самые глубины мысли и сковывает дух наш и кровь; холод, этот мрачный демон, опустошающий вселенную своим влажным крылом и несущий чуму оцепеневшим от ужаса народам! Холод, который губит все живое, который накладывает свой дымчато-серый покров на яркие краски неба, на отблески воды, на цветы, на лица девушек! Холод, который окутывает своим белым саваном луга, леса, озера, все – даже мех зверей и оперение птиц! Холод, который обесцвечивает все в мире материальном и в мире духовном: зайца и медведя – где-нибудь возле Архангельска, радости человека, и его характер, и нравы – во всех краях, где бывает зима! Вы отлично видите, что все цивилизуется; это значит, что все охладевает. Народы жаркого пояса начинают недоверчиво и боязливо протягивать руки к ловушкам нашей промышленности, тигры и львы становятся ручными и приходят из южных пустынь, чтобы развлекать северян; животные, которые никогда не могли акклиматизироваться у нас, покинули остывающее солнце своей страны и остались живы и, позабыв свою гордую тоску, снедавшую их в неволе, позволили человеку себя приручить. Повсюду кровь истощается и холодеет, по мере того как инстинкт развивается и растет. Душа становится выше и покидает землю, не могущую удовлетворить ее запросов, чтобы похитить с неба огонь Прометея; но, сбившись с пути во мраке, она останавливается в своем беге и падает – это бог, видя, как она осмелела, простирает длань и заслоняет ей солнце.

30. ОДИНОЧЕСТВО

«Вот видите, Тренмор, дитя меня послушало: он оставил меня одну в пустынной долине. Мне здесь хорошо. Тепло. Я нашла приют в заброшенном швейцарском домике, и каждое утро пастухи из соседней долины приносят мне козьего молока и испеченные на костре лепешки. Постель из сухого вереска, плащ вместо одеяла и кое-какая одежда – этого хватит, чтобы прожить неделю или две без особых неудобств.

Первые часы, которые я провела там, показались мне самыми прекрасными в жизни, вам ведь я могу все сказать, не правда ли, Тренмор?

По мере того как Стенио удалялся, я чувствовала, что тяжесть жизни спадает с моих плеч. Сначала его печаль оттого что он расстанется со мной, его противодействие тому, чтобы я осталась в этом уединении, его испуг, его покорность, его слезы без упреков и его ласки без горечи заставили меня раскаяться в моем решении. Когда он спустился вниз с первого уступа Монтевердора, мне хотелось его вернуть, его потерянный вид надрывал мне сердце. Ведь я же его люблю, вы знаете, люблю до глубины души; это чувство, святое, чистое, истинное, не умерло во мне, вы это хорошо знаете, Тренмор; ведь и вас я тоже люблю. Но вас я люблю иначе. У меня нет к вам этого робкого, нежного, почти детского влечения, какое я испытываю к нему, когда он страдает. Вы, вы никогда не страдаете, вы не нуждаетесь в том, чтобы вас так любили!

Я сделала ему знак вернуться. Но он был уже слишком далеко. Он решил, что это мой прощальный привет. Он ответил на него и продолжал идти своей дорогой. Тогда я заплакала; я понимала, сколько зла я ему причинила, прогнав его, и я молила бога дабы смягчить это зло, ниспослать ему, как всегда, светлое вдохновение, при котором скорбь становится драгоценной, а слезы – благотворными.

Потом я долго еще на него смотрела, когда он черной точкой мелькал в глубине долины, скрываясь то за холмами, то за кучкой деревьев, а потом снова появляясь над водопадом или на краю ложбины, и, видя как он удаляется медлительно и грустно, я переставала жалеть его; мне думалось: он уже восхищается пеной потока и зеленью гор, он уже призывает бога, он уже возносит меня в своих мечтах, уже настраивает лиру своего гения, уже облекает страдание свое в форму, которая расширяет его русло, вместе с тем смягчая его остроту.

Почему вам хотелось, чтобы судьба Стенио меня испугала? Сделать меня ответственной за нее, предсказывать мне, что она будет ужасной, жестоко и несправедливо. Стенио гораздо менее несчастен, чем он говорит и чем думает. О, с какой охотой я бы сменила мою участь на его! Сколько у него богатств, которых у меня больше нет! Как он молод, как он велик, как он верит в жизнь!

Когда он больше всего жалуется на меня, он всего счастливее, ибо считает меня неким чудовищным исключением. Чем больше он отталкивает мои чувства и борется с ними, тем больше он уповает на свои, тем больше привязывается к ним, тем тверже верит в себя.

О, верить в себя! Восхитительное безрассудство самонадеянной молодости! Устраивать самому свою судьбу, с высокомерным презрением глядеть на ленивых путников, которые устало бредут по дороге, и думать, что ринешься к цели, сильный и стремительный, как мысль, что в пути у тебя ни разу не захватит дух, что ты нигде не споткнешься. По неопытности своей принимать желание за твердую волю! Какое счастье, какая неразумная дерзость! Какое бахвальство, какая наивность!

Как только он скрылся вдаль, я стала спрашивать себя, где же мое страдание, и больше не находила его: мне стало легче, словно я избавилась от угрызений совести; я легла на лужайку и уснула, как узник, с которого сняли кандалы и который пользуется своей свободой, чтобы прежде всего насладиться отдыхом.

А потом я снова спустилась по Монтевердору с пустынной его стороны и так, что вершина горы оказалась между мною и Стенио, между одиночеством и человеком, между мечтою и страстью.

Все, что вы мне говорили о восхитительном спокойствии, открывавшемся вам после жизненных бурь, все это я ощутила, когда наконец осталась одна, совсем одна между землею и небом. Ни одной души в этом необитаемом просторе, ни одного живого существа ни в горах, ни на небе. Казалось, что уединение это становится суровым и прекрасным, чтобы приобщить меня к себе. Ни малейшего ветерка, ни шороха птичьих крыльев. И тут я вдруг испугалась собственных шагов. Мне стало казаться, что каждая травинка, которую я топчу на ходу, от этого страдает и жалобно просит меня ее не трогать. Я нарушала покой, оскорбляла тишину. Скрестив руки на груди, я остановилась и затаила дыхание.

О, если бы смерть была такою, Тренмор! Если бы она была только отдыхом, созерцанием, покоем и тишиною! Если бы все способности, которые даны нам, чтобы радоваться и страдать, вдруг отнялись, если бы у нас осталось только слабое сознание, неуловимое ощущение нашего ничтожества! Если бы можно было сесть так среди неподвижного воздуха, перед унылым и пустынным пейзажем, знать, что ты страдал и больше не будешь страдать, что господь поможет тебе обрести там отдохновение! Но какую будет другая жизнь? Я все никак не могу решить, в какие формы мне бы хотелось ее облечь. До сих пор, в каком бы облике эта жизнь ни являлась мне, она внушает мне только страх или жалость. Так почему же я не перестала ее желать? Что это за неведомое и жгучее желание, которое ни на что не направлено и вместе с тем снедает сердце как страсть? Сердце человека – это бездна страдания, глубину которого люди ни разу не измеряли и никогда не смогут измерить.

Я оставалась там до тех пор, пока солнце не зашло, и все это время мне было хорошо. Но когда на небе остались лишь отблески его лучей, все растущее беспокойство охватило природу. Поднялся ветер; казалось, что звезды борются с взрыхленными тучами. Хищные птицы с громкими криками поднялись в воздух. Они искали пристанища для ночлега, их мучила потребность найти его, страх. Они выглядели рабами необходимости, слабости и привычки, как будто то были люди.

Беспокойство это по мере приближения почти сказывалось в самых незаметных явлениях. Лазурные бабочки, спавшие на солнце в высокой траве, вихрями взвились в воздух, чтобы скрыться в таинственных убежищах, где их невозможно найти. Зеленые болотные лягушки и кузнечики, звеня своими металлическими крылышками, начали наполнять воздух грустными прерывистыми звуками, приводившими меня в раздражение; даже цветы – и те, казалось, дрожали от влажного дыхания вечера. Одни свертывали листья; они стягивали тычинки, прятали в ча-

шечках лепестки. Другие, те, что влюбляются в часы, когда дует ветер, покровитель этих любовных посланий, открывались, кокетливые, трепещущие, горячие на ощупь, как грудь человека. Все готовились: кто – ко сну, кто – к любви.

Я почувствовала, что снова одна. Когда все казалось недвижимым, я могла слиться воедино с этой пустыней и стать частью ее, словно какой-нибудь камень или кустик. Когда я увидела, что все возвращается к жизни, что все тревожится о завтрашнем дне и проявляет желание или заботу, я возмутилась тем, что у меня нет своей воли, своих потребностей, своего страха. Луна взошла. Она была прекрасна. Трава на холмах отливала отблесками, прозрачными как изумруды. Но что значила для меня луна и ее ночные чары? Мне было все равно, будет ли ее бег длиннее или короче, – я ничего не ждала. Никакое сожаление, никакая надежда не примешивалась к этим ночным часам, которые волновали так все земное. У меня не было ничего в пустыне, ничего среди людей, ничего в ночи, ничего в жизни. Я ушла в свою хижину и попыталась уснуть – скорее от тоски, нежели из потребности.

Сон – это улада и прелесть для маленьких детей, которым снятся только феи или рай, для птичек, слабеньких и теплых, которые жмутся к мягкой материнской груди. Но для нас, развивших способности свои до крайних пределов, сон потерял свою целомудренную сладость и свою томную глубину. Жизнь теперь устроена так, что лишает нас самого драгоценного свойства ночи – забвения дня. Речь идет не о вас, Тренмор, вы ведь, говоря словами Писания, живете на свете так, как будто и не живете вовсе. Но я в течение всей моей беспорядочной и безудержной жизни поступала так, как другие. Гордому высокомерию души подчинила я все властные потребности тела. Я поступилась всеми дарами жизни, всеми благодеяниями природы. Я обманывала голод вкусной и возбуждающей пищей, я отгоняла сон беспричинным волнением или бесполезной работой.

То, сидя при свете лампы, я искала в книгах разгадки великих тайн человеческой жизни. То, брошенная в водоворот нашего века, я с тяжелым сердцем проходила сквозь толпу и, оглядывая печальным взглядом окружающие меня омерзение и пресыщенность, стремилась уловить в напоенном ароматом воздухе ночных празднеств некий звук, некое дуновение, которые бы могли взволновать мою душу. Иногда, блуждая по тихим холодным полям, я вопрошала окутанные туманом звезды и в скорбном упоении своем словно старалась измерить безграничное пространство, отделяющее землю от неба.

Сколько раз утро заставало меня во дворце, где гремела музыка, или на лугах, увлажненных росой, или в тишине суровой кельи, – я забывала об отдыхе, об исполнении закона природы, которое наступившая ночь предписывает всем живым существам и которое ничего не значит для тех, кого коснулась цивилизация! В каком нечеловеческом напряжении пребывал мой дух, погнавшийся за какою-нибудь химерой, в то время как мое измученное и ослабевшее тело требовало сна, а я даже не замечала его тревоги. Я вам уже сказала: спиритуализм, преподанный народам сначала как религиозная вера, потом как церковный закон, в конце концов внедрился в наши нравы, привычки и вкусы. Люди обуздали все свои физические потребности, им захотелось поэтизировать аппетиты так же, как чувства. Наслаждение покинуло зеленое ложе лужаек и беседки, увитые виноградной лозой, чтобы усесться на бархатные кресла у заставленных золотой посудой столов. Светская жизнь, изнуряющая тела и возбуждающая умы, умерила доступ солнцу в дома богачей; она зажгла светильники, чтобы было светло, когда они будут пробуждаться, и приучила их бодрствовать в часы, которые природа отводит для сна. Как воспротивиться этой лихорадочной и губительной игре? Как бежать с этой бешеной быстротой и не растратить все силы на половине пути? Я стара, как будто мне тысяча лет. Красота моя, которую все превозносят, всего лишь обманчивая маска, скрывающая измождение и агонию. В пору сильных страстей у нас уже нет никаких страстей, у нас даже нет желаний, разве только одно – покончить с усталостью и улечься простертым в гробу.

А я совсем потеряла сон. Увы, это так. Я уже больше не знаю, что это такое. Не знаю, как назвать это мучительное и тяжелое оцепенение, которое охватывает мозг и в течение нескольких ночных часов наполняет его сновидениями и страданиями. Но мой детский сон, чудесный сладостный сон, такой чистый, такой свежий, такой благодатный, сон, который ангел-хранитель

оберегает своим крылом, который мать навевает своею песнью ребенку, это целительное успокоение в двойной жизни человека, блаженное тепло, разливающееся по телу, тихое и мерное дыхание, золотая и лазурная пелена, застилающая взгляд, и токи воздуха, которые вместе с дыханием ночи пробегают по волосам ребенка и обвевают его шею, – я потеряла этот сон и никогда его больше не обрету. Горестный и тяжелый бред нависает над моей душой, не знающей, к чему стремиться. Моя горящая грудь вздымается с трудом, она не в силах вобрать в себя тонкие ароматы ночи. Ночь теперь для меня лишь нечто тягостное и душное. В снах моих больше нет того очаровательного, милого смятения, которое способно уложить все самое удивительное в жизни в несколько часов иллюзии. Сны мои до ужаса правдивы; призраки всех моих жизненных разочарований без конца возвращаются ко мне, все более жалкие, все более отвратительные ночью от ночи. Каждый призрак, каждое из этих чудовищ, вызванных кошмаром, – это поразительная по своей прозрачности аллегория, отвечающая какому-нибудь глубокому и тайному страданию моей души. Я вижу, как бегут тени друзей, которых я разлюбила, я слышу тревожные крики тех, кто умер и чья душа бродит в крошечном мраке другого мира. А потом я сама, бледная и измученная, спускаюсь в бездонную пропасть, которая зовется вечностью; бездна эта разъята у самой моей кровати, словно раскрывшаяся гробница. Мне чудится, что я постепенно спускаюсь вниз по ступенькам и жадно ищу глазами в этих безмерных глубинах слабый луч надежды, и единственным факелом, озаряющим мне дорогу, становится свет адского пламени, красный и зловещий, он жжет мне глаза, пробирается в мозг и все неодолимее сбивает меня с пути.

Вот каковы мои сны. Это каждый раз борьба разума со страданием и бессилием.

Такой сон сокращает жизнь, вместо того чтобы ее продлевать. На него тратится уйма энергии. Робкая мысль, всегда более беспорядочная, более причудливая, становится тоже ожесточеннее и тяжелее. Ощущения рождаются неожиданно, резкие, страшные и душераздирающие, будто вызванные реальной жизнью. Вы можете судить об этом, Тренмор, по тому впечатлению, которое у вас остается от драматического воплощения какой-нибудь страсти, искусно разыгранного на сцене. Во сне душа присутствует на самых ужасных зрелищах и не может отличить иллюзии от жизни. Тело корчится в судорогах, дрожит от ощущения безмерного ужаса и страдания, а разум не сознает своего заблуждения и не помогает, как в театре, набраться сил, чтобы все выдержать до конца. Просыпаясь весь в поту и в слезах, охваченный тупым оцепенением, и усталость от этих бессмысленных и бесполезных усилий длится потом целый день.

Есть сны еще более тяжелые. Это когда кажется, что ты осуждена решать какую-то неразрешимую задачу, выполнить несуществующую работу, например, считать, сколько листьев в лесу, или бежать легко и стремительно как ветер; с быстротою мысли нестись по долинам, по морям и горам, чтобы нагнать какое-то смутное, неуловимое видение, которое всегда опережает нас и, меняя свое обличье, всегда увлекает нас за собою. Не снился ли вам такой сон, Тренмор, в ту пору, когда в жизни у вас бывали еще желания и когда вы верили в химеры? О, как часто возвращается ко мне это видение! Как оно зовет меня, как манит! Порой оно принимает облик нежной и бледной девушки, которая была подругой моей и сестрой на заре моей жизни и которая оказалась более счастливой и умерла в расцвете молодости, в расцвете иллюзий. Она зовет меня следовать за собой в страну отдыха и покоя. Я пытаюсь пойти за ней. Но это какое-то воздушное создание, ветер уносит его, и оно покидает меня, растаявши в облаках. А я все бегу и бегу: я увидела, как за туманными берегами воображаемого моря поднялся еще один призрак, я приняла его за первый и так же стремительно за ним гонюсь. Но когда он оборачивается, то оказывается, что это какое-то отвратительное существо, злой дух, который издевается надо мной, что это окровавленный труп, новый соблазн или новое угрызение совести. А я все бегу, ибо какая-то роковая сила влечет меня к этому Протею, – он никогда не останавливается, иногда он как будто сливается вдаль с огненным потоком на горизонте и вдруг появляется из-под земли, чтобы заставить меня бежать за ним, но уже куда-то в другую сторону.

Увы! Сколько вселенных обежала я в этих странствиях души! Я пробегала по убеленным снегом степям холодных стран, мимолетным взглядом озираю саванны, озаренные бледной, прекрасной луной. На крыльях сна я касалась огромных морей, таких необъятных, что становится страшно. Я опережала самые быстроходные корабли и самых стремительных ласто-

чек. На протяжении часа видела я, как солнце всходило у берегов Греции и заходило за голубыми горами Нового Света. Под ногами у меня расстилались народы и империи. Я могла вблизи разглядеть огненные лики светил, блуждающих по воздушным пустыням в далеких небесных просторах. Я встречала испуганные тени, рассеянные порывами ночного ветра. Каких только сокровищ воображения, каких только поразительных богатств природы не извела я в этих быстротечных сновидениях? И зачем мне было путешествовать наяву? Видела ли я хоть что-нибудь, что походило бы на мои фантазии? О, какой бледной казалась мне земля, каким тусклым небо, каким тесным море в сравнении с землями, небесами и морями, которые я узнала за время этих полетов духа. Остаются ли в реальной жизни хоть какие-нибудь красоты, чтобы чаровать нас, а в человеческой душе – способности радоваться и восхищаться, когда воображение, не щадившее нас, растратило все заранее?

Сны эти были, однако, изображением жизни. Они являли ее мне затемненную чрезмерной яркостью неестественного света; так события грядущего и мировой истории выглядят темными и полными ужаса в священной поэзии пророков. Пролетая вслед за тенью подводные скалы, пустыни, проходя сквозь все очарования и все пропасти жизни, я все видела и не в силах была остановиться. Я восхищалась всем по пути, но насладиться ничем не могла. Я столкнулась со всеми опасностями, и ни одна из них не погубила меня: меня все время оберегала все та же роковая сила, которая уносит меня в своем вихре и отделяет глухой стеной от вселенной, которую она распластывает у моих ног.

Вот тот сон, который мы создаем себе сами.

Дни уходят на то, чтобы отдыхать от ночей. У меня нет больше сил. Часы, когда все живое деятельно, находят нас погруженными в апатию, полумертвыми, ожидающими вечера, чтобы пробудиться ото сна, и ночи, чтобы растратить в пустых сновидениях всю скудную силу, какую мы скопили в течение дня. Так годами протекает моя жизнь. Вся моя душевная энергия себя пожирает и гибнет оттого, что направлена она на самое себя; в результате она только изнуряет и губит тело.

На этом ложе из вереска я спала отнюдь не спокойнее, чем на моей атласной постели. Только я не слыхала боя церковных часов и могла поэтому вообразить, что эта смешанная с обрывками сна бессонница отняла у меня один долгий час, а не целую ночь.

В наших жилищах над нами, мне кажется, тяготеет несчастье. Это необходимость постоянно знать, в котором часу мы живем. Напрасно мы стали бы пытаться освободиться от этого чувства. Нам об этом напоминает весь распорядок дня окружающих нас людей. А ночью, в тишине, когда все спит и когда забвение словно парит над всеми живущими, печальный бой часов безжалостно отсчитывает шаги, сделанные вами в сторону вечности, и число мгновений, которые прошлое, отнимая у вас, поглощает невозвратно. Как торжественны и спокойны эти голоса времени, которые нарастают, словно предсмертные крики, и бесстрастно отдаются в гулких стенах домов, где уснули живые, или на кладбище, над могилами, которым неведомо эхо! Как они волнуют вас и как заставляют дрожать от испуга и гнева в вашей жгучей постели! «Еще один! – говорила я себе часто. – Еще одна частица моей жизни отрывается от меня! Еще один луч надежды, который гаснет! Еще часы! Еще и еще потерянные часы, низвергнутые в бездну прошлого, а тот час, когда я могла бы почувствовать, что живу, так и не настает!»

Вчера я весь день была в подавленном состоянии. Я ни о чем не думала. Должно быть, я весь день отдыхала; но я даже не заметила, что отдыхаю. А раз так, то нужен ли этот отдых?

Вечером я решила не спать и употребить силу, которую душа находит в себе для того, чтобы выдержать натиск снов, – на то, чтобы, как в былые дни, устремиться к какой-то мысли. Давно уже я перестала бороться и со сном и с бессонницей. В эту ночь мне захотелось снова вступить в борьбу, и, коль скоро материя не может погасить во мне духа, сделать по крайней мере так, чтобы дух укротил материю. Ну так вот, мне это не удалось. Побежденная тем и другим, я провела ночь сидя на скале; у ног моих был ледник, при свете луны сверкавший как алмазный дворец из «Тысячи и одной ночи», над головой у меня – чистое и холодное небо, на котором блестели звезды, большие и белые, как серебряные блески на саване.

Пустыня эта действительно очень хороша, и поэт Стенио в эту ночь дрожал бы от поэтиче-

ского экстаза! Но я, увы, чувствовала, что во мне поднимаются только негодование и ропот; эта мертвенная тишина ложилась мне на душу и казалась оскорбительной. Я спрашивала себя, к чему мне душа, любопытная, жадная, беспокойная, которая никак не хочет остаться здесь и все время стучится в это знойное небо, которое никогда не открывается взгляду, никогда не отвечает ни слова, чтобы поддержать в ней надежду! Да, я ненавидела эту сияющую великолепием природу, ибо она высилась там предо мной, как глупая красавица, которая в гордом молчании встречает взгляды мужчин, считая, что с нее ничего не требуют, что ее дело только красоваться. Потом мною овладела снова безотрадная мысль: «Когда я буду знать, я буду еще более жалкой, ибо я уже ничего не смогу». И вместо того чтобы предаться беспечности философа, я впала в тоску от сознания того ничтожества, к которому привела меня жизнь».

31

«Итак, Тренмор, я покидаю пустыню. Я иду куда глаза глядят искать движения и шума среди людей. Я не знаю, куда я пойду. Стенио смирился с тем, чтобы прожить месяц в разлуке со мной; проведу я этот месяц здесь или где-нибудь в другом месте, ему все равно. Мне же хочется решить для себя один вопрос: узнать, так же ли плохо мне будет жить на земле с любовью, как я жила без любви. Когда я полюбила Стенио, я думала, что чувство теперь перенесет меня через тот рубеж, у которого оно меня покинуло. Я была так горда верой в то, что во мне еще остались молодость и любовь!.. Но все это стало теперь для меня сомнительным и я уже сама больше не знаю ни что я чувствую, ни что я такое. Я стремилась к одиночеству, чтобы собраться с мыслями, чтобы спросить себя обо всем. Ибо пустить свою жизнь так, без руля и без ветрил, по ровному, унылому морю – это значит самым постыдным образом ее погубить. Лучше уж буря, лучше громы и молнии: ты по крайней мере видишь себя, чувствуешь, что погибаешь».

Но для меня одиночество – всюду, и сущее безумие искать его в пустыне больше, чем в каком-либо другом месте. Только там оно более спокойное, более тихое. Это меня и убивает! Мне кажется, я открыла, что меня может еще поддержать в этой жизни, полной разочарований и горькой усталости. Это страдание. Страдание возбуждает, воодушевляет, оно раздражает нервы: оно отторгает от сердца кровь, оно сокращает нам агонию. Это жестокое, страшное потрясение, которое отрывает нас от земли и дает нам силу подняться к небу, проклинать и кричать. Умирать в летаргии – это не умирать и не жить, это значит потерять все, чего ты достигла, это значит не изведать всех наслаждений, которые предшествуют смерти.

Здесь все способности засыпают. Для больного тела, в котором душа по-прежнему молода и сильна, живительный воздух, деревенская жизнь, отсутствие сильных ощущений, долгие часы, отведенные отдыху, скромная пища были бы сущим благодеянием. Но у меня именно душа делает тело слабым, и пока она будет страдать, тело будет гибнуть, сколь бы ни были спасительны влияние воздуха и растительной жизни. Да, в настоящее время уединение это меня тяготит. Странное дело! Я так его любила и больше не люблю! О, это ужасно, Тренмор!

Когда вся земля обманывала мои ожидания, я удалялась к богу. Я призывала его в тишине полей. Мне было радостно оставаться там, чтобы дни и даже целые месяцы отдаваться мысли о лучшем будущем. Сейчас я настолько истерзана, что даже надежда не может меня поддержать. Я еще верю, потому что желаю, но это будущее так далеко, а этой жизни я не вижу конца. Как! Неужели невозможно привязаться к ней и находить в ней удовольствие! Неужели все безвозвратно потеряно? Есть дни, когда я верю, что это действительно так: дни эти отнюдь не самые страшные; в эти дни я чувствую себя уничтоженной. Отчаяние тогда не терзает меня, небытие не кажется страшным. Но в дни, когда с теплым дуновением ветерка вместе с чистыми утренними лучами во мне пробуждается стремление жить, нет существа несчастней, чем я. Ужас, тревога, сомнение гложут меня. Куда бежать? Где укрыться? Как освободиться от этого мрамора, который, по прекрасному выражению поэта, «доходит до колен» и держит меня скованной, как мертвеца в могиле. Что же? Будем страдать. Это лучше, чем спать. В этой спокойной и безмолвной пустыне страдание притупляется, сердце становится беднее. Бог, один только бог, – этого или слишком много, или слишком мало! Жизнь общества так полна волнений, что это недостаточная

награда, не то утешение, которое нам нужно. Когда ты один, эта мысль непомерно растет. Она подавляет, приводит в ужас, порождает сомнение. Сомнение закрадывается в душу, предавшуюся раздумью; на душу, которая страдает, нисходит вера.

К тому же я ведь привыкла к моему страданию. Оно было мне жизнью, подругой, сестрой, жестокое, неумолимое, безжалостное, но гордое, но упорное, но всегда сопровождаемое стоической решимостью и суровыми советами.

Вернись же ко мне, мое страдание! Почему ты меня покинуло? Раз уж у меня не может быть другой подруги, чем ты, я по крайней мере не хочу потерять и тебя. Разве не ты мне досталось в наследство и не ты – мой жребий? Человек велик только тобой. Если бы он мог быть счастлив в современном мире, если бы он мог спокойным и ясным взглядом взирать на всю мерзость окружающих его людей, он был бы ничуть не выше этой тупой и подлой толпы, которая опьяняется преступлением и спит в грязи. Это ты, о великое страдание, напоминаешь нам о нашем достоинстве, заставляешь нас оплакивать заблуждения человека! Это ты отделяешь нас от других и вручаешь нас, как овец в пустыне, руководству небесного пастыря, который смотрит на нас, нас жалеет и, быть может, нам принесет утешение.

О, человек, который не страдал, ничего не стоит! Это несовершенное существо, бесполезная сила, грубый и никуда не годный материал, который резец мастера может легко расколоть, пытаюсь придать ему какую-то форму. Вот почему я уважаю Стенио меньше, чем тебя, Тренмор, хотя у Стенио нет никаких пороков, а у тебя они были все. Но тебя, твердая сталь, господь выплавил в огненной печи; сто раз размяв тебя, он сделал из тебя металл, прочный и драгоценный.

А что же станет со мной? Если бы я могла подняться так же высоко, как ты, и стать сильнее, чем все земное зло и все блага земные!»

32

Лелия спустилась с гор и с помощью нескольких золотых монет, которые она раздала по дороге, быстро добралась до ближайших долин. Всего несколько дней прошло с тех пор, как она спала на вереске Монтевердора, и вот она уже с поистине королевской роскошью жила в одном из тех прекрасных городов нижнего плато, которые соперничают друг с другом своим богатством и все еще видят расцвет искусства на земле, его породившей.

Лелия надеялась, что, подобно Тренмору, который на каторге помолодел и окреп, она сможет набраться мужества и вернуться к жизни, окруженная светским обществом, которое было ей ненавистно, и всеми развлечениями, приводившими ее в ужас. Она решила победить себя, укротить порывы своей дикой природы, кинуться в поток жизни, на какое-то время принизить себя, заглушить свою боль, чтобы увидеть вблизи всю эту омерзительную клоаку и примириться с собой, сравнивая себя с другими.

У Лелии не было никакого сочувствия к людям, хоть она сама и мучилась от тех же зол и как бы вобрала в себя все страдания, рассеянные на земле. Но человечество было слепо и глухо: хоть оно и чувствовало свои несчастья и унижения, оно отнюдь не хотело себе в них признаться. Одни, лицемерные и тщеславные, прикрывали язвы на своем теле и свою истощенность блеском бессодержательной поэзии. Они краснели, видя, что так стары и бедны рядом с поколением, старость и бедность которого они не замечали; и для того, чтобы выглядеть не старше тех, кого они считали молодыми, пускались на ложь, приукрашивали все свои мысли, отказывались от всяких чувств вообще: одряхлевшие с младенческого возраста, они еще смели хвастаться своей невинностью и простотой!

Иные, менее бесстыдные, поддавались веянию времени: медлительные и слабые, они шли в ногу с обществом, не зная зачем, не спрашивая себя, где причина и где цель. По натуре своей они были слишком посредственны, чтобы особенно тревожиться по поводу своей скуки; мелкие и слабые, они покорно хирели. Они не спрашивали себя, смогут ли они найти помощь в добродетели или в пороке; они были ниже и того и другого. Без веры, без атеизма, просветившиеся ровно настолько, чтобы потерять всю благодетельную силу неведения, невежественные настолько, чтобы все подчинять строгим системам, они способны были установить, из каких фактов состоит

материальная история мира, но им и в голову не приходило изучить мир духовный или прочесть историю в сердце человека; их удерживало предубеждение, непреодолимое и тупое; это были люди одного дня, рассуждавшие о прошедших и грядущих веках, не замечая, что все они сами скроены на один образец и что, собравшись вместе, они могли бы усестись на одну школьную скамью и учить один и тот же урок.

Другие – их было не много, но они, однако, представляли собой немалую силу в обществе – прошли сквозь отравленную атмосферу веков, не потеряв при этом ни крупички своей изначальной силы. Это были люди исключительные по сравнению с толпой. Но все они были похожи друг на друга. Тщеславие, единственная движущая сила эпохи безверия, уничтожало своеобычное мужество каждого из них, чтобы смешать их всех в одном типе грубой и заурядной красоты. Но это еще были железные люди средневековья: у них были крепкие мышцы, сильные руки, они жаждали славы и любили кровопролития, как будто имя им было арманьяки и бургиньоны. Однако этим могучим натурам, которые природа производит на свет еще и сейчас, недоставало пыла героики. Все, что рождавшего и питает, умерло: любовь, братство по оружию, ненависть, семейная гордость, фанатизм, все присущие человеку страсти, которые придают силу характерам, личный отпечаток поступкам. Этих суровых храбрецов к действию побуждали только иллюзии молодости, которые легко было разрушить за два дня, и мужское тщеславие, это назойливое, подлое и жалкое детище цивилизации.

Лелия, омраченная, опечаленная своей умственной деградацией, единственная, может быть, из всех достаточно внимательная, чтобы ее заметить, достаточно искренняя, чтобы ее признать, Лелия, оплакивающая свои угасшие страсти и свои потерянные иллюзии, проходила меж людей, не ища в них жалости и не находя любви. Она хорошо знала, что эти люди, несмотря на всю их чрезмерную и жалкую суету, были не деятельнее, не живее, чем она. Но она знала также, что они либо нагло отрицали это, либо по глупости своей этого не знали. Она присутствовала при агонии человеческого рода, похожая на пророка, сидевшего на горе и оплакивавшего Иерусалим, богатый и распутный город, расстилавшийся у его ног.

33. НА ВИЛЛЕ БАМБУЧЧИ

Самый богатый из мелких владетельных принцев давал бал. Лелия появилась на нем, вся сверкая драгоценностями, но печальная среди блеска своих бриллиантов и далеко не такая счастливая, как последняя из разбогатевших мещанок, которые разгуливают, гордясь своим мишурным нарядом. Для нее не существовало этих простодушных женских утех. Она проходила мимо, вся в бархате и затканном золотом атласе, увешенная драгоценными камнями, в шляпе с длинными и гибкими воздушными перьями, ни разу даже не взглянув на себя в зеркало с тем наивным тщеславием, в котором воплощаются все радости слабого пола, остающегося ребенком даже и увядая. Она не играла бриллиантовыми нитями, чтобы выставить напоказ свою тонкую белую руку. Она не ласкала свои нежные локоны. Вряд ли она даже помнила, какие цвета она носит и в какую материю одета. Безучастную ко всему, бледнолицую и холодную, роскошно одетую, ее легко можно было принять за одну из тех алебастровых мадонн, которых благочестивые итальянки наряжают в шелка и бархат. Лелия была равнодушна к своей красоте и к своему наряду, как мраморная божья мать равнодушна к своему золотому венцу и своему газовому покрывалу. Она словно не замечала устремленных на нее взглядов. Она слишком презирала всех этих людей, чтобы гордиться их похвалами. Зачем же тогда она явилась на этот бал?

Она пришла посмотреть на него как на зрелище. Эти огромные живые картины, с большим или меньшим умением и вкусом вставленные в рамки праздника, были для нее произведением искусства, которое она могла разглядывать, критиковать или хвалить по частям и в целом. Она не понимала, как в стране с противным холодным климатом, где люди скучены в тесных и некрасивых жилищах, как тюки с товарами на каком-нибудь складе, можно было хвастать изяществом и роскошью. Она думала, что эти народы вообще не знают, что такое искусство. Ей внушали жалость так называемые балы в этих мрачных тесных залах, где потолок давит на женские прически, где, для того чтобы уберечь от ночного холода голые плечи, вместо свежего воздуха в

комнатах создается едкая лихорадочная атмосфера, в которой кружится голова и становится трудно дышать; где делают вид, что движутся и танцуют на узком пространстве, отгороженном двумя рядами сидящих зрителей, которым с трудом удается уберечь свои ноги от вальсирующих пар и платья свои от пламени свеч.

Она была из тех капризных натур, которые любят роскошь только в больших масштабах и не приемлют никакой середины между скромным счастьем человека, живущего духовной жизнью, и расточительной помпезностью высших слоев. Кроме того, она считала, что понимать великолепие и пышность жизни – привилегия южных народов. Она утверждала, что у народов, занятых промышленностью и торговлей, нет ни вкуса, ни чувства прекрасного и что формы и краски надо искать именно у этих древних народов юга, ибо хоть в настоящее время им и недостает энергии, они зато хранят традиции прошлого, которые находят себе выражение в их мыслях и в жизни.

В самом деле, ничто так не далеко от подлинной красоты, как плохо обставленное празднество. Тут необходимо соединить столько трудно совместимых вещей, что за целое столетие вряд ли выдадутся два таких празднества, которые могли бы удовлетворить художника. Для этого нужны соответственный климат, местность, обстановка, музыка, угощения и костюмы. Нужна итальянская или испанская ночь, темная и безлунная, ибо сияющая на небе луна повергает людей в томительное и грустное настроение, которое отражается на всех их чувствах; нужна ночь свежая и прохладная, чтобы звезды только едва сверкали из-за облаков, не перебивая огней иллюминации. Нужны огромные сады, чтобы пьянящие ароматы цветов проникали в комнаты. Запахи апельсиновых деревьев и константинопольской розы особенно способствуют возбуждению сердца и мозга. Нужны легкие блюда, тонкие вина, фрукты всех стран и цветы всех времен года. Нужны в изобилии всякого рода редкие, с трудом находимые вещи, ибо праздник должен стать осуществлением самых капризных желаний, квинтэссенцией самых необузданных фантазий. Прежде чем устраивать праздник, надо проникнуться одним – тем, что человек богатый и цивилизованный находит удовлетворение лишь в надежде на невозможное. А раз так, то надо приближаться к этому невозможному, насколько это в человеческих силах.

Бамбуччи был человеком со вкусом – самое замечательное и необычайно редкое качество для человека богатого. Единственная добродетель, которая должна быть у этих людей – это умение достойно тратить деньги. Если они умеют это делать, с них больше уже ничего не требуют; но чаще всего они не бывают на высоте своего признания и живут буржуазной жизнью, не отказываясь от гордости, присущей их классу.

Бамбуччи лучше всех на свете умел купить самую дорогую лошадь, женщину или картину, не торгуясь и не позволяя себя обмануть. Он знал цену всему с точностью до одного цехина. Глаз у него был наметан, как у судебного пристава или у торговца невольниками. Обоняние его было настолько развито, что, понюхав вино, он мог сказать не только на каких широтах и в какой именно местности рос виноград, но и под каким углом к солнцу расположен склон, на котором он вырос. Никакими ухищрениями, никаким чудом искусства, никаким кокетством нельзя было заставить его ошибиться, даже на полгода, определяя возраст актрисы: ему достаточно было посмотреть, как она идет по сцене, чтобы в точности определить год ее рождения. Стоило ему посмотреть, как лошадь пробегает расстояние в сто шагов, как он уже мог определить у нее на ноге опухоль, незаметную для пальцев ветеринара. Стоило ему пощупать шерсть охотничьей собаки, и он мог сказать, в каком поколении предки ее перестали быть чистокровными. Глядя на картину флорентийской или фламандской школы, он мог сказать, сколько мазков наложил маэстро. Словом, это был человек весьма примечательный и настолько уже всеми признанный, что у него самого на этот счет никаких сомнений не могло быть.

Последний праздник, который он у себя устроил, немало способствовал поддержанию этой высокой репутации. Большие алебастровые вазы, расставленные в залах, на лестнице и в галереях его дворца, были наполнены экзотическими цветами, названия, формы и запахи которых были большинству гостей незнакомы. Он позаботился о том, чтобы на балу присутствовали десятка два людей сведущих, и поручил им быть своего рода чичероне для новичков и просто и ясно объяснять назначение и цену вещей, которые тех восхищали. Фасад и боковые крылья виллы

сверкали огнями. Сад же был освещен лишь отблесками света из окон. Удаляясь от дома, можно было постепенно погрузиться в теплый таинственный мрак и отдохнуть от движения и шума среди густой листвы, куда долетали нежные и далекие звуки оркестра; и только по временам их заглушали напоенные ароматом порывы ветра. Зеленые бархатные ковры были раскинuty и словно позабыты на газонах, и можно было сидеть на них и не измять платья; а кое-где к веткам деревьев были подвешены колокольчики тонкого и чистого тембра и при малейшем дуновении ветерка наполняли окружающую листву едва слышными звуками, которые можно было принять за голоса сильфов, разбуженных шорохами цветов, в которых они укрывались.

Бамбуччи знал, как важно для того, чтобы возбудить сладострастие в истерзанных душах, избегать всего, что может сколько-нибудь утомить чувства. Вот почему свет в комнатах был не слишком ярк и щадил чувствительные глаза. Музыка была нежной, и в ней не звучала медь. Танцы были медлительны и чинны. Молодым людям не разрешалось составлять много кадрили. Ибо в убеждении, что человек не знает, ни чего он хочет, ни чего ему нужно, философ по натуре, Бамбуччи всюду разместил распорядителей торжества, которые следили за тем, как развлекался и отдыхал каждый гость. Эти люди, опытные наблюдатели и глубокие скептики, умели умерить пыл одних, чтобы он чересчур скоро не иссяк, и возбуждали ленивцев, чтобы те не слишком медленно приобщались к веселью. Они читали во взглядах близившееся пресыщение и находили возможность предупредить его, склоняя вас к перемене места или способа развлечения. Они угадывали также по вашей беспокойной походке, по вашим торопливым движениям, что в вас зародилась новая страсть или возросла старая; и когда они предвидели, что последствия ее могут быть неприятны, они умели вовремя ее пресечь, либо напоив вас допьяна, либо выдумав какую-нибудь правдоподобную историю, которая отвратила бы вас от ваших стремлений. Если же им случалось видеть актеров, искушенных в ведении интриги, они не жалели ничего, чтобы помочь завязать и поддержать отношения, которые помогли бы приятно провести время хорошо подобранной паре.

К тому же сердечные дела, которые завязывались там, были исключительно благородны и прямодушны. Будучи человеком со вкусом, Бамбуччи обходился на своих балах без политики, карточной игры и дипломатии. Он считал, что обсуждать у себя во время бала государственные дела, замышлять заговоры, разоряться или заключать торгашеские сделки может только человек дурного тона.

Эпикурец Бамбуччи по-настоящему знал толк в жизни. Когда он развлекался, никакие крики толпы, никакие шепоты его подчиненных не могли долетать до его ушей. На празднествах его не было места ни одному назойливому советчику, ни одному заговорщику. Он хотел, чтобы в них принимали участие только люди любезные, люди искусства, как говорят теперь, модные дамы, учтивые кавалеры, много молодежи, несколько некрасивых женщин – только для того, чтобы красавицы выглядели при них еще красивее, – и ровно столько людей смешных, сколько требовалось, чтобы развлечь остальное общество.

Итак, гости по большей части были того возраста, когда у людей еще сохраняются кое-какие иллюзии, и принадлежали к тем средним слоям общества, у представителей которых достаточно вкуса, чтобы рукоплескать, и недостаточно богатства, чтобы держаться высокомерно. Они исполняли как бы роль хора в опере, они были частью спектакля, частью, необходимой, как декорации или ужин. Простодушные горожане даже и не подозревали об этом, но в действительности они выполняли в салоне Бамбуччи роль статистов. В качестве участников спектакля они получали свою долю удовольствия от праздника, но никто не выказывал им никакого почтения. Почтение это доставалось только очень немногим избранным, нескольким эпикурейцам, которых князю приятно было ослеплять своим блеском и очаровывать. Те действительно были настоящими гостями, судьями, друзьями, которых старались занять; вся эта шумная и нарядная толпа, которая проходила у них перед глазами, напрягала все силы, будучи уверена, что приглашают ее ради нее самой, – вот как изумительно разграничивал людей князь Бамбуччи!

Большая часть этих избранных могла соперничать в роскоши и в искусстве с самим амфирионом. Бамбуччи отлично знал, что имеет дело не с детьми; поэтому он почитал за высокую честь побеждать их всевозможными изощренными выдумками. Если, например, у маркиза Пано-

рио стояли вазы из позолоченного серебра, то Бамбуччи расставлял у себя на столах посуду из чистого золота. Если жена еврея Пандольфи появлялась в бриллиантовой диадеме, то Бамбуччи украшал бриллиантами даже туфли своей любовницы; если одежда пажей герцога Альмири была расшита золотом, то ливреи лакеев в доме Бамбуччи расшивались жемчугом. Достойное и трогательное соревнование между просвещенными властителями высокоразвитых наций!

Не будем, однако, преувеличивать. Задача, предпринятая князем, была не из легких: это было делом серьезным. Он обдумывал его не одну ночь, прежде чем за него взяться. Главное, надо было превзойти всех этих достойных соперников богатством и умом. Наряду с этим надо было до такой степени их опьянить наслаждением, чтобы, позабыв о понесенных ими поражениях и о поверженной гордости, они бы откровенно в этом признались. Ну что же, трудность этого предприятия несколько не смутила Бамбуччи, человека с неимоверно развитым воображением. Он очень рьяно взялся за дело, убежденный в том, что победа будет за ним, уверенный в своих средствах и в помощи небес, которых он еще за девять дней умолил с помощью своего капеллана не посылать в эту знаменательную ночь на землю дождя.

Среди всех этих выдающихся личностей, развлекать которых должна была вся провинция, иностранка Лелия занимала первое место. Будучи очень богатой, она всюду, куда ни приезжала, неожиданно находила родственников и друзей, и все ей оказывали великое уважение. Славившаяся своей красотой, своим большим богатством и своевольным характером, она возбуждала большой интерес в князе и его приближенных. Сначала ее ввели в одну из сверкающих зал — здесь начинался тот блеск, который в последующих должен был стать ослепительным. Распорядителям бала было поручено незаметно задерживать здесь вновь прибывших и некоторое время занимать. Одновременно с Лелией прибыл молодой греческий принц Паоладжи, и распорядители решили, что лучше всего будет оставить этих двух высокопоставленных лиц вместе среди толпы людей менее богатых и менее знатных, которые были приглашены сюда для того, чтобы заполнить промежутки между колоннами и свободное пространство мозаичного пола.

У этого греческого принца был самый красивый профиль, какой когда-либо создавала античная скульптура. Он был темнокож, как Отелло, оттого что в роду его была мавританская кровь; черные глаза его блестели диким блеском. Он был строен, как восточная пальма. Казалось, что в нем есть что-то от кедра, от арабского коня, от бедуина и от газели. Женщины сходили по нем с ума.

Он сразу же подошел к Лелии и галантно поцеловал ей руку, хоть и видел ее впервые. Это был большой оригинал; женщины прощали ему многие его чудачества, памятуя о том, что в жилах у него течет горячая азиатская кровь.

Он был не слишком разговорчив, но его звучный голос, поэтичность его речи, пронизывающий взгляд и вдохновенное лицо производили такое впечатление, что Лелия смотрела на него минут пять как на некое чудо. Потом она стала думать о другом.

Когда вошел граф Асканио, распорядители пошли предупредить Бамбуччи. Асканио был счастливейшим из людей: ничто его не могло смутить, все его любили, и он любил всех на свете. Лелия, зная тайну его человеколюбия, взирала на него всегда с ужасом. Как только она его увидела, лицо ее омрачилось такой темной тенью, что испуганные распорядители кинулись за самим хозяином дома.

— Так вот отчего вы в затруднении! — тихо сказал им Бамбуччи, окинув Лелию своим орлиным взглядом. — Не понимаете вы разве, что любезнейший из мужчин невыносим для самой скучной из женщин? Что случилось бы с достоинством, с талантом, с величием Лелии, если бы Асканио удалось оказаться правым? Что ей было бы делать, если бы он доказал ей, что в мире все хорошо? Знайте же, несообразительные люди, какое это счастье для иных, что мир полон ненормальностей и пороков. И поторопитесь освободить Лелию от этого прелестного эпикурейца, ибо он не понимает, что легче убить Лелию, чем ее утешить.

Распорядители стали деликатно просить Асканио отогнать грусть, которая тенью легла на красивое лицо Паоладжи. Асканио, убедившись, что он понадобится, начал торжествовать. Это был жестокий человек, живший только мучениями других; всю жизнь он любил доказывать людям, что они счастливы, чтобы только не уделять им внимания, а когда он лишал их сладостной

уверенности в том, что они что-то значат, они ненавидели его больше, чем если бы он отрубал, им головы.

Бамбуччи предложил Лелии руку и провел ее в египетскую залу. Гостья восхитилась ее убранством, вежливо сделала несколько критических замечаний по поводу стиля и, к несказанной радости умудренного опытом Бамбуччи, заявила, что такого она никогда в жизни не видела.

В эту минуту Паоладжи, отделившийся от счастливого Асканио, снова появился перед Лелией. Он переоделся в старинный костюм. Прислонившийся к яшмовому сфинксу, он был самой примечательной фигурой на картине, и, глядя на него, Лелия не могла не испытать того же чувства восхищения, какое в ней вызвала бы великолепная статуя или красивый пейзаж.

Когда она без всякой задней мысли поделилась своими впечатлениями с Бамбуччи, тот возгордился, как отец, которому похвалили сына. И отнюдь не потому, что он питал какие-то чувства к греческому принцу: просто молодой принц был красив, роскошно одет, и фигура его очень подходила к убранству египетской залы; для Бамбуччи он был чем-то вроде драгоценной мебели, взятой напрокат на один вечер.

И он принялся расхваливать своего греческого принца, но так как, несмотря на все превосходство перед другими, человеку, внимание которого поглощено праздничной сутолокой, очень легко бывает что-то недосмотреть, он невольно взглянул на статую Озириса, и на минуту, на его несчастье, две аналогичные мысли скрестились в его мозгу, и он уже был не в силах в них разобраться.

– Да, – сказал он, – это прекрасная статуя... я хочу сказать, что это очень благородный молодой человек. Он говорит по-китайски так же свободно, как по-французски, а по-французски так же свободно, как по-арабски. Сердолики, которые вы видите у него в ушах, большая драгоценность, так же как инкрустированные малахиты на его башмаках... К тому же это горячая голова, мозг, в котором солнце выжгло свою печать... Это голова, с которой ни у кого нет слепка, я заплатил за нее тысячу экю одному из английских воров, тех, что обкрадывают Египет... Читали вы его стихи к Делии, его сонеты к Саморе, написанные в манере Петрарки?.. Не берусь категорически утверждать, что туловище у него подлинное, но яшма так похожа на настоящую и пропорции так верно соблюдены, что...

Обнаружив свою ошибку, Бамбуччи замолк. Но стоило ему повернуться к Лелии, как он сразу воспрянул духом: он увидел, что та совсем его не слушает.

34. ПУЛЬХЕРИЯ

Все гости столпились в мавританской зале, и распорядители торжества не могли сдерживать поднявшуюся суматоху. Один молодой человек был убежден, что узнал под небесно-голубым домино Цинцолину – знаменитую куртизанку, которая вот уже год как куда-то таинственно исчезла. Каждому хотелось проверить, правда ли это: те, кто не знал ее, почитали за честь увидеть столь прославленную особу; те, кто ее уже видел раньше, хотели увидеть ее еще раз. Но голубое домино, словно легкий и неуловимый призрак, очень ловко скрывалось, чтобы снова появиться в какой-нибудь другой зале, где толпа тут же снова его окружала. Каждое голубое домино преследовали и расспрашивали, и когда решали, что нашли ту, которую ищут, весь дворец оглашался радостными криками. Но беглянка ускользала вновь, прежде чем можно было установить, действительно ли это Цинцолина скрывается под шелковым капюшоном и под бархатной маской. В конце концов таинственное домино выбежало в сад; тогда все толпой хлынули за ней; поднялась невероятная сутолока; гости разбрелись по боскетам. Влюбленные пары воспользовались этим, чтобы ускользнуть от глаз ревнивцев. Из пустых и гулких комнат по-прежнему доносились звуки оркестра. Некрасивые или обуреваемые ревностью женщины переоделись в голубые домино, чтобы найти новых любовников или испытать старых. Было много шума, много смеха и много волнения.

– Не мешайте им, – говорил Бамбуччи своим запыхавшимся распорядителям.

– Они развлекаются сами. Тем лучше для вас, отдохните.

В эти минуты безумного любопытства на лицах появилось выражение суровости и упор-

ства, не очень свойственное людям цивилизованным. Лелия, которой казалось, что она внимательно следит за малейшим проявлением жизни этого агонизирующего общества, которая все время прислушивалась к пульсу умирающего, то очень сильному и полному, то совсем слабому, заметила что-то странное в настроении людей в эту ночь. И, потерявшаяся в толпе и всеми забытая, она тоже стала обходить сады, чтобы внимательно присмотреться к физиологическим особенностям этого живого трупа, который уже хрипит, но все еще продолжает петь и, подобно престарелой кокетке, красится даже на смертном одре.

После длительной ходьбы, миновав много беспорядочно толпившихся групп и окунувшись в царившую кругом атмосферу лихорадочного, но совсем не заразительного веселья, она, усталая, села отдохнуть под сенью китайских туй. Лелия почувствовала, что ей трудно дышать. Она взглянула на небо: над его головой блистали звезды, но ближе к горизонту они скрывались за густою завесой туч. Лелии стало плохо. Вдруг яркая вспышка озарила деревья – это была молния; Лелия поняла, почему ей вдруг стало худо: гроза всегда причиняла ей физическую боль, нервное беспокойство, делала ее раздражительной, словом, повергала ее в какое-то особое состояние, которое, вероятно, всем женщинам приходилось испытывать.

Тогда ее охватило то внезапное отчаяние, какое иногда овладевает нами без всякой видимой причины; отчаяние это всегда оказывается следствием душевного недуга, который человек долгое время от всех скрывает. Скука, ужасающая скука комком подступила ей к горлу. Она почувствовала себя такой несчастной, такой неудачницей в жизни, что упала без сил на траву и расплакалась теми детскими слезами, которые свидетельствуют о том, что у человека не осталось уже ни сил, ни гордости. А ведь Лелия производила впечатление женщины, владеющей собой, как ни одна другая. Никогда, с тех пор как она была Лелией, никто не мог прочесть на ее бесстрастном лице, что делается у нее в сердце. Ни разу ни одна слеза страдания или умиления не проступила на ее бледных, не тронутых ни одной морщиной щеках.

Она приходила в ужас, когда кто-нибудь начинал ее жалеть, в самые тяжелые минуты какой-то инстинкт самосохранения заставлял ее скрывать свои чувства. Так и теперь она уткнула голову в свою бархатную накидку, и, вдали от людей, вдали от света, спрятавшись среди высокой травы заброшенного уголка сада, она дала волю страданию и залилась слезами бессильными и малодушными. Было что-то страшное в скорби этой женщины, такой красивой и так нарядно одетой, когда она лежала так, когда она каталась по траве, сжималась в комок, изнемогая в своем страдании, точно раненая львица, которая видит струящуюся из раны кровь и залиывает ее, рыча от боли.

Вдруг чья-то рука коснулась ее обнаженного плеча, рука теплая и влажная, как дыхание этой грозовой ночи. Лелия задрожала; пристыженная и раздраженная, что кто-то застал ее в эту минуту слабости, так, как никто еще никогда ее не видел, она вдруг мгновенно набралась мужества и, вскочив на ноги, выпрямилась во весь рост перед дерзкою незнакомкой. То было голубое домино, за которым все так гнались, то была куртизанка Цинцолина.

Лелия громко вскрикнула; потом, стараясь придать своему голосу побольше суровости, она сказала:

– Я узнала тебя, ты моя сестра...

– А если я сейчас сниму маску, Лелия, – отвечала куртизанка, – разве и ты тоже не закричишь: «Позор и бесчестие!»?

– Ах, я узнала даже твой голос, – отвечала Лелия. – Ты Пульхерия...

– Я твоя сестра, – сказала куртизанка, снимая маску, – дочь твоего отца и твоей матери. Неужели у тебя для меня не найдется слова любви?

– О, сестра моя, ты все такая же красавица! – воскликнула Лелия. – Спаси меня. Спаси меня от жизни, спаси от отчаяния; подари мне нежность, скажи, что ты меня любишь, что ты помнишь чудесные дни нашей жизни, что ты моя семья, моя кровь, единственное, что у меня осталось на свете!

Они обнялись и заплакали. Радость Пульхерии была страстной, радость Лелии – печальной. Они глядели друг на друга влажными от слез глазами, и каждое прикосновение их обеих дивило. Они поражались тому, что обе еще красивы, что могут друг друга восхищать, друг друга

любить и что при всей разнице их положения они друг друга, узнали.

Лелия вдруг вспомнила, что сестра запятнала себя позором. Она легко простила бы его любому человеческому существу, но теперь краснела оттого, что этим существом оказалась ее собственная сестра. Помимо своей воли она поддалась неодолимому влиянию остатков тщеславия, которое в обществе зовется честью.

Разжав объятия, она опустила руки и осталась неподвижной, уничтоженная каким-то новым порывом отчаяния, смертельно побледнев, согнувшись и уставившись глазами в темную зелень, в которой тонули отблески огней.

Пульхерия испугалась этой мрачной неподвижности и горькой, словно застывшей улыбки, которая блуждала теперь на губах сестры. Позабыв о том, как низко она сама пала в глазах общества, куртизанка вдруг преисполнилась жалостью к Лелии – до такой степени страдание сравняло их доли.

– Так вот ты какая! – сказала она ей с той мягкостью в голосе, с какой мать стала бы успокаивать огорченного ребенка. – Много лет провела я в разлуке с сестрой, и вот теперь я нашла ее, а она лежит на земле, как истрепанное, никому не нужное платье, старается приглушить свои крики прядями волос и в отчаянии царапает грудь ногтями. Такой я тебя нашла, Лелия; а сейчас ты еще того хуже; тогда ты плакала, а сейчас ты как мертвая. Ты жила своим страданием, а теперь тебе жить нечем. Вот до чего ты дошла, Лелия! О боже! На что же послужили тебе все эти блестящие дары, которыми ты так гордилась! Куда тебя привела дорога, по которой ты пошла так доверчиво и с такой надеждой? В какую бездну горя ты упала, ты, которая считала, что мы не стоим твоих подметок. Сион, Сион, говорил я тебе, что гордость тебя погубит!

– Гордость! – воскликнула Лелия, почувствовав, что задела ее самое больное место. – И ты еще смеешь говорить об этом, погибшее создание! Кто из нас двоих безнадежнее заблудился в этой пустыне, ты или я?

– Не знаю, Лелия, – печально сказала куртизанка. – Мне было хорошо в этой жизни, я еще молода, еще красива. Я много выстрадала, но я еще не сказала «О господи, довольно!». Тогда как ты, Лелия...

– Ты права, – удрученно ответила Лелия, – я все исчерпала.

– Все, кроме наслаждения! – воскликнула Пульхерия, расхохотавшись смехом вакханки, от которого она вся вдруг переменилась.

Лелия задрожала и невольно отпрянула, потом она все же снова кинулась к сестре и взяла ее за руку.

– А ты, сестра, – вскричала она, – ты-то вкусила наслаждение? Ты-то не исчерпала его? Значит, ты все еще женщина, все еще живая? Открой же мне свою тайну, дай мне твое счастье, раз оно у тебя есть!

– Счастья у меня нет, – ответила Пульхерия. – Я не искала его. Я не жила иллюзиями, как ты. Я не просила у жизни больше, чем она могла мне дать. Я ограничила свои притязания умением радоваться тому, что есть. Я употребила мои добродетели на то, чтобы не презирать эту жизнь, мою мудрость – на то, чтобы не желать ничего большего. Литургию мою написал Анакреон. За образец я взяла античность, божествами моими стали обнаженные греческие богини. Я переносу все то зло, которое несет нам наша неумеренная цивилизация. Но для того, чтобы уберечь себя от отчаяния, у меня есть религия наслаждения. Лелия, как ты смотришь на меня, как жадно ты меня слушаешь! Значит, я уже не внушаю тебе больше ужаса! Я уже не та тупая и низкая тварь, от которой ты с таким омерзением отвернулась!

– Я никогда не презирала тебя, сестра. Я тебя жалела. А сейчас вот я поражаюсь, – оказывается, тебя не приходится жалеть. Сказать ли тебе, что меня это радует?

– Лицемерные спиритуалисты, – сказала Пульхерия, – вы всякий раз боитесь признать те радости, которых сами не разделяете! О, теперь ты плачешь? Ты опускаешь голову, моя бедная сестра! Теперь ты согнута и надломлена под тяжестью судьбы, которую себе избрала! Кто в этом виноват? Пусть хоть этот урок послужит тебе на пользу. Вспомни о наших ссорах, о наших расприх и о нашей разлуке; мы обе предсказали друг другу гибель.

– Увы, я предсказывала тебе презрение мужчин, Пульхерия, предсказывала, что они бросят

тебя, что тебя ждет ужасная старость... Предсказание это еще не исполнилось, благодарение богу, ты все еще красива и молода. Но разве ты еще не почувствовала, как стыд жжет тебя каленым железом? Разве ты не слышишь, как эта жадная и праздная толпа, которая ищет тебя сейчас, чтобы удовлетворить свое ненасытное любопытство, разве ты не слышишь, как она ревет словно отвратительное чудовище? Разве ты не чувствуешь ее горячего дыхания, которое преследует тебя своим мерзким запахом? Послушай, она зовет тебя, она требует тебя, как свою добычу, ты куртизанка, ты принадлежишь ей! О, если она ворвется сюда, не говори ей, что ты моя сестра! Что, если она решит, что мы с тобой одно? Что, если она схватит и меня своими грязными лапами? Бедная Пульхерия, вот твой господин, вот твой бог, вот твой возлюбленный! Эта толпа, да, вся эта толпа! Ты наслаждалась в их объятиях; ты видишь, бедная сестра моя, что ты еще грязнее, чем пыль у них под ногами!

– Я это знаю, – сказала куртизанка, проводя рукою по своему непроницаемому лицу, словно для того, чтобы согнать с него налетевшую тень, – я призвана не считать это стыдом; в этом мое призвание, моя сила, так же, как твоя, – в том, чтобы его избежать. В этом моя мудрость, говорю тебе, и она ведет меня к моей цели, она преодолевает препятствия, она справляется со страхами, которые являются вновь и вновь, а в награду за эту борьбу мне дано наслаждение. Это мой луч солнца после грозы, это заколдованный остров, на который меня выбрасывает буря, и если я и бываю унижена, я, во всяком случае, не кажусь смешной. Быть бесполезной, Лелия, – это быть смешной. Это хуже, чем заниматься постыдным делом: быть ничем во вселенной позорнее, чем удовлетворять самые низменные потребности.

– Может быть, – мрачно сказала Лелия.

– К тому же, – продолжала куртизанка, – какое значение имеет стыд для действительно сильной души? Знаешь, Лелия, что власть людского мнения, перед которой раболепствует все так называемые честные люди, знаешь ты, что с ним считаются только слабые, что надо быть сильным, чтобы ему противопоставить себя? Можно ли назвать добродетелью эгоистический расчет, который так легко бывает осуществить и в котором все тебя воодушевляет и возбуждает? Можно ли сравнить труды, страдания и героизм матери семейства и проститутки? Неужели ты думаешь, что, когда обеим приходится бороться с жизнью, большей славы заслуживает та, на чью долю выпадает меньше тягот?

Но что я вижу, Лелия! Ты больше не дрожишь от моих слов, как бывало когда-то? Ты ничего мне не отвечаешь? Молчание твое ужасно, Лелия: значит, ты превратилась в ничто! Ты исчезаешь, как набежавшая волна, как имя, начертанное на песке? Твоя благородная кровь больше не возмущается ересями разврата, непотребством материального мира? Пробудись, Лелия, защищай добродетель, если ты хочешь убедить меня, что нечто такое действительно существует!

– Говори, говори, – отвечала Лелия мрачным голосом. – Я слушаю тебя.

– В конце концов какой же удел назначил нам господь на земле? – продолжала Пульхерия. – Жить, не так ли? Чего требует от нас общество? Не воровать. Общество устроено так, что многие не имеют другого средства к существованию, как заниматься ремеслом, которое оно само узаконило и оно же клеймило позорным словом – порок. Знаешь ты, из какой стали надо отлить несчастную женщину, чтобы у нее хватило сил жить этим ремеслом? Сколько оскорблений сыплется на ее голову в уплату за слабости, которые она подглядела, и за скотское вожделение, которое она насытила? Под какой горой несправедливостей и позора ей приходится спать, ходить, быть любовницей, куртизанкой и матерью – три женских участи, которых ни одной женщине не избежать, как бы она себя ни продавала, на рынке ли проституток или с помощью брачного контракта. О сестра моя! Насколько же существа, обесчещенные публично и несправедливо, вправе презирать толпу, которая сначала вымажет их грязью своей любви, а потом начинает их проклинать! Видишь ли, если существуют небо и ад, небо уготовано для тех, кто больше всего страдал и кто на ложе страдания нашел в себе силы раз-другой радостно улыбнуться и благословить бога; ад – для тех, кому досталась лучшая доля жизни и которые не умели ее оценить. Куртизанка Цинцолина среди всех ужасов своего падения в обществе, оставаясь верной наслаждению, признает бога; аскетка Лелия, ведущая суровую и всеми чтимую жизнь, закрывши глаза, готова отрицать все благодеяния жизни и отречься от бога.

– Увы, ты обвиняешь меня, Пульхерия, но ты не знаешь, от меня ли зависит выбор жизненного пути. Знаешь ли ты, как сложилась моя судьба с тех пор, как мы с тобой расстались?

– Я знаю, что говорят о тебе люди, – отвечала куртизанка, – я вижу только, что как женщина ты живешь загадочной жизнью. Я знаю, что ты ходила, окутанная тайной и какой-то поэтической аффектацией, и я улыбалась от жалости, думая об этой лицемерной добродетели, состоящей в том, чтобы кичиться своим бессилием или страхом.

– Унижай меня, – ответила Лелия, – сейчас у меня так мало веры в себя, что мне нечем себя оправдать; но, может быть, тебе захочется выслушать рассказ об этой жизни, такой иссушенной и бледной и вместе с тем такой долгой и такой горькой? Ты мне скажешь потом, есть ли средство излечить такие застарелые страдания, такие глубокие разочарования.

– Я слушаю, – ответила Пульхерия, опершись своей пухлой белой рукой о подножие мраморной нимфы, которая жеманно улыбалась им из-за темных ветвей. – Говори, сестра моя, расскажи мне все горести твоей жизни, но сначала позволь мне сказать, что я знаю их все заранее; когда, бледная и хрупкая, как сильфида, ты шла по нашим лесам, опираясь на мою руку, приглядываясь к полету птиц, к оттенкам цветов, к меняющимся очертаниям облаков, равнодушная к взглядам молодых охотников, которые проходили мимо и следили за нами из-за деревьев, я тогда уже хорошо знала, Лелия, что молодость твоя пройдет в погоне за иллюзиями и в пренебрежении к подлинным благам жизни. Помнишь бесконечные прогулки, которые мы совершали с тобою в родных полях, и долгие вечера, когда мы погружались в мечты, облокотившись на золоченую балюстраду террасы; ты смотрела тогда на светлые звезды над холмами, я – на запыленных всадников, спускавшихся по тропинке.

– Помню все хорошо, – ответила Лелия. – Ты внимательно следила за всеми путниками, исчезающими в дымке заката. Ты уже едва могла различить, как они выглядят и как одеты; но ты возгоралась к каждому из них презрением или симпатией, в зависимости от того, как он спускался по долине – осмотрительно или смело. Ты безжалостно смеялась над осторожным всадником, который спешивался, чтобы вести под уздцы ленивого или ненадежного коня. Ты издала махала рукой тому, кто твердым и уверенным шагом справлялся с опасностями крутого спуска. Помнится, как-то раз я строго тебя попеняла за то, что в порыве восторга ты стала махать платком, чтобы воодушевить молодого безумца, который помчался во весь опор и два или три раза, напрягши все силы, едва мог сдержать своего коня у самого края обрыва.

– Однако он не мог ни видеть, ни слышать меня, – ответила Пульхерия. – Ты была дикаркой тебя возмущал тот интерес, который я проявляла к мужчине ты была чутка только к неуловимым красотам природы – к звуку, к цвету, и никогда не чувствовала формы, отчетливой и ощутимой. Ты проливала слезы слыша, как кто-то поет вдалеке. Но как только босоногий пастух появлялся на вершине холма, ты с отвращением отводила взгляд; с этой минуты ты уже не слушала его больше и все очарование песни для тебя пропадало. Словом, всякая реальность оскорбляла твою чересчур впечатлительную натуру и разрушала твой идеал, к которому ты была чересчур требовательна. Не правда ли, Лелия?

– Это верно, сестра, мы были непохожи друг на друга. Ты была умнее и ласковее, чем я; ты жила только для того, чтобы наслаждаться жизнью. Я же, более честолобивая и, должно быть, менее покорная богу, жила только ради своих желаний. Помнишь летний день, знойный и душный, когда мы решили с тобой отдохнуть в долине под кедрами, у берега ручейка, в этом таинственном и темном убежище, где журчанье воды, падавшей со скалы на скалу, смешивалось с грустным стрекотанием цикад? Мы улеглись на траву, и долго глядели сквозь ветви деревьев на раскаленное небо, а потом незаметно уснули крепким, беспробудным сном. Проснулись мы в объятиях друг друга и даже не почувствовали, что спали.

– Спали? И верно ведь, – сказала Пульхерия, – мы мирно спали на мягкой и теплой траве. От кедров струился удивительный аромат, и южный ветер касался наших влажных лиц своим горячим крылом. До того дня я жила беззаботно и счастливо, каждый день моей жизни я встречала как новое благоденствие. Иногда кровь во мне вскипала от бурных и глубоких волнений. Какой-то незнакомый мне пыл овладевал вдруг моим воображением, все краски природы становились ярче, в груди я ощущала трепет молодости, еще более живой и веселой, а когда я глядела на

себя в эти минуты в зеркало, мне казалось, что я становлюсь еще румяней, еще красивей. Мне хотелось тогда поцеловать свое изображение в зеркале, я любила его до безумия. Я начинала тогда смеяться и быстрее и легче бежала среди цветов по траве – я совсем не представляла себе в те времена, что такое страдание. Я не ломала себе голову, как ты, чтобы что-то разгадать, я находила, потому что я не искала.

В тот день мне, до того счастливой и спокойной, приснился страшный, безумный, невероятный сон, раскрывший мне тайну, до тех пор для меня недостижимую, перед которой я почтительно благоговела. О сестра моя, можно ли после этого отрицать влияние неба! Можно ли отрицать святость наслаждения! Если бы тебе был послан такой сон, такое вот экстатическое видение, ты бы сказала, что это ангел, посланный богом, явился приобщить тебя к священным тайнам человеческой жизни. Мне просто приснился черноволосый мужчина, склонившийся надо мной, чтобы коснуться моих губ своими горячими алыми губами; и я проснулась потрясенная, вся дрожа от счастья, такого, какого я раньше себе не могла и представить. Я смотрела вокруг себя: отблески солнца были рассыпаны по лесу; воздух был нежен и чист; великолепные кедры вздымали свои длинные, раскидистые ветви, похожие на поднятые к небу гигантские руки. Тогда я посмотрела на тебя. О сестра моя, как ты была хороша! До этого я никогда не видела тебя такой.

Упоенная своим девическим тщеславием, я не могла налюбоваться собой. Мне казалось, что я красивее тебя, оттого что у меня румяные щеки, круглые плечи и золотистые волосы. Но в эту минуту другое существо стало для меня воплощением красоты, я уже любила не одну себя: у меня была потребность найти где-то вовне предмет восхищения и любви. Я тихо приподнялась и посмотрела на тебя с необычным любопытством и со странным удовольствием. Твои густые черные волосы прилипали ко лбу, и их смятые локоны вились, как будто чувство жизни скрутило их на твоей шее, казавшейся бархатной от заволакивавшей ее тени и мерцавших кое-где капелек пота. Я погладила ее: мне показалось, что твои волосы обвивают мои пальцы и притягивают к себе. Твоя тонкая белая сорочка, не застегнутая на груди, обнаружила загорелую кожу, еще более темную, чем обычно; твои длинные ресницы, отяжелевшие от сна, отчетливо выделялись на щеках, которые тогда были румянее, чем теперь.

О, ты была красива, Лелия, но совсем иной красотой, чем я, и это странным образом меня волновало. Руки твои, более тонкие, чем у меня, были покрыты едва заметным черным пушком, который, заботясь о своей красоте, ты потом искусно удалила. Ноги свои, такие красивые, ты опустила в ручей, и на них были видны длинные голубые прожилки. Когда ты дышала, грудь твоя поднималась так мерно, что можно было ощутить в ней покой и силу. И во всех твоих чертах, в твоей позе, в формах твоего тела, более определенных, чем у меня, в более темной окраске кожи и особенно в гордом и холодном выражении твоего спящего лица было что-то такое мужественное и сильное, что я с трудом узнавала тебя. Мне казалось, что ты походила тогда на черноволосого красавца-юношу, о котором я только что мечтала, и я, все дрожа, поцеловала твою руку. В эту минуту ты открыла глаза, и когда ты взглянула на меня, я испытала какой-то неведомый мне дотоле стыд, я отвернулась, как будто я совершила что-то дурное. Вместе с тем, Лелия, никакая нечистая мысль не мелькнула у меня даже на миг. Как же это могло случиться? Я ничего не знала. Я получила от природы и от бога, нашего творца и учителя, мой первый урок любви, я впервые ощутила желание... Твой взгляд был насмешлив и строг. Он, впрочем, и всегда был таким. Но он никогда еще не смущал меня так, как в эту минуту... Неужели ты не помнишь, как я смутилась тогда, как покраснела?

– Я помню даже слово, которое не могла тогда объяснить, – ответила Лелия. – Ты склонилась вместе со мной над водой и сказала: «Взгляни, сестра, правда ведь ты красивая?». Я ответила тебе, что не такая красивая, как ты. «О, гораздо красивее, – продолжала ты. – Ты похожа на мужчину».

– И при этих словах ты презрительно пожала плечами, – сказала Пульхерия.

– И я не догадалась, – отвечала Лелия, – что в эту минуту уже решила твоя судьба, тогда как моей не суждено было никогда решиться.

– Расскажи мне о себе, – попросила Пульхерия. – Шум праздника уже совсем далеко; я

слышу, как оркестр снова играет прерванную мелодию; о тебе позабыли, меня перестали искать. Мы можем немного побыть на свободе. Говори.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

*На что нам светлых призраков круженье
Пред черною завесой нашей ночи,
Коль сон всегда нам пробуждение прочит.
А явь – одно желанье без свершенья
Так раненый орел крыло волочит
И к солнцу взор стремится в изнеможенье*
Альфред де Мюссе

35

– Я не стану рассказывать тебе все обстоятельно и подробно, – сказала Лелия. – Чтобы поведать обо всех событиях, совершившихся в моей жизни, понадобилось бы столько же дней, сколько я прожила на свете. Но я расскажу тебе историю несчастного сердца, введенного в заблуждение иллюзорным богатством своих дарований; сердце это исчерпало себя, прежде чем начало жить, истерзало себя надеждой и обессилело, может быть, от избытка силы!

– Именно от этого ты и становишься до обидного банальной, Лелия, – ответила куртизанка, безжалостная и грубоватая в своей подсказанной здравым смыслом прямоте. – Именно этим тыходишь на всех поэтов, которых мне довелось читать. А я ведь читаю поэтов; я читаю их, чтобы примириться с жизнью, которую они живописуют такими фальшивыми красками и которая напрасно к ним так добра. Я читаю их, чтобы узнать, каковы те претенциозные мысли и вопиющие заблуждения, от которых следует удерживать себя, чтобы оставаться в пределах благоразумия. Я читаю поэтов, чтобы взять у них все полезное и отбросить все дурное; словом, для того, чтобы научиться их пышному языку, который стал привычным для нашего века, и чтобы не позволять себе облекать в его форму те глупости, которые они превозносят.

Тебе надо было бы поступать так же. Тебе, моя Лелия, следовало бы воспользоваться своими недюжинными способностями, чтобы, окружив вещи поэтическим ореолом, научиться больше ценить их. Тебе следовало бы употребить твою возвышенную натуру на то, чтобы наслаждаться благами мира, а не отрицать их; иначе, зачем вся твоя просвещенность?

– И ты права, жестокая, – с горечью ответила Лелия. – Только разве я всего этого не знаю? Послушай, ты указываешь мне на мою ошибку, на мое горе, на мою злую судьбу, и сама еще насмехаешься надо мной, когда я тебе жалуюсь. Мне унижительно и горестно сознавать, что я стала такой тривиальной и заурядной носительницей страданий целого поколения, болезненного и слабого, а ты встречаешь меня презрением. Так-то ты утешаешь меня?

– Прости меня, meschina², – улыбаясь, сказала легкомысленная Пульхерия, – и продолжай свой рассказ.

– Сотворил ли меня господь в день гнева или апатии, в день безумия или ненависти к творениям рук своих, – сказала Лелия, – этого я не знаю. Есть минуты, когда я настолько ненавижу себя, что кажусь себе самым хитроумным и самым ужасным исчадием дьявола. Есть другие – когда я презираю себя до такой степени, что считаю себя каким-то инертным существом, слепым порождением случая и материи. Я не знаю, кого винить в моем несчастье, и, когда дух мой бывает охвачен порывами злобы и возмущения, я больше всего страдаю от страха, что бога нет и что мне некого поносить. Тогда я начинаю искать его на земле, и на небе, и в аду, то есть у себя в сердце. Я ищу его, потому что хотела бы упразднить его, проклясть и повергнуть во прах. Меня возмущает и злит в нем, что он дал мне столько мужества, чтобы с ним бороться, а сам ушел так

² несчастная (итал.)

далеко; что он вложил в меня великую силу, чтобы ринуться на него, а сам уж и не знаю где, то ли внизу, то ли наверху, восседает в своей славе, глухой ко всему. И сколько бы я ни напрягала мысль, мне его не достичь.

Однако, судя по всем приметам, мне предстояла счастливая жизнь. Лоб мой был правильной формы, глаза мои обещали стать черными и непроницаемыми, какими и должны быть глаза всякой женщины, свободной и гордой; кровь моя была достаточно горяча, и ни одна болезнь не наложила на меня своего несправедливого и губительного проклятия. Детство мое оставило мне множество на редкость поэтичных воспоминаний. У меня такое чувство, что укачивали меня руки ангелов и что таинственные видения заслонили от меня все реальное, прежде чем глаза мои стали видеть.

А так как я становилась красивой, все мне улыбалось – и люди и вещи. Все вокруг меня превращалось в поэзию и в любовь, и в груди моей день ото дня пробуждалась способность любить и восхищаться.

Это была такая великая, такая драгоценная, такая чудесная сила. Мне казалось, что она исходит от меня, как некий аромат, такой упоительный, такой пьянящий, что я любовно в себе ее растила. У меня и в мыслях не было не доверять ей и беречь ее соки, чтобы подольше наслаждаться ее плодами, – я возбуждала ее, развивала, питала, как только могла. Как я была тогда безрассудна и сколько горя себе уготовила!

Я исторгала ее из себя всеми порами моего существа; я словно черпала ее из неиссякаемого источника жизни и разливала на все вокруг. Самый незначительный предмет, возбуждавший мое уважение, любой пустяк, способный на минуту увлечь, приводили меня в восторг, опьяняли меня. На поэта я смотрела как на божество, земля была мне матерью, а звезды – сестрами. Я на колених благословляла небо, когда на окне у меня распускались цветы, когда, проснувшись, слышала, как поют птицы. Восторги мои превращались в экстаз, ощущение счастья доходило до самого настоящего безумия.

Так день ото дня, растя в себе мою силу, возбуждая чувствительность и распространяя ее сверх всякой меры на небо и землю, я бросала всю мою мысль, всю мою энергию в зияющую пустоту этой неуловимой вселенной, которая возвращала мне все мои чувства покалеченными: зрение мое было ослеплено солнцем, желание утомлено видом моря и тумана над горизонтом, а вера поколеблена таинственной алгеброй звезд и немотою всего, о чем стосковалась в своих блужданиях моя душа. Поэтому с самых юных лет способности мои достигли такой полноты, что, для того чтобы развиваться дальше, им надо было разорвать смертную оболочку.

Тогда в жизнь мою вошел один человек, и я его полюбила. Я полюбила его той самой любовью, какой любила бога, и небо, и солнце, и море. Только тогда я все это разлюбила и перенесла на него одного весь тот восторг, который испытала перед другими творениями божества.

Ты права, говоря, что поэзия погубила человеческий ум. Она опустошила реальный мир, такой холодный, такой бедный, такой жалкий перед лицом рожденных ею сладостных снов. Опьяненная ее безумными обещаниями, убаюканная ее сладостными иллюзиями, я никогда потом не могла примириться с правдою жизни – Поэзия пробудила во мне другие способности, огромные, великолепные и такие, что ничему земному не дано было их насытить. Душа моя слишком тянулась к простору, чтобы действительность могла найти в ней себе место хотя бы на миг. Каждый день сталкивал меня с крушением моей судьбы перед лицом моей гордости, с крушением моей опустошенной гордости перед лицом ее же побед. Это была жестокая борьба и унижительная победа; ибо по мере того как я презирала все сущее, я стала испытывать презрение к себе самой, глупому и тщеславному созданию, которое не умело ничем насладиться из-за того, что хотело всем насладиться сполна.

Да, это была большая и жестокая борьба, ибо опьяняя нас, поэзия не говорит нам, что это обман. Она прикидывается красивой, простой, строгой, как сама истина. Она переодевается в тысячу разных форм. Она принимает вид человека и ангела, облик бога. Люди привязываются к этой тени, преследуют ее, обнимают, простираются перед ней; они думают, что обрели в ней бога и завоевали обетованную землю. Но, увы, ее недолговечная пышность распадается под пристальным взглядом, и у нищеты человеческой нет даже рубища, чтобы прикрыть свою наготу. О,

тогда человек начинает плакать и богохульствовать. Он проклинает небо, он требует ответа за свою обманутую надежду, он думает, что его обокрали, он ложится и хочет смерти.

А в самом деле, почему же бог так жестоко его обманывает? Какую славу стяжает себе сильный тем, что обманывает слабого? Ведь вся поэзия нисходит с неба и есть не что иное, как инстинктивное ощущение присутствия в нашей жизни божества. Материализм убивает поэзию, он низводит все до существующих в реальном мире размеров. Он создает вселенную из одних только сочетаний; религиозная вера наполняет ее призраками. А разве за своими непроницаемыми покровителями божество само не смеется над нашим культом и над ангельскими созданиями, которыми окружает его наш болезненный разум? Увы, все это мрачно и неутешительно.

– Это значит, что не следует ни мечтать, ни молиться, – сказала Пульхерия, – следует довольствоваться тем, что живешь на свете, простодушно верить в милосердного бога: человеку этого было бы достаточно, будь у него меньше тщеславия. Но человек хочет изучить этого бога и проверить его творения; он хочет его узнать, расспросить обо всем, сделать его полезным себе, ответственным за свои страдания. Он хочет говорить с ним, как равный с равным. Это твоя гордость придумала поэзию и поместила между землей и небом столько обманчивых грез. Господь не виноват в твоих несчастьях...

– Гордость, вера в себя, – ответила Лелия, – это два разных слова, выражающих одну и ту же мысль. Это два разных способа рассматривать одно и то же чувство. Каким именем ни называть его, это как бы дополнение к нашей природе, краеугольный камень нашего разума. Господь увенчал свое творение этой мыслью, смутной и скорбной и вместе с тем бесконечно высокой, возвысив нас над другими живыми существами. Он обрек нас на тревогу и беспокойство. «Вы в силе превзойдете верблюда, в искусстве бобра, – сказал он нам, – но вы никогда не удовлетворитесь творениями рук ваших и среди вашего земного рая будете всегда гнаться за неверным обещанием лучшей доли. Вы поделите меж собою землю, но вам захочется неба; вы достигнете могущества, но вам придется страдать».

– Ну что же, – сказала Пульхерия, – тогда страдай молча, молись на коленях, дожидаясь блаженства на небе, но смирись перед злом на земле. Переносить страдания, посланные творцом – этим еще не исчерпывается предназначение человека: страдание это надо принять. Беспрерывно кричать и проклинать свое ярмо еще не значит нести его. Ты отлично знаешь, что недостаточно ощутить вкус горечи, надо выпить чашу до дна. У тебя только один путь к величию на земле, и ты его презираешь: надо подчиниться, а ты противница всякого подчинения. Не кажется ли тебе что если назойливо стучаться в обитель ангелов тебя могут туда не пустить.

– Ты права, сестра. Ты рассуждаешь, как Тренмор Ты влюблена в жизнь, и ты так же смирилась, как этот человек, отторгнутый от жизни. Ты находишь спокойствие в распутстве, так же как он – в добродетели Но я, у которой нет ни добродетелей, ни пороков я не знаю, что мне сделать, чтобы вынести скуку жизни Увы, тебе легко предписывать терпение! Если бы ты как я, оказалась между теми, кто еще живет, и теми, кого уже нет на свете, ты бы, как и я, поддалась мрачному гневу и тебя бы тоже мучило ненасытное желание чем-то стать, начать жизнь или покончить с ней...

– Но ты же ведь сказала мне, что любила? Любить – это жить вдвоем.

– Не зная, на что потратить силу моего ума, я простерла ее у ног идола, созданного моим же поклонением. Это ведь был человек, такой же, как и все прочие, и когда я устала лежать простертой, я разбила пьедестал, и мой идол снова стал тем, чем он действительно был. Но в моем торжественном обожествлении я так высоко его вознесла, что он стал мне казаться великим, как сам господь бог.

Это было самым горьким моим заблуждением, и видишь, какой несчастной оказалась моя судьба. Случилось так, что я стала жалеть о нем, после того как его потеряла. Потому что, увы, мне некого было поставить на его место. Все мне казалось слишком мелким рядом с этим воображаемым колоссом. Дружбу я находила холодной, религию – лживой, а поэзия умерла для меня вместе с любовью.

Веря в эту химеру, я была так счастлива, как только могут быть счастливы люди моего душевного склада. Я радовалась мощному взлету моих сил. Опьяненная своим заблуждением, я

переживала поистине божественные экстазы. Я погружалась в эту мучительную и страшную жизнь, которой суждено было сломать меня, а потом поглотить. Это было состояние невыразимой скорби и радости, отчаяния и прилива энергии. Моей буйной душе нравилось это грозное качание на волнах, которое бесплодно и безвозвратно ее истерзало. Покой отпугивал ее, отдых раздражал. Ей нужны были препятствия, утомление, нужно было испытывать мучительную ревность, прощать жестокие обиды, вершить большие дела, переносить большие несчастья. В этом было ее призвание, ее слава. Будь я мужчиной, я любила бы сражения, запах крови, минуты опасности; может быть, честолюбивая идея повелевать силой ума, подчинять себе других людей властным словом улыбнулась бы мне в дни моей молодости. Но я была женщиной, и знала только одно благородное назначение на земле – любить. Я любила *мужественно*; я вынесла все недуги страсти, немой и беззаветной, в борьбе с жизнью общества и эгоизмом, свойственным сердцу человека. В течение долгих лет я противилась тому, что должно было погасить ее или охладить. Теперь я без горечи переношу упреки мужчин и с улыбкой выслушиваю обвинения в бесчувственности, которые они возводят на мою голову. Я знаю, и господь это тоже знает, что я исполнила мою задачу, внесла свою долю тягот и мук в великую бездну гнева, в которую беспрерывно стекают слезы людей, но так и не могут наполнить ее до краев. Я знаю, что отдала всю мою силу делу самоотвержения, что отреклась от гордости, что сделала тенью другой жизни. Да, господи, ты это знаешь! Ты раздавил меня скипетром своим, и теперь я валяюсь в пыли. Я сбросила с себя свое высокомерие, когда-то такое неприступное, а теперь такое горестное; я сбросила его давно перед существом, которое ты послал мне, чтобы я поклонялась ему себе; на горе. Я хорошо потрудились, господи, я в молчании пережила мое горе. Когда же ты примешь меня в обитель отдохновения?

– Ты хвастаешь, Лелия; ты трудилась попусту, и меня это не удивляет. Ты хотела сделать из любви нечто непохожее на то, чем господь позволил ей стать здесь, на земле. Если я правильно поняла твою беду, ты любила всей силой своего существа, а тебя недостаточно любили. Как же ты заблуждалась! Неужели ты не знала, что мужчины грубы, а женщины непостоянны! Эти два существа, такие сходные и вместе с тем такие различные, устроены так, что постоянно ненавидят друг друга, ненавидят даже в любви, которая их сближает. Первое чувство, которое овладевает ими после горячих объятий, – это отвращение или грусть: это высший закон, против которого ты напрасно будешь восставать. Союз мужчины и женщины по замыслу провидения должен был стать преходящим; все протестует против вечности их связи, сама природа их требует обновления.

– Если это так, – вскричала Лелия, – то да будет проклята любовь! Или, вернее, да будет проклята воля божья и предназначение человека! Я ведь действительно думала, что любовь должна быть другой. У чувства любви, открывшегося мне в юные годы, было ангельское обличье, и казалось, что ему суждено было длиться. Оно исходило от самого бога, оно должно было нести в себе частицу его бессмертия. Перестать любить! Этого я не могла себе даже представить. Для меня это было все равно, что перестать жить!

– И, однако, ты больше уже не любишь, – сказала Пульхерия.

– Потому я и мертва! – ответила Лелия.

– Но как ты могла допустить, чтобы священный огонь погас? – воскликнула, куртизанка. – Неужели ты не могла перенести его на другой алтарь? Переменить любовника не значит еще переменить любовь.

– Что же, по-твоему, можно снова разжечь это пламя, когда тот, который его вдохновлял, дал ему погаснуть? – вскричала Лелия. – И оно будет таким же ярким и чистым? Что такое любовь? Разве это не культ? А раз это культ, то разве любимый человек не тот же бог? И если он сам, своей волей, разрушил веру, которую вдохнул в чью-то душу, то как может эта душа выбрать себе из других существ другого бога? Она создала себе идеал, и пока она была убеждена, что нашла воплощенное совершенство в одном из себе подобных, она повергалась перед ним наземь. Но теперь она знает, что ее идеал не в этом мире. Какое же поклонение, какую веру может она принести своему новому идолу? Она ведь должна будет принести ему неполную, ограниченную любовь, чувство конечное идущее от ума, поддающееся анализу и точному определе-

нию. Она поверила в добродетель без примесей, в ничем не запятнанное сияние. Теперь она знает, что всякая добродетель легко может пошатнуться, что все высокое имеет свои пределы: ведь то, что было для нее воплощением высокого и прекрасного, обмануло ее ожидания, предало ее лучшие мечты. Удастся ли ей простым усилием воли стереть страшное воспоминание, которое должно послужить ей вечным уроком? В чем найдет она это благодатное забвение? А если и найдет его, то не будет ли это с ее стороны слепой доверчивостью, в которой она потом очень скоро раскается? Надо ли, чтобы она переходила от разочарования к разочарованию до тех пор, пока не истощатся ее силы и иллюзия благородного идеала не растает в воздухе, столкнувшись с грубыми страстями действительной жизни. Разве для такого конца господь даровал нам пылкие стремления и дивные сны?

– Но до чего же ты горда, Лелия! – воскликнула пораженная Пульхерия. – Неужели единственное совершенное создание на всей земле – это ты? Неужели сердце твое горит таким особенным божественным пламенем, что тебе уже никогда не встретить другого такого пыла, другой чистоты, столь же незапятнанной как твоя? Видно, ты нечестивица, если считаешь себя ангелом, посланным страдать среди людей!

– Даже если меня охватит безумная гордость, этого еще будет недостаточно, чтобы я могла считать себя ангелом. Будь я ангелом, я бы так ясно представляла себе мою миссию на этом свете, что пожертвовала бы собой для того, чтобы искупить какой-нибудь оставшийся у меня в памяти грех или чтобы совершить на этой несчастной земле какое-нибудь доброе дело, поступившись ради этого моей гордостью и возвестив людям те вечные истины, в которых я была бы убеждена. Но я слабое, ограниченное существо, я страдаю Глубокое неведение относительно предыдущего существования тяготеет надо мной с тех пор, как я стала дышать на этом проклятом свете. Я не знаю, страдаю ли я для того, чтобы смыть печать первородного греха, запятнавшего одну из моих прошлых жизней, или для того, чтобы обрести новую жизнь, более чистую и спокойную. У меня есть ощущение совершенства и любовь к нему. Мне кажется, что, будь у меня достаточно веры, у меня была бы и сила, чтобы добиться этого совершенства. Но веры мне не хватает, мой опыт раскрывает мне глаза на мои заблуждения, прошедшее мне неведомо, настоящее меня оскорбляет, будущее – страшит. Мой идеал – это раздирающий душу кошмар, это желание, которое меня сжедает. Что мне делать с чувством, которого никто не разделяет, не надеясь, что оно может восторжествовать над печальной действительностью? Я знаю одного добродетельного человека; мне страшно его расспрашивать: я боюсь, как бы он не разочаровал меня, признавшись, что для него добродетель – всего-навсего удовлетворение некой врожденной потребности, как бы он не поверг меня в отчаяние, потребовав, чтобы я отказалась от всего, даже от надежды.

– Так, выходит, у тебя есть надежда? – сказала Пульхерия, улыбаясь. – Признайся, Лелия, ты не мертва.

– Я пытаюсь полюбить одного поэта, – сказала Лелия. – Я вижу, что у него есть стремление к идеалу, подобно тому как было оно и у меня, когда я была так молода. Но я боюсь, что он слишком привержен к земле и к ее мелким заботам, а они ведь рано или поздно иссушают сердце человека и мешают ему стремиться к совершенству.

– Я слышала, что ты знаешь Вальмарину, – сказала куртизанка. – Люди думают даже, что ты причастна к таинственным делам этого удивительного человека. Говорят, он еще не стар, красив и в высокой степени благороден. Почему ты не любишь его? Или он недостаточно умен? Или он презирает любовь?

– Ни то, ни другое, – ответила Лелия, – но он слишком любит добродетель, чтобы любить женщину; его идеал – это долг. Ему страшно было бы отнять частицу своей души от человечества и отдать ее одному человеку. Я никогда и не мечтала его полюбить, потому что великое страдание навсегда убило в нем надежду на счастье здесь, на земле. Одно время мы, может быть, могли бы с ним соединиться, понять друг друга и помочь друг другу сохранить священный огонь. Но тогда он еще не был тем, чем стал сейчас. У меня была вера, а у него ее не было. С тех пор роли переменились. Теперь у него есть вера, а я потеряла свою.

– Но если ты поклоняешься добродетели, то разве ты не можешь, по примеру того, о ком

ты мне только что говорила, отдаться ей так, как удовлетворяют врожденную потребность? Откажись от любви, наберись мужества творить милосердие.

– Я его творю и не нахожу в этом счастья.

– Понятно, ты творишь добро из любопытства. Вот оно как! Тогда, выходит, я все же лучше тебя; самое большое удовольствие для меня – это отдавать полными пригоршнями беднякам то золото, которое мне расточают богачи.

– Это значит, что ты в распутстве своем сохранила больше молодости и простодушия, чем я – в моем уединении. Мое сердце мертво, твое словно еще не жило. Твоя жизнь – это вечное детство.

– И пусть! Я благодарю за это бога, – сказала Пульхерия. – Ты знала добродетель и любовь, но у тебя не осталось и следа того, что меня ни разу не покидало, – доброты!

– Разумеется, я пала ниже, – заметила Лелия, – оттого что чересчур вознеслась в моей гордости. Но сейчас я хотела бы для себя такой добродетели, которую могла бы понять, а так как стремилась я к добродетели через любовь, я не могу представить себе, как одна может существовать без другой. Я не могу любить человечество, ибо оно развратно и подло. Надо бы верить в его прогресс, а я не могу. Я хотела бы, чтобы чистые сердца, пусть даже немногие, поддерживали пламя небесной любви и чтобы, освободившийся от пут эгоизма и тщеславия, союз душ был бы прибежищем последних адептов поэтического идеала. Но это не так. Избранные души, рассеянные на поверхности земли, где все их задевает, отталкивает и вынуждает уходить в себя, напрасно стали бы искать и звать друг друга. Их союз не будет освящен человеческими законами, и сама жизнь их не встретит сочувствия в других человеческих жизнях. Столь печально окончились все попытки жить этой идеальной жизнью у людей, которые могли бы на глазах у бога слить свои души в лучшем мире.

– Значит, виновато в этом общество, – сказала Пульхерия, которая теперь слушала Лелию внимательнее.

– Виноват в этом бог, который позволяет человечеству так заблуждаться, – ответила Лелия. – Есть ли у нас хоть один недостаток, в котором повинны только мы? Если не верить, что мы посланы в этот мир, чтобы пройти через страдания, прежде чем вкусить великое блаженство, то как смириться с вмешательством провидения в наши судьбы? Ужели отеческий взгляд опекал человечество в тот день, когда оно вздумало расколоться надвое и один пол очутился под властью другого? Разве не дикое вожделение сделало женщину рабой и собственностью мужчины? Какие инстинкты чистой любви, какие представления о самозабвенной верности могли воспротивиться этому смертельному удару? Что же еще, кроме силы, может связывать теперь того, у кого есть право требовать, с тем, у кого нет права отказать?

Какие работы и какие мысли могут у них быть общими или, во всяком случае, одинаково им приятными? Какой обмен чувств, какое понимание друг друга возможно между господином и рабой? Даже когда мужчина с величайшей деликатностью пользуется своими правами, он и тогда относится к своей подруге жизни, как учитель к девочке-ученице. Но по замыслу самой природы отношения взрослого и ребенка ограничены и лишь временны. Мужчина не может стать товарищем детских игр, а дитя не может приобщиться к труду взрослого. К тому же настает время, когда уроки учителя перестают удовлетворять ученицу, ибо для нее наступает возраст эмансипации и она, так же как взрослые, предъявляет на все свои права. В любви двух полов не может быть настоящего единства, ибо женщина играет в ней роль ребенка, и час эмансипации для нее так никогда и не настает. Какое же это преступление перед природой – обречь половину человечества на вечное детство! Бремя первого греха, по иудейской легенде, тяготеет над головою женщины, отсюда все ее рабство. Но не ей ли было обещано, что она раздавит голову змия. Когда же это обещание будет исполнено?

– И все же мы лучше, чем они! – воскликнула Пульхерия.

– Мы лучше их в одном смысле, – сказала Лелия. – Они обрекли на спячку наш разум, но они не заметили, что, пытаясь погасить в нас божественный светильник, они вместо этого сосредоточили в сердцах наших бессмертное пламя, тогда как в их собственных сердцах оно гасло. Они утвердились в обладании наименее благородной стороною нашей любви и не заметили, что

уже потеряли власть над нами. Они сделали вид, что считают нас неспособными исполнять наши обещания, и единственное, что они могли, – это обеспечить себя законными наследниками. У них есть дети, но у них нет жен.

– Вот почему их цепи всегда приводили меня в ужас, – вскричала Пульхерия, – вот почему я не хотела занимать никакого места в их обществе! Не могла я разве восседать среди их жен, уважать законы и обычаи, соблюдением которых они кичатся, притвориться, как они, стыдливой, верной, присвоить себе все их лицемерные добродетели? Не могла я разве удовлетворить все мои прихоти, все мои страсти, согласись я только носить маску и воспользоваться покровительством какого-нибудь дурака?

– А разве ты стала счастливее оттого, что поступила смелее? – спросила Лелия. – Если да, то скажи мне это с откровенностью, которую я в тебе всегда так ценила.

Охваченная волнением, Пульхерия не сразу решилась что-то ответить.

– Нет, счастливой ты быть не можешь, – сказала Лелия. – Я это знаю лучше, чем ты сама. Ни безрассудства твои, ни твои победы, ни все твое мотовство не могут заставить тебя забыть. Напрасно в роскоши и сладострастии ты соперничаешь с Клеопатрой. У твоих ног нет Антония, и ты отдала бы все свои наслаждения и все богатства за сердце, глубоко тебя полюбившее. Ибо мне кажется, что даже такая, как ты сейчас, Пульхерия, ты и лучше и чище всех мужчин, которые владеют тобой и которые хвалятся, подобно любовнику Лаисы, что ты ими не овладела. Мне кажется, что только потому, что ты женщина, ты иногда, может быть, еще и любишь и что, уж во всяком случае, попав в объятия человека, который кажется тебе более благородным, чем остальные, ты жалеешь о том, что не полюбила. Разве эта нескончаемая комедия любви не трогает тебя иногда, как тронула бы истинная любовь? Я видела, как великие актеры проливали на сцене настоящие слезы. Не приходится сомневаться, что воображаемое чувство, которое они воплощали, напоминает им о любовных страданиях, некогда испытанных ими самими! Мне кажется, что чем больше человек отдается безумию сладострастия, которым сердце совсем не затронуто, тем больше он этим возбуждает в себе жажду любить, которая никогда не может удовлетвориться и день ото дня становится все более жгучей.

Пульхерия принялась хохотать, а потом вдруг закрыла лицо руками и зарыдала.

– О, – сказала Лелия, – ты тоже носишь в сердце своем глубокую рану и вынуждена прятать ее под покровом безумного веселья, как я прячу свою под покровом высокомерного равнодушия.

– И все-таки тебя никто никогда не презирал, – сказала куртизанка. – Это ты презирала любовь мужчин, считала ее недостойной тебя.

– Что касается человека, которого я знала, то я не берусь утверждать, что он был недостойн моей любви; но он был так непохож на меня, что я никак не могла принять этих неравных отношений на всю жизнь. Человек этот был умен, справедлив, великодушен. Мужская красота сочеталась в нем с редкостной образованностью, с честностью, с тем спокойствием, которое порождается силой, с терпением и добротой. Не думаю, что мог бы найтись другой, более достойный моей любви. Такого, как он, мне теперь уже никогда не встретить.

– Так чем же он был плох? – спросила Пульхерия.

– Он не любил! – ответила Лелия. – Какое могли иметь для меня значение все его высокие достоинства? Все извлекали из них для себя выгоду, все, только не я, во всяком случае, я не больше, чем все остальные. И в то время как я безраздельно отдавала ему всю мою душу, на мою долю доставалась лишь частица его души. Он воспламенялся ко мне порывами жгучей страсти, которые вскоре угасали, сменяясь глубоким мраком. Восторги его были горячее моих, казалось, что в них за несколько мгновений сгорала вся сила любви, которую он накачивал за долгие дни. В повседневной жизни он был мне другом, нежным и справедливым. Но мысли его блуждали далеко от меня, и поступки его то и дело увлекали его туда, где меня не было. Не думай, что я настолько несправедлива к нему, что хотела приковать его к себе, или настолько нескромна, что следовала за ним по пятам. Я не знала ревности, ибо сама была неспособна к обману. Я понимала, что у него есть свои обязанности, и не хотела мешать ему их исполнять. Но я была до ужаса прозорлива и, сама того не желая, видела, как много ничтожества и тщеты в делах, которые

мужчины считают важными. Мне казалось, что, будь я на его месте, я внесла бы в эти дела больше порядка, четкости и серьезности. И все же он был одним из первых среди мужчин. Но я отлично видела, что исполнение общественного долга для него скорее средство удовлетворить собственное самолюбие, что последнее значит для него больше и волнует его сильнее, чем светлые улады чистой любви. Не одно только служение человечеству поглощало его душу и заставляло биться его сердце, к этому примешивалась и жажда славы. Слава его была чистой и достойной уважения, он никогда не достигал ее ценою слабости; но он готов был пожертвовать ради нее моим счастьем и поражался, видя, что окружающее его сияние меня не пьянит. Что до меня, то я любила его великодушные поступки, наградою за которые и была эта слава; но награда эта казалась мне смешной, грубой, поклонение публики в моих глазах только проституировало чувство. Я не могла примириться с тем, что ласки толпы ему дороже моих и что он не умеет найти награды более высокой в своем собственном сердце, а тем более в сердце любимой. Я видела, как он разменивает свой высокий идеал на самую мелкую монету. Мне казалось, что он поступает вечной жизнью души и что, говоря проникновенными словами Христа, награду он начинает получать в этой жизни. Моя любовь была безмерна, а его — ограничена пределами, которых нельзя было перейти. Он отмерил мне мою долю любви и не понимал, что мог дать мне больше и что удовлетвориться тем, что получала, я не могла.

Правда, как только он в чем-нибудь разочаровывался, он неизменно возвращался ко мне. Нередко случалось, что он находил мнение людей несправедливым и общество неблагодарным. Друзья, на которых он больше всего полагался, часто предавали его, привлеченные какою-нибудь ничтожной выгодой или поддавшись соблазну тщеславия. Тогда он приходил и плакал у меня на груди и в порыве волнения переносил на меня всю свою любовь безраздельно. Но это эфемерное счастье только усугубляло мои страдания. Очень скоро душа эта, такая ленивая или такая легкомысленная, когда надо было думать о вечной жизни, приходила в смятение из-за каких-нибудь земных дел. Порывы любви, в которых было больше слепой страсти, чем подлинной глубины чувств, влекли за собою усталость, потребность в деятельности, наступало пресыщение нежностью и экстазом. Воспоминания о политических словопрениях (в наше время самых пустых из всех — могу тебя в этом уверить) преследовали его даже в моих объятиях. Моя философическая отчужденность от всего этого пустозвонства раздражала его и оскорбляла. Он мстил мне, напоминая о том, что я женщина и что я не могу ни подняться до уровня всех его расчетов, ни понять важность того, что он делает. И отсюда — все растущая привычка к досаде и к глухому отвращению, перемежающаяся с раскаянием и новыми излияниями любви, но при малейшем раздоре готовая появиться снова. Когда он возвращался ко мне, я с горечью замечала, что и в радости его и в любви было что-то безумное, что, перед тем как погаснуть, душа его, устранившись ничтожества земной жизни, хотела взметнуться последний раз к небу и вкусить неизведанное блаженство, дабы исчерпать его и тут же вернуться на землю холодной и успокоенной. Эти лихорадочные излияния страсти, потерявшие свою святость среди ссор и обид, раздирали мне душу, так же как и наши бесконечные расставания. И тогда он жаловался на мою печаль, которую он принимал за охлаждение. Он воображал, что мозг может еще предаваться радости, когда сердце разбито. Слезы мои оскорбляли его, и он осмеливался, да простит его бог, упрекать меня в том, что я его не люблю.

О, ведь это он разорвал самую крепкую нить, которой могли связать себя две души! Не желая считаться с тем, что я стоически сдерживала себя, огромным усилием воли обуздывала свое страдание, он смотрел как на преступление на мою бледность, на деланную улыбку, на слезу, невольно скатившуюся с ресниц. Ему казалось преступлением, что я не такой же ребенок, как он сам, делавший вид, что обращается со мной как с ребенком. А потом настал день, когда он понял, что я выше его. Тогда, разъярившись, он обратил свой гнев против всех женщин вообще и стал проклипать весь наш пол, чтобы быть вправе проклипать и меня. Он упрекнул меня в недостатках, которые внедряет в нас наша рабская доля, в отсутствии просвещенности, в которой нам отказывают, и страстей, которые нам запрещают. Он умудрился даже упрекнуть меня в том, что я так безмерно его люблю, видя в этом бессмысленное честолюбие, расстройство ума, стремление к власти. И когда он окончил свои кощунственные речи, я почувствовала наконец, что боль-

ше его не люблю.

– Как, – в волнении вскричала Пульхерия, – ты даже не сумела за себя отомстить! Какая же ты трусиха! Надо было тут же полюбить кого-то другого. Ты бы излечилась, ты бы забыла.

– И снова начала бы такую же жалкую, мучительную жизнь с другим. Станный способ отмщения!

– Но ведь, захваченная своей первой страстью, ты же знала часы опьянения и дни надежды, ты бы нашла их и потом, полюбив еще раз. А неблагодарный, который разбил тебе жизнь, смертельно бы страдал, увидев, как ты ожила.

– А на что мне были бы его страдания? И неужели бы он мог так легко поверить в мое новое счастье? Ты думаешь, он не знал, что выпил до конца всю мою жизнь и что после этой страшной усталости душе моей остается только покой смерти?

– Нет, твоя душа не знала этого покоя, Лелия! Ты ведь постоянно страдаешь и стремишься к счастью и вместе с тем не хочешь его искать; ты и сейчас хотела бы любить. Что я говорю? Ты все еще любишь, ибо сердце твое терзается. Только любовь твоя ни на кого не направлена.

– Увы, это более чем справедливо, – удрученно сказала Лелия. – Вместе с тем я все сделала, чтобы погасить в себе самую любовь, я хотела охладить сердце одиночеством, суровостью, размышлениями. Но я только все больше и больше мучила себя, не будучи в силах вырвать из груди моей жизнь. Разум мой не стал богаче оттого, что я старалась что-то отнять у моих чувств, и я скатилась в бездну сомнений и противоречий. Выслушай же эту печальную историю.

Я хотела отдаться целиком этому безнадежному изнеможению. Я ушла от людей. Большой заброшенный монастырь, наполовину разрушенный грозами революций, стал для меня верным и надежным убежищем. Монастырь этот был расположен в одном из моих поместий. Я выбрала себе келью в наименее разрушенной его части. Раньше в ней жил приор. На стене еще видны были следы гвоздей: верно там висело распятие, перед которым он обычно молился, – на полу остался след от его колен. В этой комнате я окружила себя суровыми символами католической веры: песочные часы, череп и изображения святых мучеников, воздевавших обагренные кровью руки к творцу. Спала я в гробу. К этим мрачным предметам, твердившим мне, что я теперь мертва для человеческих страстей, я присоединила и вещи более веселые, говорившие о любви к поэзии и к природе: книги, музыкальные инструменты и вазы с цветами.

Местность была не очень живописна, но я полюбила ее прежде всего за однообразие, навевавшее грусть, за безмолвие широких равнин. Я надеялась, что совсем избавлюсь там от всех порывов чувств, от всех моих неумеренных восторгов. Я жаждала покоя, мне казалось, что я могу, нисколько не утомляясь, без всякой опасности для себя, окидывать взором весь этот ровный горизонт, весь этот океан вереска, где только изредка какой-нибудь высохший дуб, голубоватое болото или бледные песчаные осыпи вторгались в пустые пространства.

Я надеялась также, что в этом полном уединении, в этом бедном и суровом образе жизни, который я себе создавала, в этом отдалении от всякого шума цивилизации найду забвение прошлого и перестану тревожиться за грядущее. У меня оставалось слишком мало сил, чтобы сожалеть, еще меньше, чтобы желать. Мне хотелось думать, что я умерла и похоронила себя среди этих развалин, для того чтобы окончательно оледенеть и потом вернуться в мир уже совершенно неуязвимой.

Я решила начать со стоицизма телесного, чтобы потом более уверенно перейти к духовному. До этого я жила в роскоши, теперь я хотела приучить себя совершенно не замечать всех материальных лишений монашеской жизни. Я отослала всех слуг и решила пользоваться только услугами одной-единственной женщины, которая бесшумно скользила по пустынным галереям монастыря и передавала мне через выходившее туда окошечко пищу и предметы первой необходимости, после чего столь же бесшумно удалялась, так что я не могла ни видеть ее, ни общаться с ней.

Я употребляла самую простую пищу и была вынуждена сама убирать свое жилище и сама о себе заботиться. Жизнь моя была очень строгой, но я хотела наложить на себя еще более суровое испытание. Живя в обществе, я привыкла к движению, к деятельности легкой и непрерывной, позволенной, когда человек богат. Я любила быструю верховую езду, путешествия, свежий

воздух, веселую охоту. Теперь я решила умертвить свою плоть и остудить горячие мысли добровольным затворничеством. Воображение мое вновь воздвигало разрушенные стены монастыря. Я окружила открытый со всех сторон дворик невидимой и незыблемой оградой. Я позволила себе доходить лишь до определенного места и точно отмерила пространство, которым должна была себя ограничить на целый год.

В дни, когда душевное смятение мое было так велико, что я не могла определить воображаемые границы, которыми я окружила мою тюрьму, я прибегала к опознавательным знакам. Я вытаскивала из полуразрушенных стен вросшие в них длинные стебли плюща и ломоноса и складывала их на землю в тех местах, за пределы которых запрещала себе ступать. Вслед за тем, окончательно удостоверившись, что теперь уже не нарушу своего обета, я чувствовала, что крепость моя столь же надежна, как и Бастилия.

Некоторое время я так строго подчинялась этому распорядку, что мне действительно удалось отдохнуть от былых страданий. В сердце моем воцарилось великое спокойствие, дух мой умиротворился, безраздельно подчинившись принятому решению. Но случилось так, что способности мои, восстановленные отдыхом, понемногу пробудились и властно требовали себе применения. Я хотела совсем подавить дремавшую во мне силу, но вместо этого ее укрепила; засыпав золой догоравшую искру, я сохранила ей жизнь, сберегла огонь, достаточный, чтобы вспыхнул пожар, большой пожар. Чувствуя, что оживаю, я испугалась, не сдержала себя воспоминанием о тех решениях, которые провозгласила на собственной могиле. Следовало направить эти жестокие усилия на то, чтобы принизить в моих глазах смысл всех вещей, сделать так, чтобы ни одно внешнее впечатление не могло на меня повлиять. Вместо этого одиночество и раздумье создали во мне новые чувства и способности, которых я раньше за собою не знала. Я не стремилась погасить их в самом начале, ибо думала, что они, может быть, заменят мне те, которые ввели меня в заблуждение. Я приняла их как благодеяние неба, вместо того чтобы оттолкнуть как новое наваждение дьявола.

Поэзия снова посетила меня. Но эта обманщица, окрасилась теперь в другие цвета, приняла новые формы, постаралась придать красоту тем предметам, которые я до сих пор считала бледными и ничтожными. Мне не приходило в голову, что бездеятельность и безразличие к некоторым сторонам жизни должны были внушить мне живой интерес к вещам, которых я прежде не замечала. Но именно это со мной и случилось: строгость жизни, которой я облекла себя, как властницей, сделалась мне приятной и сладостной, как мягкая постель. С гордой радостью взирала я на это пассивное повиновение одной части моего существа и на долгую власть другой, на это святое отречение материи и на великолепное царство воли, спокойной и упорной.

Раньше я пренебрегала регулярностью в занятиях. Предписав ее себе в моем уединении, я напрасно обольщалась, думая, что мысли мои потеряют свою силу. Но они окрепли и стали только стройнее. Обособляясь одна от другой, они принимали более совершенные формы; проблуждав долгое время в мире смутных представлений, они развились и стали добираться всякий раз до истоков; привычка и потребность докапываться до истины преисполнили их удивительной силы. Это было моим самым большим несчастьем; через поэзию я пришла к скептицизму; через восторженное приятие жизни – к сомнению. Так систематическое изучение природы привело меня и к восхвалению бога и к хуле на него. Прежде творения его только восхищали меня; моя примиренная с жизнью поэзия отшатывалась от всего непомерного, казавшегося мне отвратительным, или пыталась представить его себе величественным, мрачным и диким. Чем внимательнее я изучала природу, чем больше присматривалась к разным ее сторонам, подвергая ее холодному и бесстрастному анализу, тем отчетливее видела, сколь изобретателен, мудр и всеобъемлющ гений, который сотворил мир. Я упала перед ним на колени, исполненная горячей веры, и, благословляя создателя этой новой для меня вселенной, молила его открыться мне еще полнее. Я продолжала изучать и анализировать, но наука – это пропасть, спускаться в которую надо с большой осторожностью.

Когда после первоначального упоения великолепием красок и форм, из которых состоит вселенная, я поняла, сколько каждый вид живых существ таит в себе неполноты, беспомощности и ничтожества; когда я увидела, что у одних красота сочетается со слабостью, что у других глу-

пость уничтожает преимущества, приносимые силой, что нет таких, кто мог бы жить спокойной жизнью и вкушать только радости, что все на своем земном пути должно пройти сквозь страдание и что роковая необходимость движет этим страшным стечением страданий, меня охватил ужас; я вдруг почувствовала, что должна отречься от бога, иначе мне придется его возненавидеть.

Потом я снова привязалась к нему, присматриваясь к своей собственной силе; я усмотрела божественное начало в той огромной физической стойкости, которая помогает животным переносить все жестокости природы, в той огромной гордости, с которой человек оспаривает безжалостные решения божества, и в том великом смирении, с которым он их принимает.

Колеблясь между верой и неверием, я потеряла покой. По несколько раз в день я переходила от нежности к ненависти. Когда человек ступает по краю между отрицанием и утверждением, когда он думает, что достиг уже мудрости, он ближе всего к безумию. Вперед его может вести только дальнейшее совершенствование, но оно уже невозможно, или наитие, но оно не подчиняется мысли и превращается в бред.

Словом, я испытала страшные муки, а так как всякое человеческое страдание склонно любоваться собою и жаловаться, пагубная поэзия снова стала между мной и объектом моего созерцания. Но поскольку одна из главных способностей поэтического чувства – преувеличение, горе вокруг меня выросло, а радости вызывали во мне такое волнение, что сами стали походить на страдание. Страдание же само начало казаться огромным и страшным, оно разъяло в душе моей бездны, и те поглотили мои напрасные мечты о мудрости, напрасные надежды на отдых.

Иногда я шла взглянуть на закат солнца с полуразрушенной террасы, часть которой еще сохранилась; огромные изваяния, некогда воздвигавшиеся на католических храмах, окружали ее и словно поддерживали. Над головой моей эти странные аллегорические фигуры вытягивали свои почерневшие от времени морды и, казалось, как и я, склонялись над равниной, молча глядя на потоки воды, на века и на поколения. Все эти покрытые чешуею драконы, безобразные ящерицы, ужасающие химеры, все эти эмблемы греха, иллюзии и страдания жили вместе со мною какой-то зловещей, неподвижной и нерушимой жизнью. Когда красный луч заходящего солнца играл на их причудливых шершавых телах, мне казалось, что бока у них вздуваются, колючие плавники раздвигаются, страшные морды корчатся в новых муках. И глядя на то, как существа эти вросли в огромные каменные глыбы, которых ни рука человека, ни рука времени не в силах была сломить, я отождествляла себя с этими образами вечной борьбы страдания и неизбежности, ярости и бессилия.

Далеко внизу, под серой угловатой громадой монастыря, расстилалась бескрайняя равнина, однообразная и унылая. Заходившее солнце озаряло ее отблеском пламени. Когда оно начинало медленно исчезать за неуловимыми границами горизонта, голубоватая дымка тумана, слегка окрашенная пурпуром, поднималась к небу, и черная равнина делалась похожей на огромный саван, разостланный у моих ног; ветер наклонял гибкие стебли вереска, колыхая их, как воды озера. Чаще всего во всей этой необычайной шири слышно было только журчание ручейка среди камней, карканье хищных птиц и жалобные завывания ветра под монастырскими сводами. Изредка появлялась какая-нибудь отбившаяся от стада корова; она тревожно мычала, ходила вокруг развалин и дикими глазами озиралась на пустынные, заброшенные земли, куда она неосмотрительно забрела. Однажды, привлеченный звоном колокольчика, прямо на монастырский двор забежал деревенский мальчишка – он искал отбившуюся от стада козу. Я спряталась, чтобы он меня не увидел. В сырых и гулких галереях монастыря делалось все темнее; пастушонок сначала остановился, должно быть испугавшись шума собственных шагов, которые эхо разносило под сводами; потом он пришел в себя и, распевая песенку, пошел туда, где его коза щипала росшие среди развалин солончаковые растения. Мне было неприятно, что, кроме меня, в этом святилище появилось еще какое-то живое существо: песок, скрипевший у него под ногами, эхо, отвечающее на его голос, – все это казалось мне оскорбительным в храме, которому я тайне от всех возвратила жизнь и где одна, припав к стопам господу, вновь устремила свои помыслы к небу.

Весной, когда дикий дрок покрылся цветами, когда мальвы распространили свой нежный

запах вкруг болот и когда ласточки наполнили движением и шумом воздух вкруг и самые недоступные высоты башен, природа выглядела величественно и была напоена ароматами, одуряющими, сладострастными. Далекое мычанье коров и лай собак всегда почти пробуждали среди развалин эхо, и жаворонок пел по утрам свои песни, пленительные и нежные как псалмы. Даже стены монастыря преобразились. Змеиная трава и камнеломка пробивались пышными зелеными пучками сквозь сырые трещины; желтые левкои наполняли благоуханием церковные нефы, и в заброшенном саду несколько столетних фруктовых деревьев, переживших это жестокое опустошение, украсили бело-розовыми почками свои угловатые, изъеденные мхом ветви. Подножия массивных каменных столбов – и те покрылись ярким и пестрым ковром из порожденных сыростью микроскопических растений, какие обычно устилают руины и подземелья.

Я изучала тайну жизни всех этих животных и растений и думала, что под влиянием мысли воображение мое оледенеет. Но природа вновь явилась мне помолодевшей и похорошевшей и еще раз дала почувствовать свое могущество. Она посмеялась над моей гордостью и подчинила себе те строптивые способности, которые хотели служить только науке. Это ошибка – думать, что наука мешает восхищаться природой и что взор поэта тускнеет, по мере того как взору натуралиста открываются все более широкие горизонты. Исследование, уничтожающее столько верований, просвещая, пробуждает также и новые. Изучение открыло мне сокровища и наряду с этим отняло у меня иллюзии. Сердце мое, несколько не обедневшее, обновилось. Великолепие весны, ее ароматы, бодрящее влияние теплого солнца и чистого воздуха, необъяснимое чувство, которое охватывает человека в то время года, когда расцветшая земля всеми порами своими источает жизнь и любовь, – все это повергло меня в новые страдания. Меня снова стала терзать тревога, вернулись желания, смутные и бессильные. Мне показалось, что я возвращаюсь к жизни, что могу еще любить. Вторая молодость, более восторженная, чем первая, заставляла биться мое сердце так, как оно никогда дотоле не билось. Я испугалась и вместе с тем обрадовалась совершившейся во мне перемене и отдавалась этому упоительному волнению, не зная, какую я буду, когда проснусь.

Вскоре вместе с раздумьем вернулся и страх. Я вспомнила печальные события моей жизни. Память о прежних несчастьях лишила меня веры в будущее. Все мне казалось страшным: люди, поступки, вещи и прежде всего я сама. Люди, думала я, не поймут меня, а их поступки будут без конца меня оскорблять, потому что я никогда не смогу подняться или опуститься до уровня других людей или их поступков. А потом меня охватила скука, она навалилась на меня всей своей тяжестью. Мое убежище, такое суровое, поэтичное и красивое, в иные дни казалось мне страшным. Обет не покидать его, которым я добровольно себя связала, стал мне казаться какой-то ужасной обузой. В этом монастыре без ограды и без дверей я испытывала те же муки, какие доставались на долю пленника-монаха, отделенного от мира решетками и рвами.

На эти переходы от желания к страху, на эту отчаянную борьбу воли против самой себя уходили все мои силы. По мере того как они возвращались ко мне, я претерпевала все тяготы и разочарования, которые приносит опыт, не пытаясь, однако, ничего предпринять. Когда потребность действовать и жить становилась слишком сильной, я позволяла ей овладевать мною до тех пор, пока эта потребность не истощала себя сама. Ночи напролет проводила я в безропотной покорности. Лежа на надгробной плите, я отдавалась во власть беспричинных слез, которые ни к кому не относились, но проистекали из глубокой скуки опустошенного сердца.

Часто гроза с дождем заставляла меня у ограды разрушенной часовни. Я считала, что не должна уходить от нее, и надеялась, что гроза мне принесет облегчение. Иногда уже брезжил день, а я встречала его разбитая усталостью, вся в грязи, еще более бледная, чем свет зари, и у меня не было даже сил причесать растрепавшиеся волосы, по которым струилась вода.

Часто я пыталась облегчить свои страдания, крича от боли и гнева. Ночные птицы в испуге улетали или отвечали мне такими же дикими криками. От звуков их, отдававшихся от свода к своду, развалины сотрясались, и скатывавшиеся сверху камушки, казалось, предупреждали меня, что все здание вот-вот обрушится мне на голову. О, как я хотела тогда, чтобы это случилось! Я начинала кричать еще отчаяннее: казалось, что стены эти, возвращавшие мне мой собственный голос, который становился еще более страшным, еще более душераздирающим, населены целы-

ми легионами проклятых душ, которые торопятся мне ответить и рвутся богохульствовать вместе со мною.

Следовавшие за этими страшными ночами дни были полны какого-то мрачного оцепенения. Мне удавалось наконец на несколько часов заснуть, но просыпалась я всегда совсем одеревенелой и потом целый день не могла ни на чем сосредоточиться – все становилось мне безразлично. В эти минуты жизнь моя походила на жизнь монахов, отупевших от привычки к повиновению. Сколько-то времени я медленно расхаживала взад и вперед. Я пела псалмы; их звуки немного успокаивали мои страдания, но я не могла уяснить себе смысл тех слов, которые были у меня на устах. Я старалась развлечь себя тем, что на подступах к этим суровым стенам разводила цветы. Земля была там смешана с мелкой известью и песком, и корням было где укрепиться. Я смотрела, как трудится ласточка, и защищала ее гнездо от вторжения воробьев и синиц. В эти минуты память моя переставала слышать отзвуки человеческих страстей. У меня вошло в привычку, ни о чем не думая, держаться в границах своего добровольного заточения, начертанных на песке, и я даже не помышляла их перейти, как будто за ними кончалась вселенная.

Бывали у меня и дни покоя и разумного отношения к жизни. Христианская религия, для которой я избрала формы, соответствующие моему пониманию и моим потребностям, вливала мне в душу благодатную нежность и, подобно целительному бальзаму, врачевала раны моей души. По сути дела, я никогда особенно не старалась понять, действительно ли божественное начало, в разной степени присущее душе человека, давало людям право называться пророками, полубогами, спасителями. Вакх, Моисей, Конфуций, Магомет, Лютер осуществляли великие миссии на земле и до основания потрясли человеческий дух, определив его развитие на много столетий. Были ли похожи на нас эти люди, которые и сейчас помогают нам думать, помогают жить? Не были ли это колоссы, чья духовная мощь перестроила целые общества, существами более совершенными, чистыми и возвышенными, чем мы? Если мы не отрицаем существование бога и божественного начала в людях мыслящих, то вправе ли мы отрицать самые прекрасные его творения или пренебрегать ими? Неужели того, кто прожил жизнь без слабости и без греха, того, кто изрек людям евангельские истины и на долгие века переделал духовный мир человека, – неужели и в самом деле его нельзя признать сыном божьим?

Господь попеременно посылает нам сильных людей, творящих зло, и других, таких же сильных, призвание которых творить добро. Высшая воля, управляющая вселенной, когда ей бывает угодно толкнуть человеческий дух вперед или назад на какой-то части земного шара, может, не дожидаясь размеренного шага веков и медленного действия природных причин, произвести эти внезапные перемены с помощью руки или слова человека, для этой цели сотворенного ею.

Так Иисус босыми и пыльными ногами топчет золотую диадему фарисеев; так он разбивает скрижали старого закона и возвещает будущим векам великий закон спиритуализма, необходимый, чтобы возродить ослабевшие народы; так он поднимается, подобно гиганту, в истории человечества, и делит эту историю на два царства: царство чувства и царство мысли; так он уничтожает своей непреклонной десницей всю животную силу человека и открывает его духу новый путь, огромный, непостижимый, может быть вечный. Разве, если вы верите в бога, вы не станете на колени и не скажете: «Се есть слово, которое было с богом с начала веков. Оно явилось от бога, к богу оно и вернется; оно с ним навеки, оно восседит одесную его, ибо оно искупило людей»? Господь, который с неба послал Иисуса; Иисус, который был богом на земле, и дух святой, который был в Иисусе и заполнил пространство между Иисусом и богом, не есть ли это троица, простая, неделимая, необходимая для существования Христа и его царства? Разве каждый человек, который верит и молится, каждый человек, которого вера воссоединяет с богом, не является бледным отражением этой таинственной троицы, которое становится тем отчетливее, чем лучше человек постигает дух святой? Душа, порыв души, направленный к неизвестной цели, и таинственная цель этого высшего порыва – разве это не бог, явившийся в трех разных своих ипостасях: в силе, борьбе и победе?

Этот тройственный символ божества, наметившийся в человечестве, однажды нашел свое

идеальное воплощение в Иисусе, боже отце и святом духе, которого католическая церковь изображает в виде голубя, чтобы подчеркнуть, что любовь – это душа вселенной.

– Эти мистические аллегории мне смешны, – сказала Пульхерия. – Вот какие вы, избранные души, чистые существа! Вам надо увидеть и истолковать великую книгу откровения; вам надо подвергнуть священное слово толкованиям вашей гордой философии. А когда с помощью всяческих изощрений вы сумеете навязать угодный вам смысл божественным таинствам, тогда вы соглашаетесь преклониться перед новой верой, вы же ведь сами объяснили и переделали ее так, как вам заблагорассудилось. Выходит, вы преклоняетесь перед своим собственным созданием. Согласись, что это так, Лелия!

– Я не стану этого отрицать, сестра моя. Но какое это имеет значение, если на этом зиждется наша вера и наша надежда? Счастливы те, кто может подчиниться букве без помощи разума! Счастливы чувствительные и безумные мечтатели, которые заставляют мятежный дух подчиниться букве! Что до меня, то в обрядах и эмблемах этого культа я видела высокую поэзию и источник умиления. Форма и пропорции католических храмов, несколько театральное убранство алтарей, великолепие священников, пение, ароматы, минуты сосредоточенного молчания, все эти древние красоты, отразившие языческие нравы, среди которых родилась церковь, повергали меня в благоговейный восторг всякий раз, когда я бывала настроена непредвзято.

Монастырь, где я жила, был совершенно разрушен и опустошен. Но однажды, бродя среди развалин, я наткнулась на вход в подземелье; скрытый под обломками, он сохранился от ударов, которые время всеобщего безумия и разрухи нанесло этим стенам. Расчистив себе дорогу среди обломков и колючек, я смогла спуститься вниз по узенькой темной лестнице; вела она в подземную часовню, очень тонко отделанную и хорошо сохранившуюся.

Свод часовни был так крепко сложен, что выдержал огромную тяжесть нагромодившихся на него камней. Сырость пощадила фрески на стенах; на скамеечке резного дуба в полумраке можно было различить черную рясу, казалось, вчера только позабытую здесь священником. Я подошла ближе и наклонилась, чтобы взглянуть на нее: тут я увидела под складками бумажной и шерстяной ткани формы коленопреклоненного человека; голова, которую он опустил на сложенные руки, была скрыта черным капюшоном; казалось, он был погружен в очень глубокое, проникновенное раздумье. Пораженная суеверным страхом, я подалась назад и в нерешительности застыла на месте. Вырвавшийся из открытой двери воздух колыхнул запыленную рясу, и недвижимая фигура будто зашевелилась; у меня было такое чувство, что вот-вот она встанет.

Возможно ли это, чтобы один человек мог пережить резню, жертвами которой пали все его братья, чтобы он мог просуществовать тридцать лет в этом строгом мученическом заточении, в этом глубоком подземелье, о котором я ничего не знала? На какое-то мгновение я этому поверила и, боясь прервать его сосредоточенное раздумье, стояла неподвижно, проникшись уважением, подбирая слова, с которыми должна буду к нему обратиться, и вместе с тем готовая уйти, так и не осмелившись их произнести. Но по мере того как глаза мои стали привыкать к темноте, я разглядела, что дряблые складки материи свисают с острых, угловатых боков. Я разгадала представшую моим глазам тайну и почтительно коснулась рукою этих мощей. Едва только я дотронулась до капюшона, как он свалился, подняв клубы пыли, и рука моя наткнулась на холодный высохший череп. Как величественно и страшно выглядела голова монаха, на которой ветер развеивал еще пряди седых волос, и борода, которая сплелась с разъединенными фалангами пальцев скрещенных рук. Такого мне еще никогда не случалось видеть. Иные подземелья, где от сырости скапливается много селитры, обладают свойством высушивать тела и сохранять их нетленными в течение долгих веков. Было обнаружено немало трупов, в силу этих естественных причин уцелевших от разложения. Желтая и прозрачная, как пергамент, кожа плотно облегает сморщенные и затвердевшие мускулы. Туго натянутые губы не прикрывают крепких белых зубов; ресницы словно вдавились в глаза, лишённые блеска и цвета; на чертах лица – печать суровости и спокойствия, гладкий ровный лоб полон какого-то мрачного величия, а застывшие члены хранят то положение, в котором их настигла смерть. Этим печальным мощам присуща какая-то царственность, отрицать которую невозможно, и порою начинает казаться, что мертвец может еще пробудиться.

В останках, которые я видела в эту минуту, было нечто еще более возвышенное, и причиной этого были сами обстоятельства, которые сопутствовали смерти. Этот монах, умерший без агонии за спокойной молитвой, был окружен в моих глазах ореолом славы. Что же происходило вокруг, когда он умирал? Может быть, на него наложили суровую епитимию, за какой-нибудь благородный проступок и он почил *in pace*³, открыв господу душу, в глубинах подземелья, в то время как его безжалостные братья пели гимн мертвым над его головой? Это предположение рассеялось, когда я убедилась, что подземелье ни с какой стороны не было замуровано и что эта обитель, посвященная служению богу, ничем не напоминала тюрьму. Должно быть, буря революции застала этого мученика в его убежище. Может быть, услышав свирепые крики толпы, он спустился вниз, чтобы уйти от надругательств, или принял последний удар на ступеньках своего алтаря. Но никаких следов ран обнаружить было нельзя. В конце концов я пришла к мысли, что, когда под свирепым натиском победителей обрушилась главная часть здания, монах был лишен возможности выйти, и ему пришлось умереть смертью весталок. Умер он без мучений, может быть даже вкусив радость в один из этих ужасных дней, когда смерть была благодеянием даже для неверующих. Он отдал душу господу, простертый перед распятием и молясь за своих палачей.

Эти мощи, это подземелье, это распятие – все сделалось для меня священным. Под этот темный, холодный свод я часто приходила, чтобы охладить обуревавшие меня мысли. Я прикрыла останки монаха новой одеждой. Каждый день я становилась перед ним на колени. Мучимая своим страданием, я часто начинала громко с ним говорить, как с товарищем по изгнанию или по несчастью. Я прониклась священной и безумной любовью к этому мертвецу. Перед ним я исповедовалась, ему я рассказывала все томления моей души; я просила его быть посредником между мной и небом, чтобы нас помирить. Он часто являлся мне в снах; я видела, как он проходил мимо моего ложа, словно некий дух из видений Иова, и слышала, как голосом слабым, будто дуновение ветерка, он шептал слова, вселявшие в меня страх и надежду.

В этой подземной часовне мне полюбилилось также большое распятие из белого мрамора; оно висело в нише и когда-то освещалось светом, проникавшим сквозь окошечко наверху. Теперь это маленькое окошечко было завалено обломками, но слабые лучи все же пробирались еще сквозь щели в камнях, беспорядочно нагроможденных снаружи. Этот слабый, косо падавший свет придавал какую-то особую печаль бледному лику Христа. Я подолгу смотрела на этот поэтический и скорбный символ. Есть ли на земле что-либо более трогательное, чем изображение физической муки, увенчанное просветленной радостью на лице! Что может быть выше этой мысли, что может быть глубже этой эмблемы; страдающий бог, истекающий кровью, обливаемый слезами и простирающий руки к небу? Образ муки, водруженной на крест и, как молитва, как дым кадильниц, окровавленная и обнаженная, возносящаяся к трону господню! Сияющая надежда, символический крест, на котором покоятся простертые руки и ноги, перебитые пыткой! Терновый венец, надетый на голову – святилище разума, – роковые иглы, обуздавшие могущество человека! Я часто призывала вас, часто падала ниц перед вами. Душа моя распинала себя на этом кресте, она истекала кровью под этими терниями; она часто боготворила под именем Христа человеческое страдание, возвышенное надеждой на иной мир; смирение, иными словами – приятие человеческой жизни; искупление, иначе говоря – мужество в агонии и просветленность в смерти.

Вторая зима прошла менее спокойно, чем первая. То терпеливое смирение, которое сначала помогало мне в моих стараниях привыкнуть к этой уединенной жизни и всем ее лишениям, на следующий год меня покинуло. Праздность моя и все раздумья, в которые я погружалась в течение лета, изменили мое душевное состояние. Я почувствовала себя более сильной, но вместе с тем сделалась более раздражительной, более восприимчивой к страданию, переносила его не так спокойно и вместе с тем не стремилась его избежать. Все испытания, которым я с великой радостью подвергала себя раньше, становились для меня тягостными. Я больше не находила в них той сладости, которая когда-то тешила мою гордыню и придавала мне силы.

³ в мире (лат.)

Дни были такими короткими, что лишали меня возможности предаваться моим грустным раздумьям на террасе, и, просиживая долгие вечера у себя в келье, я слушала зловеющие завывания ветра. Часто, устав от усилий, которые я делала, чтобы отдалиться от внешнего мира, не будучи в состоянии приковать свое внимание к какому-нибудь занятию или дать определенное направление мыслям, я всецело подпадала под влияние грустившей вокруг природы... Сидя в амбразуре окна, я смотрела, как луна, медленно поднимается над покрытыми снегом крышами и блестит на ледяных сосульках, свисающих с каменных орнаментов на монастырских стенах. В этих холодных, сверкающих ночах была какая-то неизъяснимая, безнадежная скорбь. Когда ветер стихал, над обителью воцарялась мертвая тишина. Старые тисы бесшумно стряхивали с себя снег и в тишине, он хлопьями осыпался на их нижние ветви. Можно было перетрясти все колючие кусты, заполонившие двор, не разбудив ни одного живого существа, не услышав ни шипенья змеи, ни шороха уползающего жука.

В этом мрачном уединении характер мой изменился: смирение превратилось в апатию, раздумье – в смятение. Самые отрешенные, самые смутные, самые ужасные мысли, одна за другой, осаждали мой мозг. Напрасно пыталась я сосредоточиться и начать жить настоящим. Какой-то страшный призрак будущего являлся мне каждый раз во сне и терзал меня. Я говорила себе, что у моего будущего должна быть одна определенная форма, что я должна принять эту форму только после того, как создам ее сама, и что творить ее надлежит по образу и подобию той, какую я сотворила себе в настоящем. Но вскоре я обнаружила, что настоящего для меня не существует, что душа моя совершает напрасные усилия, чтобы заточить себя в этой тюрьме, что она все время блуждает за ее пределами, что ей нужна вселенная и что она исчерпает ее всю в первый же день. Я почувствовала наконец, что вся моя жизнь состоит в том, чтобы беспрерывно возвращаться к утраченным радостям или к тем, которые все еще возможны. Те же, которых я искала в моем одиночестве, неизменно от меня ускользали. На дне чаши, как, впрочем, и всюду, я нашла горький осадок.

На исходе знойного лета срок моего обета истек. Приближалось что-то желанное и вместе с тем страшное, и это ожидание заметно повлияло на здоровье мое и на рассудок.

Я испытывала невероятную потребность в движении. Я горячо призывала жизнь и не думала о том, что уже слишком много всего пережила и страдаю как раз от избытка жизни.

– Но найду ли я хоть что-нибудь в жизни, – спрашивала я себя, – что не было бы так ничтожно, как все, что я уже испытывала? Есть ли в ней хоть какие-нибудь радости, которые не обернутся пустотой, хоть какие-нибудь верования, которые не разлетятся в прах, когда я в них как следует вдумаясь? Неужели я буду просить людей помочь мне найти покой, которого я не обрела в одиночестве? Неужели они могут дать то, в чем мне отказал господь? Если я еще раз опустошу мое сердце напрасной мечтой, если я покину убежище, в котором заточила себя, и снова разочаруюсь во всем, то где я потом спасусь от отчаяния? Какая надежда, религиозная или философская, улыбнется мне или успокоит меня, когда я сниму все покровы с моих иллюзий, когда у меня в руках будет полное неопровержимое доказательство моего ничтожества?

И вместе с тем, говорила я себе, к чему эта уединенная жизнь, к чему размышления? Разве среди этих разрушенных могил я меньше страдала, чем среди людской суеты? Что толку во всей стоической философии, если она способна лишь умножить страдания человека? Что толку в религии страдания и искупления, если цель ее – искать страдание вместо того, чтобы его избегать? Разве все это не верх гордости, не верх безумия? Разве, отказавшись от всех этих изощрений мысли, живя только радостями, которые приносят им чувства, люди не станут счастливее и выше? Что, если господь осуждает это мнимое возвеличение человеческого духа и в день Страшного суда, может быть, заклеят его своим презрением?

Раздираемая этими сомнениями, я искала в книгах поддержки моей ослабевающей воли. Наивная поэзия древности, сладострастные псалмы Соломона, похотливые пасторали Лонга, эротическая философия Анакреона казались мне именно благодаря своей прямоте и откровенности произведениями более религиозными, чем мистические вздохи и припадки истерического фанатизма святой Терезы. Но чаще всего я увлекалась книгами аскетического характера, они интересовали меня гораздо больше. Напрасно старалась я отрешиться от чисто духовных пережи-

ваний, связанных с христианством, — я возвращалась к ним снова и снова. У меня сохранялись только воспоминания мимолетной юности, — я дрожала, когда пели песнопения невесты, и улыбалась, когда Дафнис обнимал Хлою. Достаточно было нескольких мгновений, чтобы израсходовать этот притворный пыл, за которым не стояло подлинной простоты сердца и который не стал сильнее под лучами палящего солнца Востока. Я любила читать жития святых, эти чудесные поэмы, эти романы, опасные тем, что в них человечество выглядит таким великим и сильным, что после этого становится уже невозможно спускаться на землю и видеть людей такими, какие они есть. Я любила это глубокое уединение, эти благочестивые страдания, зарождавшиеся в недоступных взглядам кельях, это высокое самоотречение, эти страшные искупительные жертвы, эти безумные и вместе с тем великолепные поступки, которые утешают вас в повседневных бедах и льстят нашей благородной гордости. Я любила также читать о сладостных и нежных утешениях, которые посылались им свыше, о сокровенном общении праведника и духа святого в погруженных во мрак храмах, любила наивную переписку Франциска Сальского и Марии де Шанталь. Но больше всего мне нравились полные строгой любви и мечтательной метафизики проникновенные беседы между богом и человеком, между Иисусом в Евхаристии и неизвестным автором «Подражания Христу».

Эти книги были полны размышлений, умиленной нежности и поэзии. Они скрашивали мое уединение. Они обещали величие в одиночестве, мир в труде, отдохновение духа, когда тело устало. Я находила в них отблески такого счастья, печать такой пленительной мудрости, что, когда я читала их, ко мне возвращалась надежда, что я достигну того же. Я говорила себе, что праведников этих, как и меня, испытывали сильными искушениями вернуться в мир, но что они перед ними мужественно устояли. Я говорила себе также, что отречься от моего дела после двух лет борьбы и победы значило потерять плоды столь больших усилий, оказаться не столько трусливой, сколько безумной, тогда как, стараясь выполнить однажды принятое решение, распространяя мой обет на более или менее длительное время, я, может быть, скоро увижу плоды моего упорства. Вернувшись в общество, я, может быть, безвозвратно погибну, в то время как, проведя несколько лишних дней в моем монастыре, я вне всякого сомнения приобщусь к блаженству праведников.

После этой долгой борьбы, истощившей мой дух, я впадала в отчаяние и спрашивала себя, с презрением над собою смеясь, неужели моя жизнь настолько важна, чтобы так ее защищать и приносить то небольшое, что от нее осталось, сквозь столько бурь.

В этих колебаниях я и прожила до начала весны. К тому времени, когда срок моего обета истек, для того, чтобы положить конец моим мукам, я избрала нечто среднее: я нашла спасение в прострации, которая неизменно сопутствует сильным волнениям, я оттягивала решение, ожидая, что мои пробудившиеся способности либо толкнут меня в жизнь, либо прикуют навек к моей келье.

В самом деле, новые уколы этой опасной тревоги, причинившей мне уже столько горя, не замедлили сказаться. Однажды я увидела, что свобода моя ко мне вернулась, что наконец клятва больше не привязывает меня к богу, что я принадлежу человечеству и что, может быть, пора уже вернуться к нему, если я не хочу, чтобы сердце мое и разум окончательно омертвели. Дни полного изнеможения, которых бывало так много у меня в жизни, вспоминались мне с ужасом, и мне приходилось бороться то с боязнью впасть в идиотизм, то со страхом сойти с ума.

Однажды вечером я почувствовала, что вера моя глубоко поколеблена. От сомнения я перешла к атеизму. Несколько часов я наслаждалась своей неимоверной гордостью, а потом с этой высоты скатилась в бездну ужаса и отчаяния. Я почувствовала, что стоит мне только потерять надежду на небо, единственную, которая помогала мне до сих пор выносить людей, и я пойду по пути порока и преступления.

Грянул гром: это была первая весенняя гроза, одна из тех ранних гроз, которые иногда неожиданно разражаются в холодные еще апрельские дни. Всякий раз, когда я слышу гром и вижу, как молния бороздит тучи, охватывающие душу изумление и восторг возвращают меня к вере. И тут я невольно вздрогнула и, объятая священным ужасом, по привычке вскричала:

«Ты велик, господь, гром лежит у твоих ног, а чело твое извергает молнию!...».

Гроза усиливалась. Я вошла к себе в келью, в единственное во всем монастыре защищенное место. Рано стемнело, дождь лил потоками, ветер, не умолкая, ревел в длинных коридорах, и бледные вспышки молнии гасли среди туч, разверзавшихся то тут, то там. И тогда, в уединении своем, в надежном убежище, в суровом, но подлинном покое, который окружал меня среди хаоса стихий, я ощутила какое-то неизъяснимое блаженство и стала страстно благодарить за него небо. Ураган вздымал с развалин облака пыли и мела и осыпал ими дикие кусты вокруг и груды обломков. Он сорвал обвивавшие стены плющ и хмель, разрушил хрупкое гнездышко, которое ласточка начала свивать себе под пыльными сводами. Не осталось ни одного цветка, ни одного молодого листика, который не был бы смят и унесен ураганом. По воздуху носился облетающий с репейников пух; птицы складывали свои влажные крылья и укрывались в зарослях; все выглядело печальным, усталым, разбитым. И только я одна спокойно сидела в тишине, окруженная своими книгами, и время от времени поглядывала, как тисы отчаянно борются с бурей и как град губит только что пробудившиеся почки дикой бузины.

«Такова моя судьба, – воскликнула я, – тишина и покой в келье, гроза и разрушение вокруг! Господи, если я разлучусь с тобой, вихрь судьбы унесет меня, подобно этим листьям. Он ломает меня, как эти молодые деревья. Господи, прими меня, прими мою любовь, смирение мое, и мои клятвы! Не допусти, чтобы душа моя еще раз впала в заблуждение и колебалась так между надеждою и неверием! Направь мой ум на великие и укрепляющие душу мысли, помоги мне порвать навеки с миром суеты, сделай, чтобы ничто не нарушило моего уединения».

Я стала на колени перед распятием и, воодушевленная надеждой, написала на белой стене слова обета, а потом громко прочла их в ночной тишине:

«Здесь женщина, еще молодая и полная жизни, посвящает себя молитве и размышлению и дает себе в этом торжественную, страшную клятву.

Она клянется небом, смертью и совестью никогда не покидать монастыря и провести в нем остающиеся годы, которые ей суждено прожить на земле».

После этого жестокого и странного решения я почувствовала большое спокойствие и уснула, несмотря на грозу, которая час от часу свирепела.

На рассвете я была разбужена страшным шумом; я вскочила с постели и кинулась к окну. Одна из верхних галерей, которая еще накануне была цела, не устояла перед силой урагана и обрушилась вместе с окружающими дворик колоннами и замечательными скульптурами. Пронесшийся вихрь сокрушил и другие части здания; меньше чем за четверть часа они превратились в обломки. Казалось, что всем этим разрушением руководит некая сверхъестественная сила; теперь она приближалась ко мне: крыша, под которой я лежала, содрогалась, заросшие мхом черепицы срывались с места, а балки, на которых стояло здание, казалось, колебались и все больше раскачивали стены при каждом новом порыве бури.

Конечно, мне стало страшно, это было какое-то примитивное суеверное чувство. Я подумала, что господь сокрушает мое жилище, чтобы изгнать меня оттуда, что он отвергает мой дерзкий обет и заставляет меня возвратиться к людям. И вот я кинулась к двери, не столько для того, чтобы избежать опасности, сколько для того, чтобы не послушаться высшей воли. На пороге я остановилась – меня поразила мысль, куда более соответствующая моему болезненному возбуждению и романтической склонности. Мне представилось, что господь, для того чтобы сократить срок моего изгнания и вознаградить меня за мое смелое решение, посылает мне смерть, но смерть, достойную героев и праведников. Разве я не поклялась, что умру в этом монастыре? Разве я вправе убежать отсюда из-за того, что приближается смерть? И что может быть благороднее, чем похоронить себя вместе со всеми моими страданиями и надеждой под этими развалинами, которые должны спасти меня от самой себя и возвратить богу мою душу, очищенную покаянием и молитвой?

«Приветствую тебя, посланница небес! – вскричала я. – Раз небо посылает тебя, будь желанной гостьей, я жду тебя в келье, которая должна в этой жизни стать мне могилой».

Я упала ниц и, погружаясь в экстаз, стала дожидаться своей судьбы.

Развалинам монастыря не суждено было выдержать эту бурю. Еще до рассвета ветер сорвал крышу. Одна из стен обрушилась. Я перестала понимать, где нахожусь.

Какой-то священник, которого гроза загнала в эти пустынные места, проходил мимо разрушенных монастырских стен. Сначала он в испуге отпрянул от них, потом ему показалось, что сквозь завывания бури слышится человеческий голос. Он отважился пройти по только что обрушившимся стенам и увидел меня, лежавшую без чувств под обломками, которые должны были меня похоронить. Порыв сострадания, которое вера придает даже тем, в ком мало человеколюбия, пробудил в нем неслыханную силу, он решил во что бы то ни стало спасти мне жизнь. С его стороны это было жестоко. Он взвалил меня на лошадь и повез через поля и леса. Человека этого звали Магнус. Он вырвал меня у смерти и снова обрек на страдание.

С тех пор как я вернулась в общество, жизнь моя стала еще более несчастной, чем была прежде. Я не хотела быть ничьей невольницей (любовницей, как говорят сейчас). Не чувствуя себя связанной ни с одним мужчиной ни корыстью, ни этим добровольным союзом, я позволила моему тревожному и жадному воображению хватать все, что встречалось на его пути. Найти счастье стало моей единственной мыслью и – если уж признаваться до конца, как низко я пала, – единственным правилом моего поведения, единственной целью, которую поставила себе моя воля. После того как я, сама того не замечая, допустила, что мои желания стали устремляться вслед за скользившими мимо тенями, я начала гоняться за этими тенями во сне, ловить их на лету, настойчиво добиваться от них если не счастья, то хотя бы нескольких дней душевного волнения. И видя, что никому не ведомая распушенность моей мысли никак не может поколебать моих строгих правил, я окунулась в нее, и у меня не было никаких угрызений совести. В воображении своем я изменяла не только человеку, которого любила; сверх того, я каждый день изменяла тому, кого мне случалось полюбить накануне. Очень скоро любить так одного человека мне стало мало, чтобы заполнить душу, всегда жаждавшую и никогда не насыщавшуюся до конца, и несколько таких призраков могли существовать для меня одновременно. Я могла полюбить в один и тот же день и в один и тот же час самозабвенного скрипача, смычком своим повергавшего в трепет все фибры моей души, и мечтательного философа, терпеливо приобщавшего меня к своим раздумьям. Я одновременно полюбила актера, который трогал меня до слез, и поэта, который продиктовал этому актеру запавшие мне в душу слова. Я полюбила даже художника и скульптора, увидав их произведения и не имея понятия о них самих. Я могла влюбиться в звучанье голоса, в цвет волос, в костюм; и даже всего-навсего в портрет человека, умершего много веков тому назад. Чем больше я поддавалась этим восторженным причудам, тем более они становились частыми, мимолетными и пустыми. Видит бог, я ни разу ничем не выдала этих чувств! Но к стыду моему, к ужасу, должна сознаться, что, так легкомысленно используя эти высокие способности, я истерзала себе душу. Помню, сколько я тратила тогда духовной энергии, а ведь сейчас память моя не сохранила даже имен тех, которые, сами того не зная, растаскивали по мелочам сокровища моих чувств.

Потом от этого истощения сердце мое иссякло; я была способна только на восторг; и стоило мне приблизиться к предмету моей иллюзорной любви, как эта любовь тут же угасала и всякий раз, когда передо мной появлялся некий новый идол, я отдавала ему предпочтение перед старым.

Так я и живу сейчас: я всегда во власти последней прихоти моего больного ума. Но эти прихоти, сначала такие частые и такие бурные, сделались редкими и вялыми, ибо восторги мои тоже охладели, и только после долгих дней оупения и отвращения ко всему мне удается обрести несколько коротких часов, когда я чувствую себя молодой и силы ко мне возвращаются. Скука разъедает мне жизнь, Пульхерия, скука меня убивает. Все изживает себя в моих глазах, все уходит. Я видела вблизи жизнь на всех ее этапах, общество во всех его видах, природу во всей ее красоте. Что я еще увижу? Когда мне удастся чем-то заполнить пропасть одного дня, я с ужасом спрашиваю себя, чем я заполню день завтрашний. Господи, мне кажется, что есть еще существа, достойные уважения и всегда способные вызвать к себе интерес. Но, еще не начав разглядывать их, я уже отказываюсь от этой затеи – все кажется мне безнадежным, у меня ни на что не хватает сил. Я понимаю, что недостаточно чувствительна, чтобы оценить людей, недостаточно умна, чтобы понять все происходящее. Охваченная отчаянием, спокойным и мрачным, я замыкаюсь в себе и никто не знает, что я страдаю. Тупицы, из которых состоит общество, спраши-

вают себя, чего мне недостает; ведь моих богатств могло бы хватить на все радости жизни, ведь красота моя и та роскошь, в которой я живу, могли бы помочь мне осуществить мое самое честолюбивое желание. Среди всех этих людей нет ни одного, чей разум был бы достаточно всеобъемлющ, чтобы понять, какое это великое несчастье – не быть в состоянии ни к чему привязаться и больше ничего не хотеть на земле.

36

Пульхерия просидела еще несколько мгновений неподвижно – рассказ Лелии поверг ее в глубокую задумчивость. Потом вдруг, откинув назад пышные волосы, спадавшие ей на лоб, как непокорная лошадь встряхивает гривой, прежде чем пуститься вскачь, она поднялась, охваченная порывом восторженного бесстыдства.

– Ну что же, раз это так и именно потому, что это так, надо жить, – вскричала она. – Увенчаем же себя розами и наполним наши кубки радостью! Пусть любовь, добродетель и идеал сколько угодно вопят у дверей, подобно призракам Оссиана, в то время как неустрашимые гости пируют с кубками в руках, вспоминая их гибель! Притом я всегда была достаточно умна, чтобы заглушить в себе порывы безрассудной любви. И всякий раз, когда я чувствовала, что мне грозит опасность полюбить, я спешила большими глотками пить из чаши наслаждений, на дне которой светится чудесный талисман равнодушия – пресыщение! Неужели же нам всю жизнь оплакивать романтические ошибки молодости? Чахнуть и сходить живыми в могилу потому только, что мужчины нас ненавидят? О, будем уж лучше презирать их и отомстим им за их деспотизм не обманом, а равнодушием. Пусть они пышут гневом и ревностью! Я до самой смерти буду смеяться над ними. Что до тебя, Лелия, то, если ты не хочешь этого делать, единственный совет, который я могу тебе дать, – вернись к уединению, к богу.

– Мне поздно уже, Пульхерия, следовать твоему совету. Вера моя колеблется, сердце опустошено. Для того чтобы гореть божественной любовью, надо быть и моложе и чище – это не то что гореть какой-либо другой страстью. У меня нет больше сил возвышать душу до вечного чувства обожания и благодарности. Чаще всего я думаю о боге только для того, чтобы обвинить его в своих страданиях и упрекнуть в черствости. Если подчас я и благословляю его, то бывает это тогда, когда я прохожу мимо кладбища и вспоминаю, что жизнь наша скоротечна.

– Ты очень стремительно жила, – ответила Пульхерия. – Знай, Лелия, тебе надо найти другое употребление твоим способностям, вернуться к уединенной жизни или искать наслаждений. Выбирай.

– Я спустилась с гор Монтевердора. Я пыталась еще раз пережить мои прежние экстазы и прелесть моих благочестивых раздумий. Но там, как и всюду, я нашла только скуку.

– Надо, чтобы ты была прикована к какому-то обществу, которое уберегло бы тебя от тебя самой и спасло от собственных размышлений. Надо, чтобы ты подчинилась чужой воле и чтобы подневольная работа отвлекала тебя от деятельности воображения, которая тебя непрерывно гложет. Сделайся монахиней.

– Для этого нужна целомудренная душа. Я чиста только своим образом жизни. Я была бы неверной невестой Христа. Притом ты забываешь, что я не святоша. Я не верю, как женщины этого края, в благотворное влияние четок и спасительную силу монашеского одеяния. Тех благочестие успокаивает, освежает и усыпляет. У меня же слишком высокое представление о боге и о том, как надлежит его чтить. Я не могу служить ему машинально, молиться заранее сочиненными и заученными словами. Моя слишком страстная религия была бы сочтена за ересь, а если бы у меня отняли эту экзальтацию, у меня бы ничего не осталось.

– Ну что же, – сказала Пульхерия, – если ты не можешь стать монахиней, стань куртизанкой.

– Как? – растерянно спросила Лелия. – У меня же нет никакого чувства.

– Оно придет, – ответила Пульхерия, улыбаясь. – Тело – это сила не столь непокорная, как дух. Оно предназначено на то, чтобы пользоваться благами материального мира, и с помощью этих же благ человек может управлять им. Бедная моя мечтательница, примиришься с этой скром-

ной частью твоего существа. Не презирай больше своей красоты, которой поклоняются все мужчины и которая может еще расцвести, как в былые дни. Не красней, прося у материи радостей, в которых отказал тебе разум. Ты в этом призналась сама. Ты хорошо знаешь, в чем причина твоей беды: ты хотела разъединить две силы, которые господь неразрывно слил воедино...

– Но, сестра моя, – ответила Лелия, – разве ты не сделала то же самое?

– Ничуть. Я предпочла одну, но вовсе не исключала другую. Неужели ты думаешь, что воображение останется чуждым стремлениям чувств? Разве любовник, которого ты целуешь, это не брат, не дитя божье, разделяющее со своей сестрой его благодеяния? Удивляюсь, Лелия, как это ты, к услугам которой столько поэзии, как это ты не можешь отыскать множества средств возвысить материю и украсить впечатления реальной жизни. Я думаю, что тебя удерживает от этого только презрение и что, если бы ты отказалась от этого несправедливого и безумного чувства, ты жила бы такой же жизнью, как я. Кто знает? Может быть, если бы ты сама была сильнее, мужчины возгорелись бы к тебе более сильной страстью. Давай, побежим сейчас вместе в эти темные аллеи, где то и дело мерцает золото костюмов и порхают белые перья шляп. Сколько молодых и красивых мужчин, полных любви и силы, бродят под этими деревьями и ищут наслаждений! Послушай, Лелия, давай подразним их, и пусть они гонятся за нами. Давай быстро пройдем мимо них, коснемся их нашими платьями, а потом убежим, как эти вот мотыльки, которые гонятся друг за другом в лучах света, встречаются, разлучаются и соединяются снова, чтобы обезумевшими от любви упасть в пламя и найти смерть. Пойдем, говорю тебе, не бойся, я поведу тебя, я знаю всех этих мужчин. Я соберу вокруг тебя самых любезных и элегантных. Ты можешь быть с ними высокомерной и жестокой, сколько тебе угодно, Лелия. Но ты услышишь их обращенные к тебе слова, плечи твои ощутят их дыхание. Ты, может быть, вздрогнешь, когда с вечерним ветром до твоих раздутых ноздрей донесется аромат их волос, и, может быть, в этот вечер в тебе шевельнется любопытство – узнать их жизнь.

– Увы, Пульхерия, неужели ты думаешь, что я не узнала ее до конца? Неужели ты не помнишь того, что я тебе рассказала?

– Ты любила этого человека любовью души: ты не могла даже думать о том, чтоб вкусить с ним настоящее наслаждение. Все очень просто. Надо, чтобы какая-нибудь одна способность, достигшая самого большого развития, задушила и парализовала все остальные. Но здесь все будет иначе.

Куртизанка увлекла за собою Лелию и, понизив голос, продолжала.

– Но сначала, – сказала она, – тебе надо будет переодеться. Ты же не захочешь трепать в толпе знаменитое имя Лелии, хотя, по правде говоря, уединение, на которое ты себя обрекла, вызывает со стороны мужчин гораздо более серьезные нарекания, чем моя веселая жизнь. Но если прослыть заурядной вакханкой для тебя унизительно, подозрения в таинственных и ужасных страстях, может быть, и не заденут твоего чувства собственного достоинства. Так вот, надень домино, такое же как у меня, и воспользуйся тем, что мы похожи друг на друга, особенно наши голоса – ты сможешь без всякой опасности для себя отдохнуть от величественной и жалкой роли, которую ты избрала. Пойдем, Лелия.

Толпа гостей, спешивших на галерею, чтобы полюбоваться вспышками молнии, разделила сестер в ту минуту, когда обе выходили из гардеробной, закутавшись в голубые атласные домино с капюшонами.

Лелия была унесена потоком масок. Оказалось, что многие одеты в такой же костюм, как у нее, и она не стала даже пытаться узнать среди множества незнакомок свою сестру Пульхерию. Смущенная, испуганная, она почувствовала уже отвращение к роли, которую собиралась играть, и углубилась в сад, решив доверить судьбе все, что осталось от ее безотрадной жизни.

На этот раз она неожиданно оказалась в той части боскетов, которую предусмотрительный принц Бамбуччи отвел исключительно для избранных гостей. Это был лабиринт из зелени, вход в который охранялся самыми опытными распорядителями торжества. Они были в курсе всех дворцовых интриг, и то и дело из дворца к ним являлись посланные, передававшие все новые указания о тех, кого следует допустить в это святилище. Назойливых ревнивцев и мрачных покровителей туда не пускали; только дамам было разрешено не снимать масок, все из привержен-

ности к приличиям.

Это был укромный уголок, убежище, устроенное для друзей, которым досадные обстоятельства мешали встречаться в другом месте. Там каждый мог чувствовать себя в безопасности, и все выглядело до крайности благопристойно. Гуляли там группами, чинно усаживались в круг. Залитые светом аллеи и зеленые залы были полны людей. Но посвященные отлично знали, по какой тропинке и через какие двери можно было проникнуть в павильон Афродиты, огромные террасы которого тянулись вдоль берега моря.

Едва только Лелия сделала несколько шагов по этим опасным аллеям, как чей-то голос прошептал:

– Вот Цинцолина, знаменитая Цинцолина.

В ту же минуту несколько мужчин в шитых золотом костюмах и украшенных перьями шляпах кинулись вслед за ней.

– Цинцолина, неужели ты не узнаешь нас? Ты что, позабыла старых друзей? Бери же меня под руку, прекрасная отшельница, и давай отпразднуем еще раз нашу любовь.

– Нет, нет, – перебил другой, пытаясь овладеть рукою Лелии. – Не слушай этого незаконнорожденного пьемонтца. Подойди ко мне, чистокровному неаполитанцу, помнишь, я ведь один из первых приобщил тебя к тайнам любви. Неужели ты все позабыла, сладострастно воздыхающая горлица?

Высокий испанец резким движением схватил Лелию под руку.

– Наша милая Цинцолина всем предпочла меня, сказал он. – В ней, как и во мне, течет благородная андалузская кровь, и она ни за что на свете не решится огорчить своего соотечественника, да к тому же еще и идадьго.

– В Цинцолине течет кровь всех наций, – сказал один немец, – она сказала это мне в Вене, у себя в будуаре.

– Tedesco!⁴ – воскликнул сицилиец. – Если Цинцолина оскорбит нас и предпочтет тебя всем нам, то вот кинжал, который за нас отомстит.

– Давайте бросим жребий, – вскричал молодой паж. – Цинцолина смешает в моей шляпе записки с нашими именами.

– Мое имя выгравировано на лезвии моей шпаги, – ответил идадьго.

И он с угрожающим видом выхватил шпагу из ножен.

Явились распорядители торжества, и Лелии удалось скрыться. Но долго быть одной ей не пришлось – некий русский князь остановил ее на аллее.

– Цинцолина, что ты тут ищешь? И почему ты одна? Полюби меня на час, и ты получишь бриллиантовую цепь, царский подарок.

Лелия презрительно пожала плечами. Сцену эту видел один французский вельможа.

– Какие же эти *иностранцы* нахалы и грубияны! Можно ли так разговаривать с женщинами? За кого этот дикарь принимает вас, Цинцолина? Выслушайте меня.

И он тут же предложил ей свой дворец, всех своих слуг, свои вина, своих лошадей.

– Но вы, должно быть, не очень верите в наслаждение, которое предлагаете, – сказала Лелия, – раз вы обещаете вдобавок к нему столько соблазнов для людей жадных. И отвратительны же должно быть ваши объятия, если вы так дорого за них платите. Где же тут любовь? Где же хотя бы пыл чувства? У одного грубость, у другого – разврат. Вам нечем привлечь к себе, кроме как силой, лестью или деньгами. Неужели настоящее наслаждение умерло, неужели цивилизация совсем его задушила? Неужели античная любовь покинула землю и взлетела к другим небесам?

Тут она откинула капюшон, и, увидав ее лицо, всегда такое высокомерное и серьезное, толпа расступилась и дерзкие поклонники Пульхерии почтительно склонились перед Лелией.

– Ты уже отказываешься от того, что затеяла? – спросила Пульхерия, схватив ее за широкий рукав. – Нет, нет, еще рано, Лелия, это не безнадежно: твой час еще не настал.

– Мой час не настанет, – сказала Лелия. – Все это мне не нравится и меня раздражает. У них холодное дыхание, жесткие волосы, их объятия мертвят, и сквозь амбру, пропитавшую их

⁴ Немец! (итал.)

одежды, слышны какие-то грубые и острые запахи, которые мне противны. Когда я среди них, кровь моя успокаивается, мысли проясняются, воля становится тверже. Мне хочется только сесть и с презрением смотреть, как они проходят мимо. Что бы ты ни говорила, Пульхерия, женщины – это не какой-то грубый инструмент, на котором может играть любой: это нежная лира, которую сначала надо оживить божественным дыханием, а затем уже требовать от нее гимна любви. Нет нормального существа, которое было бы действительно неспособно испытывать наслаждение. Но мне думается, что есть немало существ ненормальных, которые, кроме этого, ничего не знают и от которых мы бы напрасно стали ждать среди любовных объятий какого-то слова, мысли или чувства сколько-нибудь похожего на то, о чем я мечтаю в любви. Этот высокий обмен самых благородных способностей не может, не должен быть сведен к животному чувству.

– Ну, так иди же сюда, Лелия. Выслушай молодого человека, которого я только что встретила, в котором я никак не могу разжечь желания. Может быть, сострадание подействует на тебя сильнее, чем все остальное.

Лелия последовала за сестрой в искусственный грот, слабо освещенный в глубине маленькой лампой.

– Постой тут, – сказала Пульхерия, пряча ее в темном углу, – и посмотри на этого прекрасного темноволосого юношу. Ты его знаешь?

– Да, знаю, – ответила Лелия, – это Стенио. Но что он там делает, в этих садах и в этом гроте, – ведь, если я не ошибаюсь, это один из подземных ходов в знаменитый павильон? Это он, поэт Стенио, таинственный Стенио, влюбленный Стенио?

– Послушай, – сказала Пульхерия, – ты увидишь, что он обезумел от любви и что надо его пожалеть.

Тут Пульхерия оставила Лелию в ее убежище и, встав на цыпочки и подкравшись к Стенио, попыталась его поцеловать.

– Оставьте меня, сударыня, – гордо сказал молодой человек, – я не нуждаюсь в ваших ласках. Я вам сказал, что, когда, обманутый звуками вашего голоса, я последовал за вами сюда, в этот сад, я искал не вас. Но как только я сорвал с вас маску, я увидел, что вы всего-навсего куртизанка. Уйдите, сударыня, я не могу оставаться с вами. Я беден, да к тому же я не хочу наслаждений, за которые надо платить. Для меня на свете существует только одна женщина – это та, которую вы позвали. Она здесь! Вы ее знаете?

– Я знаю Лелию, это моя сестра, – ответила Пульхерия. – Если вы хотите последовать за мною под эти темные своды, я проведу вас в такое место, где вы сможете ее увидеть.

– О, вы лжете, – сказал молодой человек. – Лелия вам не сестра, и вы не сможете мне ее показать. Я шел за вами доверчиво, как ребенок, все время надеясь, что вы мне ее покажете. Но вы обманули меня и теперь возвращаетесь одна.

– Дитя! Стоит мне захотеть, и я отведу тебя к ней. Но только знай, Лелия тебя не любит. Лелия никогда не вознаградит тебя за твою любовь. Послушай моего совета, ищи где-нибудь в другом месте радостей, которых ты ждал от нее, и если ты не можешь отогнать от себя эту иллюзию, так по крайней мере напейся пьяным, когда будешь проходить мимо источников наслаждения. Завтра ты проснешься, чтобы снова гнаться за своим призраком. Но по крайней мере занятый этим безумным бегом ты не будешь страдать от напрасного ожидания и неосуществимой мечты. Ты насладишься сладостным покоем под сенью пальм, среди дев, и когда ты последуешь за демоном с огненными крыльями, зовущим тебя из-за туч, ты уже будешь освежен и утешен нашими возлияниями и нашими ласками. Приди и отдохни у меня на груди, молодой безумец, ты увидишь, что я не хочу тебя удерживать и усыплять. Я хочу только помочь тебе в твоём трудном пути, чтобы ты мог более храбро устремиться вперед – к поэзии и к Лелии.

– Оставь меня, оставь меня, – решительно сказал Стенио, – я презираю и ненавижу тебя. Ты не Лелия, ты не ее сестра, ты даже не ее тень. Я не хочу ваших наслаждений, они мне не нужны. Только от одной Лелии хотел бы я вкусить счастье любви. Если она оттолкнет меня, я буду жить один и умру, так и не испытав его. Я не оскверню в объятиях куртизанки своего сердца – в нем горит чистая любовь.

– Пойдем, Лелия, – сказала Пульхерия, толкая сестру к Стенио, – пойдем, вознагради верность, достойную рыцарских времен.

Но в ту же минуту насмешница, воспользовавшись: темнотою, оставила Лелию позади и склонилась над Стенио.

– О мой поэт, – сказала она, подражая медлительной речи и более целомудренным движениям Лелии, – верность твоя растрогала меня, и я пришла вознаградить тебя.

Тут она взяла молодого поэта за руку и повела его под темные и холодные своды, которые кое-где освещались подвешенными под потолком лампами. Стенио дрожал, ему казалось, что все это он видит во сне. Он был слишком взволнован, чтобы спросить, куда его ведет Лелия. Он был уверен, что это ее рука, он боялся проснуться.

Когда они дошли до конца подземной галереи, она дернула шелковую сонетку. Дверь открылась сама собой, словно повинувшись волшебной силе. Они поднялись по лестнице, которая вела в павильон Афродиты.

Когда они проходили тихим коридором, где ковры приглушали шум шагов, Стенио показалось, что мимо него промелькнула какая-то женщина, одетая как Лелия или как Пульхерия. Он не обратил на это внимания – ведь Лелия продолжала держать его за руку – и вошел вместе со своей спутницей в восхитительный будуар. Там она тут же погасила все свечи, сняла с себя маску и бросила в соседнюю комнату. Потом она вернулась и села возле Стенио на затканый золотом, шелковый диван, и в ту же минуту дверь оказалась запертой на замок чьей-то коварной или заботливой рукой.

– Стенио, – сказала она, – вы не послушали меня, ведь я запретила вам искать свидания со мной раньше чем через месяц, а вы уже снова меня преследуете.

– Неужели же вы привели меня сюда для того, чтобы бранить? – сказал он.

– Неужели после нашей разлуки, которая показалась мне такой долгой, мне суждено лишь видеть, что вы сердитесь на меня? Разве не год уже прошел с тех пор, как я вас покинул? Откуда мне знать счет дням, которые тянутся вдали от вас?

– Значит, вы не можете жить без меня, Стенио?

– Не могу, я просто сойду с ума. Взгляните, как впали мои щеки, как пламя лихорадки сожгло мне губы, как бессонница изъела мои глаза и веки. И вы все еще будете говорить, что это болезнь одного только воображения, вы и теперь еще не видите, что душа может убить тело?

– Но я ведь вовсе не упрекаю вас, дитя мое. Ваша бледность трогательна, она вам к лицу. И я горжусь тем, что вы устояли перед соблазнами, которые расточала перед вами моя сестра. Я понимаю, сколько красоты в такой любви, и хочу попытаться, Стенио, найти счастье в вас. Да, я решилась, я больше ничего не стану искать. Если что-то и может еще смягчить жизнь, так это чувство, такое как ваше. Я не заслужила его, но принимаю его с благодарностью. Не говорите больше, что Лелия бесчувственна. Я люблю вас, Стенио, и вы это хорошо знаете. Только я боролась с этим чувством, я боялась, что слишком плохо его понимаю и не сумею его разделить. Но вы много раз говорили мне, что примете любовь, которую я вам могу предложить, даже если эта любовь будет ниже вашей. Итак, я не стану противиться, я полагаюсь на доброту господ и на ваше стойкое сердце. Теперь я почувствовала, что люблю вас. Вы довольны, вы счастливы, Стенио?

– Да, да, счастлив! – воскликнул Стенио потрясенный, падая на колени и заливаясь слезами. – Неужели все это мне не приснилось? Неужели это говорит Лелия? Это такое счастье, что я все никак не верю.

– Верьте, Стенио, и надейтесь. Может быть, господь сжалится над вами и надо мной. Может быть, он омолодит мое сердце и сделает его достойным вашего. Господь должен вознаградить вас – ведь вы так чисты, так благочестивы. Призовите на меня один луч его божественного огня!

– О, не говори так, Лелия. Разве ты не во много раз выше меня перед ним? Разве ты не любила, не страдала дольше, чем я? Будь же счастлива и отдохни наконец от своей тяжелой доли в моих объятиях. Не изнуряй себя любовью ко мне, не терзай своего и без того уже замученного сердца опасениями, что ты слишком мало можешь для меня сделать. О, говорю тебе еще раз,

люби меня так, как можешь.

Лелия обняла Стенио: она запечатлела на его губах долгий поцелуй, такой пылкий и страстный, что Стенио вскрикнул от радости:

– О Галатея!

Из соседнего кабинета донесся легкий шум. Стенио вздрогнул. Лелия не отпускала его, все крепче сжимая в своих объятиях. Опыренный любовью и радостью, он остался лежать у ее ног. Оба долго молчали.

– Ну что же, Стенио, – сказала она, выходя из долгого сладостного забытья, – что ты мне скажешь? Ты уже не так счастлив?

– Нет, что ты, мой ангел! – ответил Стенио.

– Хочешь, мы покатаемся с тобою в гондоле по заливу? – сказала Лелия, вставая.

– Как, уже расстаться? – печально ответил Стенио.

– Нет, мы не расстанемся, – сказала она.

– А разве вернуться в эту толпу не значит расстаться? Нам так было хорошо здесь! Жестокая! Тебе всегда хочется перемены впечатлений. Признайся, Лелия, тебе уже скучно со мной.

– Неправда, любимый мой, – ответила Лелия, снова садясь на прежнее место.

– Раз так, – сказал он, – то поцелуй меня еще раз.

Лелия поцеловала его так же горячо, как и в первый раз. Стенио совсем обезумел от восторга.

– О, не отрывай твоих губ! – вскричал он. – Они слаще меда. Это ведь в первый раз, снизойдя с высоты небес, ты одарила меня неведомым мне дотоле сладострастьем. Что же с тобою такое сегодня, моя любимая? Какое пламя исходит из тебя? Какая истома овладевает мною самим? Где я? Какое божество парит над нашими головами? Почему же ты говорила, что не можешь возбуждать подобных чувств? Значит, ты просто не хотела – ведь сейчас ты сжигаешь меня, и воздух вокруг тебя раскален!

– Значит, ты любишь меня сегодня больше, чем любил до сих пор? – сказала она.

– Я люблю тебя только сегодня, – воскликнул Стенио, – потому что сегодня моей любви не мешают ни сомнение, ни страх.

Лелия снова встала с места.

– Мне жаль тебя, – сказала она, и в голосе ее слышалось презрение, – тебе нужна не душа, а женщина. Не так ли?

– О, – воскликнул Стенио, – ради всего святого! Не становись опять насмешливым и жестоким призраком, который только что уступил место самой красивой, самой святой, самой любимой из женщин. Верни мне твои ласки, верни мне мое безумие, верни мне любовницу, которая готова была мне отдаться. Такою ты действительно достойна моей любви, и я это чувствую. Так не бойся же пасть; ведь это я в первый раз тебя по-настоящему полюбил. До сих пор я увлекался тобою только в воображении. Сейчас сердце мое открывается для подлинной нежности, для благодарности, ибо сейчас ты даруешь мне счастье.

– Выходит, любовь духовная для тебя ничего не значит! – мрачно сказала Лелия. – Скажи еще раз, Стенио, скажи еще раз, что в этом твоя любовь! Тебе больше ничего от меня не надо? Так вот к какой чудесной и божественной цели вела ваша страсть, такая поэтичная и такая великая?

Стенио в отчаянии кинулся на диван и уткнулся лицом в подушки.

– О, ты убьешь меня, – сказал он, рыдая, – ты убьешь меня своим презрением!..

Ему показалось, что Лелия уходит, и он в ужасе поднял голову. Он находился в полной темноте. Он встал и стал искать ее во мраке. Влажная рука коснулась его руки.

– Ну полно, – сказал ему смягчившийся голос Лелии. – Мне жаль тебя, дитя мое: прижмись ко мне и забудь свое горе.

приближение дня. Небо на горизонте просветлело, и чистый утренний воздух ароматными потоками касался бледного и влажного лица юноши. Первым движением его было обнять и поцеловать Лелию; но она снова надела маску и спокойно отстранила его, сделав ему знак молчать. Стенио с трудом поднялся и, измученный усталостью, волнением и наслаждением, подошел к приоткрытому окну. Гроза совершенно рассеялась, тяжелые тучи, еще несколько часов тому назад заволакивавшие все небо, свились в длинные черные ленты и одна за другой, гонимые ветром, устремлялись к сероватому горизонту. Море едва слышно разбивало о прибрежный песок и о мраморные ступени виллы свои беспечные пенистые волны. Апельсиновые деревья и мирты, колеблемые дыханием утра, склонились над морем и купали свои цветущие ветви в соленой воде. Бесчисленные окна дворца Бамбуччи сверкали уже не так ярко, и только несколько масок расхаживали еще по украшенной статуями галерее.

– О, какая восхитительная минута! – вскричал Стенио, полной грудью вдыхая животворный воздух. – О моя Лелия! Я спасен, ты омоложила меня. Я чувствую себя другим человеком. Жизнь моя стала сладостнее и полнее. Лелия, мне хочется стать на колени и благодарить тебя. Я ведь умирал, а ты захотела вылечить меня и приобщила к небесному блаженству.

– Ангел мой! – прошептала Лелия, обнимая его. – Значит, ты теперь счастлив?

– Я был самым счастливым из смертных, – ответил Стенио, – но я хочу им быть снова. Сними маску, Лелия. Зачем ты прячешь от меня лицо? Дай мне твои губы, которые опьяняли меня, поцелуй меня, как ты только что целовала.

– Нет, нет! Послушай, – сказала Лелия, – послушай эту музыку. Кажется, что она идет откуда-то с моря и, качаясь на гребнях валов, приближается к берегу.

В самом деле, звуки великолепного оркестра разносились над волнами, и вскоре гондолы, наполненные музыкантами и масками, выплыли, одна за другой, из маленькой бухточки, окруженной рощами катальп и апельсиновых деревьев. Мягко, как лебеди, скользили они по спокойным водам бухты, чтобы пройти мимо террас павильона.

Оркестр умолк, и лодка восточного вида плавно обогнула маленькую флотилию и вышла вперед. На этой лодке, более легкой и изящной, чем остальные, ехали музыканты, игравшие на одних духовых инструментах. Прозвучала блистательная фанфара, и эти металлические голоса, такие звучные, такие проникновенные, из глубины волн перекинулись к стенам павильона.

В ту же минуту все окна пооткрывались одно за другим, и все счастливые любовники, укрывавшиеся в будуарах павильона Афродиты, парами высыпали на террасу и на балконы. Но напрасно ревнивцы и сплетники, сидевшие в гондолах, старались различить их жадными взглядами. В павильоне они переоделись в другие костюмы и теперь, спрятав лица под масками, весело приветствовали прибывших.

Лелия хотела увести Стенио в их толпу; но ей не удалось уговорить его выйти из той восхитительной истомы, в которую он был погружен.

– Что значат для меня их радости и их песни? – воскликнул он. – Могу ли я чем-то еще восхищаться или наслаждаться, если я только что познал блаженство рая? Дайте мне по крайней мере упиться сполна этим воспоминанием...

Но вдруг он вскочил и нахмурил брови.

– Чей это голос поет там, на волнах? – спросил он, невольно вздрогнув.

– Это голос женщины, – ответила Лелия. – Это действительно прекрасный и большой голос. Посмотри, как на гондолах и на берегу люди расталкивают друг друга, чтобы ее услышать.

– Но ведь если бы, – сказал Стенио, чье лицо постепенно менялось, по мере того как низкие, сочные звуки этого голоса приближались к нему, – если бы вы не были здесь и я не держал вас сейчас за руку, я подумал бы, что это ваш голос, Лелия.

– Есть голоса, очень похожие друг на друга. Разве сегодня ночью вам мало докучал голос моей сестры Пульхерии?..

Стенио слушал только голос, доносившийся с моря, охваченный каким-то суеверным страхом.

– Лелия! – вскричал он. – Мне худо от звуков этого голоса, он пугает меня; еще немного, и я сойду с ума.

Духовые инструменты заиграли песенную мелодию; голос умолк; потом он зазвучал снова, когда замолчала музыка. И на этот раз он был слышен так близко, так отчетливо, что Стенио, вне себя от волнения, кинулся к окну и распахнул настежь золоченую раму.

– Нет никакого сомнения в том, что это сон, Лелия. Но эта женщина, которая поет там... Да, эта женщина, которая стоит одна на носу гондолы, это вы, Лелия, или ваш дух.

– Вы с ума сошли! – сказала Лелия, пожимая плечами. – Как это может быть?

– Да, я сошел с ума, но я вижу вас раздвоенной. Я вижу и слышу вас здесь, подле себя. И вместе с тем слышу и все еще вижу вас там. Да, это вы, это моя Лелия; это ее голос так силен и так прекрасен, это ее черные волосы развеивает морской ветер. Вот она приближается на своей гондоле, качаясь по волнам. О Лелия! Неужели вы умерли? Неужели это реет ваш дух? Неужели вы фея, или демон, или сильфида? Магнус был прав, когда говорил мне, что вас две...

Стенио высунулся из окна и, совсем позабыв о стоявшей возле него женщине в маске, смотрел только на другую, походившую на Лелию голосом, ростом, осанкой, платьем, на ту, которую несли к нему волны.

Когда лодка, на которой она плыла, достигла ступенек павильона, стоял безоблачный, ясный день; лучи солнца сверкали в волнах. Лелия повернулась вдруг к Стенио и, открыв свое лицо, насмешливо ему кивнула.

В этой улыбке было столько иронии и жестокой беспечности, что Стенио наконец догадался о том, что произошло в эту ночь.

– Вот кто настоящая Лелия! – воскликнул он. – О да, та, что скользит мимо меня, как сон, и удаляется, бросив на меня взгляд, полный иронии и презрения! Но та, которая опьянила меня своими ласками, та, которую я сжимал в своих объятиях, называя душою и жизнью, кто же она? А теперь, сударыня, – сказал он, с грозным видом приближаясь к голубому домино, – не угодно ли вам назвать себя и показать мне ваше лицо?

– С большим удовольствием, – отвечала куртизанка, снимая маску. – Я Цинцолина, куртизанка, Пульхерия, сестра Лелии; я сама Лелия, потому что я целый час владела сердцем и чувствами Стенио. Будет вам, неблагодарный, нечего глядеть на меня с таким расстроенным видом: поцелуйте меня в губы и вспомните то счастье, за которое вы благодарили меня на коленях.

– Вон отсюда! – вскричал Стенио в ярости, выхватив стилет – Убирайтесь прочь сию же минуту иначе я за себя не ручаюсь.

Цинцолина скрылась, но, пробегая по террасе под окнами павильона, она насмешливо крикнула:

– Прощай, Стенио, поэт! Теперь мы с тобой помолвлены. Мы еще увидимся!

38

«Лелия, вы жестоко меня обманули! Вы посмеялись надо мною с хладнокровием, которого я не могу понять. Вы зажгли в чувствах моих страшный огонь и не захотели его погасить. Вы сделали так, что все, что было у меня на душе, передалось губам, а душою пренебрегли. Я недостоин вас, я это хорошо знаю. Но разве вы не можете любить меня из чувства великодушия? Если бог сотворил вас по своему подобию, то разве не для того, чтобы вы следовали его примеру здесь, на земле? Если вы ангел, посланный к нам с неба, то разве не должны вы, вместо того, чтобы ждать, пока ваша нога коснется вершин, к которым вы идете, протянуть руку и показать нам путь, которого мы не знаем?

Вы рассчитывали, что стыд меня вылечит; вы думали, что, когда я проснусь в объятиях куртизанки, я вдруг прозрею. В своей неумолимой мудрости вы рассчитывали, что глаза у меня наконец откроются и что у меня останется только презрение к радостям, которые обещали мне ваши объятия и которые вы заменили похотливыми ласками вашей сестры. Только знайте, Лелия! Надежды ваши не оправдались. Моя любовь вышла из этого испытания победительницей и сохранила свою чистоту. На лице моем не осталось следов от поцелуев Пульхерии, оно не залезет краской. Засыпая, я шептал ваше имя. Ваш образ реял во всех моих снах. Как вы ни противились этому, как ни презирали меня, вы были моею вся целиком, вы мне принадлежали, вас я

осквернил!..

Любимая, прости мое страдание! Прости мой святотатственный гнев. Сколь бы неблагоприятен я ни был, разве я вправе в чем-нибудь тебя упрекать? Раз поцелуй мои не согрели мрамор твоих губ, то это потому, что я не заслужил подобного чуда. Но скажи мне по крайней мере, заклиная тебя на коленях, скажи мне, какой страх и какие подозрения отчуждают тебя от меня? Или ты боишься, что, уступив, ты окажешься у меня в повиновении? Или ты думаешь, что счастье сделает из меня деспота? Если ты сомневаешься, о, моя Лелия, если ты сомневаешься в моей вечной благодарности, тогда мне останется только плакать и просить бога, чтобы он умилился тобой; мой язык не в силах уже изрекать новых клятв.

Ты мне часто это говорила, и мне не нужны были твои признания: я угадал это, мужчины подвергли жестокому испытанию твою преданность и твое доверие. Сердцу твоему были нанесены глубокие раны. Они долго истекали кровью, и нет ничего удивительного, что, когда раны эти зажили, остались неизгладимые рубцы. Но разве ты не знаешь, моя любовь, что я люблю тебя за страдания, перенесенные тобою в прошлом? Разве ты не знаешь, что я восхищаюсь твоей непоколебимой душой, которая выдержала все бури жизни и не согнулась? Не говори, что я злой. Если бы ты всегда жила среди покоя и радости, я чувствую, что любил бы тебя меньше. Если кто-нибудь и виноват в моей любви, то, разумеется, это бог: ведь это он внушил мне восхищение силой и преклонение перед ней, это он научил меня чтить храбрость. Это он приказывает мне склониться перед тобой. Воспоминания твои в достаточной степени объясняют твое недоверие. Любя меня, ты боишься утратить свою свободу, ты боишься потерять благо, которое стоило тебе стольких слез. Но скажи мне, Лелия, что ты делаешь с сокровищем, которым ты так гордишься? Стала ли ты счастлива с тех пор, как сосредоточила на себе самой все неумную силу своих дарований? С тех пор как человечество в твоих глазах только пыль, которой господь позволяет какое-то время клубиться у тебя под ногами, стала ли для тебя природа богаче и великолепней? С тех пор как ты покинула город, нашла ли ты в траве на полях, в журчанье ручьев, в мерном течении реки более могучее и более верное очарование? Сделался ли слаще для твоего слуха таинственный голос лесов? С тех пор как ты позабыла волнующие нас страсти, постигла ли ты тайну звездных ночей? Общаешься ли ты с невидимыми посланцами, которые утешают тебя, рассказывая о том, как мы, люди, слабы и недостойны? Признайся, ты ведь не счастлива? Ты украшаешь себя своей свободой как некоей драгоценностью, но единственное развлечение для тебя – это удивление и зависть толпы, которая тебя не в силах понять. Живя меж нас, ты не избрала для себя никакой роли, и вместе с тем ты устала от праздности. Ты не можешь найти предназначения, которое было бы по плечу твоему дарованию, и ты исчерпала все радости одинокого раздумья. Ты не дрогнув прошла пустынные равнины, куда обыкновенные люди не могли пойти за тобой, ты достигла вершин тех гор, которые глаза наши едва дерзают измерить взглядом, и теперь у тебя кружится голова, жилы твои вздулись, и в них клокочет кровь. Ты чувствуешь, как в висках стучит, единственное прибежище твое – это бог, это на его трон ты пытаешься сесть: тебе остается либо стать нечестивицей, либо спуститься к нам.

Бог наказывает тебя, Лелия, за то, что ты возжелала его могущества и его величия. Он обрекает тебя на одиночество, чтобы наказать тебя за твои гордые дерзания. День ото дня он ширит пустыню вокруг тебя, напоминая тебе о твоём происхождении и о назначении в мире. Бог послал тебя, чтобы благословлять и чтобы любить; он накинуд на твои белые плечи благоуханные волосы, чтобы утереть ими наши слезы; он ревниво взирал на бархатную свежесть твоих губ, которые должны были улыбаться, на влажный блеск твоих глаз, которые должны были отразить небо и показать его нам. А сейчас бог требует от тебя отчета за все эти драгоценные дары, которые ты употребила не по назначению. Что ты сделала со своей красотой? Ты думаешь, что создатель избрал тебя среди всех женщин, чтобы воплотить в тебе насмешку и презрение, чтобы посмеяться над искреннею любовью, чтобы отречься от клятв, чтобы отказываться от обещаний, чтобы доводить до отчаяния легковёрную и доверчивую молодость?

Ты часто мне это говорила, и я тебе верил. В душе твоей есть тайна, которой я не могу разгадать, темные глубины, в которые я не в силах проникнуть. Но с того дня, как ты меня любишь, Лелия, я узнаю тебя всю, ибо ты и сама это понимаешь, и – как бы я ни был молод, я

вправе это утверждать, — любовь, как и религия, открывает и озаряет много скрытых путей, которых не подозревает разум. Если бы наши души соединились в священном союзе, я бы с этого дня стал читать в тебе так же ясно, как ты во мне, я взял бы тебя за руку и мы спустились бы вместе в твоё прошлое, я бы сосчитал шипы, которые тебя ранили, я разглядел бы под рубцами от твоих ран кровь, которая из них когда-то сочилась, я прижался бы к ним губами так, как если бы кровь эта все еще текла.

Берегите свою дружбу для Тренмора; она может его удовлетворить, ибо это человек сильный, он искупил свой грех и очистился, он уверенно идет к цели своего странствия. А у меня нет ни воли, которой велики и сильны мужчины, ни неуязвимого эгоизма, подчиняющего своим намерениям страсти, которые ему мешают, интересы, которые его стесняют, ревнивых соперников, попадающих на его пути. В сердце моем всегда созревали только возвышенные желания, но осуществить их я никогда не мог. Мне радостно было созерцать все высокое, и я хотел, чтобы близкое общение с ним всегда сопутствовало моим мечтам. Я восхищался натурами исключительными и чувствовал, как внутри меня назревает потребность подражать им и следовать за ними. Но оттого, что я все время переходил от желания к желанию, ни мои одинокие раздумья, ни горячие молитвы не помогли мне вымолить у сотворившего меня бога силу, для того чтобы осуществить то, чего я так страстно добивался в мечтах. Вот почему, Лелия, было бы нечестием сомневаться, было бы кощунством отрицать, что господь создал вас, дабы осветить мне мой путь, что он избрал вас среди своих самых высоких ангелов, дабы вести меня к пределу, заранее указанному в его высших предначертаниях.

Я отдаю вам в руки не заботу о моем назначении — у вас есть свое, которое вы должны выполнить, и для ваших сил это и так уже довольно тяжелый груз; я прошу вас, Лелия, чтобы вы разрешили мне повиноваться вам, чтобы вы дали мне сделать мою жизнь похожей на вашу, чтобы вы позволили моим дням заполниться работою или отдыхом, движением или изучением в соответствии с вашими собственными желаниями, которые, я это знаю, никогда не будут легкомысленными капризами.

На эти смиренные просьбы, которые вы сто раз могли прочесть в моих взглядах, вы ответили насмешками и обманом. На вас я возлагал последние мои надежды, на вас уповал. Если у меня не будет вас, о Лелия, что же станет со мною?»

39

«Может быть, Стенио, я в чем-то и виновата перед вами; но только отнюдь не в том, в чем вы упрекаете, в чем вы обвиняете меня. Я не обманывала вас, я не хотела посмеяться над вами. Может быть, я несколько мгновений презирала вас, может быть несколько раз во мне вспыхивал гнев из-за вас и оттого, что вы были рядом. Но раздражали меня не вы, чистое дитя, а человеческая натура вообще.

Вовсе не для того, чтобы унижить, а еще меньше для того, чтобы разочаровать в жизни, бросила я вас в объятия Пульхерии. Я даже не собиралась преподавать вам урок. Могла ли я радоваться торжеству моего холодного разума над вашей наивной неискушенностью! Вы страдали, вы добивались того, чтобы предначертанная вам судьба во что бы то ни стало осуществилась, я хотела умиротворить вас, избавить вас от муки неопределенного ожидания и тревоги, в которую повергает всякая неизвестность. Моя ли вина, что в своем богатом воображении вы приписали этим вещам больше значения, чем они в действительности имеют? Моя ли вина в том, что ваша душа, как и моя, как и душа всякого человека, наделена огромными способностями желать, а возможности радоваться у нас ограничены? Разве это моя вина, что физическая любовь жалка и бессильна успокоить и уgomонить жгучий пыл и все причуды ваших мечтаний?

Я не могу ни ненавидеть, ни презирать вас за то, что вы воспылали таким безумным чувством ко мне. От вашей воли не зависело разорвать грубую оболочку, в которую господь ее заключил. Но вы были слишком молоды, слишком наивны, чтобы отличить истинные потребности этой поэтической и святой души от лживых домогательств материи. Вы приняли за потребность сердца то, что было только лихорадкой ума. Вы приняли наслаждение за счастье. Это со всеми

нами случается, прежде чем мы узнаем жизнь, прежде чем поймем, что человеку не дано осуществлять одно через другое.

Этот урок дала вам не я, а сама судьба. Что до меня, чье материнское сердце гордилось вашей любовью, то я должна была воздержаться от унижительного соблазна вам его дать, и, уж коль скоро вам было суждено испытать ваше первое разочарование в объятиях женщины, я была вправе препоручить вас той, которая сама вызвалась вас просветить.

Но вообще-то говоря, чем же я вас оскорбила, когда кинула вас в объятия женщины молодой и красивой, которая вас приняла и отдалась вам без унижения, без торговли. Пульхерия – это отнюдь не обыкновенная куртизанка. Чувства ее непритворны, душа ее не запятнана грязью. Ее не очень-то беспокоят воображаемые обязанности любви, которая длится долго. Она поклоняется только одному богу и ему одному приносит жертвы. Бог этот – наслаждение. Но она сумела окружить его поэтическим ореолом, особого рода целомудрием, циничным и не знающим страха. Ваши чувства взывали к наслаждению, и она вам его дала. Так можно ли презирать Пульхерию за то, что она удовлетворила вашу страсть?

По мере того как я живу, мне все яснее становится, что суждения, сложившиеся в молодые годы, об исключительности любви, о полном обладании, которого она добивается, об ее вечных правах – лживы или, во всяком случае, пагубны. Следовало бы принять все теории до одной, а утверждение супружеской верности я оставил бы для тех, кто является исключением из общего правила. У большинства людей другие потребности, другие возможности. У одних – это взаимная свобода, обоюдная терпимость, отказ от свойственного ревности эгоизма. У других – мистический пыл, горение, укрывшееся в тиши, воздержание длительное и сладостное. У третьих, наконец, – покой праведника, жизнь целомудренная, как у брата с сестрой, вечная девственность. Разве все души похожи одна на другую? Разве у людей не разные дарования, не разные склонности? Разве одни не рождены для религиозного аскетизма, другие – для неги сладострастия, третьи – для трудов и борьбы страстей, четвертые, наконец, – для смутных поэтических вдохновений? Нет понятия более произвольного, чем *настоящая любовь*. Всякая любовь – настоящая, будь она стремительна или тиха, чувственна или аскетична, длительна или мимолетна, ведет она человека к самоубийству или к наслаждению. Любовь *головная* может побуждать к столь же великим поступкам, как и любовь *сердца*. Она столь же сильна, столь же властна над человеком, она тоже длится иногда долгие годы. Любовь чувственная может быть облагорожена и освящена борьбой и жертвой. Сколько целомудренных девушек, сами того не зная, повиновались зову природы, припадая к стопам Христа, орошая горячими слезами мраморные длани небесного супруга! Поверьте, Стенио, обожествление эгоизма, жаждущего захватить добычу, а потом – ревниво ее стеречь, равно как и требование духовного союза в любви столь же безумны и бессильны сдерживать человеческие желания и столь же нелепы в глазах бога, как в наше время – брак юридический в глазах людей.

Итак, не пытайтесь меня переделать, это не в моих силах, да и ваших на это не хватит. Если правда, что я единственная женщина, которую вы можете любить, оставайтесь, будьте мне сыном, я согласна. Я никогда вас не покину, если вы только не заставите меня удалиться из страха причинить вам вред. Видите, Стенио, судьба ваша в ваших собственных руках. Удовольствуйтесь же моей возвышенной нежностью, моими платоническими объятиями. Я пыталась полюбить вас как любовница, как женщина... Но подумайте сами! Неужели роль женщины ограничивается лишь восторгами любви? Неужели права мужчины, обвиняющие ту, которая плохо отвечает на их страсть, в том, что она неполноценна как женщина? Не значит ли это, что они ни во что не ставят заботы сестер, великую преданность матерей? О, если бы у меня был младший брат и я бы руководила им в жизни, я постаралась бы избавить его от страданий, уберечь от опасностей. Если бы у меня были дети, я кормила бы их грудью; я бы носила их на руках, носила в душе; я терпела бы ради них все зло жизни: я знаю, я была бы храброй матерью, страстной, неутомимой. Будьте же мне братом, будьте мне сыном, и пусть мысль о какой бы то ни было брачной связи кажется вам кровосмесительной и нелепой. Прогоните же ее, как те чудовищные видения, которые не дают нам спать по ночам и которые, просыпаясь, мы без сожаления гоним от себя прочь. К тому же – и пора вам это сказать, Стенио, – любовь не может быть делом вашей

жизни. Напрасно вы стали бы стараться уединиться и найти счастье в исключительном обладании избранной вами женщиной. Сердце человеческое не может находить пищу в себе самом, ему необходимо разнообразие. Увы, я говорю с вами на языке, которого сама никогда не хотела слышать, но и вам пришлось бы скоро прибегнуть к нему, если бы я захотела разделить с вами заблуждение моей молодости. До сих пор я все еще не решалась заговорить с вами о вашем долге. Сколько времени я убеждала себя, что любовь – самое святое из чувств!.. Но я знаю, что ошибалась, что есть еще и другие. Во всяком случае, когда этого идеала у мужчин нет, у них есть другой... Я едва решаюсь вам о нем говорить. Меж тем вы на этом настаиваете. Вы хотите, чтобы я вас просветила, чтобы я руководила вами, чтобы я сделала вас великим! Ну что же, у меня есть только одно средство ответить на ваши ожидания – это передать вас в руки человека поистине добродетельного, и в этом вы можете поверить мне, я ведь сама скептик. К тому же одно только имя этого человека вас убедит. Вы часто с восторгом говорили мне о Вальмарине, вы осаждали меня вопросами, отвечать на которые я не хотела. Когда у вас бывали дни, полные отчаяния и грусти, вам хотелось отправиться к нему и принять участие в его таинственной деятельности. Я всегда отклоняла ваши мольбы. Мне казалось, что время еще не пришло; но теперь я думаю, что у вас уже не будет ко мне той экзальтированной любви, которая могла бы помешать вам принять твердое решение. Идите же к этому апостолу возвышенной веры. Я в большей степени связана с его судьбой и посвящена в его тайны, чем я вам говорила. Одно мое слово освободит вас от всех испытаний, которые вам надлежало бы пройти, чтобы приобщиться к нему. Это слово уже сказано. Вальмарина вас ждет.

Раз я уже больше не надеюсь сделать вас счастливым, как надеялись вы, раз, опьяняя себя наслаждением, вы не сумели позабыть свои страдания, киньтесь в объятия отца и друга. Он один может сделать вас сильным и научить добродетелям, которых вы жаждете. Моя нежность не покинет вас и будет расти по мере того, как сами вы будете становиться выше.

Примите это условие. Верьте нам и дайте нам вашу руку. Спокойно обопритесь на наши плечи – они готовы вас поддержать. Только не поддавайтесь больше иллюзии: не надейтесь омолодить меня до такой степени, чтобы я потеряла рассудок и власть над собой. Не разрушайте связь, которая делает вас сильным, не отталкивайте поддержки, которой вы сами просите. Называйте, если хотите, любовью наше чувство друг к другу, но пусть это будет любовь, которую вкушают среди ангелов, там, где одни только души горят пламенем священных желаний».

40

«Итак, будьте прокляты! Ибо проклят я сам, и это ваше холодное дыхание погубило мою молодость в пору ее расцвета. Вы правы, и я хорошо понимаю вас, сударыня: вы признаете, что нужны мне, но вместе с тем заявляете, что сам я вам не нужен. На что мне жаловаться? Разве я не знаю, что это неопровержимо? Вам приятнее оставаться в той тишине, которой, по вашим словам, вы верны, чем снизойти до того, чтобы разделить мои порывы, мои волнения, мои бури. Вы в самом деле очень мудры и логичны, и я далек от того, чтобы вступать с вами в спор: я умолкаю и восхищаюсь вами.

Но я могу ненавидеть вас, Лелия, вы дали мне это право, и мне хочется воспользоваться им в полной мере. Вы причинили мне достаточно зла, чтобы душа моя вспылала к вам великой и глубокой враждой, ибо, хоть вы и не совершили в отношении меня никакого преступления, вы нашли способ омрачить мне жизнь и лишить меня права сетовать на свою судьбу. Ваша холодность сделала вас неуязвимой для меня, тогда как моя молодость и восторженность были совершенно беззащитны и отдавали меня всего целиком в ваши руки. Вы не соизволили сжалиться надо мной, да оно и понятно. Могло ли быть иначе? Что могло привязать нас друг к другу? Какими трудами, какими великими деяниями, какими достоинствами я заслужил вас? Вы ничем не были мне обязаны и наградили меня тем легким сочувствием, с каким люди отворачиваются, проходя мимо раненого, истекающего кровью. Разве этого мало? Разве этого недостаточно, хотя бы для того, чтобы доказать, что вы чувствительны?

О да, вы хорошая сестра, вы нежная мать, Лелия. Вы с поистине восхитительным безуча-

стием бросаете меня в объятия куртизанки, вы разбиваете мои надежды, вы разрушаете мои иллюзии с какой-то величественною строгостью; вы говорите мне, что на земле нет чистого счастья, нет целомудренных наслаждений, и для того, чтобы это доказать, отталкиваете от своей груди, которая, казалось, уже принимала меня и обещала небесные радости, – и все для того, чтобы я уснул на груди другой женщины, еще не остывшей от поцелуев целого города. Господь поступил мудро, Лелия, не послав вам ребенка; но он был несправедлив ко мне, послав мне мать такую, как вы!

Благодарю вас, Лелия. Но урок ваш запомнится. Мне не понадобится другого, для того чтобы поумнеть. Вы просветили меня, вы рассеяли все мои заблуждения. Я чувствую себя составившимся и умудренным опытом. Все наши радости, вся наша любовь – на небе. Отлично. Но пока примем жизнь со всем, чего нельзя избежать, с ее тревожной, лихорадочной молодостью, со скоропреходящими желаниями, с грубыми потребностями, с бесстыдной, философски спокойной порочностью. Разделим себя на две половины: одну отдадим религии, дружбе поэзии, мудрости; другую – распутной и непотребной жизни. Давайте выйдем из храма, забудем бога на ложе Мессалины. Умастим благовониями наши лица и растянемся в грязи. Будем одновременно стремиться к непорочности ангелов и примиряться со скотской грубостью. Но, сударыня, мне все это понятней, чем вам, я иду еще дальше: я принимаю все последствия, которые повлечет за собой ваш совет. Не будучи в силах разделить мою жизнь между небом и адом, будучи человеком слишком заурядным, слишком несовершенным, чтобы переходить от молитвы к оргии, от света – к мраку, я отказываюсь от чистых радостей, от божественных экстазов и отдаюсь во власть моих своевольных чувств, страстей и кипучей крови. Да здравствует Цинцолина и все ей подобные! Да здравствуют легкие удовольствия, наслаждения, которые не приходится завоевывать ни длительными занятиями, ни размышлениями, ни молитвой! Право же, великой глупостью было бы презирать свойства материи! Разве я не вкусил в объятиях вашей сестры такое же подлинное счастье, как если бы то были ваши объятия? Разве я распознал мою ошибку? Разве я хоть на минуту в чем-нибудь усомнился? Клянусь всем, что есть святого, нет! Ничто не удержало меня на краю пропасти; никакое тайное предчувствие не предупредило меня о коварной подмене, которую вы совершили перед моим ослепленным взором. Грубые проявления безумной радости опьянили меня не меньше, чем нежные духи моей возлюбленной. В порыве грубой страсти я не мог отличить Пульхерии от Лелии! Я был сбит с толку, я был пьян, я думал, что прижимаю к груди ту, о которой мечтал жгучими от страсти ночами, и вместо того, чтобы оледенеть от прикосновения незнакомой мне женщины, я опьянялся любовью. Я благословил небо, и принял самую унижительную замену с восторгом, с рыданиями; душа моя обладала Лелией, а губы мои пили Пульхерию без всякого отвращения, без тени сомнения.

Браво! Вы одержали победу, сударыня, вы меня убедили. Да, чувственное наслаждение может существовать совершенно отдельно от всех радостей сердца, от удовлетворенности разума. Ваша душа может обходиться без помощи чувств. Это потому, что вы эфирное и возвышенное создание. Но я, я самый обыкновенный смертный, я жалкая скотина. Стоит мне остаться подле любимой женщины, коснуться ее руки, ощутить ее дыхание, ее поцелуи, как грудь у меня начинает вздыматься, в глазах темнеет, мысли путаются, и я окончательно себя теряю. Выходит, я должен бежать от этой опасности, сторониться этих страданий. Выходит, я должен беречь себя от презрения той, которую люблю недостойной и возмутительной любовью. Прощайте, сударыня, я ухожу от вас навсегда. Вам не придется краснеть за ту страсть, которую вы пробудили во мне и которая повергла меня к вашим ногам.

Но так как душа моя не развращена, так как я не могу нести в объятия падших женщин, которых вы мне даете в любовницы, сердце, полное священной любви, не могу слить воедино воспоминания о небесном сладострастии и о сладострастии земном, я хочу с этого дня погасить в себе воображение, отречься от души, преградить благородным желаниям доступ в сердце. Я хочу спуститься до того уровня жизни, который вы мне определили, и жить реальностью так, как я до сих пор жил воображением. Теперь я мужчина, не правда ли? Я изучил науку добра и зла. Я не пропаду один. Мне больше нечего изучать. Живите теперь в покое, я свой покой потерял.

Увы, значит, это правда, значит, я был глупым мальчишкой, жалким безумцем, когда верил

обещаниям неба, когда воображал, что человек так же совершенно устроен, как трава в поле, что жизнь его может удвоиться, дополниться, слиться с другой жизнью, может раствориться в объятиях священного восторга. Я верил в это! Я знал, что эти таинства совершаются под лучами солнца, под взором божьим, в чашечке цветка! И я говорил себе: любовь чистого мужчины к чистой женщине так же нежна, так же законна, так же горяча, как эта. Я забывал о законах, обычаях и нравах, которые калечат способности человека и разрушают порядок во вселенной. Равнодушный к честолюбивым притязаниям, которые мучат людей, я находил прибежище в любви, не подозревая, что общество и на нее наложило свою печать и что пылким душам остается только износиться и угаснуть в презрении к себе на лоне притворных радостей и бесплодных наслаждений.

Но кто в этом виноват? Не бог ли главный виновник всего? Мне никогда не случилось обвинять бога, и это вы, Лелия, научили меня ужасаться его приговорам, упрекать его в суровости. Сейчас все это ослеплявшее меня простодушное доверие рассеивается. Золотое облако, укрывавшее от меня бога, тает. Заглянув в глубины своего «я», я понял, как я слаб, покраснел за свою глупость, плакал в отчаянии, видя могущество материи и бессилие души, которой я так гордился, в господстве которой я был так уверен. Теперь я знаю, каков я на самом деле, и спрашиваю у моего повелителя, зачем он меня сотворил таким, почему этот жадный ум, это гордое и утонченное воображение отданы на милость самых грубых желаний; почему чувства могут заставить мысли молчать, приглушить в человеке голос сердца и разума.

Какой позор! Да, позор и мука! Я думал, что к поцелуям этой женщины я останусь холоден, как мрамор. Я думал, что сердце мое содрогнется от отвращения, когда я приближусь к ней, а ведь я был счастлив подле нее, и душа моя воспарила, овладев этим телом, лишенным души!

Это меня надо презирать, и я ненавижу бога и вас тоже. Вы, мой маяк, моя путеводная звезда, вы показали мне весь ужас этой бездны – не для того, чтобы спасти меня, но чтобы низвергнуть меня туда; вы, Лелия! А ведь вы могли закрыть мне глаза, могли утаить от меня эти страшные истины, дать мне наслаждение, которое не заставило бы меня потом краснеть, счастье, которое я не стал бы проклинать и ненавидеть! Да, я ненавижу вас, Лелия, как врага, как бич, как орудие моей гибели! Вы могли по крайней мере продлить мое заблуждение, продержать меня хотя бы несколько дней у врат вечного страдания, и вы не захотели это сделать! Вы толкнули меня в порок, не снизойдя до того, чтобы предупредить меня, даже не написав у входа: «Оставьте надежду у врат этого ада, вы, которые хотите переступить его порог, испытать его ужасы!». Я все видел, всему бросил вызов. Я столь же искушен, столь же мудр, столь же несчастен, как и вы. Я больше не нуждаюсь в вожатом. Я знаю, какими благами я могу пользоваться, от каких притязаний мне надлежит отказаться; знаю, какими средствами можно отогнать снедающую нас скуку. Я воспользуюсь ими, раз это нужно. Прощай же! Ты многому меня научила, ты просветила меня. Тебе я обязан этой наукой. Будь же ты проклята, Лелия!»

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

41

– Случилось то, что я вам предсказывал: вы не можете любить, и вы не умеете обойтись без любви. Что же вам теперь делать? Вы заслужите все упреки, которыми в порыве горечи осыпает вас юный Стенио. Вы будете пить горячие слезы детей в ледяном бокале гордости, Лелия! Я не из тех, которые льстят; я, может быть, ваш единственный истинный друг. Так знайте; мое уважение к вам за последнее время поколебалось. Я вижу, что вы не можете найти выход из лабиринта, в который вас завлекло собственное величие. Но ведь именно это величие и не должно было позволить вам так долго в нем бродить. Я знаю, как вам трудно жить, знаю, какие испытания выпадают на долю людей исключительной силы, знаю, какую страшную борьбу приходится вести возвышенному уму с враждебными стихиями, которые он порождает из самого себя, знаю, наконец, что люди, которыми обуревают высокие желания, ни за что не хотят смириться. Но есть

пределы борьбы, колебания тоже приходят к концу. Душа, подобная вашей, может долго ошибаться относительно себя самой и в избытке гордости принимать свои пороки за благородные побуждения. Но рано или поздно наступит день, когда и в нее прольется свет и проникнет в самые темные ее закоулки. Это редкие, но знаменательные дни; людям заурядным достаются только их бледные отблески, которые тут же исчезают; натурам же сильным удастся увидеть сияние этих дней самое большее два-три раза в жизни, и через них они обновляются надолго.

Вы хорошо знаете, Лелия, эти могучие порывы воли, эти почти чудотворные превращения человека: господь наделил вас силой, воспитание – гордостью. Однажды вы захотели полюбить и, несмотря на то, что гордость ваша восстала, а сила исстрадалась, вы полюбили, вы сделали женщиной; счастья вы не нашли, вам и не суждено было быть счастливой. Но само несчастье ваше призвано было возвеличить вас в собственных глазах.

Когда преданность ваша и страдание достигли своего апогея, вы поняли, что надо разбить эту любовь, чтобы вернуть силу воли, как вы поняли когда-то, что надо через эту любовь пройти, чтобы осуществить свое назначение в жизни. Второй день вашей силы просветил вас и научил выбраться из бездны, в которую первый помог спуститься.

Тогда понадобилось избрать какое-то направление в жизни, навсегда избавиться от бездны, и это было делом третьего дня. Этот день для вас еще не засветился над горизонтом. Пусть же он наконец взойдет! Пусть окончится эта неопределенность, пусть обозначится ваша тропа, и, вместо того чтобы беспрерывно топтаться вокруг пропасти, которую вы тщетно старались исследовать, пусть шаги ваши направляются к высотам, для которых вы рождены.

Не просите у меня больше пощады! Моя строгая дружба не станет вас миловать, и теперь я буду к вам беспощаден, ибо разум мой уже осудил вас. Испытание длилось достаточно долго, настало время выйти из него победительницей. Если вы падете, Лелия, я не смогу обойтись с вами так, как, говорят, обошлись с падшими ангелами. Я ведь не бог, и ничто не должно разрывать узы дружбы между двумя человеческими существами, которые поклялись всячески помогать друг другу. Истинное чувство должно принимать всевозможные формы; его голос прогремит то триумфальный гимн воскресения, то искупительную жалобу мертвых: выбирайте. Хотите, я окутаю вас траурным покровом и буду проливать горькие слезы о вашем падении, вместо того чтобы увенчать вас бессмертными звездами и преклонить колена перед вашей славой? Вы видели, как я восхищался вами; хотите, я вас пожалую?

Нет, нет, порвите эти узы, привязывающие вас к свету. Вы говорите, что вы теперь только призрак. Вы лжете: в сердце, закрытом для сильных страстей, существует еще склонность к страстям мелким, и сдержат их может лишь смерть. Вы тщеславны, Лелия, не заблуждайтесь на этот счет; гордость ваша запрещает вам подчиниться любви, она должна бы запретить вам также и принимать любовь другого: с такого рода гордостью вас можно было бы только поздравить или, напротив, пожалеть, но осуждать вас отнюдь не следует. Наслаждение, которое вы доставляете себе тем, что возбуждаете в мужчине любовь и следите за опустошением, которое эта любовь производит в его сердце, – это легкомысленное и преступное удовлетворение вашего самолюбия; заставьте это самолюбие замолчать, или вас за него накажут.

Ведь коль скоро справедливость провидения таинственна на своих больших путях, то, значит, существует и небесное правосудие, связующее бога и человека и творимое тоже втайне, – оно неотвратимо, и последствия его человек напрасно пытается скрыть. Если вам очень приятны похвалы, если вы позволяете яду лести *входить к вам в сердце через уши*, вам скоро придется принести в жертву удовлетворению этой новой потребности больше сил, чем вы думаете. Общество посредственных людей станет для вас необходимостью. Вы захотите видеть у ваших ног тех, кто вам менее всего симпатичен, но на ком вам захочется испытать действие вашего могущества. Вы привыкнете к скуке, которую порождает господство глупости, и эта скука станет вашим единственным развлечением. Вы не будете больше ничьей подругой, только любовницей всего мира!

Да, *любовницей*! Пусть это грубое слово всей своей тяжестью обрушится на вашу совесть! Есть некое духовное распутство, которое может удовлетворить женщину вульгарную, но которое натура серьезная, вроде вашей, должна глубоко презирать, ибо это проституирование ума.

Если бы вас связывали с человечеством узы плоти и крови, если бы у вас был муж, любовник и — особенно — если бы вы были матерью, вы бы увидели, как вокруг вас вырастает множество чувств, потому что жизнь ваша тысячью нитей была бы связана с жизнью всех. Но в том уединении, которое вы себе сотворили и которое вам слишком поздно уже покидать, вы всегда будете для мужчин предметом любопытства, недоверия, тупой ненависти или бессмысленных вожделений. Этот напрасный шум, который подняли вокруг вас, верно, порядочно вас утомил! Если он станет нравиться вам, то это будет означать, что вы начинаете падать, что вы перестали быть собой, что господь, уже отметивший вас печатью избранных, увидев, что вы хотите покинуть каменистую стезю одиночества, на которой вас ждал его дух, уходит от вас и обрекает вас на пошлое светское времяпровождение.

Вот то невидимое наказание, о котором я говорил вам, Лелия, вот проклятие; сначала оно незаметно, но понемногу заволакивает наши годы своим черным покровом. Это туча, которой Моисей окутал восставший против бога Египет. Вы все еще страдаете, Лелия. Вы и теперь ощущаете в себе божественное начало, зовущее вас ввысь. Вы когда-то сравнивали себя с человеком, обливающимся холодным потом, на большой картине Микеланджело: в отчаянии он тянется к ангелу, который должен вырвать его из рук дьявола. Вы целый час стояли в мрачном молчании перед этой страшной борьбой, которую вы уже сто раз видели, но которая сейчас получила для вас иной, более близкий вам смысл. Берегитесь, чтобы добрый ангел не выбился из сил, берегитесь, чтобы злой не ухватился за ваши ослабевшие ноги; это вы должны решить, которому из двух вы достанетесь.

42. ЛЕЛИЯ НА СКАЛЕ

Так говорил Вальмарина, идя с Лелией по горной тропинке. В полночь они вышли из города и углубились в одно из пустынных ущелий, освещенных мягким и ровным светом луны. Им никуда не надо было спешить, но шли они быстро. Странник с трудом поспевал за этой высокой бледной женщиной, которая в ту ночь казалась еще бледнее и выше, чем обычно. Это была одна из тех тревожных прогулок, в которых главную роль играет воображение; они уносят только наш дух, а тело в них как бы не принимает участия, до такой степени неощутима физическая усталость; одна из тех ночей, когда глаза не поднимаются к небесному своду, чтобы следить за гармоничным шествием звезд, а душа спускается вниз и проникает в бездны воспоминаний; один из тех часов, которые делятся целую жизнь и когда ощущаешь только прошлое и будущее.

Лелия все же подняла к небу взор, более дерзновенный, чем обычно; но неба она не видела. Ветер развеивал ее волосы, и густые пряди то и дело закрывали ей лицо, но она этого не замечала. Если бы Стенио в эту ночь увидел ее впервые, он уловил бы, как грудь ее трепещет, как тревожно каждое ее движение. Холодный пот выступил на ее обнаженных плечах, брови сдвинулись и нахмурились, белое лицо заволокла какая-то тень. Время от времени Лелия останавливалась, складывала руки на горевшей груди и окидывала своего спутника мрачным взглядом: можно было подумать, что вот-вот в ней вспыхнет небесный гнев.

Однако в ту минуту, когда Вальмарина умолкал, встревоженный впечатлением, которое произвели его упреки, и боясь, что зашел слишком далеко, она, словно по какому-то волшебству, вновь обретала все свое высокомерное спокойствие; видя, как друг ее смутился, она только улыбалась и делала ему знак идти дальше и договаривать до конца.

Когда он кончил, она еще долго ждала, не добавит ли он к своим словам что-нибудь еще; потом, когда они дошли до вершины, она села на уступ скалы и, в порыве отчаяния заломив руки, воздела их к бесстрастным звездам.

— Вы страдаете, — с грустью сказал ее друг, — я чем-нибудь вас задел?

— Да, — ответила она, опустив на колени руки, белые как мрамор. — Вы задели мою гордость, и я хотела бы воскликнуть сейчас вместе с героями Кальдерона: «О честь моя, ты больна!».

— А вы знаете, что болезни гордости лечат очень сильными средствами? — сказал Вальмарина.

– Да, знаю! – отвечала она и подняла руку, приглашая его к молчанию.

Потом она поднялась на гребень скалы и, стоя на этом огромном пьедестале, выпрямившись во весь свой высокий рост, освещенная отблесками луны, засмеялась таким ужасным смехом, что даже Вальмарине стало страшно.

– Почему вы смеетесь? – спросил он строго. Неужели дух зла восторжествовал? Мне почудилось, что ваш добрый ангел только что улетел, заслышав этот горький, душераздирающий смех.

– Здесь нет никакого злого духа, – сказала Лелия, – что же касается доброго, то я стану им сама Лелия сумеет спасти Лелию. Тот, кто улетает, напуганный этим смехом, где слышатся прощание и проклятие, – это дух-искуситель, это призрак, принявший обличье ангела; к нему-то и относится моя насмешка это Стенио, боговдохновенный поэт. Он ужинает сегодня с падшими женщинами.

Опустив глаза на расстилавшиеся перед ним вдалеке пространства, Вальмарина увидел бледные огни города и ярко освещенный дворец куртизанки Пульхерии, в котором бушевала ночная оргия.

Он снова посмотрел на Лелию, сидевшую рядом: она заливалась слезами.

– Несчастливая, – сказал он, – ревность закралась в твое сердце.

– Скажите лучше, неразумный человек, что она только что его покинула, – ответила она. – Я оплакиваю иллюзию, а не человека. Стенио никогда не существовал! Это создание моего воображения. И как оно прекрасно! Мне надо было быть великим художником, искусным мастером, чтобы сотворить этот возвышенный образ! Рафаэль и Микеланджело, слитые воедино, никогда не смогли бы создать ничего столь прекрасного.

И Лелия провела рукой по глубокой складке, пересекавшей ей лоб в минуты, когда ей бывало особенно тяжело.

– Напрасно я стала бы искать его сейчас, – сказала она, – это всего лишь тень, которая становится все бледнее чтобы слиться с миром небытия Ветер смерти сломил эту райскую лилию Дыхание Пульхерии убило моего Стенио. Там, в таверне, воем в страхе какой-то призрак. Каким именем его теперь называть?

О мой поэт! Я похоронила тебя в могиле, достойной тебя, в гробнице более холодной, чем мрамор, и более твердой, чем бронза, сокрытой под землею глубже, чем алмаз сокрыт в камне. Я схоронила тебя в своем сердце!

А ты, призрак, подними твою непослушную руку. Поднеси к твоим оскверненным губам ониксовый кубок вакханки! Назло всему, пей за здоровье Лелии! Посмейся над безрассудной горячкой, которая презирает прелестные губы и душистые волосы такого красавца, как ты. Пей же, Стенио! Это тело скоро станет бурдюком, в который можно будет налить все пятьдесят семь сортов вин Архипелага. Теперь это пустая амфора, хрупкий сосуд, где больше уже не течет кровь сердца, не пламенеет огонь души; теперь он разобьется вдребезги, и осколки его смешаются под столом у Пульхерии с разбитыми бокалами и потерявшими человеческий образ людьми.

Спасибо тебе, мой Стенио! Ты меня спас. Ты помешал мне забрызгать грязью пошлости тот незапятнанный снег, тот сверкающий лед, под которым меня схоронил господь. Это благодаря тебе я не покинула мой хрустальный дворец. Как только я дерзнула ступить на порог, ты увидел меня и с улыбкой воспарил к небесам, о мой сладостный сон! И ты кинул развратнице только грязное платье, которое она покрывает теперь нечестивыми поцелуями в уверенности, что это Стенио!

– Довольно бредить! – воскликнул Вальмарина, пытаясь стащить Лелию со скалы, на которой она стояла, словно пифия; он боялся, как бы она окончательно не сошла с ума.

– Оставь меня, оставь, человек, у которого нет ни выдержки, ни решимости! – вскричала она, отталкивая его. – Для тебя, чтобы собраться с силами, нужна целая жизнь, не так ли? Знай же, что для Лелии это дело одной ночи. Уходи, не бойся моего бреда; как только я сойду с этой скалы, менада, которую ты видишь сейчас, станет самой целомудренной и самой спокойной весталкой. Дай же мне попрощаться с миром, который рушится, с солнцем, которое гаснет. Человеческая душа – это уменьшенное, но очень точное и полное отражение вечности. Когда один из

очагов жизни тухнет, от него тут же загорается другой, еще более яркий, и это потому, что над жизненным началом властен один только бог. Оттого что некий человек проклял Лелию, ее не разразило громом. У меня осталось собственное сердце, и в сердце этом есть чувство божественного, интуиция и любовь к совершенству! С каких это пор мы стали терять из виду солнце из-за того лишь, что один из атомов, озаренных его лучами, погрузился в тень?

Она села и снова стала немой и неподвижной, как статуя. Все, что творилось в ее душе, было не более заметно для глаз, чем движения часового механизма под металлической крышкой. Вальмарина долго смотрел на нее почтительно и восхищенно. В эту минуту в ней не было ничего человеческого, ничего, что могло бы пробудить к себе сочувствие. Она была прекрасна и холодна, как сама сила. Она походила на тех больших львов из белого пирейского мрамора, которые, оттого что они все время смотрят на волны моря, словно обретают силу их укрощать.

– Вы говорите, что, войдя в будуар моей сестры и увидав там мой бюст, он выплеснул свой кубок на бедное мраморное лицо? Вы говорите, что он поджег пунш последним моим письмом?

Лелия задала эти вопросы совершенно спокойно; она хотела знать подробно все эти вспышки гнева Стенио, свидетелем которых Вальмарина был несколько дней тому назад.

– Я непременно хотел рассказать вам об этом, – отвечал он, – считая, что мой рассказ только разожжет в вас гнев и вернет вам ту твердость, которой вы лишились уже давно. Но слезы, которые вы только что проливали, заставляют меня опасаться, что я поранил вас глубже, чем сам того хотел.

– Не бойтесь, – сказала она, – вот уже три дня, как я его не люблю. Плакала я о нем, а не о себе. Не думайте, что его напрасная досада и его нелепые оскорбления могут меня задеть. Не этим я оскорблена. Оскорбил он меня четыре дня тому назад в павильоне Афродиты, тогда, когда принял руку куртизанки за мою руку, ее губы за мои, ее грудь за мою, когда он вскричал: «Что с тобою, моя любимая? Я никогда тебя не видел такой. Ты опьяняешь меня счастьем, о котором я не имел понятия: твое дыхание сжигает меня. Оставайся такой! Только с этой минуты я тебя люблю, до сих пор я любил только тень!».

– А вы что же, хотели, чтобы он обладал волшебным даром распознать тот жестокий обман, на который вы решились пойти?

– Решилась пойти? Я? О нет! Господь свидетель, что, следуя за ним в глубину коридоров, куда его увлекала эта безумная женщина, я не догадывалась, что все будет так. Я видела, как он противился, я была уверена, что буду свидетельницей его победы. Неужели вы думаете, что я шла туда, чтобы присутствовать при их любовных объятиях? Господь мне свидетель и в этом! Увы, я любила его! Да, я его любила, любила это милое и нежное дитя! И я не раз принимала решение победить все свои страхи и попытаться сочетаться с ним браком, освященным старинным обычаем. Разве он мне не брат, – спрашивала я себя, – разве он не мечтатель, не идеалист, не богом вдохновенный поэт, который мог бы облагородить и обожествить мою жизнь? Притом я хотела еще испытать его постоянство и силу чувств, подвергнув его нескольким испытаниям – страхом меня потерять, разлукой; и я не была настолько жестока, чтобы заставить его страдать ради собственной славы. Я сама страдала больше, чем он, от его ожидания и от его испуга. Но я знала, как кончается для меня любовь! Я вспоминала день, когда отвращение и стыд смели у меня в памяти мою первую любовь, как ветер сметает пену волн. Я думала, я была уверена, что действительно нашла в Стенио настоящее чувство, что мое равнодушие может разбить ему жизнь, и я не хотела давать ему даже слабой надежды, не уверившись сначала сама, что завтра этой надежды его не лишу. До чего же пристально я его изучала! С какой любовью, с какой материнской заботой наблюдала я за инстинктами и способностями этого любимого ученика! В безумии своем я хотела научить его любви. Я хотела передать ему все, что знала сама, все очарование, всю изощренность мысли – в обмен на то, что я узнала бы от него: на жар его крови, на исступление молодости... О, как я была права, что не стала спешить, что так внимательно следила за этим драгоценным растением! Увы, сердцевину его точил червь, и демону непотребства достаточно было только дохнуть на него, чтобы он упал в грязь. Вот каковы эти хрупкие существа, эти свободные художники наслаждения, эти жрецы любви! Они обвиняют нас в том, что мы холодные статуи, а у самих у них есть только одно чувство, которое даже нельзя назвать!

Они говорят, что у нас ледяные руки, а у них самих на руках такая толстая кожа, что они не могут отличить волосы своей возлюбленной от волос первой встречной женщины! Они всем существом своим готовы поддаться самому грубому обману. Тонкой вуали, легкого сумрака летней ночи достаточно, чтобы глаза их и ум самым постыдным образом ослепли; их слух легко попадает впросак; в звуках незнакомого голоса им слышится голос любимой... Стоит какой-нибудь женщине поцеловать их в губы, и глаза их уже затянуты пеленою, в ушах гудит, их охватывает божественная тревога, смятение души кидает их в бездну разврата!

Ах, дайте мне вволю посмеяться над этими поэтами без музыки и без бога, над этими жалкими хвастунами, которые сравнивают свои чувства с тончайшим благоуханием цветов, свои объятия с великолепными созвездиями! Лучше уж откровенные распутники, которые говорят все самое отвратительное нам в лицо!

— Ах, Лелия, — ответил Вальмарина, — все это негодование идет от ревности, а ревность — это любовь.

— Только не для меня, — возразила она, переходя от жгучего гнева к самому холодному презрению. — В гордой душе ревность сразу же убивает любовь. Я не вступаю в борьбу с недостойными соперницами. Я действительно страдала, я это признаю, я ужасно страдала в течение целого часа. Я была в этом кабинете, я была почти что меж ними. Мы говорили попеременно с сестрою, а он даже не замечал разницы наших голосов и наших слов. Иногда он брал меня за руку и тут же выпускал ее, чтобы инстинктивно, не думая, схватить замаранную грязью руку моей сестры, которая казалась ему моею. Ах, я все это видела; почему же все-таки он не видел меня? Я видела, как он прижимал Пульхерию к груди, и я едва успела убежать; его приглушенные вздохи, возгласы торжествующей любви преследовали меня даже в саду. Это была страшная мука, и когда я увидела проходившие мимо гондолы, я бросилась в первую попавшуюся, чтобы покинуть этот отравленный клочок земли, на котором только что умер Стенио.

— Вы были очень бледны, Лелия, когда вскочили ко мне в лодку, и я боялся, что вы не переживете всех ваших мук. О, несчастная! Соразмерьте ваши силы, прежде чем поддаваться гневу.

— Я в гневе только на вас, за то что вы так плохо меня понимаете. Верно, матери было бы не так страшно потерять ребенка, которого она выкормила своим молоком и целый год не отнимала от груди, как страшно было мне это внезапное отчуждение между мною и Стенио. Однако начало уже рассветать, когда я, умирающая, бросилась в гондолу, и там, едва только солнечный диск выглянул весь из-за горизонта, встала и звучным голосом запела эту бравурную арию, которой от меня хотели. Все находящиеся в гондоле любители пения объявили, что голос мой никогда так изумительно не звучал; а сила голоса, насколько я знаю, не только в легких: истоки ее, должно быть, немного повыше.

— Ах, гордячка! Вы же разобьете голову о триумфальную арку, которую сами себе воздвигли.

— Я сделаю эту арку такой стройной и такой просторной, что там хватит места и самому сатане, если только он захочет пройти под ней. Неужели, по-вашему, за все эти три дня я хоть раз высказала свою досаду Пульхерии или Стенио? Разве я не пыталась утешить поэта в его позоре и сделать куртизанку более благородной в его глазах? Разве я не предлагала этому ребенку мою вечную дружбу, мою заботу и мою материнскую опеку?

— А почему же вы сейчас так волнуетесь? Не потому ли, что он настаивал на вашей любви и, раздраженный вашим отказом, сейчас вот, ночью, охваченный досадой и яростью среди всего отчаянного разгула, сделался по собственной воле любовником Пульхерии?

— Нет, ошибается тот, кто будет думать, что он борется с Лелией. Нельзя бороться с морскими ветрами и волнами океана, а моя гордость более неуловима для человеческой воли, чем волны и буря. Оскорбительнее всего для меня то, что вы еще предлагаете мне принять решение, как будто я могла колебаться, как будто, увидав труп, я должна еще спрашивать себя, зарыть его в землю или положить с собою в постель. Похороним сначала всех мертвецов и потом уже будем жить.

— А что же это будет за жизнь?

– Сейчас это не очень важно. Дайте мне время вытереть слезы, укрыть покойника саваном, и если только я смогу забыть его через час, вам больше ни о чем не придется меня спрашивать. Взгляните, Вальмарина, на чудесные Плеяды, что легкой дугою касаются горизонта. Сколько всего изменится в этом измученном сердце, в этой дрогнувшей жизни, прежде чем последняя из них исчезнет! Вы тревожитесь, видя меня на дурном пути, вы думали, что я борюсь с дурными побуждениями. Вы ошиблись: я шла к цели. Разразилась гроза, она разрушила все – и дорогу и цель. Дайте мне время подобрать те немногие обломки, которые докатились до меня, и свернуть в сторону с этой проклятой дороги.

– Это не единственная дорога, но цель у вас все та же, – сказал Вальмарина. – Вы думаете, что одиночество может привести вас к ней; только остерегайтесь брать себе в спутники гнев. Если когда-нибудь вас охватит сожаление, то ведь, как бы вы ни были внешне спокойны, как бы ни торжествовало ваше самолюбие, что станется с вашей гордостью, ставшей для вас святыней, с гордостью, ради которой вы готовы жертвовать всем на свете и которую я чту, ибо видел, что именно она побуждает вас на самые высокие поступки? Будет ли эта гордость удовлетворена?

– Все это останется между богом и мной. Он один будет свидетелем моего страдания. Предел моей гордости – это он...

– Бог! Да, разумеется, но вы верите в него, Лелия?

– Верю ли я? А разве вы не видите, что на земле я ничего не могу полюбить? Вы, что же, объясняете это так, как, может быть, в эту минуту объясняет целомудренный Стенио, рассуждая с Цинцолиной о том, почему я холодна? Люди, не знающие иного божества, кроме собственного тела, единственной причиной воздержания считают физическое бессилие. Что значит требование изощренных способностей, что значит потребность в идеальной красоте, что значит жажда высокой любви в глазах черни? Даже если случайно восторги любви и озаряют ее мимолетным светом, то это всего лишь результат отчаянного напряжения нервов, чисто механического воздействия чувств на разум. Каждое существо, какой бы посредственностью оно ни было, может внушить или само почувствовать это мгновенное безумие и принять его за любовь. Умственное развитие и стремления большинства дальше этого не идут. Человек, который хочет вкушать только благородные радости и наслаждения чистые и святые, который стремится к неразрывному единству любви духовной и любви физической, – это честолюбец, удел которого великое счастье или великое страдание. Для тех, кто делает из любви божество, середины не существует. Для того чтобы разыграть их божественные мистерии, им нужно святилище другой любви, такой же безграничной, как их собственная; только пусть они не надеются когда-либо вкушать наслаждение в публичном доме. А ведь вся любовь мужчин, даже под кровлей супружества, сделалась самым настоящим публичным домом. Большинство мужчин для женщины чистой – это то же самое, что проститутка для целомудренного юноши. Только у юноши есть право презирать проститутку, вырваться из ее объятий сразу же после того, как она удовлетворит его потребность, при воспоминании о которой он краснеет. Почему же получается, что чистым женщинам отказано в способности испытывать отвращение и в праве высказывать его вслух нечистым мужчинам, которые их обманывают? Разве они не в сто раз подлее, чем куртизанки? Те обещают только одно наслаждение, а ведь погрязшие в разврате мужчины нам обещают любовь. Но для женщины гордой не может быть наслаждения без любви: вот почему в объятиях большинства мужчин она не найдет ни того, ни другого. Что же касается самих мужчин, то им не так легко ответить на наши высокие побуждения и удовлетворить наши благородные желания: им гораздо легче обвинить нас в том, что мы холодны. Эти аскетические души, говорят они, бывают всегда у женщин неполноценных. Последняя публичная девка для них соблазнительнее, чем самая чистая из девиц. Публичная девка – вот настоящая жена, настоящая любовница мужчин нашего поколения; она им как раз под стать. Жрица материи, она погасила все, что было в женщине божественного, человеческого, чтобы развить звериные инстинкты. Она не горда, не навязчива: она требует только то, что подобные люди могут дать, – золото!

О, благодарю тебя, боже! Тебе было угодно, чтобы последняя завеса спала с моих глаз, чтобы эти страшные истины, в которых я все еще сомневалась, сделались для меня ясными, как свет твоего солнца, усилиями самого Стенио, того, кого я называла уже моим любовником, кого

считала чистейшим из сынов человеческих. Ты допустил, чтобы глубокое уныние погрузило мою душу на какое-то время во тьму и чтобы страдание помрачило мой разум до такой степени, что я усомнилась в великой истине. Безумие, ложь, мудрость, софизмы, божественная любовь, нечестивое отрицание, целомудрие, распутство – все эти элементы истины и заблуждений, низости и величия смешались в одно и метались, кружась в вихре воображения. В бездонных глубинах моей мысли разражались страшные грозы и неотвратимые катастрофы. Я все подвергла сомнению, все перепробовала и в этом бессилии воли, в этой отрешенности от разума нашла только страдание все более жестокое, одиночество все более явное. Тогда в тоске моей я простерла руки к тебе, и ты показал мне развращенность человеческой природы, причины ее и последствия. Ты дал мне понять, что ни один мужчина (в том числе и Стенио) не заслуживает любви, очаг которой горит во мне. Ты преподавал мне хороший урок, ты захотел, чтобы все страдания и унижения, которые заполняют жизнь женщины, открылись мне за один миг; чтобы грязные когти ревности слегка поранили мое сердце и выжали из него несколько капель моей крови, как некий стигмат искупления и наказания. На какое-то мгновение я пожалела, что я не куртизанка, и, в вечное назидание себе, увидела, как куртизанка затмила меня после первого же поцелуя.

Благодарю тебя, господи, за то, что ты до такой степени меня унизил: ибо в ту минуту я поняла, что призвание мое не в этом! Нет, нет! Мое наслаждение и моя слава не здесь, и теперь я буду приходить к тебе не с жалобой, а с благословениями. Я была неблагодарной, о высшее совершенство! Образ твой был у меня в сердце, и я искала бесконечного во всем сущем. Я хотела перестать поклоняться тебе, чтобы обратить свое поклонение на идолов из плоти и крови. Я думала, что между тобой и мной должен быть посредник – священник – и что мужчина и будет этим священником. Я ошиблась: у меня может быть только один возлюбленный – это ты, и всякий, кто станет между нами, не только не приблизит меня к тебе, наполнив мою душу признательностью и счастьем, но, напротив, удалит меня от тебя, вселив в нее отвращение и разочарование. А вы еще спрашиваете меня, Вальмарина, верю ли я в бога. Я должна в него верить, ибо люблю его безумной любовью, ибо неугасимый огонь этой страсти разъедает мне грудь, ибо, если бы я на минуту усомнилась в его мудрости, кровь моя заledenела бы в жилах и жизнь моя заххла, как опаленный морозом плод. Мне надо в него верить, ибо живу я только любовью, и вместе с тем я не люблю ни одно живое существо, созданное по моему подобию, ибо не могу признать над собой ничьей власти, кроме власти неба. А ты, Стенио, неужели ты мог быть настолько слеп, чтобы мечтать о любви ко мне? Как мог ты возомнить себя соперником бога, решить, что сможешь насытить жизнь, которая вся – неистовство, вся – исступление, экстаз, ссоры и примирения избранницы божьей, ревниво и безраздельно влюбленной? Это тебя следует назвать гордецом, ибо это ты захотел стать богом, ты надеялся, что я обращу к тебе тот же гнев, те же слезы, проклятия, желания и восторги! Бедное дитя! Ты плохо меня знал. Сколько бы ты ни писал стихов, ты был плохим поэтом. Ты плохо понял, что такое идеал, если думал, что дыхание смертного может стереть его образ в зеркале моей души!

– Во всем, что вы говорите, я ощущаю трепет безудержной гордыни, моя дорогая Лелия, – сказал Вальмарина, ласково улыбаясь и протягивая ей руку, чтобы помочь сойти вниз, – но мне нравится слушать ваши речи, ибо я узнаю вас прежнюю, а в той, какой я вас знал, нет ничего, что могло бы меня ужаснуть. К тому же настоящая дружба – это когда один человек безраздельно принимает другого; вот почему я люблю ваши недостатки. И если я начинаю тревожиться и расспрашивать вас, то это бывает тогда, когда я вижу, что вы свернули с вашего пути и совершаете не свойственные вашей натуре поступки. Тогда я перестаю вас узнавать, и, видя, что вы становитесь робкой, неуверенной и мягкой, как женщины, которых любят и которыми повелевают, я начинаю думать, что вы погибли, что самого безумного и самого лучшего творения господи больше не существует.

Лелия поправила одной рукой свои распустившиеся волосы и, держа руку друга и стоя на скале, выпрямилась в последний раз во весь свой высокий рост.

– Гордыня! – вскричала она. – Чувство и сознание собственной силы! Священный и благородный рычаг вселенной! Да будешь ты вознесена на чистейшие алтари, да наполнят тобою избранные сосуды! Торжествуй же, ты, которая заставляешь страдать и царствовать! О кольчуга

архангелов, как я люблю, когда ты власяницею вонзаешься мне в тело! Если ты заставляешь избранных испытывать неслыханные муки, если ты предписываешь им суровое самоотречение, ты вместе с тем приобщаешь их к великим радостям! Ты даруешь им неслыханные победы. Когда ты увлекаешь их за собой в пустыни, откуда нет исхода, ты приводишь к их ногам львов, их одинокие ночи ты населяешь духами, чтобы избранные твои с ними боролись, чтобы они могли испытать и познать свою силу, и вознаграждаешь их за все поутру высокими словами: «Ты побежден, но повергнись к стопам моим без стыда, ибо я есмь господь!»

Лелия закрутила волосы и спрыгнула со скалы.

– Уйдем отсюда, – сказала она, – уже скрылась последняя из Плеяд, и мне здесь больше нечего делать. Борьба моя окончена. Святой дух возложил на меня свою десницу, как на Иакова, и Иаков простерся ниц. Ты можешь теперь поразить меня, о всевышний, ты увидишь, что я стою перед тобою на коленях!

– А ты, гордая скала, – сказала она, оборачиваясь назад, – я какой-то миг была прикована к тебе, как Прометей, но я не ждала, чтобы коршун прилетел клевать мою печень, и я разбила твои железные цепи тою же рукой, которая их заклепала.

43. КАМАЛЬДУЛЫ

Лелия и Вальмарина снова спустились с горы по склону, противоположному тому, который вел в город. Лелия шла первая, спокойно и не спеша.

– Но это же не та дорога, – заметил ее спутник, видя, что она направляется на юг.

– Это моя дорога, – отвечала она, – ибо это дорога, которая удаляет от Стенио. Возвращайтесь в город, если хотите. Что до меня, то я никогда больше не переступлю его врат.

Вальмарина любезно последовал за нею, но на губах его появилась улыбка сомнения.

– Я не очень доверяю таким вот быстрым и бесповоротным решениям, – сказал он. – Я не верю крайним позициям – они только ускоряют противодействие.

– Всякое решение, исполнение которого откладывается, не сулит удачи, – отвечала Лелия. – Там, где речь идет о желании, размышление необходимо. А когда приходится действовать, нужны смелость и быстрота.

– Куда мы идем? – спросил Вальмарина.

– Мы бежим от прошлого, – ответила Лелия с какой-то мрачной радостью.

Светало; они вступили в долину, заросшую густым лесом. Прелестные ручейки сбегали вниз в тишине, под сенью миртов и фиговых деревьев. Большие лужайки, по которым проходили полудикие стада, вклинивались своей нежной зеленью в темную гущу лесов. Край этот был богат и пустынен. На пути не было никакого жилья, разве только разбросанные там и сям, глубоко спрятанные в листве мызы. Поэтому в этих местах можно было наслаждаться всеми прелестями, всеми благодеяниями природы, которой коснулась рука человека, и всем величием, всей поэзией природы дикой.

Поднявшись до половины холма, Лелия остановилась, охваченная восторгом.

– Как счастливы беззаботные пастухи, – воскликнула она, – они спокойно спят в тени этих тихих лесов, им не о чем тревожиться, кроме как о своих стадах, им нечего изучать, кроме восхода и захода звезд! А еще счастливее эти жеребята с растрепанными гривами – они скачут так легко в зарослях, и дикие козы – те без труда поднимаются на крутые скалы! Счастливы все создания, умеющие радоваться жизни, не злоупотребляя ею и не доводя себя до изнеможения!

За поворотом дороги Лелия увидела в предрассветной мгле белую полосу на склонах гор, величественно смыкавшихся вокруг необъятной долины.

– Что это такое? – спросила она своего друга. – Что это, грандиозное сооружение рук человеческих или отвесная скала, которые бывают в этом краю? Огромный водопад, или каменный карьер, или дворец?

– Женский монастырь, – ответил Вальмарина, – обитель камальдулов.

– Я много слышала о его богатстве и красоте, – сказала Лелия. – Пойдемте туда.

– Как вам будет угодно, – ответил Вальмарина. – Мужчин туда, правда, не пускают, но я

готов подождать вас во дворе.

Монастырь этот поразил Лелию и восхитил: сначала шла длинная галерея; белый мраморный свод поддерживали коринфские колонны розового мрамора с голубыми прожилками; между ними стояли малахитовые вазы, из которых торчали колючие листья алоэ; за нею — большие дворы, следовавшие один за другим, создавали впечатление какой-то фантастической глубины; всюду, подобно пестрым коврам, были разбросаны клумбы самых красивых цветов. Выступившая на них роса покрывала их серебристой газовой тканью. В центре симметрических орнаментов, образованных этими же клумбами, водометы, поднимающиеся из яшмовых бассейнов, рассыпали в голубом утреннем воздухе свои прозрачные брызги, а первый луч солнца, начинавший озарять верхушку здания, падая на тонкие, устремленные к небу струи, венчал каждую бриллиантовым убором. Великолепные китайские фазаны едва только шевельнулись при появлении Лелии, пестрея среди цветов своими филигранными хохолками и бархатным оперением. Павлин расстилал по газону свой сверкавший драгоценными камнями наряд, а мускусная утка с изумрудной грудью гонялась по бассейну за золотыми жучками, которые вычерчивали на поверхности воды неуловимые круги.

К насмешливому или жалобному крику этих плененных птиц, к их грустным и горделивым движениям присоединялись тысячи веселых и громких щебетаний, тысячи взмахов крыльев птиц свободных. Доверчивый и резвый чирик садился на голову какой-нибудь статуи. Дерзкие и трусливые воробьи воровали у домашних птиц корм, но потом, напуганные кудахтаньем насекомых, вдруг улетали. Щегленок обрывал лепестки цветов, которые у него старался отнять ветер. Пробуждались жуки и начинали жужжать под согретой первыми лучами солнца и еще влажной травой. Самые красивые бабочки долины летели целыми стаями, чтобы напиться сока этих диковинных экзотических растений, от которых они так пьянели, что их легко можно было взять рукой. Все воздушные голоса, все ароматы утра поднимались к небу как чистый ладан, как простодушное песнопение, призванное возблагодарить господина за его благодеяния и за труд людей.

Но в этом царстве животных и растений, среди чудес искусства и всей беспримерной роскоши и богатств не было только одного человека. Песок на всех аллеях совсем недавно был сравнен граблями, словно для того, чтобы сгладить шаги прошедших здесь людей. Ступив на эти аллеи, Лелия испытала какой-то суеверный страх. Ей показалось, что она нарушит гармонию этого волшебного мира, что стены заколдованного замка вот-вот рухнут.

Захваченная вихрем поэзии, она не верила своим глазам. Видя вдалеке, за прозрачными колоннадами монастыря глубокие и пустынные долины, она легко могла вообразить, что уснула где-то среди леса под деревом, облюбованным какой-нибудь феей, и что, когда она проснулась, кокетливая владелица этих мест окружила ее разными призрачными чудесами, дабы удержать ее в своей власти.

Поддаваясь очарованию этой фантазии, опьяненная ароматами жасмина и дурмана, радуясь тому, что осталась одна в этих чудесных местах, и вообразив себя чуть ли не царицей, она подошла к высокому окну. Сверкающие на солнце цветные стекла походили на пеструю шелковую занавесь гарема. Лелия села на край бассейна, где плавали рыбы, и стала глядеть в прозрачную воду, следя за движениями форели в серебряной броне, на которой сверкали рубины, и линия в его золотистой, отливающей зеленью одежде. Она восхищалась их изящной игрой, блеском их металлических глаз, той непостижимой быстротой, с какой они ускользали в страхе, когда на зыбкую поверхность воды ложилась ее беглая тень. Неожиданно послышалось пение, словно то пели святые у подножия трона Иеговы; звуки исходили из глубины таинственного здания и, смешиваясь со звуками органа, разносились повсюду. Казалось, все смолкло, и Лелия, пораженная восторгом, как в детстве, невольно опустила на колени.

Женские голоса, чистые и гармоничные, поднимались к богу, как пылкая, полная надежды молитва, а детские, серебристые и трогательные, отвечали им, как далекие обещания неба, словно то были ангелы.

Монахини возглашали:

— Ангел господень, прости над нами твои спасительные крылья. Защити нас твоей недремлющей добротой и твоей утешительной жалостью. Господь сотворил тебя милосердным и

нежным среди всех добродетелей, среди всех сил неба, ибо он предназначил тебя спасти, утешать людей, собирать в чистейший сосуд слезы, пролитые у ног Христа, и явить их как искупление перед твоей вечной справедливостью, о вседержитель!

А маленькие девочки отвечали из придела:

– Надеемся в госпoде, о вы, которые трудитесь в слезах, ибо ангел-хранитель простер свои большие золотые крылья между слабостью человека и гнева всевышнего. Восславте господа.

Потом монахини начали снова:

– О самый юный и самый чистый из ангелов, тебя госпoдь сотворил последним, ибо сотворил тебя после человека, и поместил тебя в раю, чтобы ты был его товарищем и другом. Но явился змий-искуситель и обрел над духом человека больше власти, чем ты Ангел гнева сошел на них, чтобы их покарать; ты последовал за человеком в изгнание и стал заботиться о детях, рожденных Евой, о всеблагодать!

Дети снова ответили:

– Возблагодарите же, вы все, любящие господа, возблагодарите на коленях ангела-хранителя, ибо на своих могучих крыльях он летает с земли на небо и с неба на землю, чтобы вознести ввысь молитвы, чтобы принести свыше благоденствия! Восславте господа!

Свежий и чистый голос молодой послушницы произнес:

– Это ты своим свежим дыханием согреваешь поутру скованные холодом растения; это ты покрываешь девственной одеждой всходы, которым угрожает град; это ты своей спасительною рукою поддерживаешь хижину рыбака, которую раскачивают морские ветры; это ты будишь уснувших матерей и, призывая их нежным голосом ночью, когда им снятся сны, указуешь им кормить грудью новорожденных младенцев, это ты охраняешь стыд девственниц и кладешь к изголовью их апельсиновую ветвь – невидимый талисман, отгоняющий дурные мысли и нечистые сны, это ты садишься в знойный полдень возле борозды, где спит ребенок жнеца, и отгоняешь от него ужа и скорпиона, готовых кинуться на его колыбель; это ты открываешь листы требника, когда мы ищем в Священном писании исцеления наших недугов; это ты помогаешь нам находить тогда слова, приличествующие нашему горю, и подносишь к глазам нашим святые строки, отгоняющие от нас искушение.

– Призывайте ангела-хранителя, – запели детские голоса, – ибо это самый могущественный из ангелов господних. Когда госпoдь посылал его на землю, он пообещал, что каждый раз, когда тот будет возвращаться к нему, будет прощен один грешник. Восславте господа.

Очарованная этой нежной поэзией и этими мелодичными голосами, Лелия незаметно приблизилась к порогу боковой двери, оказавшейся приоткрытой. Остановившись на площадке мозаичной лестницы, откуда виден был неф, она увидела внизу простертых на полу девственниц. Охваченная восторгом, она воздела руки к небу и возгласила:

– Восславте господа! – и так проникновенно, что все молившиеся тут же взглянули на нее в каком-то едином порыве. Ее высокий рост, белое платье, развевавшиеся волосы и низкий голос, который можно было принять за голос юноши, произвели такое впечатление на восторженных и робких монахинь, что им показалось, будто перед ними и в самом деле ангел-хранитель. Единый крик вырвался отовсюду, молодые девушки пали ниц, и Лелия медленно спустилась по лестнице, чтобы стать среди них на колени. В эту минуту тяжелая дверь, в которую она вошла, захлопнулась между нею и Вальмариной.

Он терпеливо ждал ее несколько часов, и только когда стало очень уж жарко, удалился на галерею, в прохладное, хорошо проветриваемое помещение, где ему пришлось еще долго ждать. Когда эти знойные часы прошли и подул морской ветер, который поднимается и становится все сильнее на закате солнца, он решил позвонить у внутренней решетки монастыря и вызвать Лелию через послушницу. Через несколько минут ему передали от иностранки (так ее называли здесь) цветок, который на условном языке означал «прощай». Вальмарина, который сам обучил Лелию этой восточной символической, понял, что это последнее прощанье, и один пошел по дороге в город.

«Вы знаете, какие таинственные узы влекут меня к жестокой борьбе и к смутным надеждам. Призываемый моими братьями по несчастью, я явлю собой нового противника или новую жертву палачей и убийц истины. Я уезжаю, может быть, для того, чтобы не вернуться, и раз вы на этом настаиваете, я больше вас не увижу. Признаюсь, я несколько удивлен тем, что вы удалились в католический монастырь. Я знаю, какую власть имели над вами эти верования в прежние годы; но я никак не могу поверить, что они могут долго вами владеть. Очевидно, речь здесь шла о другом, а не о минутной потребности в отдыхе и в одиночестве, ибо ни отдых ваш, ни одиночество мое присутствие никогда не нарушало и не смущало. Вы приучили меня смотреть на себя как на ваше второе „я“, и к тому же братское прощание – пожатие через решетку руки – не могло бы отвлечь вас от ваших раздумий и внести в ваши мысли светскую суету. Вы, должно быть, обрекли себя на это заточение, дабы испытать свое благочестие, и это старание ваше привязать себя к идеям, которые стали для вас слишком тесными, огорчительно и грустно. Во всяком незрелом решении есть нечто болезненное, свидетельствующее о бессилии души. Чем больше поведением своим вы стараетесь доказать, что не любите Стению, тем больше мне кажется, что эта несчастная любовь жестоко вас мучит. Подумайте об этом, сестра моя, ибо надо, чтобы эта любовь или выросла, или оборвалась. Половинчатые чувства – достояние натур слабых. Бесполезные попытки достойны сожаления, они только напрасно истощают наши силы. Неужели мне так и придется уехать под гнетом этой тревоги?»

45

«Есть положения, по счастью, очень редкие, когда дружба ничем нам не может помочь. Тот, кто не может быть сам своим единственным врачом, не заслуживает того, чтобы господь дал ему силу исцелиться. Может быть, я страдаю больше, чем вы думаете; но не приходится сомневаться, что я могу справиться со своим страданием и что решение мое не вызвано недомыслием или излишней самонадеянностью. Я просто хочу остаться здесь, как больной в больнице, чтобы подчинить себя новому режиму. Для того чтобы вылечить тело, приходится затратить немало усилий и подвергнуть себя немалым лишениям; по-моему, то же самое можно сделать и для души, когда ей угрожает смертельная болезнь. Давно уже я блуждаю по лабиринту, полному смутных шумов и обманчивых теней. Я должна затвориться в келье, искать себя под таинственной сенью до тех пор, пока не найду; и вот, когда я почувствую себя здоровой и сильной, я решу все. Тогда-то я и выслушаю ваши советы с тем уважением, которое присуще дружбе; тогда вы будете в состоянии судить о моем положении и высказаться с достаточным основанием относительно моего будущего. Сейчас же ваши заботы способны только сбить меня с пути. Что вы можете знать обо мне, раз сама я о себе ничего не знаю, то лишь, что я хочу изучать себя и себя познать? Когда на ясном небе появляется черная туча, вы можете предвидеть, с какой стороны разразится гроза, но когда противоположные ветры бросают тучи со всех сторон навстречу друг другу, – для того, чтобы пуститься в путь, приходится выжидать, пока взойдет солнце.

Мне тяжело думать, что я не могу пожать вашу руку в ту минуту, когда вы готовитесь встретиться с опасностями, которым я завидую, мне было бы еще ужаснее увидеть вас и не быть в состоянии поговорить с вами откровенно; я даже не знаю, вынесу ли я это, и я уверена, что буду совершенно разбитой после свидания, на котором благоразумие ваше, слишком, может быть, просвещенное, разрушит ту слабую надежду которая во мне зародилась. Вы человек действия, Вальмарина, в гораздо большей степени, чем человек мысли. Сильными ударами топора вы проложили себе широкую дорогу и вы не всегда понимаете препятствия, которые останавливают других на нерасчищенных тропинках. У вас есть цель в жизни; если бы я была мужчиной, у меня тоже была бы своя цель, и, как бы гибельна она ни была, я бы спокойно шла к ней. Но вы все время забываете, что я женщина и что мои возможности ограничены некими непреодолимыми пределами. Мне следовало бы удовлетвориться тем, что составляет гордость и радость других женщин; я бы это сделала, если бы, на мое несчастье, не смотрела на вещи серьезно и не тянулась к чувствам, которых не находила. Я слишком разумно судила о людях и о явлениях моего

времени: я не могла ни к чему привязаться. Я испытывала потребность любить, потому что мое сердце развилось в том же направлении, что и мой ум; но разум мой и гордость запретили мне этой потребности уступать. Надо было встретить человека исключительного, который принял бы меня как равную и вместе с тем избрал себе спутницей жизни, кто бы сделал меня своей подругой и вместе с тем – своей любовницей. Мне не выпало на долю такого счастья и, если бы я стала домогаться его снова, мне пришлось бы снова его искать. Искать в любви – означает пробовать: вы знаете, что это немыслимо для женщины, если она не хочет подвергать себя риску унизиться; в жизни хватит и двух несчастных Любостей. Если вторая любовь не исправила ошибок первой, надо, чтобы женщина сумела отказаться от любви, надо, чтобы она сумела найти свою славу и свой покой в воздержании. А воздержание, если она не покинет света, будет для нее тяжело и мучительно. Общество не допускает ее к высоким умственным поприщам и не дает ей втянуться в борьбу политических страстей. Начальное воспитание, жертвой которого она становится, по большей части оставляет ее неподготовленной к занятию наукой, а предрассудки, сверх того, делают для нее всякую публичную деятельность немыслимой или нелепой. Ей позволено, правда, заниматься искусством, но переживания, которые это искусство вызывает, не лишены опасности; для натуры аскетической жить строгою жизнью, может быть, еще труднее, чем для любой другой. С этой точки зрения любовь всего-навсего соблазн, от которого человек наполовину освобождается, когда начинает его стыдиться; преодолеть этот соблазн можно и не испытывая нравственных страданий. Если любовь становится идеалом жизни, то людям, которые ее лишены, не дано знать покоя. Душа захвачена безраздельно; в ее святая святых вторгаются благородные влечения, удивительные желания. Удовлетворить их она может, только пойдя по ложному следу, приняв иллюзию за действительность и поверив лживым обещаниям; с каждым шагом под ногами у нее разверзается пропасть. С трудом выбравшись из первой, привязанная самой природой своей к пагубным иллюзиям, она упадет во вторую, в третью, пока наконец, надломленная своими падениями, измученная своей борьбой, она окончательно не ослабеет и не погибнет. Среди испорченных женщин я видела очень мало таких, которых совратила одна только чувственность (таким достаточно иметь молодого, пусть и глупого мужа); многие же, напротив, уступали зову сердца, которым не руководил ум и которого воля не могла победить. Если Пульхерия и стала куртизанкой, то это потому, что она была моей сестрой, что она, помимо воли, испытала влияние спиритуализма, что она искала среди мужчин одного-единственного любовника, прежде чем сделаться любовницей всех.

Осудив женщин на рабство, чтобы они остались целомудренными и верными, мужчины жестоко ошиблись. Ни одна добродетель не требует стольких сил, сколько целомудрие, а рабство приводит в раздражение. Мужчины хорошо это знают, они не верят, что на свете есть сильные женщины. Как вы знаете, я не смогла жить среди них: меня подозревали, на меня клеветали больше, чем на какую-либо другую. Я не могла бы опереться на ваше покровительство, на вашу братскую дружбу без того, чтобы клевета не искажила сущности наших отношений. Я устала бороться на людях и переносить оскорбления с открытым лицом. Жалость была бы для меня еще оскорбительнее, чем отвращение; вот почему я никогда не буду искать известности и печальными ночами выпью мою чашу горечи втайне от всех. Пора уже мне отдохнуть и начать искать бога в его тайных святилищах, чтобы спросить его, не создал ли он для женщин чего-либо сверх того, что создали люди. Я пыталась приучить себя к одиночеству и была вынуждена от него отказаться. В развалинах монастыря *** я едва не сошла с ума; в пустынных горах я боялась ко всему очерстветь. Стоя перед угрозой помешательства или идиотизма, я вынуждена была искать шума и развлечений. Чаша горечи, которою я собиралась себя опьянить, разбилась от прикосновения к моим губам. Верно, настал уже час рассеять заблуждения и смириться. Всего несколько дней назад я была еще слишком молода, чтобы оставаться на Монтевердоре; сейчас я слишком стара, чтобы туда возвращаться. У меня было еще очень много надежд впереди, сейчас их уже совсем мало; мне надо найти одиночество такое, чтобы ничто внешнее не достигало моего сердца и чтобы вместе с тем звук человеческого голоса время от времени тревожил мой слух. Человек в состоянии освободиться от страстей, но он не может безнаказанно порвать свои привязанности к себе подобным. Физическая жизнь – это тот груз, который он должен поддерживать в

равновесии, если только хочет сохранить в равновесии способности своего интеллекта. Полное одиночество быстро разрушает здоровье. Оно противоестественно, ибо первобытный человек – и тот стремится к общению, и высокоразвитые животные выживают только тогда, когда они объединяются, чтобы удовлетворять свои потребности и чтобы совместными усилиями облегчить себе существование. Таким образом, считая, что не гоюсь для уединенной жизни, я была несправедлива к моему духу; я не понимала, что это только тело мое возмущается против преувеличенных лишений, против колебаний погоды, против изнуряющей диеты, против отсутствия внешней жизни с ее картинами. Движения одушевленных существ, обмен словами, сами звуки человеческой речи, регулярность и общность самых обыденных привычек, может быть, действительно необходимы, особенно в наше время, для сохранения животной жизни, вслед за привычкой к непомерному благоденствию и к такому же непомерному движению.

Христианство, по-видимому, отлично поняло эти потребности, создав религиозные общины. Иисус, передав мистический экстаз людям пылкого воображения, жившим в странах с благодатным климатом, мог послать анахоретов в Ливан. Служители его, ессеи и терапевты, населили пустынные земли Монашество нашего времени, более слабое телом и духом, вынуждено было создать монастыри и заменить общество, которое оно покидало, обществом избранных душ. И вот роскошь со всеми ее усадями получает доступ даже в монастыри. Об этом следовало бы, вероятно, еще много говорить, если бы мы обсуждали вопрос этот с точки зрения христианской морали. Что до меня, которая всего лишь отщепенка, только что покинувшая, обливаясь кровью, враждебный мир в поисках любого приюта, лишь бы приклонить в нем свою слабую голову, то я так исстрадалась, что могу только быть очарованной красотой этого убежища, куда меня закинула буря. Великолепие этого убранства делает для меня менее ощутимым переход в монастырь из мирской суеты. Искусства, которыми здесь занимаются, мелодичное пение, звучащее в этих стенах, реюющие в воздухе ароматы – все, вплоть до большого числа монахинь и до их богатых одежд, служит зрелищем для моих возбужденных чувств и развеивает зловещую скуку. В настоящем мне больше ничего и не нужно, что же касается будущего, то я пока еще слишком плохо его себе представляю. С каждой минутой, проводимой здесь, я все сильнее предчувствую новую жизнь.

И вместе с тем, если бы любовник Пульхерии оправдал романтические надежды, которые мы с ним когда-то взлелеяли вдвоем, я, как обещала вам вернулась бы к нему, и моя любовь могла бы стереть с него весь позор его заблуждения. Но почему вы надеетесь, что при такой склонности к сладострастию он будет по-настоящему чуток к высокой поэзии, к которой вы хотите его приобщить? Не обольщайтесь поэтам профессиональным присуща одна особая привилегия – они хвалят все то, что красиво, тогда как их сердце остается равнодушным ко всей этой красоте и они даже не пошевелинут пальцем, чтобы защищать то дело, которое превозносят. Вы хорошо знаете, что он отказался от мысли облагородить свою жизнь, посвятив ее делу которому служите вы. Он знает, чем вы заняты, как ни свято вы храните вашу тайну, сердца людей полны сейчас тревоги, сочувствия, стремления узнать правду и им нельзя помешать разгадать то, что таится в вашей душе. Ну что же! Та симпатия, о которой Стенио столько раз говорил мне, была не более чем легковесным словом, всего-навсего аффектацией благородства. Еще недавно он говорил мне, что для того, чтобы увидеть вас хотя бы на миг, для того, чтобы пожать вашу руку, он пожертвовал бы своим лавровым венком поэта, а когда я решила толкнуть его в ваши объятия, он предпочел им объятия Пульхерии. Может быть, вы скажете, что страдание мгновенно закрывает доступ в душу благородным чувствам и высоким идеям? Как же так! Выходит, что душа поэта совсем ослабела, а вместе с тем она сохраняет всю свою силу опьяняясь счастьем! Позор такому страданию!

Но все равно сделайте для него то, что вам приказывает сердце. Только если вы привлечете его в свои ряды, помните о моей воле, Вальмарина: я не хочу быть приманкой, которая заставит его вырваться из затянувшей его трясины. Я не хочу, чтобы обещание моей любви послужило такой низкой цели: вытащить из порока человека, которого не могла спасти честь. И чего же стоила бы тогда вся его преданность вам, если она была бы порождена одною только надеждой – завладеть мною? К тому же, кто знает, не увидит ли уязвленное тщеславие Стенио в победе надо

мной одно лишь презрение и не воспыхает ли он ко мне жаждой мести? Для того чтобы он мог снова стать достойным меня, надо, чтобы он сделал больше, чем я требовала от него еще тогда, когда он не совершил свой проступок. Надо, чтобы в нем самом зародилось желание великих свершений. Тогда я признаю, что ошиблась и что судила его слишком строго, что он заслужил лучшего... И тогда он действительно будет заслуживать, чтобы я его вознаградила.

Но верьте мне, увы, я многое умею угадывать. Я обладаю даром провидения, который всю жизнь был для меня пыткой. Меня считают суровой, потому что я вижу будущее... Меня считают несправедливой, потому что самого незначительного обстоятельства достаточно, чтобы мне все прояснить. Стенио погиб, или, вернее, как я вам уже говорила, Стенио никогда не существовал. Это мы создали его таким в наших мечтах. Это молодой человек, умеющий хорошо говорить... Вот и все.

Обещаю вам еще раз не принимать никакого окончательного решения, прежде чем не дам вам возможность по-настоящему узнать его. Я знаю, что вы будете неотступно оберегать его как провидение. Не забудьте, что, со своей стороны, вы обещали мне что он не будет знать, где я нахожусь, это будет тайной для всех. Я хочу, чтобы весь мир обо мне забыл, я не хочу, чтобы в один прекрасный день Стенио мог прийти сюда во хмелю и нарушил бы мой покой какой-нибудь безумной попыткой.

Уезжайте! Пролейте еще несколько капель чистой крови на бесплодный лавр, растущий на могиле неведомых мучеников! Не бойтесь, что я буду вас жалеть! Вы будете действовать, а я последую примеру Альфьери, который заставлял привязывать себя к стулу чтобы противостоять искушению устремиться к предмету своей недостойной страсти. О жизнь души! О любовь! О величайшее благодеяние господне! Мне придется велеть пригвоздить себя к столбам монастыря, чтобы удержаться от тебя, как от яда! Горе, горе этой дикой половине человеческого рода, которая, для того чтобы овладеть другой, оставила ей только выбор между рабством и самоубийством!»

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

46

Человек, одетый в черное, прибыл утром в город и постучал в ворота дворца Цинцолины.

Лакеи сказали ему, что синьора не может его принять; но он не уходил. Тогда они попытались прогнать его; он с невозмутимым видом поднял свой посох. Его бесстрастное лицо и удивительное упорство испугали суеверных слуг; решив, что это призрак, они расступились перед ним. Маленький паж, сам не свой от волнения, вошел в комнату, где Цинцолина принимала своих гостей.

– Какой-то *abbatone*, какой-то *abbataccio*⁵, – сказал он, – силой ворвался в дом, исколотил железной палкой слуг синьоры, разбил японский фарфор, алебастровые статуи, мозаичные полы, столько всего перепортил и всех проклял.

Услышав это, все гости повскакали с мест (за исключением одного, который спал) и побежали навстречу аббату, чтобы его выгнать. Но Цинцолина, вместо того чтобы, по их примеру, возмутиться наглостью пришельца, откинулась на спинку кресла, покатываясь со смеху. Потом она поднялась, но лишь для того, чтобы попросить гостей успокоиться и вернуться на свои места.

– Примите, примите аббата! – вскричала она. – Люблю священников нетерпимых и гневных, они самые пакостные. Велите провести сюда его преподобие пошире распахнуть перед ним двери и принести кипрского вина.

Паж пошел выполнять ее приказание, и когда двери отворили, все увидели, как в глубине

⁵ аббатишка (итал.)

коридора показалась величественная фигура Тренмора. Но единственный из гостей, который мог бы его узнать и представить другим, спал так крепко, что от всех этих взрывов удивления, гнева и веселья даже ни разу не вздрогнул.

Приглядевшись к мнимому аббату поближе, веселые приятели Цинцолины обнаружили, что его странное одеяние отнюдь не священническая ряса, однако куртизанка, продолжая упорствовать в своем заблуждении, вышла ему навстречу и, стараясь казаться красивой и нежной, как мадонна, сказала:

– Добро пожаловать, аббат, кардинал или сам папа, и поцелуйте меня.

Тренмор поцеловал куртизанку, но с таким равнодушным видом и такими холодными губами, что она отпрянула на несколько шагов и воскликнула не то в гневе, не то в испуге:

– Клянусь золотистыми волосами девы Марии, это поцелуй призрака!

Но ее прежнее бесстыдство вскоре вернулось к ней, и, видя, что Тренмор окидывает гостей мрачным и беспокойным взглядом, она пригласила его занять место рядом с собою.

– А ну-ка, аббатик, посиди со мной, – сказала она, протягивая ему свой серебряный бокал, чеканенный Бенвенуто и украшенный розами, как то было принято на сладострастных оргиях в Греции, – согрей-ка свои холодные губы этим лакрима-криси.

И она лицемерно перекрестилась, произнося имя Спасителя.

– Скажи мне, что привело тебя к нам Или нет лучше не говори, дай мне догадаться самой. Хочешь, тебя оденут в шелковые одежды и волосы твои умастят благовониями? Ты самый красивый аббат, какого я видела в жизни. Но почему же его преподобие на хмурило брови и упорно молчит?

– Простите меня, сударыня, если я плохо отвечаю на ваше гостеприимство, – сказал Тренмор. – Хотя я и пришел сюда пешком, как слуга, вы принимаете меня как принца. Я отнюдь не считаю себя вправе пренебрегать вашей любезностью но у меня нет времени заниматься вами, Пульхерия, я пришел к вам по совершенно другому поводу.

– Пульхерия! – вскричала Цинцолина, вся дрожа. – Кто вы такой, что знаете имя, которым нарекла меня мать? Из какой страны вы явились?

– Из той, где сейчас находится Лелия, – ответил Тренмор, понижая голос.

– Да будет благословенно имя моей сестры, – сказала куртизанка сосредоточенно и серьезно. Потом она развязно добавила:

– Хотя она и завещала мне останки своего любовника.

– Что вы говорите? – в испуге воскликнул Тренмор. – Неужели вы могли уже довести до истощения человека такого юного и крепкого? Неужели вы успели уже погубить это дитя, которое совсем еще не жило?

– Если вы говорите о Стенио, – ответила куртизанка, – то он еще жив.

– Да, месяц-другой еще протянет, – добавил один из гостей, бросая беглый и беззаботный взгляд на диван: там кто-то спал, уткнувшись лицом в подушки.

Тренмор посмотрел в ту сторону. Он увидел человека такого же роста, как Стенио, однако тот был настолько худ, что, казалось, он не пьян, а изможден лихорадкой. Поредевшие тонкие волосы беспорядочными прядями спадали на гладкую белую шею, которая походила бы на женскую, если бы не угловатость линий, выдававших истощенного тяжелым недугом мужчину.

– Так это Стенио? – спросил Тренмор, уводя Пульхерию в амбразуру окна и впиваясь в куртизанку взглядом, от которого она побледнела и задрожала. – Когда-нибудь наступит, может быть, день, Пульхерия, когда господь потребует с вас отчет за одно из самых чистых и прекрасных своих творений. Не страшно вам подумать об этом?

– Разве это моя вина, что Стенио уже изможден, в то время как все мы, что собрались здесь, живя такою же жизнью, молоды и сильны? Неужели вы думаете, что у него нет других любовниц, кроме меня? Неужели, по-вашему, только за моим столом он напивается пьяным? А вы, монсиньор, ибо я узнаю вас по вашим речам и знаю теперь, кто вы такой, разве сами вы не испытали на себе всего безумия распутной жизни, и разве вы не вышли из объятий наслаждений полным сил и веры в грядущее? К тому же, если какая-нибудь женщина и виновата в его гибели, так это Лелия: это она не должна была отпускать его от себя Господь предназначал ему свято

любить одну только женщину, слагать для нее сонеты; живя одинокой и тихой жизнью, мечтать о бурях и о жизни кипучей Живя творениями своей фантазии, он должен был только смотреть издалека на наши оргии, на наше пылкое сладострастие, на все наши шумные бдения, рассказывать о них стихами, но никак не принимать в них участия, не играть в них никакой роли. Разве, призывая его к наслаждению, я советовала ему бросить все остальное? Разве это я уговорила Лелию прогнать его и покинуть? Разве я не знала, что в жизни таких людей, как он, опьянение чувств должно стать только отдыхом, а никак не постоянным времяпрепровождением? Или вы явились сюда, чтобы найти его, увести его от наших празднеств и вернуть к жизни задумчивой и спокойной? Никто из нас не станет этому противиться. Я все еще люблю его, и я буду благодарна вам, если вы спасете его от самого себя, если вы возвратите его Лелии и богу.

– Она права, – вскричал один из гостей Пульхерии, слышавший ее последние слова. – Уведите его от нас! Уведите! Он нагоняет на нас тоску. Он не такой, как все, он всегда нас чуждался; хоть он и разделял наши радости, в душе он, верно, их презирал. Проснись, Стенио, приведи себя в порядок и уходи отсюда.

Но Стенио оставался глух ко всем этим призывам, он продолжал лежать неподвижно среди их оскорбительных криков и до того отупел от сна, что Тренмору стало за него стыдно. Он подошел к нему чтобы его разбудить.

– Смотрите будьте осторожны, – сказали ему пробуждение Стенио всегда бывает страшным никому нельзя касаться его, когда он спит. Однажды он убил свою любимую собаку только за то, что, кинувшись ему на колени, несчастная прервала приятный сон, который он в эту минуту видел. Вчера, когда он уснул, положив локти на стол, и Эмеренсиана хотела поцеловать его, он разбил свой стакан об ее лицо. И рана была так глубока, что рубец, верно, никогда уже не изгладится. Когда слуги не будят его в назначенный час, он их выгоняет вон но когда они будят его он их бьет. В самом деле будьте с ним осторожны в руке у него столовый нож он способен вонзить его вам в грудь.

«О боже, – подумал Тренмор, – как он переменялся! Сон его был чист как у ребенка и, когда рука друга будила его, первый взгляд его светился улыбкой, первым его словом было благословение. Бедный Стенио! Какие страдания должны были потрясти твою душу чтобы она стала такою черствой, как должно было изнечь твоё тело чтобы ты стал таким как сейчас?»

Стоя неподвижно за диваном погруженный в мрачное раздумье, Тренмор смотрел на Стенио. Прерывистое дыхание юноши и его тяжелый сон выдавали его внутреннее волнение. Неожиданно он проснулся и, вскочив на ноги, закричал хриплым и диким голосом. Но увидев накрытый стол и гостей, смотревших на него удивленно и презрительно, он снова сел на диван и, скрестив руки, оглядел собравшихся ослепевшими от сна и винных паров глазами.

– Ну как, Иаков, – насмешливо крикнул молодой Марино, – победил ты духа божия?

– Я боролся с ним, – ответил Стенио, и на лице его появилось какое-то ехидное, злобное выражение, еще более непохожее на то, которое Тренмор привык на нем видеть, – но теперь у меня враг посильнее: я ведь состязаюсь в уме с Марино.

– Лучше всех тот ум, который не позволяет человеку забывать о его положении. Мы собрались здесь, чтобы с бокалами в руках состязаться в присутствии духа в настоящем веселье, в уравновешенности Розы, украшающие бокал Цинцолины, обновлялись три раза, пока мы здесь, и лицо нашей прелестной хозяйки ни разу еще не омрачила складка недовольства или скуки, ибо хорошее настроение ее гостей ни на миг не поколебалось. Только один из нас мог смутить наш праздник, если бы мы заранее не условились, что какой бы он ни был, печальный или веселый, больной или здоровый, спящий или бодрствующий в кругу друзей наслаждения, – Стенио для нас уже ничего не значит, ибо звезда его закатилась, едва успев взойти.

– Чем же виновато это дитя? – спросила Пульхерия. – Он болен и слаб, всю ночь он проспал в углу...

– Всю ночь? – повторил Стенио зевая. – А разве сейчас еще только утро? Когда я увидел зажженные светильники, я решил, что с днем уже все покончено. Как! Не прошло и шести часов с тех пор как вы собрались, а вы удивляетесь, что еще не наскучили друг другу? В самом деле, это удивительно при той компании, которую ваши сиятельства подобрали. Что до меня, то я

продержался бы целую неделю при условии, что мне позволят все время спать.

– А почему бы вам не пойти спать куда-нибудь в другое место? – спросил Цамарелли. – Сиятельный принц Бамбуччи, который умер в прошлом году увенчанный старостью и славой, и который, разумеется, был первым кутилой своего времени, приговорил бы к вечному воздержанию от вина или по меньшей мере каторге того неблагодарного который бы осмелился уснуть у него за столом. Он с полным основанием утверждал, что подлинный эпикуреец должен восстанавливать свои силы размеренной жизнью и что спать перед бутылками с вином столь же постыдно, как и пить одному в кровати. Как бы этот человек презирал тебя, Стенио, если бы он увидел, что ты ищешь наслаждения в усталости, делая все вопреки здравому смыслу, проводишь ночи за писанием стихов, вместо того чтобы спать, и в изнеможении валишься с ног, когда рядом бокалы, полные вина, и женщины с голыми ногами!

То ли Стенио притворился, что не слышит Цамарелли, то ли он так изнемог, что действительно ничего не слышал, лишь при последних словах он едва поднял отяжелевшую голову и сказал:

– А где же они?

– Они пошли переодеться, чтобы казаться нам красивее и моложе – ответил Антонио. – Хочешь, я сейчас же уступлю тебе мое место подле Торкваты? Она явилась сюда по твоей просьбе, но так как, вместо того чтобы говорить с ней, ты проспал всю ночь...

– Ну и правильно, мне-то что! – воскликнул Стенио, стараясь сделать вид, что все эти саркастические реплики ему безразличны. – К тому же меня теперь интересует только любовница Марино. Цинцолина, позовите ее сюда.

– Если бы ты обратился ко мне с этой просьбой до полуночи, – сказал Марино, – я бы показал тебе твое место, но сейчас уже шесть часов утра, а моя любовница все это время пробыла здесь. Бери ее сейчас, если только она захочет.

Цинцолина наклонилась к уху Стенио.

– Принцесса Клавдия, которая без ума от тебя, Стенио, будет здесь через полчаса. Она потихоньку пройдет в садовый павильон. Я слышала, как ты вчера расхваливал ее целомудрие и красоту. Я знала ее тайну, я хотела, чтобы она была счастлива и чтобы Стенио сделался соперником королей.

– Добрая Цинцолина! – воскликнул растроганный Стенио. Потом с прежней небрежностью в голосе он продолжал:

– Я действительно находил ее красивой, но это было вчера... И потом, не надо обладать той, которую любишь, – ты замараешь ее грязью, и тогда больше нечего будет хотеть.

– Вы можете любить Клавдию так, как захотите, – ответила Цинцолина, – становиться перед ней на колени, целовать ей руку, сравнивать ее с ангелами и уйти, наполнив душу идеальной любовью, той, что когда-то подходила к вашим раздумьям, исполненным грусти.

– Нет, не говорите мне больше о ней, – раздраженно ответил Стенио, – велите сказать ей, что я умер. Сейчас я в таком состоянии, что она не понравится мне, и я просто скажу ей, что она совсем потеряла стыд, если могла так позабыть свое положение и честь, решив отдаться распутному шалопаю. Послушай, паж, вот мой кошелек и поди разыщи цыганку, что пела вчера утром у меня под окном.

– Поет она очень хорошо, – с почтительным спокойствием ответил паж, – но ваша милость ее не видели...

– А тебе какое дело! – гневно вскричал Стенио.

– Ваша милость, она ведь ужасна, – сказал паж.

– Тем лучше, – ответил Стенио.

– Она черна как ночь, – сказал паж.

– В таком случае я хочу ее сию же минуту; делай, что я тебе говорю, или я выброшу тебя в окно.

Паж повиновался; но едва только он дошел до двери, как Стенио снова позвал его.

– Нет, не хочу я никаких женщин, – сказал он, – хочу воздуха, хочу света. Почему это мы сидим, запершись в темноте, когда солнце всходит? Это похоже на какое-то проклятие.

– Вы что, еще не проснулись, не видите, что везде горят свечи? – спросил Антонио.

– Велите их унести и открыть ставни, – сказал Стенио бледнея. – Зачем лишать себя свежего воздуха, пения пробудившихся птиц, аромата распускающихся цветов? Какое преступление мы совершили, чтобы среди бела дня нас отлучили от солнца?

– Вот перед нами снова поэт, – сказал Марине, пожав плечами. – Неужели вы не знаете, что при дневном свете пьют только немцы и педанты? Садиться за стол без свеч – это все равно, что танцевать на балу без женщин. К тому же гуляка, умеющий жить, не должен замечать бега часов и тревожиться о том, день или ночь на улице, ложатся ли спать мещане или просыпаются кардиналы.

– Цинцолина, – сказал Стенио презрительным, вызывающим тоном, – мы дышим здесь затхлым воздухом. Это вино, все эти кушанья, все эти пламенеющие напитки – все это напоминает фламандскую таверну. Откройте окна! А не то я опрокину ваши светильники и разобью стекла.

– Уходите отсюда и будете дышать свежим воздухом! – закричали возмущенные гости, поднимаясь с мест.

– Что вы! Неужели вы не видите, что он не может идти! – воскликнула Цинцолина, подбегая к Стенио, который упал без чувств на диван.

Тренмор кинулся, чтобы помочь привести его в сознание, остальные вернулись на свои места.

«Какая жалость, – думалось им, – что Цинцолина, самая сумасбродная из девок, увлеклась этим чахоточным поэтом и принимает так близко к сердцу его причуды!»

– Приди в себя, дитя мое, – говорила Пульхерия, – подыши вот этими эссенциями, обопришь о подоконник, неужели ты не чувствуешь, как свежий ветерок овеивает тебе лицо и треплет твои волосы?

– Я чувствую твои руки, они согревают меня и раздражают, – ответил Стенио, – отними их от моего лица. Уйди от меня, от тебя пахнет мускусом, от тебя слишком пахнет куртизанкой. Вели подать мне ром, я хочу напиться пьяным.

– Стенио, вы безумны и жестоки, – с удивительной мягкостью сказала Цинцолина. – Вот один из ваших лучших друзей, он уже около часу подле вас; вы что, не узнаете его?

– Мой замечательный друг, – сказал Стенио, – сделайте милость, наклонитесь, а то вы, верно, такой высокий, что мне придется встать, чтобы вас увидеть; а я не уверен, что ваша физиономия этого стоит.

– Что же, вы не видите ее или не помните? – спросил Тренмор, продолжая стоять прямо.

Узнав его голос, Стенио вздрогнул.

– Так, значит, на этот раз все уже не сон? – воскликнул он, внезапно поворачиваясь к нему. – Как же мне отличить иллюзию от действительности, если моя жизнь проходит в бреду или во сне? Мне только что снилось, что вы здесь, что вы распеваете самые забавные, самые непристойные стихи... Меня это поразило; но в конце концов разве и я не поражал так же тех, кто меня когда-то знал? А потом мне казалось, что я пробуждался, что я ссорился, а вы все еще были тут. Во всяком случае, я думал, что это ваша тень колыхнется на стене, и я уже больше не знал, во сне это или наяву. Теперь скажите мне, вы действительно Тренмор или вы, как и я, только никому не нужная тень, только призрак, только имя того, что некогда было человеком?

– Что бы там ни было, я никак не тень друга, – ответил Тренмор, – и если я без колебаний узнаю вас, я заслужил, чтобы вы платили мне тем же.

Стенио попробовал пожать ему руку и ответить ему грустной улыбкой; но черты его потеряли свое прежнее простодушие, и даже когда он хотел выразить благодарность, в них сквозили высокомерие и озабоченность. В его глазах без ресниц не было уже той поволоки, которая так идет людям молодым. Они смотрели на него прямо в лицо пристально, грубо и почти вызывающе. Потом молодой человек, боясь, как бы им не овладели воспоминания о былом, увел Тренмора к столу и там с каким-то тайным стыдом, к которому примешивалось дерзкое тщеславие, предложил ему выпить столько же, сколько он сам.

– Как! – воскликнула Цинцолина, и в голосе ее слышался упрек. – Вы хотите ускорить свой

конец? Вы только что совсем умирали, а теперь вот хотите уничтожить все, что осталось от вашей молодости и силы, этими горячительными напитками. О Стенио! Уходите отсюда, уходите вместе с Тренмором! Поберегите себя, иначе вам никогда не поправиться...

– Уйти с Тренмором! – сказал Стенио, – а куда же я с ним уйду? Разве мы можем с ним жить в одних и тех же местах? Разве меня не изгнали с горы Хорив, куда нисходит бог? Разве я не должен провести сорок лет в пустыне, чтобы потомкам моим суждено было когда-нибудь увидеть землю Ханаанскую?

Стенио судорожно сжал бокал. Лицо его подернулось темной тенью. Затем оно вдруг оживилось – на нем выступили красные пятна; это были те лихорадочные пятна, которые видишь на лицах людей, предающихся распутству, и которые так непохожи на нежный и ровный румянец юности.

– Нет, нет, – сказал он, – я не уеду раньше, чем Тренмор не скрепит нашу возобновившуюся дружбу. Если простодушного, доверчивого юноши больше уже не существует, надо, чтобы он по крайней мере увидел отчаянного гуляку, сластолюбивого хлыща, который родился из праха Стенио. Цинцолина, велите наполнить все бокалы. Пью за упокой души Дон Жуана, моего патрона, пью за молодость Тренмора. Только нет, этого мало, пусть наполнят мой бокал жгучими пряностями, пусть положат туда перец, от которого хочется пить, имбирь, сжигающий все внутри, корицу, от которой быстрее бежит по жилам кровь. Пошевеливайся, бесстыдный паж, приготовь мне эту омерзительную смесь, чтобы, она жгла мне язык и возбуждала мозг. Я все равно ее выпью, пусть даже придется заставлять меня пить насильно: я ведь хочу сделаться сумасшедшим и почувствовать себя молодым, хотя бы на час, а потом умереть. Вы увидите, Тренмор, как я бываю красив, когда я пьян, как на меня нисходит божественная поэзия, как небесный огонь зажигает мою мысль, в то время как огонь лихорадки бежит по моим жилам. Скорее, дымящийся бокал на столе. Эй вы, немощные гуляки, бессильные распутники, вызываю вас всех! Вы посмеялись надо мной, так посмотрим, кто из вас теперь окажется крепче меня?

– Кто же избавит нас от этого молокососа, от этого хвастуна? – сказал Антонио, обращаясь к Цамарелли. – Не довольно ли нам переносить его наглые выходки?

– Оставьте его в покое, – ответил Цамарелли, – он сам старается поскорее избавиться нас от своего присутствия.

Стенио залпом выпил пряное вино, и через несколько мгновений у него начались страшные боли, вся его блеклая кожа покрылась красными пятнами. На лбу у него выступил пот, а в глазах появился какой-то жестокий блеск.

– Ты страдаешь, Стенио! – вскричал Марино торжествующе.

– Нет, – ответил Стенио.

– В таком случае спой нам что-нибудь из твоих навеянных вином песен.

– Стенио, вы не можете петь, – сказала Пульхерия, – лучше не пробуйте.

– Я буду петь, – сказал Стенио, – неужели я потерял голос? Неужели я уже больше не тот, кому вы так восторженно аплодировали и чьи песни опьяняли вас сильнее, чем вино?

– Это верно, – вскричали все присутствующие, – пой, Стенио, пой!

И они обступили стол, ибо ни один из них не мог отрицать, что у Стенио есть поэтический дар, и все покорялись ему безраздельно, когда в нем, совсем обессиленном от разгула, вспыхивал вдруг огонь поэзии. Вот что он пел своим изменившимся, но все еще полным тонких модуляций голосом:

Пусть кипрское вино мне обжигает жилы,
Из сердца вытравить хочу я все, чем жил я,
Воспоминаний рой,
Что мучит вдруг тревогой безысходной
И тучей, отраженной в глади водной,
Смущает мой покой!

Забудь, забудь иль вспоминай пореже

О днях, что прожил с головою свежей,
Сотри их след.
Не все ль равно, был трезв иль пьян вчера ты
И знал иль нет, что ждет тебя утрата
Всех безмятежных лет.

– Голос твой слабеет, Стенио! – крикнул Марино с конца стола. – Ты как будто пытаешься сочинить стихи, а они даются тебе с трудом. Помню, было время, когда ты импровизировал по двенадцати строф и не заставлял нас столько времени томиться. Но теперь ты себе изменил, Стенио. И любовница твоя и муза – обе устали от тебя.

Стенио в ответ только презрительно на него посмотрел; потом он ударил по столу кулаком и продолжал более уверенным голосом:

Вина, вина! Пускай разыграют трубы,
Пусть пена через край, пусть погрузятся губы
В светящийся поток,
И пересохнут вновь, и жаждут без предела,
Пусть жарче кровь, пусть иступленной тело,
Ведь во хмелю я – бог.

Хочу, чтоб все дневное умолкало,
Чтоб меркло солнце, чтоб одни бокалы,
Средь вечной тьмы,
Сдвигались, чтоб – от встреч до расставанья
Гревели так, как в бурю в океане Гремят валы.
И если взгляд вопьется в вихри оргий

И губы, задрожав, потянутся в восторге
К другим, спьяна,
Хочу отдаться ласке безотказной
И дев нагих продажные соблазны
Вкусить сполна.

– Стенио, ты бледнеешь! – воскликнул Марино. – Перестань петь, а не то твоя последняя строфа кончится последним вздохом.

– Не смей меня больше перебивать, – воскликнул Стенио в гневе, – не то я заткну тебе глотку стаканом!

Потом он вытер катившийся со лба пот и голосом мужественным и сочным, который контрастировал с его изможденным видом и синеватой бледностью, распространявшейся по разгоряченному лицу, продолжал:

А если бред на дни туманом ляжет
И в смерти светлой мне господь откажет
Оставив искус всех
Безудержных желаний – плоти хилой,
Чтоб скрежетал зубами я без силы,
Былых лишась утех,

Хочу, чтоб, вновь пролившись в избытке,
Часов последних медленную пытку,
Что хитрый судия

Измыслил, ты, вино, мне сократило,
Чтоб плоть в объятьях сомкнутых остыла
И бога проклинал я!

Окончив эту фразу, Стенио совсем посинел, руки его задрожали, и он выронил бокал, который собирался поднести к губам. Он попытался окинуть торжествующим взглядом своих собутыльников, пораженных этой храбростью и восхищенных мужественными звуками, которые он еще сумел извлечь из своей надорванной груди. Но тело его больше не могло уже выдержать этого насильственного единоборства с волей. Оно ослабело, и Стенио, охваченный снова прострацией, упал на пол без чувств; падая, он ударился головой о кресло Пульхерии, и платье куртизанки обагрилось его кровью. На крики Цинцолины сбежались другие женщины. Видя, что они возвращаются, блистая драгоценностями и красотой, все позабыли о Стенио. Пульхерия с помощью своего пажа и Тренмора перенесла Стенио в сад и уложила в тени деревьев возле фонтана, воды которого лились в бассейн великолепного каррарского мрамора.

– Оставьте меня одного с ним, – сказал Тренмор куртизанке, – теперь он принадлежит только мне.

Цинцолина, по натуре существо доброе и беззаботное, запечатлев поцелуй на холодных губах Стенио, поручила его богу и Тренмору; уходя, она глубоко вздохнула, после чего вернулась на пиршество, где теперь стало еще веселее и шумнее.

– В другой раз, – сказал Марино, протягивая Цинцолине бокал с вином, – ты уже, надеюсь, не станешь давать этому пропойце Стенио пить из твоего бокала. Это работа Челлини; хорошо еще, что его не повредили, когда уронили на пол.

47. КЛАВДИЯ

Придя в себя, Стенио презрительно посмотрел на хлопотавшего возле него друга.

– Почему мы здесь одни? – спросил он. – Почему нас выгнали из дома, как прокляженных?

– Вам не следует больше возвращаться на эту оргию, – сказал Тренмор, – потому что сами собутыльники ваши презирают вас и гонят вон. Вы все потеряли, все погубили; вы забыли бога, вы надругались над всем человеческим. Вам остались только узы дружбы, она-то вас всегда приютит.

– А чем мне поможет дружба? – с горечью сказал Стенио. – Разве не она первая устала от меня и объявила, что ничего не может для меня сделать?

– Это вы сами ее оттолкнули; это вы презрели ее благодеяния и от них отказались. Несчастное дитя! Вернитесь к нам, вернитесь к себе самому. Лелия зовет вас; если вы признаете свои заблуждения, Лелия о них позабудет...

– Оставьте меня! – гневно вскричал Стенио. – Никогда не произносите при мне имени этой женщины. Это ее проклятое влияние растлило мои молодые годы; это ее дьявольская ирония открыла мне глаза и показала жизнь во всей ее наготу, во всем уродстве. Не говорите мне больше о Лелии: я больше ее не знаю, я позабыл, как она выглядит. Я далее не знаю, любил ли я ее когда-нибудь. Сто лет прошло с тех пор, как я ее оставил. Если бы я теперь ее увидел, я бы расхохотался от жалости, стоило бы мне только вспомнить о том, что за это время я обладал сотнею женщин, более красивых, более юных, более чистых и более пылких, чем она, и что я досыта испил с ними наслаждения. Для чего же мне теперь гнуть колени перед этим мраморным идолом? Даже если бы у меня был пламенный взгляд Пигмалиона и добрая воля богов, чтобы оживить этот мрамор, на что он мне нужен? Что может она мне дать такого, чего нет у других? Было время, когда я верил в бесконечные радости, в неземные наслаждения. В ее объятиях мечтал я о высшем блаженстве, об экстазе ангелов у ног всевышнего. Но сегодня я больше не верю ни в небеса, ни в ангелов, ни в бога, ни в Лелию. Я познал человеческие радости; я уже больше не могу их переоценить. Это Лелия позаботилась о том, чтобы меня просветить. Теперь я достаточно всего знаю, знаю, может быть, больше, чем она сама! Пусть она лучше об этом не напоминает, не то я отомщу ей за все то зло, которое она мне причинила.

– Горечь твоя успокаивает меня, гнев твой мне нравится, – сказал Тренмор. – Я боялся, что ты будешь бесчувствен к прошлому. Теперь я вижу, что оно глубоко тебя волнует и что сопротивление Лелии осталось у тебя в памяти, как незажившая рана. Да будет благословен господь! Стенио потерял только здоровье; душа его полна сил и надежд на будущее.

– Блистательный философ, насмешливый стоик, – вскричал Стенио, приходя в ярость, – вы что, явились сюда, чтобы отравить своими оскорблениями мои последние часы, или по глупости своей вы находите удовольствие в том, чтобы бесстрастным взором смотреть на мои страдания? Вернитесь туда, откуда пришли, и дайте мне умереть среди суеты и разгула. Не презирайте последних усилий души, может быть и раздавленной своими заблуждениями, но зато не униженной ничьим сочувствием.

Тренмор опустил голову и молчал. Он подыскивал слова, которые могли бы смягчить горечь этой неистовой гордыни, и сердце его наполнилось грустью. Его суровое лицо потеряло привычное спокойствие, и слезы выступили у него на глазах.

Стенио заметил их и был растроган до глубины души. Их взгляды встретились; в глазах Тренмора было столько страдания, что Стенио, почувствовав себя побежденным, проникся жалостью к самому себе. Насмешка и равнодушие, которые окружали его уже давно, приучили его краснеть за свои страдания. Когда он почувствовал, что дружеское участие смягчает ему сердце, он в первую минуту не хотел этому верить, а потом, окончательно покоровшись, порывисто кинулся в объятия Тренмора. Но тут же он устыдился своего порыва, а вскочив, увидел женщину, закутанную в венецианский плащ, – проскользнув мимо него, она укрылась в тени беседки. Это была принцесса Клавдия, в сопровождении одной из своих приближенных направлявшаяся в какой-то садовый павильон.

– Ну конечно, – сказал Стенио, поправляя воротник батистовой рубашки и закалывая его бриллиантовым аграфом, – я не могу допустить, чтобы бедное дитя томилось по мне, и не пожалеть ее. Цинцолина, верно, забыла, что эта девочка должна прийти. Долг чести требует, чтобы я первым пришел на свидание.

В ту же минуту Стенио повернул голову туда, куда шла Клавдия. Его измятое лицо сразу помолодело. Грудь его вздымалась от желаний. Он вырвал руку из руки Тренмора и быстро побежал к павильону, стараясь опередить Клавдию; но вскоре он замедлил шаг и со спокойной небрежностью побрел к своей цели.

Он подошел к дверям павильона одновременно с ней и, задышав от усталости, облокотился о перила крыльца. Юная принцесса, вся красная от смущения и дрожавшая от радости, решила, что поэт, предмет ее любви, охвачен волнением и смущен так же, как она. Но Стенио, немного оживившийся, завидев блеск ее черных глаз, предложил ей руку, чтобы войти вместе с нею, и в движениях его была уверенность герольда и церемонная вежливость камергера.

Когда они остались одни и когда она села, лицо ее все еще пылало и она продолжала дрожать. Стенио какое-то время в молчании на нее смотрел. Принцесса Клавдия была еще очень юна; формы ее тела, правда, уже определились, но еще не окончательно развились; непомерно длинные ресницы, желтизна кожи, преждевременно ставшей гладкой и шелковистой, едва заметные синие круги вокруг темных глаз, болезненный и утомленный вид – все говорило о преждевременно наступившей зрелости, о необузданном воображении. Несмотря на все эти признаки, указывавшие на горячность ее натуры и предвещавшие ей будущее, полное гроз, Клавдия сохранила еще все стыдливое очарование юности. Волнение свое она не умела скрыть, но вместе с тем была не в силах еще до конца обнаружить. Ее дрожащие губы, казалось, звали к поцелую, но глаза были влажны от слез; ее не окончательно еще установившийся голос, казалось, просил пощады и покровительства; желание и испуг потрясали все это хрупкое существо, в котором стыдливое целомудрие смешивалось с огнем страсти.

Охваченный восхищением, Стенио сначала подивился в душе, что ему досталось такое великое сокровище. В первый раз ему приходилось видеть принцессу так близко и уделять ей столько внимания. Она оказалась гораздо красивее и соблазнительнее, чем он ожидал. Но его угасшие и пресытившиеся чувства не могли уже больше обмануть его разум, скептический и холодный. В одно мгновение он рассмотрел Клавдию и взглядом своим овладел ею всей, начиная

от пышных волос, собранных жемчужною сеткой, и кончая маленькими ножками в шелковых туфельках. Мысленно он представил себе всю ее будущую жизнь, начиная от этой первой причуды, бросившей ее в объятия бедного поэта, и кончая отвратительными ласками и развратом высокопоставленной старости. Огорченный, испуганный, а главное, охваченный беспредельным отвращением, Стенио смотрел на нее странным взглядом и не мог вымолвить ни слова. Когда он заметил, в какое глупое положение его ставит задумчивость, он попытался подойти к ней и что-то сказать. Но ему никогда еще не удавалось притвориться влюбленным, и он спросил с любопытством и вместе с тем строго, по-отечески беря ее за руку:

– Сколько же вам лет?

– Четырнадцать, – ответила юная принцесса, растерянная и совсем оторопевшая от удивления, огорчения, гнева и страха.

– Ну так вот, дитя мое, – сказал Стенио, – попроси у своего духовника, чтобы он отпустил тебе твой грех, который заключается в том, что ты пришла сюда, и возблаговари господу за то, что на целый год, то есть на целое столетие, он опоздал связать твою судьбу с судьбой Стенио.

Не успел он договорить эти слова, как дуэнья принцессы, оставшаяся в амбразуре окна, чтобы наблюдать за поведением обоих любовников, бросилась к ним, и, приняв в свои объятия плачущую Клавдию, стала осыпать Стенио упреками.

– Наглец! – вскричала она. – Так-то вы принимаете милость, которую вам оказывает ее высочество, удостоившая оказать вам честь своим взглядом? На колени, подлый, на колени! Если ваша грубая душа не растрогана такой редкостной красотой, которой нет равной во всей вселенной, пусть хоть ваша наглость уступит место уважению, которое вам надлежит воздать дочери Бамбуччи.

– Если дочь Бамбуччи соизволила опуститься до меня, – ответил Стенио, – она, должно быть, уже заранее смирилась с тем, чтобы я обошелся с нею как с равной. Если сейчас она в этом раскаивается, то тем лучше для нее. К тому же это единственное наказание, которое она понесет за свое неблагоразумие, но она может похвастаться тем, что пресвятая дева привела ее сюда наутро после оргии, а не накануне ее. Женщины, выслушайте меня, выслушайте обе слова человека, которого близость смерти делает мудрым. Выслушайте вы, дуэнья с грязной душонкой и подлыми замашками, и вы, юная девушка с преждевременно развившимися страстями, с роковой и опасной красотой, выслушайте меня! И прежде всего вы, титулованная куртизанка, маркиза, в чьем сердце прячется столько же пороков, сколько морщин на лице, вы должны быть благодарны беззаботности Стенио: не пройдет и часа, как она изгладит из его памяти все, что сейчас случилось; если бы не она, вы были бы разоблачены перед всем двором и изгнаны, как вы того заслужили, семьей, хрупкий отпрыск которой вы собрались погубить. Убирайтесь отсюда, распутство и корысть, угодничество и низкопоклонство, предательство, проказа всех наций, позор и мерзость человеческого рода! А ты, несчастное дитя, – добавил он, вырывая Клавдию из объятий дуэньи и вытаскивая ее к свету, побагровевшую от отчаяния и стыда, – слушай меня внимательно и если когда-нибудь, занесенная далеко судьбой и страстями, ты в ужасе оглянешься назад на лучшие годы жизни, которые ты погубила, на твое поруганное целомудрие, вспомни о Стенио и остановись на краю пропасти. Взгляни на меня, Клавдия, взгляни прямо, без страха и волнения, на этого человека – тебе кажется, что ты им увлеклась, но я уверен, что ты ни разу на него даже не взглянула. В твоём возрасте сердце бывает взволнованно и нетерпеливо. Оно призывает другое, находит в нем отклик, оно рискует, доверяется, отдается. Но горе тем, кто злоупотребит невинностью и чистотой! Вот ты, Клавдия, слышала стихи человека, которого считала молодым, красивым, страстным. Взгляни же на него, бедная Клавдия, вот тот призрак, который ты любила; вот его облысевшая голова, его костлявые руки, его потухшие глаза, его побелевшие губы. Приложи руку к этому истрепанному сердцу, сосчитай этот медленный, слабый пульс двадцатилетнего старика. Взгляни на эти седеющие волосы – они обрамляют лицо, на котором едва только пробился юношеский пушок; теперь скажи мне, это ли тот Стенио, о котором ты мечтала, это ли тот благоговейный поэт, это ли вдохновенный сильф, являвшийся тебе в твоих небесных видениях, когда ты на закате пела его гимны под звуки арфы? Если бы ты бросила тогда мимолетный взгляд на ступеньки твоего дворца, ты могла бы увидеть тот бледный призрак, который

говорит с тобою теперь, — он сидел на одном из мраморных львов, охраняющих твои двери. Ты бы увидела его таким, как сейчас, увядшим, измученным, равнодушным к твоей ангельской красоте, к твоему мелодичному голосу, интересующимся только тем, чтобы узнать, как четырнадцатилетняя принцесса фразирует мелодии, вдохновленные хмелем, написанные в часы разгула. Но ты его не видела, Клавдия, к счастью для тебя, глаза твои искали его на небе, там, где его не было. Вера твоя наделяла его крыльями, в то время как он ползал у твоих ног вместе с разными лаццарони, спящими у порога твоей виллы. Знай, девочка, так будет со всеми твоими иллюзиями, со всеми твоими влюбленностями. Сохрани же воспоминание об этом обмане, если ты хочешь сохранить молодость, красоту и душевные силы; или, если ты еще можешь после этого надеяться и верить, не спеши давать выход своему нетерпению, храни и сдерживай в своей пылкой душе желание, продли, сколько можно, это ослепление надеждой, эту молодость сердца, которая пролетает за один день и никогда больше не возвращается. Разумно распоряжайся сокровищами твоих иллюзий, зорко их стереги и бережно трать; ибо в тот день, когда ты захочешь поддаться вихрю мыслей, мучительному томлению чувств, ты увидишь, что твой кумир из золота и бриллиантов превратился в глиняного божка; в объятиях своих ты будешь сжимать только призрак, в котором нет ни тепла, ни жизни. Напрасно ты будешь гнаться за мечтой своей юности; задыхаясь от безумного бега, ты всегда будешь догонять только тень и скоро упадешь измученная, одна, окруженная целым роем угрызений совести, изголодавшаяся на лоне пресыщения, одряхлевшая и мертвая, как Стенио, не проживши и одного дня.

С этими словами он вышел из павильона и стал искать Тренмора. Но тот схватил его за руку, как только поэт спустился с крыльца. Через открытое окно он все видел и слышал.

— Стенио, — сказал он, — слезы, которые я только что пролил, были оскорблением, скорбь моя была кошунством. Вы несчастны и опустошены, но вы, сын мой, вы еще молоды и чисты.

— Тренмор, — воскликнул Стенио с глубоким презрением и горьким смехом, — не приходится сомневаться, что вы сошли с ума; неужели вы не видите, что вся эта мораль, которую я здесь выставил напоказ, всего-навсего жалкая комедия старого солдата, впавшего в детство: он сооружает крепости из песка и воображает, что защитил себя от мнимых врагов. Неужели вы не понимаете, что я люблю добродетель, наподобие того как старые распутники любят молоденьких девушек, и что я восхваляю прелести, наслаждаться которыми больше не в силах? Неужели вы думаете, наивный младенец, по-нелепому добродетельный мечтатель, что я бы в самом деле пощадил эту девицу, если бы излишества в наслаждениях не сделали меня бессильным?

Договорив эти слова тоном, полным горечи и цинизма, Стенио впал в глубокую задумчивость; Тренмор увел его тогда далеко из города, а он шел, даже не замечая, куда его ведут.

48. ВЕНТА

Хоть Тренмор и любил ходить пешком, ему пришлось на этот раз нанять карету, так как силы Стенио быстро иссякли. Ехали они не спеша и вволю любовались красотами природы. Стенио был спокоен и молчалив. Он ни разу даже не спросил, куда и зачем они едут. Он давал себя увезти с той апатией, какая бывает у военнопленных, и его безразличие к будущему, должно быть, позволяло ему сполна насладиться настоящим. Он то и дело с восхищением смотрел на чарующие пейзажи этой необыкновенной страны и не раз просил Тренмора останавливать лошадей, чтобы подняться на какую-нибудь гору или просто посидеть у берега реки, где он отдавался порывам восторга и поэтического вдохновения. В такие минуты он снова глубоко чувствовал природу и находил силы прославлять ее своими стихами.

Но несмотря на эти светлые промежутки, приносившие Стенио пробуждение и обновление, Тренмор замечал в своем юном друге и неизгладимые следы разгула. В прежнее время его деятельная и всегда ясная мысль вбирала в себя все вокруг и наделяла цветом, формой и жизнью все предметы внешнего мира; теперь Стенио чаще всего пребывал в состоянии какого-то сладостного и вместе с тем мрачного отупения. Можно было подумать, что он считает ниже своего достоинства чем-то занимать свой ум, однако на самом деле он был уже не в состоянии с ним совладать. Нередко он пытался еще вызвать к нему, но напрасно: мысли его больше уже не

слушались. Тогда он делал вид, что презирает способности, которые утратил, однако в его напускном веселье сквозила горечь, и можно было угадать, что он раздражен и страдает. Он втайне старался обуздать свою непокорную память, как-нибудь подстегнуть разленившееся воображение, прищипорить свой бесчувственный и усталый талант – но все было напрасно: совершенно истерзанный, он снова предавался хаосу бессмысленных и бесцельных мечтаний. Мысли проносились в его мозгу, бессвязные, фантастические, неуловимые, как те воображаемые искорки, которые, как нам чудится, пляшут во мраке; они льются потоками и все множатся, чтобы потом исчезнуть навсегда в вечной ночи небытия.

Однажды утром, проснувшись на ферме, где они ночевали, Стенио увидел, что остался один. Его спутник исчез. Он оставил вместо себя юного Эдмео, которого Стенио на этот раз принял совсем иначе, чем во время их последней встречи около Монте-Розы. В словах и мыслях поэта вместо прежней дружеской откровенности была теперь горькая насмешка. Впрочем, сердце Стенио не было развращено, и, видя, сколько горя он причиняет своему другу, он сделал над собой усилие, чтобы стать серьезнее; но тут он вдруг впал в мрачное раздумье и последовал за Эдмео, не расспрашивая его о том, куда они направляются. Целый день они шли по безлюдным густым лесам, а к вечеру остановились возле старинной, средневековой башенки, где давно, должно быть, жили только ужи да совы. Это было дикое и живописное место. Строгие архитектурные формы этого здания, теперь уже почти превратившегося в развалины, гармонировали с окружающими его дикими отвесными скалами. На небе светила бледная луна, и облака, нанесенные осенним ветром на ее мертвенный лик, принимали причудливые очертания, как и тот мрачный пейзаж, на который они бросали свои длинные скользящие тени. Сухой и отрывистый звук потока, падавшего на камни, походил на дьявольский хохот. Стенио был взволнован и, выйдя вдруг из состояния апатии, внезапно остановил Эдмео в ту минуту, когда они переходили через подъемный мост.

– Вид этих мест доставляет мне страдание, – сказал он, – мне кажется, что я вхожу в тюрьму. Где мы находимся?

– У Вальмарины, – ответил Эдмео, увлекая его за собой.

Стенио вздрогнул, услышав это имя; он никогда не мог слышать его без волнения; но он тут же покраснел, устыдившись своего простодушия, от которого все еще не избавился.

– Год тому назад я был бы очень рад побывать здесь, – сказал он своему другу, – но сейчас все это мне кажется довольно нелепым.

– Может быть, ты сразу же изменишь свое мнение, – спокойно ответил Эдмео; и он провел его по большим дворам, темным и безмолвным, к длинной галерее, где было так же темно и тихо. Потом, побродив какое-то время по лабиринту больших холодных и заброшенных зал, едва освещенных косым лучом луны, они остановились перед дверью, украшенной старинными гербовыми щитами, которые едва заметно светились в темноте. Эдмео несколько раз громко постучал. Он осторожно шепнул в небольшое окошечко пароль, получил ответ, и внезапно обе створки торжественно распахнулись: Стенио и его друг вошли в огромную залу, отделанную в стиле рыцарских времен, с роскошью, которой время придало какую-то особую строгость и которая при свете множества свечей выглядела еще суровее.

Там сидели люди, которых Стенио вначале принял за призраков, потому что ни один из них не пошевелился и не проронил ни слова, а потом – за сумасшедших, потому что они выполняли какой-то странный ритуал, исполняя его в соответствии с некими догматами, высокими и вместе с тем ужасными, которых Стенио был не в силах понять. Вслед за Эдмео он вошел в комнату посвящений. Он никогда никому не рассказывал, что ему там открылось. Все, что он увидел, поразило и его воображение, где еще теплилась поэзия, и сердце, в котором не успели заглухнуть высокие чувства – преданность, справедливость и прямоту, – и в эту минуту он показал себя достойным необыкновенного доверия, оказанного ему там, и благородной готовностью, с какой он дал обет, и самой искренней радостью, которую при этом испытал.

Однако когда встал вопрос о том, чтобы принять его в число избранных, несколько голосов высказалось против, и то были отнюдь не голоса молодых иностранцев, выделявшихся среди прочих таинственностью своих речей и своими крайними взглядами. То были голоса людей, ко-

торых Стенио склонен был считать более снисходительными к нему, ибо все это были громкие имена, люди богатые, щедрые и привыкшие жить на широкую ногу. То были князья, блестящие аристократы, весь цвет золотой молодежи этой страны. Но если они и вели, подобно Стенио, распутную жизнь и предавались опасным наслаждениям, если у многих из них под их священными доспехами и скрывались пятна страшной проказы, которая заражает счастливых этого века, они по крайней мере часто смывали эту грязь великодушными жертвами, а Стенио, тот не мог привести никаких доказательств своего героизма. Все это были люди, которых он часто встречал на празднествах, в театре и, может быть, даже в будуаре Цинцолины, потому что иные из них были когда-то ее любовниками и подавали пример в страшном искусстве прожигать жизнь; именно поэтому, как ему казалось, они должны были стать его покровителями и ответчиками за него теперь, когда речь шла о его спасении. Их недоверие стало для него суровым наказанием, и гордость его была уязвлена ведь, подражая им в распутстве, он видел только дурную их сторону и даже не подозревал о существовании другой, поистине высокой. Они дали ему это почувствовать, и на мгновение лицо его зарделось краской спасительного стыда. Он даже едва не рассердился на них и не ушел, наговорив им колкостей, когда его спросили, кто его *крестный отец*, и он увидел, что остался среди них один. Эдмео был слишком молод, чтобы взять на себя эту высокую роль. Тогда появился человек, прятаящий от всех свое лицо, и подошел к Стенио так, что тот один только мог узнать его: это был Тренмор; он пришел, чтобы поддержать его и чтобы за него поручиться – состоянием за состояние, жизнью за жизнь и честью за честь.

В присутствии стольких знаменитостей, избранников различных наций, собравшихся во имя высокого братства, Стенио, движимый тайным и трусливым тщеславием, хотел было уже отказаться от покровительства Тренмора. Он чувствовал себя оскорбленным высказанными на его счет подозрениями каково же будет его смущение, если хотя бы один голос поднимется, чтобы разоблачить в его единственном покровителе бывшего каторжника? Он заколебался, побледнел, растерянно посмотрел вокруг; но тут он увидел, как все головы склонились и все руки протянулись вперед в знак согласия: Тренмор открыл лицо. Он просил, чтобы неопита избавили от всех установленных испытаний и чтобы, ввиду того что *предприятие близится к концу*, Стенио приняли, положившись на его, Тренмора, честное слово.

В ту же минуту поэта допустили принести обет, и он был принят. Ради него отказались от всех общепризнанных правил, пренебрегли статутом; его, никому не известного и не имевшего никаких заслуг, приняли по поручительству человека, которому никто не мог ни возразить, ни отказать.

– Отчего же этот человек получил такую власть над умами всех остальных?

– спросил Стенио, обратившись после церемонии принесения клятвы к стоявшему возле него юноше. – Отчего это все собравшиеся так беспрекословно ему повинуются? Что у него за высокая должность?

Молодой человек посмотрел на Стенио с величайшим удивлением и, обернувшись к своим товарищам, воскликнул:

– Боже ты мой! Это же ни на что не похоже – крестник Вальмарины не знает Вальмарину!

– Как, это Вальмарина, он, Тренмор? – вскричал Стенио.

– О, Тренмор, Ансельм, Марио, зовите его как хотите, – ответили новые братья Стенио. – Вы же знаете, что, отправляясь в путешествие, он каждый раз меняет имя, ибо враги наши следят за ним. Но он умеет укрыться от них, он очень осторожен и ловок. Часто он, незамеченный, пробирается по самым опасным местам, и в ту минуту, когда его уже собираются схватить, оказывается где-нибудь совсем далеко и обнаруживает себя только тогда, когда нагнать его уже невозможно. Нигде не знают его настоящего имени, даже здесь. Среди нас он называет себя Вальмариной, но никто не знает, ни в какой семье он родился, ни где и как прошли его молодые годы. Мы знаем только то, чего он не в состоянии от нас скрыть: что он самый ревностный, самый благородный, самый преданный, самый храбрый и самый скромный из нас всех.

– И самый одаренный! – закричало несколько голосов. – Провидение зорко его охраняет – оно спасает его от всех опасностей и делает его неуязвимым для всех потрясений духа и тела. Это он одним из первых сделался здесь апостолом и пропагандистом веры, которую вы только

что приняли, и это он оказал важнейшие услуги нашему святому делу. Невозможно рассказать, сколько он нам принес пользы; нельзя даже рассказать и о половине его благородных поступков, – он прячет свои добрые дела столь же ревностно, сколь другой старался бы их расславить. Честь и хвала тебе, поэт Стенио, если Вальмарина, которого ты даже не знаешь, счел тебя достойным такого доверия и с таким уважением отнесся к тебе!

Разговор прервали старейшины. Всем посвященным предложили подать свои голоса для выбора верховного председателя. Старинный бронзовый шлем, какие в былые времена носили рыцари, снятый с одного из трофеев, украшавших стену, служил урной, в которую складывали билеты; наконец, после всех испытаний, совершавшихся как священнодействие, было провозглашено имя Вальмарины, встреченное всеобщим восторгом собравшихся.

Тогда Вальмарина поднялся и сказал:

– Я очень благодарен вам за все эти изъявления доверия и любви; но я не имею права на такое уважение. Для того чтобы управлять вами, нужен человек, вся жизнь которого была бы безукоризненной, а моя молодость не была чиста. Уже в трех сообществах я отказался от той самой чести, которой вы меня удостоили. Я отказываюсь от нее и сейчас. Грехи мои не искуплены.

Тогда самый почтенный и уважаемый из тех, кого на этом собрании именовали отцами и наставниками, поднялся и ответил:

– Вальмарина, мои седые волосы и рубцы от ран у меня на лбу дают мне право не соглашаться с тобой. Твой упрямый отказ – грех более великий, чем те, в которых ты можешь себя обвинить. Пусть никто из нас не знает, откуда ты родом и какую веру ты исповедуешь, ты борешься заодно с нами против первосвященников и фарисеев, и мы видим, что ты живешь как истый христианин; упорство твое поражает, преисполняет уважения к тебе, и никто из нас никогда не позволил себе спрашивать тебя о принципах, лежащих в основе твоих поступков. Сейчас, однако, я считаю себя вправе утверждать, что твое смирение граничит с фанатизмом. Ты показал себя храбрым воином; не опускай же сейчас голову, как монах. Ты ведь уже пострадал за наше дело, ты томился в изгнании, ты выдержал пытку тюрем, ты поступился всем своим богатством, ты, без сомнения, умертвил в себе все земные чувства, ибо живешь один, суровою жизнью, какой жили святые былых времен. Поэтому не казни себя, как кающийся грешник. Если в молодые годы у тебя и были грехи, я уверен, что среди нас нет ни одного, кто бы не был готов простить их, ибо нет безгрешных среди нас, и ни один не может похвастать тем, что искупил свои грехи поступками столь великими, как те, которые совершил ты. От имени этого собрания и в силу власти, которую мне дают мой возраст и полномочия, присвоенные мне в этих стенах, я требую, чтобы ты принял это высокое звание.

Раздались возгласы бурного одобрения.

Вальмарина задумался; он был бледен и весь помрачнел.

– Отец, ты напрасно терзаешь меня, – сказал он, когда волнение улеглось. – Я не могу подчиниться власти, которую уважаю в твоем лице. Я не могу уступить тому чувству симпатии, которым братья мои делают мне честь. Я готов скорее покинуть совсем это общество и идти сражаться за наше дело в одиночестве, чем принять здесь какую-то власть, звание, словом – быть чем-то отмеченным среди остальных. Я не католик, ибо я дал такой обет, от которого никто из последователей Христа меня не может избавить!

– Ну, так мы разругим его шпагой, и ты будешь свободен. Человеку не дано знать, какие у него обязанности перед грядущим. Сегодня тот или иной обет кажется ему священным и достойным, а завтра он может стать наивным или преступным. Нередко из милосердия и из здравого смысла надо бывает от чего-то отречься, и было бы безумием или даже трусостью упорствовать в каком-либо бессмысленном решении. Ты доказал, что нужен нам; теперь, если ты уйдешь от нас, нам может быть только хуже. Подумай об этом... Если бы мы не были уверены в твоей добродетели так же, как в сиянии солнца, если бы ты не был нам дорог, как собственное дитя, твое теперешнее поведение можно было бы рассматривать как отступничество от нашего дела или как неприязнь к нам.

– Ну что же, думайте как хотите! – ответил Тренмор резко и даже не поднимаясь с места. Все в удивлении переглянулись между собой. Никогда еще его спокойное лицо не бывало омра-

чено такой тучей, никогда еще брови его так не хмурились в гневе, никогда холодный пот не выступал на его висках и никогда его губы не бледнели и не дрожали в такой мучительной тоске.

Разгорелся жестокий спор: одни обвиняли принца *** в том, что он позволил себе высказать подозрение, оскорбительное для Тренмора; другие защищали точку зрения принца и настаивали на ней. Несколько человек считало, что доводы Вальмарины следует признать уважительными, большинство же было за то, чтобы уговорить его от них отказаться.

Вальмарина положил конец этим пререканиям и, поднявшись, попросил слова. Тотчас же воцарилось молчание.

– Вы меня принуждаете, – сказал он мрачно, – я повинуюсь неумолимой воле судьбы, которую я услышал из уст этого старика. Но, господь мне свидетель, тяжелым трудом и великим страданием я купил себе право молчать и избегнуть позора, в который вы меня повергаете. Но так уж заведено в этом безжалостном обществе: нет спасения от приговоров, однажды произнесенных людьми; нет сколько-нибудь действенного раскаяния; нет возможности все заглазить. Вы мечтали о справедливости, и вы же придумали наказание: вы забыли о восстановлении прежнего, ибо вы не считали, что человек исправим, и вы вынесли ему такой приговор, какой даже господь в своем совершенстве и всемогуществе не чувствовал бы себя вправе вынести человеческой слабости!..

– Проклинай общество, которое покровительствует тиранам и порабощает людей свободных, – перебил его один из старейшин, – но не оскорбляй реформаторов, которых ты сам же созвал сюда, чтобы уничтожить зло и воцарить на земле добро. Очень может быть, что, рожденные в этом развратном обществе, мы сохранили помимо воли кое-какие из тех же самых предрассудков, которые собираемся искоренять. Но знай, у нас есть сила побороть их, когда речь идет о том, чтобы признать выдающиеся заслуги вроде твоих. Можешь хранить свою тайну, мы не хотим ее знать.

Снова послышались крики одобрения.

– И все же, – продолжал кающийся, – подозрительность закралась в ваши души, и если я буду по-прежнему хранить эту тайну, червь сомнения может сделать свое разрушительное дело. Увы! Это так: ни один человек не вправе иметь тайн, и настала пора, когда я должен доверить вам свою. Я думал, что горькая чаша минует меня; я ошибся. Дело, к которому причастны мы все, обязывает меня открыто доказать вам, что я недостоем этой чести; иначе те из вас, которые больше всего меня уважают, вообразят, что я считаю себя выше этого дела и что, обуреваемый фанатической гордостью, я презираю славу людскую. Нет, я не презираю ее, ибо не вправе ее презирать. Я смотрю на нее как на святой и желанный венец, венец героя и мученика. Только мои руки выпачканы в грязи и не могут держать пальмовую ветвь. Я не стану ждать, когда люди вынесут мне этот приговор. Я должен вынести себе его сам! Не потому, что я боюсь людей: приговор самых великих и самых чистых из вас меня не страшит, ибо в сердце своем я искренен, а преступление уже искуплено. Но я уважаю наше дело, и я боюсь, что, став во главе его, я могу принести ему вред. Мое назначение не в том, чтобы трудиться ради земной награды. Вы должны понять, что есть грехи, отпустить которые может только небо, несчастья, от которых избавляет одна только смерть... Впрочем, судите сами... Десять лет тому назад, зимним вечером, владелец этого замка принял несчастного.

– Несчастного, который один брел усталый по нашим лесам, – прервал его Эдмео, вскочив с места. Он говорил вдохновенно и заразил своим энтузиазмом собравшихся; все стали слушать не Вальмарину, а его. – Владелец этого замка был мой дядя, как вы все знаете – один из самых богатых людей этого края. Это был философ, человек большого сердца и больших дерзаний, друг юности Альфьери, ученик Руссо, поборник свободы, лелеявший одну только мысль, одну надежду – увидеть родину снова независимой и единой. Среди обывателей он слыл человеком экзальтированным, безумцем. Он пустил к себе изгнанника, постучавшего в ворота, усадил его с собой за стол и выслушал его, обогрев у домашнего очага, старинной домашней святыни, символа нерушимого гостеприимства. Он узнал все его тайны и схоронил их в своем сердце: он беседовал с ним о священных принципах морали и человеческой справедливости, договорившись до великих истоков всего, до сущности божественной справедливости и доброты. Зимнее солнце,

бледное и позднее, застало их у очага – они продолжали свой разговор и не собирались еще расставаться. Изгнанник хотел, правда, уйти, но хозяин дома его удержал; так было и в последующие дни; несмотря на сведавшую его печаль и великую скромность, изгнанник не ушел. Дядя мой воспротивился этому и был неумолим.

Три месяца спустя знатный вельможа умер и завещал свои замки, земли, все свое огромное состояние своему новому другу, лишив наследства племянника – легкомысленного юношу, который к тому же пользовался довольно большой свободой и не сумел бы найти достойное употребление для большого состояния, которое попадало теперь в более надежные руки. Иностранец принял все эти богатства и уберег их от хищений и интриг, которые всегда плетутся у постели умирающего. Но три месяца спустя он вернул обездоленному племяннику все права на поместья и ключи от дядюшкиных сокровищ.

«Дитя мое, – сказал он, – я нарушаю последнюю волю покойного и, может быть, передаю в дурные руки богатства, на которые могла бы существовать сотня семей. Может быть, если бы я всегда руководствовался в жизни чувством долга, я считал бы себя вправе распорядиться иначе, и у меня хватило бы храбрости сделать из этих богатств то единственное благородное употребление, на которое они предназначены. Но, как и ты, я провел мои молодые годы в распутстве, и раз господь не дал мне погрязнуть в пороке, я могу думать, что его намерения в отношении тебя таковы же и что он наставит тебя на путь исполнения долга. Во всяком случае, я не могу взять на себя миссию провидения – я тебе не родственник и не друг, а всего только твой должник».

Сказав это, иностранец исчез, не выслушав ни благодарностей моих, ни просьб. Увидел я его только через год. Он попросил меня помочь благородным людям, впадшим в нищету; сам же он, хоть и жил в большой нужде, никогда не соглашался ничего от меня принять для себя...

– Коль скоро вы рассказали мою историю, дайте мне рассказать вашу, – перебил его Вальмарина. – Но кто здесь ее не знает? Ты, Стенио, наш новый посвященный, узнай источник богатств, которые я расточаю на глазах у всех, чтобы возделать священную ниву. Это не что иное, как добрые дела молодого человека, который всего только на несколько лет старше тебя и который до шестнадцати лет жил в неведении высшего назначения, уготованного для него небом, тая в глубинах сердца еще не пробудившиеся его порывы. Ты видел в нем самого обыкновенного мечтателя. Только здесь великие добродетели и высокие поступки, спрятанные от глаз не понимающего их мира, блистают без мишуры своим подлинным блеском – в семье избранных, чье одобрение утешает и не пьянит, как пошлые похвалы толпы. Это потому, что здесь ни один человек не завидует славе другого. Каждый сделал свое дело и выдержал свое испытание.

– О тебе только мы ничего не знаем, дитя, – сказал старик, обращаясь к Стенио, – но от тебя, у которого такой замечательный крестный отец, нарекший тебя при крещении сыном, мы многого ждем, будь внимателен к тем последним откровениям, которые будут сделаны тебе и твоим юным братьям. На этом собрании будут решаться важные вопросы.

Выслушав принесенные клятвы и записав их, собравшиеся расстались. Были распределены все обязанности, и каждому поручили дело в соответствии с его способностями и силами. Стенио попросил и получил разрешение объединиться с Эдмео под руководством Вальмарины. Тот взялся за опасное предприятие, но из числа менее важных; его отказ принять верховную власть был бесповоротен.

Каждый из участников собрания самолично отправился в конюшни старинного поместья взнуздать своего коня, еще не успевшего остыть после быстрого бега. Ни один не взял с собой слуг, чтобы те вольно или невольно не выдали тайны. Представители низшего сословия горячо обнялись с теми, кто отбросил всякое воспоминание о своем мнимом превосходстве, чтобы скрепить новый союз. Молодые люди пошли пешком через лес; Стенио последовал за Эдмео и Тренмором. Луна клонила уже к горизонту, но еще не начало светать. Каждый торопился покинуть эти места, пока не рассеялась тьма; все поехали разными дорогами. Стояла мертвая тишина. Только время от времени слышно было, как лошадиная подкова цокает о камень или стучит о переброшенный через поток деревянный мост. Теперь уже ни одного огонька не светилось в окнах старого замка; ни один уставший с дороги гость не отдыхал там. Совы, на время улетевшие прочь и умолкшие, вернулись в свои прежние владения, а портреты предков, ненадолго

освещенные ярким светом, снова погрузились во мрак, немые свидетели странного договора, который потомки их скрепили с потомками их вассалов.

49

«Срок, который вы поставили мне, уже истек, и я скоро явлюсь к вам. Вам я, может быть, нужен, а здесь мне пока нечего делать. Дал бы бог, чтобы я был не нужен и вам, но уже по другой причине. Я надеюсь стать свидетелем вашего воскрешения: здесь же все мертво.

Да, Лелия, все мертво на этой проклятой земле. Страдание на этот раз проникло в самые глубины моего сердца. Должен признаться, что, когда я гляжу на мир, меня охватывает дрожь. Я испытываю потребность на какое-то время убежать из него и обновить душу на лоне природы. Она одна только не стареет; народы же быстро дряхлеют, и, когда час их пробил, врачевателям человечества остается только сложить руки и молча смотреть, как они умирают.

А меж тем, о боже! Есть еще в жизни величие, есть еще сильные души, пылкие и чистые юноши. Феникс и теперь еще готов раскрыть над костром свои крылья; но он знает, что пепел его бесплоден, что божественное начало затухает вместе с этим пеплом. И он умирает, бросая последний крик любви и отчаяния этому миру, который равнодушно взирает на его великую агонию. Я видел, как погибали герои: народы тоже это видели – и присутствовали при этом как на спектакле, вместо того чтобы подняться и отомстить!

Поколение, создавшее сильного человека, вместо того чтобы создавать могущество наций, не сможет оправиться от унижения. Последние свои надежды оно возлагает на подрастающую молодежь. Мысли о славе сделали ее храброй; философские идеи воспитали в ней дух независимости. Но знаете, что я думаю? Эта молодежь пугает меня: она беспорядочна, надута в своей гордости, у нее нет ничего святого, – в деле, которое она готовится совершить, она ищет только воинственных чувств и крикливых побед. Когда она начинает рассуждать о грядущем, ей нет дела ни до порядка, ни до справедливости. Она овладевает будущим и вносит в него все заблуждения и все беззакония прошлого. Что же она будет делать, когда восторжествует, и что станет с человечеством, если она потерпит неудачу? О, печальные времена, когда победа пугает так же, как поражение!

До того как новый порыв увеличит либо уменьшит наши силы, я хочу повидаться с вами. Если бы только я мог найти вас не такой смилившейся, как я! Нет ничего печальнее этой покорности неумолимому року Увы, что случилось бы с нами, если бы у нас не было сознания, что мы выполнили свой долг».

50. ПРОКЛЯТИЕ

Однажды Стенио спустился один по крутым склонам Монтевердора. Он стал чувствовать себя лучше; ужасные волнения, великие горести, тяжелая рана – все это мешало ему вернуться туда, где он жил. Но есть благородные муки, страдания, достойные славы, – они возвышают, вместо того чтобы принижать, и поэт успел почувствовать их суровое и материнское влияние.

Но Стенио еще не окончательно выздоровел, в том безрассудном вызове, который он хотел бросить жизни, душа его изнемогла еще больше, чем тело. Физическая молодость легко возрождается снова, но молодость духовная – нечто более тонкое и драгоценное – никогда окончательно не восстанавливает прелесть свою и аромат. Добродетельная жизнь может, правда, вернуть духу известное целомудрие, но лишь постепенно, и надо много усилий, много искупительных жертв.

Стенио был храбр, он это доказал, но как только волнение, вызванное грозящей опасностью, успокаивалось, его оживившимся на минуту сердцем снова овладевала смертельная усталость. Потребность в распутстве и в искусственном возбуждении сделалась настолько властной, что покой стал для него настоящей пыткой. Когда он быстрыми шагами проходил по этим местам, с которыми было связано столько поэтических воспоминаний о его любви, ему хотелось бежать от собственных мыслей; но перед глазами его вставали трагические картины, свидетелем

которых он только что был, проплывали тяжелые Воспоминания о его поруганных восторгах, он не знал, куда ему деться, и жизнь, которую ему создала Пульхерия – без глубоких волнений и подлинных чувств, – была единственной, которая могла дать ему отдых. Отдых гибельный, подобный тому, который путешественник находит в лесах Америки под тенью опьяняющих деревьев, несущих смерть.

Вдруг на одном из крутых поворотов дороги он столкнулся лицом к лицу с человеком, которого сначала принял за привидение.

– Что я вижу! – вскричал он, отпрянув в удивлении и почти в ужасе. – Неужели это мертвецы выходят из своих могил? Неужели мученики покидают небо, чтобы блуждать по земле?

– Я спасся от смерти, – ответил Вальмарина. – Я знаю, что ты, слава богу, спасся от изгнания; но за мою голову обещана награда, и мне нельзя задерживаться возле тебя ни минуты; ты должен сделать вид, что меня не знаешь, потому что, если меня схватят опасности, которые мне грозят, могут перекинуться и на тебя. Ступай своей дорогой, и да поможет тебе господь!

– За вашу голову назначена награда! – воскликнул Стенио, не обращая внимания на последние слова Тренмора. – И вместо того, чтобы покинуть эти места, вы снова явились сюда, где за вами охотятся и вас знают?

– До тех пор пока господь будет считать меня способным содействовать на земле какое-то благо, он будет помогать мне, – ответил изгнанник. – Моя миссия не выполнена; мне надо еще кое-кого повидать здесь, прежде чем окончательно удалиться. Прощай, дитя мое, дай бог, чтобы семя жизни не оказалось бесплодным в твоей душе! Уходи отсюда: хоть по этой дороге как будто и мало ходят, за каждой скалой, за каждым кустиком может скрываться доносчик.

И Тренмор, повернув прямо к горе, хотел сойти с тропинки, по которой должен был пройти Стенио. Но Стенио бросился за ним.

– Нет, не могу я так вас покинуть, – сказал он, – вам нужна помощь, вы изнемогаете от усталости; раны ваши едва успели закрыться, щеки ввалились от страдания. К тому же у вас нет пристанища, а я могу вам его предложить. Пойдемте, пойдемте со мной. Если вы думаете, что в такую минуту для меня превыше всего осторожность и страх, вы меня оскорбляете.

– Тут есть пристанище, совсем близко отсюда, – ответил Тренмор, – у меня хватит сил до него добраться; поэтому не беспокойся обо мне, друг мой, подумай о себе. Я никогда в тебе не сомневался. Я нашел тебя на ложе наслаждения, где ты уснул, и я не пощадил твоей благородной крови, когда ей надо было пролиться за святое дело. Но та, что осталась в тебе, для нас драгоценна, и не следует без надобности ее проливать. Друг, который скрывает меня сейчас, подвергает себя немалой опасности. Хватит с меня и одного преданного человека, который может за все поплатиться жизнью!

Несмотря на то, что Вальмарина ни за что не соглашался, Стенио настоял на своем и проводил его до кельи отшельника. Эта келья, высеченная в гранитной скале, вдали от проторенных людьми тропинок, была скрыта густой тенью кедров и сплошной стеной индийских смоковниц, шероховатые ветви которых сплелись воедино. Келья была пуста. Расположенная на уступе скалы, она возвышалась над бездонною пропастью. Другим краем этой пропасти был обнаженный песчаный откос, на котором далеко внизу в каком-то мрачном покое дремало маленькое озеро. Но даже и с той стороны к нему нельзя было спуститься из-за того, что окружавшие его пески все время осыпались и не было места, где можно было устоять на ногах. Ни одна скала не могла удержаться на этой крутизне, ни одно дерево не могло укрепить свои корни в этой рыхлой почве. А пока вырывшие это озеро лавины не заполнили пропасти до краев, в неподвижных водах его расцветала богатейшая растительность. Гигантские лотосы, пресноводные полипы, более двадцати локтей длиной, расстилали свои широкие листья и диковинные цветы на поверхности воды, в которую ни разу еще не погружалось весло рыбака. На их переплетенных стеблях, во множестве тенистых уголков, змеи с изумрудною кожей, саламандры с желтыми вкрадчивыми глазами спали, разлегшись на солнце, уверенные в том, что человек не потревожит их своими сетями и западнями. Поверхность озера была такой зеленой и пышной, что сверху ее можно было принять за лужайку. Густые заросли тростника отражали в воде свои стройные стебли и бархатистые плюмажи, которые ветер колыхал, как колосья в поле. Стенио, зачарованного дикой

красотою этого склона, потянуло спуститься туда и ступить ногой на коварную зеленую сеть.

– Будьте осторожны, сын мой, – сказал появившийся в эту минуту отшельник с надвинутым на лицо капюшоном, – это заросшее цветами озеро – образ земных наслаждений. Оно окружено соблазнами, но глубины его неизмеримы.

– А откуда вы это знаете, отец мой? – спросил Стенио, улыбаясь. – Разве сами вы спускались в эту пропасть? Разве вы ступали по бурным волнам страстей?

– Когда Петр попытался последовать за Иисусом по водам Генисаретского озера, он не успел сделать несколько шагов, как почувствовал, что ему не хватает веры и что он был слишком смел, дерзнув по примеру сына человеческого идти по воде. Он вскричал. «Господи, погибаем!». И господь притянул его к себе и спас.

– Петр был плохим другом и трусливым учеником, – сказал Стенио, – разве он не отрекся от учителя, боясь разделить его участь? Те, что боятся опасности и отступают, похожи на Петра: они не мужчины и не христиане.

Отшельник опустил голову и ничего не ответил.

– Но скажите, отец мой, зачем вы стараетесь спрятать ваше лицо? Я узнаю вас по голосу, мы с вами виделись в лучшие времена.

– В лучшие! – воскликнул Магнус, медленно откидывая свой капюшон и в печальном раздумье подпирая свою уже облысевшую голову высохшею рукой.

– Да, в лучшие для вас и для меня, – ответил Стенио, – ибо в ту пору на лице моем играл юношеский румянец, а у вас, отец мой, хоть и выглядели вы растерянным и сердце ваше лихорадочно билось, когда мы виделись последний раз, у вас были густые волосы и черная борода.

– Выходит, вы придаете большое значение этой брэнной и роковой для нас молодости тела, этой всепожирающей силе крови, которая окрашивает нам щеки и горячит голову? – огорченно сказал монах.

– Вы в обиде на молодость, отец мой, – сказал Стенио, – а ведь вы всего на несколько лет старше меня. Готов побиться об заклад, что в воображении вашем сейчас больше свежести, чем во всем моем существе.

Священник побледнел, потом он положил свою желтую огрубевшую руку на бледную, с голубоватыми прожилками, руку Стенио.

– Дитя мое, – сказал он, – значит, вы тоже хлебнули горя, это оно сделало вас таким жестоким?

– Перенесенное страдание, – сказал Тренмор печально и строго, – должно было бы пробудить в человеке сочувствие и доброту. Несчастье способно развратить только слабые души; сильные, проходя через него, очищаются.

– Неужели же я этого не знаю? – воскликнул Стенио, которого неожиданная встреча с Магнусом вернула к горьким воспоминаниям о своей отвергнутой любви. – Неужели я не знаю, что в душе моей нет ни величия, ни силы, что я ничтожное, жалкое существо? Неужели я мог бы так опуститься, будь я Тренмором или Магнусом? Но, увы, – добавил он, в порыве горького уныния усаживаясь на самом краю пропасти, – зачем все эти напрасные старания мне помочь? Зачем давать мне советы, которыми я не могу воспользоваться, и показывать примеры, следовать которым превыше моих сил? Неужели вы находите удовольствие в том, чтобы раскладывать передо мною ваши богатства и показывать мне, какой силой вы оба наделены и на какие деяния способны? Сильные, героические натуры! Избранные сосуды, каторжник и священник, превратившиеся в святых; вы, преступник, принявший на свою голову все наказания, которыми вас покарало общество; вы, монах, за несколько лет сумевший пережить все муки души; вы оба, выстрадавшие все, что только может выстрадать человек, один – от пресыщенности, другой – от лишений, один – надломленный ударами, другой – постом и вот вы стоите с поднятой к небу головой, в то время как я ползаю, подобно блудному сыну, среди омерзительнейших чудовищ, иными словами – среди грубых вожделений и низких пороков! Так оставьте же меня умирать в грязи и не усугубляйте моих предсмертных мук, заставляя меня созерцать ваше победоносное вознесение на небеса. Ведь именно так друзья Иова хвастали своим благополучием перед их простертой на гноище жертвой. Уходите от меня прочь! Уходите! Храните хорошенько ваши со-

кровища, бойтесь, чтобы гордость ваша их не растратила. Пусть же мудрость и смирение бодрствуют, охраняя ваши завоевания. Не поддавайтесь ребяческому желанию показывать их тем, у кого ничего нет; ибо, в гневе своем, злобный и завистливый бедняк может плюнуть на ваши богатства и осквернить их. Тренмор, слава ваша может быть не так уж велика, не так поразительна, как вы думаете. Мой горький разум сумел бы, может быть, найти довольно банальное объяснение победе воли над умерщвленными страстями, над желаниями пресыщенными или угасшими. Берегитесь, Магнус, вера ваша, может быть, не так уж тверда, чтобы я не мог поколебать ее насмешливым взглядом или дерзким сомнением. Победа, одержанная разумом над искушениями плоти, может быть не настолько бесспорна, и смотрите, как бы вам не пришлось еще покраснеть или побледнеть, когда я назову при вас имя женщины!.. Идите же, идите молиться; зажгите кадильницы перед алтарем девы Марии и опустите головы на плиты ваших церквей. Вы будете писать трактаты об умерщвлении плоти, ну а мне позвольте насладиться последними днями, которые мне остаются в жизни. Господь, который не сделал меня, подобно вам, высшей натурой, предоставил в мое распоряжение лишь самую заурядную действительность, лишь самые обыденные радости. Я хочу исчерпать их. А разве, с тех пор как мы расстались, я тоже не шагнул далеко по дороге разума? Разве, увидев, что я не могу достичь небес, я не пошел по земле без недовольства и без презрения? Разве я не принял жизнь такой, какой она мне была предназначена? И разве, когда я почувствовал внутри меня беспокойный и мятежный пыл, терзания честолюбия, смутного и прихотливого, желания, которое невозможно было осуществить, разве я не сделал всего от меня зависящего, чтобы их укротить? Я избрал другой путь, чем вы, вот и все. Я нашел успокоение в излишествах, тогда как вы исцелили себя воздержанием и власяницей. Душам возвышенным, вроде ваших, нужны были эти сильные средства, эти суровые искупления; повседневной действительности было бы недостаточно, чтобы сломить ваши железные характеры, истощить ваши нечеловеческие силы. Однако натуре Стенио все земное было под стать. Он отдался ему не краснея, благодарно насытился им и теперь, если его тело оказалось слишком слабым для его appetitов, если это хилое дитя наслаждений и сделалось добычей чахотки, то все случилось потому, что господь не определил ему долгой жизни на земле – из него не мог выйти ни солдат, ни священник, ни игрок, ни ученый, ни поэт. Есть растения, которым предназначено умереть сразу после того, как они расцветут, есть люди, которых господь щадит и не приговаривает к слишком долгому изгнанию среди других людей. Подумайте только, отец мой, вы лысы, как я, руки ваши высохли, грудь ваша впала, ноги подкашиваются, вы задыхаетесь, борода ваша поседела, а ведь вам еще нет и тридцати лет. Ваша агония продлится, может быть, несколько дольше, отец мой; может быть, вы переживете меня на какой-нибудь год. Ну что же! Разве обоим нам не удалось победить наши страсти, охладить наши чувства? Мы вышли из испытания очищенными и покорившимися, не так ли, отец мой? Я еще больше смирился, чем вы, – это оттого, что испытание было более сильным и более надежным, оттого, что я подхожу к концу, что я перестал терзать моего врага. Может быть, вы бы правильно поступили, если бы избрали те же средства, что и я; это были самые верные, но не все ли равно, они ведь, как и все прочие, ведут нас к страданию и к смерти. Дадим же друг другу руку, мы братья. Вы были великим человеком, я жалким; вы были сильной натурой, я хилой. Но в могилы, которые скоро отверзятся для нас обоих, и от того и от другого сойдет только горстка праха.

Магнус, который за это время несколько раз хватался за голову и воздевал глаза к небу с выражением ужаса и отчаяния, сделался более спокойным и уверенным в себе.

– Юноша, – сказал он, – не все еще кончается для нас с этой брэнною оболочкой, и душа наша не достанется червям. Неужели вы думаете, что господь отнесется одинаково ко всем нам? Разве в судный день он не будет милосерднее к тем, кто умерщвлял свою плоть и молился в слезах, и строже к тем, кто преклонял колена перед идолами и пил из отравленных источников греха?

– Что вы об этом знаете, отец мой! – сказал Стенио. – Все, что противно законам природы, может быть отвратительным и перед лицом господя. Иные дерзали говорить это в наш век, век философии, и я из их числа. Но не буду повторять вам все эти общие места. Ограничусь тем, что задам вам один вопрос; вот он: если, уснув сегодня в слезах и в молитвах, завтра на рассвете вы

проснулись бы в объятиях женщины, которую положат вам в кровать духи тьмы, то, когда пройдут удивление, ужас, борьба, победа, заклинание, все, что вам придется тогда испытать и сделать (я в этом не сомневаюсь), скажите мне, начнете ли вы спустя несколько минут читать мессу и коснетесь ли без трепета тела Христова?

– Если господь будет ко мне милостив, – ответил Магнус, – может быть, руки мои останутся достаточно чистыми, чтобы коснуться святой гостии. Но я все же не дерзнул бы касаться святыни, не очистив себя сначала покаянием.

– Очень хорошо, отец мой; видите, вы менее чисты, чем я, ибо я мог бы сейчас вот провести ночь с красивейшею из женщин и не испытать к ней ничего, кроме брезгливого отвращения. В самом деле, вы только потеряли время в постах и молитвах; вы ничего не достигли, раз плоть ваша способна еще повергать в ужас дух, и прежний человек может тревожить совесть человека нового. Вам удалось изнурить ваш желудок, привести в возбуждение мозг, нарушить гармонию вашего организма, но вы не сумели, как я, привести ваше тело в состояние инертности, не сумели выдержать испытания, о котором я говорю, и причаститься без исповеди. Единственный результат, которого вы достигли, – это медленное физическое самоубийство, иными словами – то, что ваша религия осуждает, как страшное преступление, и вы все так же во власти греховных побуждений, как и в первые дни вашего покаяния. Господь не помог вам, отец мой!

Отшельник поднялся и, выпрямившись во весь свой огромный рост, посмотрел еще раз на небо; потом, обхватив обеими руками голову, в страшной тревоге воскликнул.

– Неужели это правда, господи? Неужели ты отказал мне в помощи и в прощении? Неужели ты оставил меня, отдав меня духу зла? Неужели ты удалился от меня, не вняв моим рыданиям, моим слезным мольбам? Неужели я понапрасну страдал и вся эта жизнь, полная испытаний, мучений и борьбы, была впустую? Нет! – вскричал он, все еще упоенный своею верой, высунув тонкие руки из рукавов рясы и поднимая их ввысь, – я этому не поверю; я не позволю лишать себя мужества какому-то сыну века. Я доведу все до конца. Я принесу мою жертву: если окажется, что церковь солгала, если пророки действовали по наущению духа тьмы, если божественное слово сбилося со своего истинного пути, если рвение мое превзошло твои требования, ты по крайней мере ответишь мне за то упрямое желание, за ту неистовую волю, которая отдалила меня от земли и заставила завоевывать небо; в глубине сердца моего ты прочтешь эту пылкую страсть, которая снедала меня, порываясь к тебе, о боже, а теперь возвысила голос в душе, снедаемой другими ужасными страстями. Ты простишь мне за то, что мне не хватило знания и мудрости, ты кинешь на весы только жертвы мои и намерения, и если я пронесу этот крест до самой смерти моей, ты даруешь мне вечный покой, приняв меня в обитель блаженных!

– Разве во вселенной есть место покою? – сказал Стенио. – Неужели вы надеетесь стать настолько великим, чтобы господь стал создавать для вас одного новую вселенную? Неужели вы думаете, что на небесах есть праздные ангелы и ни на что не употребленные добродетели? Знаете ли вы, что все силы деятельны и что надо стать богом, для того чтобы достичь жизни вечной и неизменной! Да, господь благословит вас, Магнус, и святые воспоют вам хвалу на своих золотых арфах. Но когда вы принесете к ногам творца чистой и нетронутой ту избранную душу, которую он доверил вам здесь, на земле, когда вы скажете ему: «Господи, ты дал мне силу, я сохранил ее, вот она, возвращаю ее тебе – дай же мне в награду вечный покой», господь ответит этой простертой пред ним душе: «Хорошо, дочь моя, примкни к моей славе и займи свое место в моих блистающих фалангах. Отныне тебе будет вверен благородный труд, ты будешь везти колесницу луны в эфирных полях, ты будешь извергать из туч грома небесные, ты направишь реки в их русла, ты укротишь бурю, она вздыбится под тобой, как непокорная лошадь; ты будешь повелевать звездами; став божественной сущностью, ты приобщись к стихиям, ты вступишь в общение с душами людей, ты будешь осуществлять высокую связь между мной и теми, кто был твоими братьями, ты заполнишь собою землю и небо, ты увидишь мой лик и вступишь со мной в беседу». Это прекрасно, Магнус, и поэзия причастна к этим возвышенным заблуждениям. Но если бы все было так, я бы не хотел это пережить. Я недостаточно велик, чтобы быть честолобивым, но и недостаточно смел, чтобы играть какую-то роль то ли здесь, то ли на небесах. Это вашей безмерной гордости пристало вздыхать по радостям загробной жизни: что до меня, то я не

хотел бы даже трона который бы возвысился над всеми земными народами. Если бы я мог поверить, что господь добр, и мог надеяться на какую-то иную участь, кроме небытия, для которого я предназначен, я попросил бы у бога сделать меня былинкой в поле, которую топчут ногой и которая ни на что не жалуется, мрамором, принимающим форму под резцом, не истекая при этом кровью, бесчувственным деревом, которое хлещет ветер. Я попросил бы у него самой безвестной, самой легкой жизни; я счел бы его чересчур требовательным, если бы он осудил меня прожить ее в обличье какого-нибудь студенистого моллюска. Вот почему я не стараюсь заслужить царствие небесное: я не хочу его, я боюсь его радостей, его песнопений, экстазов, триумфов. Я боюсь всего, что только могу себе представить; так чего же мне хотеть, как не покончить со всем? Так вот! Я более спокоен, чем вы, отец мой; без тревоги и без ужаса иду я к вечному мраку, тогда как вы растеряны, вы дрожите перед высшим судом, который до скончания века заставит вас терпеть все ваши тяготы и страдания. Я не завидую вам, я преклоняюсь пред вашей участью, но предпочитаю свою.

В ужасе от всего, что услышал, и не чувствуя в себе силы ответить, Магнус склонился над Тренмором и, сжав обеими руками руку мудреца, исполненным тревоги взглядом, казалось, молил его о помощи.

– Не тревожьтесь, брат мой, – ответил Тренмор, – страдания этой истерзанной души не должны поколебать вашу веру. Трудитесь неустанно, и пусть соблазн небытия исчезнет, как обманная ласка. Вам труднее будет стать неверующим, чем сохранить сокровище веры. Не слушайте его, ибо он лжет самому себе и боится всего того, что он утверждает, и сам не хочет, чтобы все это было так. А ты, Стенио, ты напрасно стараешься погасить в себе священный огонь разума. Его пламя разгорается еще живее, еще прекраснее при каждом твоём усилии его потушить. Помимо твоей воли ты стремишься к небу, и твоя душа поэта не в силах прогнать мучительное воспоминание о своей отчизне. Когда, призвав ее к себе из изгнания земного, господь очистит ее от грязи и исцелит от недугов, охваченная любовью к нему, она падет перед ним ниц и возблагодарит его за то, что он пролил на нее великий свет. Она оглянется назад и увидит, как тает, словно облако, ужасный и мрачный сон человеческой жизни, и будет удивляться, как это она прошла сквозь весь этот мрак, не подумав о боге, не возымев надежды на пробуждение. «Где же ты был, господи? – воскликнет она. – И что случилось со мною в этом стремительном водовороте, который на минуту меня закружил?» Но господь утешит ее и подвергнет, может быть, новым испытаниям, ибо она сама настойчиво будет их добиваться. Счастливая и гордая тем, что обрела волю, она захочет применить ее, почувствует, что деятельность – удел сильных, удивится тому, что отказалась от своей звездной короны; она попросит, чтобы ей указали, что она должна делать среди небесных владык, и выполнит свое назначение с блеском, ибо господь добр, и тяжелые, доводящие до отчаяния испытания он, должно быть, посылает только избранникам своим, чтобы потом достигнутое могущество стало для них еще более драгоценным.

Нет, Стенио, самая божественная способность души, желание, только уснуло в тебе. Дай твоему телу немного окрепнуть, дай твоей крови несколько дней отдохнуть, и ты почувствуешь, как в тебе пробуждается этот священный жар сердца, эта безграничная устремленность ума, которые делают человека тем, что он есть, и достойным повелевать всеми земными и небесными силами.

– Человек становится человеком, – сказал Стенио, – когда он умеет управлять своей лошадью и не поддаваться своей любовнице. Какое лучшее употребление своих сил могло бы дать небо таким хилым созданиям, как мы? Человек, способный проявить величие духа, ни во что не верит, ничего не боится. Тот, кто день ото дня преклоняет колена перед яростью мстительного бога, только жалкий раб, боящийся возмездия в загробной жизни. Тот, кто начинает поклоняться какой-то химере так, что перед этим идолом гаснут все желания, разбиваются в прах все прихоти, – всего-навсего трус: он боится, что его могут увлечь фантазии, что наслаждения принесут ему муки. Человек смелый не боится ни бога, ни людей, ни самого себя. Он принимает все последствия своих склонностей, хороших и дурных. Презрение толпы, недоверие глупцов, осуждение ригористов, усталость, нищета не более властны над его душой, чем лихорадка и долги. Вино возбуждает его, но не опьяняет, женщины его развлекают, но не могут им овладеть, слава

щекочет иногда ему пятки, но он обращается с ней как со всеми проститутками: обнимает ее, овладевает ею, а потом выставляет за дверь, ибо он презирает то, что другие люди чтят и чего боятся; он может пройти сквозь пламя и не опалить себе крыльев, как слепой мотылек, и факел разума не обратит его в пепел. Такой же эфемерный и хрупкий, он позволяет унести себя любому ветру, летит на каждый цветок, радуется каждому лучу света. Но сама недоверчивость оберегает его, ветер непостоянства уносит его и спасает: сегодня – от метеоров, от лживых иллюзий ночи, завтра – от яркого солнца, угрюмого соглядатая всех человеческих уродств и всей нищеты.

Человек сильный не старается обеспечить себе спокойное будущее и не бежит ни от каких опасностей настоящего. Он знает, что все его надежды заключены в книге, которую листает не он, а ветер, что все его мудрые намерения начертаны на песке и что на свете существует только одна добродетель, одна мудрость, одна сила – дожидаться потока и быть твердым, когда поток этот надвигается на вас, плыть, когда он увлекает вас за собою, сложить руки и бестрепетно умереть, когда он захлестнет с головой. Сильный человек, на мой взгляд, также и человек мудрый, ибо он упрощает систему своих радостей. Он уплотняет их; он очищает эти радости от облепляющих их ошибок, предрассудков, тщеславия. Наслаждение, которому он предался, вполне положительно, вполне реально и своеобразно. Это его божество, простодушное и прекрасное, циничное и целомудренное. Он обнажает его до предела и попирает ногами всю жалкую мишуру, которая его прикрывает; но более верный и более искренний, чем лицемерные служители его храма, он всю свою жизнь преклоняет пред ним колена, презирая все проклятия, которыми его осыпает глупый свет. Он мученик своей веры. Ради нее он живет, за нее страдает. И умирает он ради нее и из-за нее, либо отрицая того нелепого и злого бога, которого вы чтите, либо его презирая. Человек, обнажающий свою шпагу, чтобы бороться с бурей, безрассуден и нагл, но он более храбр и более велик, чем бог, повелевающий громом. Я бы дерзнул, но вы, Магнус, вы не способны дерзать. Тренмор, который нас слышит, который – не заблуждайтесь, отец мой, – больше философ, нежели христианин, больше стоик, нежели человек религиозный, и для которого сила дороже веры, настойчивость дороже раскаяния, – словом, Тренмор, который может и должен уважать себя больше, чем вы, отец мой, может быть судьей между нами и решить, кто из нас двоих лучше защитил и сберег самую высокую нашу способность – энергию.

– Я не буду судьей между вами, – сказал Тренмор, – небо одарило вас разными способностями, но каждому из вас много дано. Магнус был наделен большей последовательностью в мыслях, и если вы хотите отвлечься от ваших, Стенио, чтобы налюбоваться всласть победоносной волей, вы будете просто поражены, увидев этого монаха, который был нечестив, влюблен и безумен и который стал теперь спокойным и благочестивым, подчинив себя монашеским правилам. Откуда у него взялась сила так долго выносить эту страшную борьбу, как ему удалось прийти в себя, после того как он был надломлен и проклят? Разве это тот человек, который при вас отрекался от бога у постели умирающей Лелии? Разве это он, охваченный безумием, бежал в горы? Это совсем другое существо, и вместе с тем это та же буйная, пылкая душа, те же неистовые, ужасные чувства, всегда новые и всегда девственно чистые; то же самое желание, всегда яростное и никогда не утоленное, невольно заблуждающееся, преследуя земные цели, и снова возвращающееся к богу, влекомое неимоверною силой и самой высокой надеждой. О отец мой! Даже если у нас с вами действительно разная вера и мы чтим господа, соблюдая разные обряды, вы тем не менее в моих глазах трижды святы и трижды велики! Ибо вы боролись, вы сумели подняться из-под ног врага и все еще боретесь, бодро, неутомимо, весь в ранах, обливаясь потом и кровью, но решив умереть с оружием в руках. Продолжайте же во имя Иисуса, во имя Сократа. Мученики всех религий, герои всех времен взирают на вас и с высоты небес рукоплещут вашим усилиям.

Но ты, Стенио, дитя, родившееся со звездой на челе, ты, красотой своей похожий на ангелов, ты, чей голос был мелодичнее, чем голоса ночи, колеблющие золотые арфы, ты, чей гений обещал миру вторую молодость, полную любви и поэзии, ибо певцы и поэты – это пророки, посланные к людям, чтобы подбодрить их упавший дух, чтобы освежить их горящие лица; ты, Стенио, в юности своей облачился в невинность и благодать, как в чистейшие одежды, и был окутан их светящимся ореолом, и участь твоя не внушает мне страха: в будущем твоём я уверен.

Подобно Магнусу, ты выдержал великое испытание, страшную агонию, выпавшую на долю сильных. Но уже в этой жизни ты преодолеешь все, как он. Ты еще борешься, и, истекая в муках кровью, ты не ведаешь, чья рука вытирает эту кровь; но скоро мы увидим, как ты, потускневшая звезда, заблестишь еще светлее, еще прекраснее на небосводе.

– А что надо для этого сделать, Тренмор? – спросил Стенио.

– Надо только отдохнуть, – отвечал Тренмор, – ибо природа милостива к таким, как ты. Надо дать твоим нервам время успокоиться, предоставить мозгу свободу, чтобы он лучше мог воспринимать новые впечатления. Может быть, и хорошо гасить желания усталостью, но возбуждать угасшие желания, объезжать их, как разбитых лошадей, навязывать себе страдания, вместо того чтобы только принимать их, искать, не считаясь с возможностями своей природы, более сильных радостей, наслаждений более острых, чем те, что несет нам действительность, стараться вместиť в один час ощущения целой жизни – вот верное средство потерять и прошлое и будущее: первое – от презрения к своим робким радостям, второе – от невозможности превзойти настоящее.

Мудрость и убежденность Тренмора были бессильны залечить глубокую рану, кровоточившую в сердце юного поэта. Сам он тоже с молоком матери вобрал в себя скептицизм – отраву, которою упивается нынешнее поколение. Слепой и самонадеянный, он, расставаясь с юностью, считал, что небо наделило его великой силой, и, так как у него была врожденная способность облекать все свои впечатления в прелестные формы, он льстил себя надеждой прожить жизнь без борьбы и падений. Он не понял, он не мог понять Лелию, и в этом была причина всех постигших его превратностей судьбы. Небо, которое не готовило их друг для друга, сделало Лелию слишком гордой, для того чтобы она могла раскрыть свою душу, а Стенио – слишком самолюбивым, чтобы ее угадать. Он ведь не хотел понять, что расположение такой женщины завоевывается благородными поступками, благоговейными жертвами и прежде всего выдержкой – самым бесспорным свидетельством уважения, самым большим знаком внимания, на который имеет право гордая душа. Стенио не мог не признать превосходства Лелии над всеми женщинами, которых ему приходилось встречать; но он никогда не задумывался над равенством мужчины и женщины в предначертаниях господних. И так как он видел только настоящее положение дел, так как он не мог допустить, что женщина должна быть равной с мужчиной, он не допускал, что некоторые женщины, представляющие собою высокое и трагическое исключение, могут иметь в современном обществе некие исключительные права. Может быть, он бы и понял это, если бы Лелия могла ему все объяснить. Но Лелия не могла это сделать. Она еще сама не знала, каким словом назвать свое назначение. Как она ни была горда, в глубине души она была простодушна и скромна, и это мешало ей понять, почему ей нужно искать одиночества. Даже если бы она была достаточно уверена в себе, чтобы считать, что таково ее назначение – идти одной и никого не слушаться, крики негодования и ненависти, которые раздались бы вокруг нее в ответ на это дерзостное желание, вероятно охладили бы ее пыл.

Так и случилось, когда Стенио, не желая понять, сколько благородного целомудрия заложено в этом чувстве независимости, одновременно героическом и робком, и принимая сдержанность Лелии за презрение, с проклятиями ее покинул. Тогда Лелия в душе похвалила себя за то, что не открыла ему истинной причины своей гордости и не дала на посмешище этому ребенку пророческое вдохновение, трепетавшее у нее в сердце. Она замкнулась в себе – стала искать в самой гордости своей законного, хоть и горького утешения. Глубоко уязвленная тем, что ее не разгадали, и заключив из последующего поведения Стенио, что в любви для него главное – легкая радость обладания, она, в свою очередь, прокляла безумную гордость мужчины и приняла решение умереть для общества, дав обет вечного безбрачия.

Тренмор – и тот не мог до конца понять безысходное горе этой женщины, родившейся, может быть, лет на сто раньше времени. Личные дела, не менее важные, наполнили его жизнь. Как Лелию на провидение будущего женщины натолкнуло ее собственное горе, так Тренмора случившееся с ним несчастье натолкнуло на провидение будущего мужчины. Взгляд его был сосредоточен на какой-то части огромного горизонта, не будучи в состоянии охватить его весь. Он часто, и не без основания, говорил Лелии, что, прежде чем освободить женщину, надо было бы

подумать об освобождении мужчины, что рабы не могут освобождать и возвращать к жизни других рабов и что человек не в силах уважать другого, если он не научился уважать самого себя. Тренмор трудился, надеясь на успех; сознание своих прежних ошибок делало его смиренным, терпеливым и воодушевляло, как мученика за веру. У Лелии, которая, страдая, не знала за собой никакой вины, не могло быть подобного самоотречения. Чувствуя себя несчастной жертвой, она оплакивала, подобно дочери Иевфая, свою юность, красоту и любовь, варварски принесенные в жертву грубой силе.

Как только стемнело, Тренмор провел Стенио по ложбинам и вывел на дорогу, ведущую в город. В пути он пытался снова заглянуть в его душевные раны и облегчить их целительным бальзамом надежды. За это время он уговорил Лелию внять голосу добродетели и дать ему то, чего она уже не могла ему дать, следуя влечению сердца: прощение за его раскаяние, награду за искупленную вину. И теперь он пытался убедить Стенио, что поэт мог еще заслужить расположение той, которую так любил, и вернуть ее.

Но, к несчастью, для Стенио это было уже слишком поздно. Тренмор, связанный обязанностями, которые возложила на него суровая миссия, не в силах был раньше вырвать его из объятий грубых страстей. Но если бы даже он и успел это сделать вовремя, Стенио, может быть, все равно погрузился бы в эту бездну. Он был сыном своего века. Никакие твердые принципы, никакая глубокая вера не могли проникнуть в его душу. Подобно цветку, покорная капризу ветров, она поворачивалась то на восток, то на запад в поисках солнца и жизни и была не способна противиться холоду и бороться с грозой. Жадный до идеала, но не ведая пути к его достижению, Стенио стремился к поэзии и воображал, что обрел свою религию, нравственность, философию. Он не подумал о том, что поэзия – всего-навсего форма, выражение нашей внутренней жизни и там, где за ней не стоят ни обеты, ни убеждения, она всего только легковесное украшение, звучный музыкальный инструмент. Он долго преклонял колена перед алтарями Христа, потому что находил особое очарование в обрядах, установленных предками; но когда перед ним открылись двери будуаров, сладострастные запахи роскоши заставили его позабыть аромат ладана в церкви, и он решил, что предметом его поклонения и стихов может стать не только идеальная красота Марии, но и вульгарная красота Лаисы. Высокоодаренная Лелия сумела превратить восторги Стенио в настоящее чувство, и тогда, опьяненный своим тщеславием, он с подчеркнутым презрением стал относиться к несчастным, которые ищут забвения в пороке. Но как только он увидел, что в отношении к нему Лелии больше нежности, чем восторга, что она не склонна слепо ему подчиняться, чувство его превратилось в ненависть, и он кинулся в порок с еще большей легкостью, чем все те, кого он же сам осуждал.

Когда Тренмор увидел, с какой горечью Стенио гонит от себя прочь всякие воспоминания о Лелии, ему стало страшно опустошение, которое неверие учинило в душе поэта, ибо любовь – это отблеск божественной жизни, который угасает в нас всегда последним. Сквозь всю жизнь Тренмора прошла мысль об искуплении и возрождении человеческого рода. Слишком сильный сам, чтобы поверить в искренность отчаяния или в реальность истощения, он с глубоким негодованием относился ко всякому проявлению того и другого. Он обвинял свой век в том, что он поощряет эту нечестивую моду, и считал, что преступление перед человечеством совершают те, кто проповедует малодушие и поддается неверию.

– Стыд и позор! – вскричал он, охваченный благородным гневом. – И это говорит один из наших братьев, мученик за веру, служитель святого дела! Что же тогда скажут наши преследователи и палачи, если мы сами отрекаемся от всякой мысли о величии, от всякой надежды на спасение? О юность, ты, которую я с радостью называл священной, которую я считал дочерью providения и матерью свободы! Неужели ты способна только проливать кровь на арене, подобно борцам олимпийских игр, для того лишь, чтобы получить никому не нужный венок и услышать жалкие рукоплескания? Неужели единственная добродетель твоя – это беззаботность, единственная храбрость – это дерзание, присущее силе? Неужели ты годишься только на то, чтобы поставлять неустрашимых солдат? Неужели ты не создашь людей упорных и поистине сильных? Неужели ты пронесешься сквозь мрак времен подобно стремительному метеору, и потомство напишет на твоей могиле: «Они сумели умереть, они не сумели бы жить».

Неужели ты только слепое орудие судьбы и не понимаешь ни причин, ни целей твоего дела? Как же так! Стенио, ты ведь мог совершить великий поступок, а теперь уже неспособен на великую мысль или великое чувство! Ты ни во что не веришь, а ты мог что-то содейть! А все эти опасности, которым ты себя подвергал, страдания, через которые ты прошел, и пролившаяся кровь твоих братьев, твоя собственная – все это для тебя лишено всякого нравственного смысла, все это ничему не может тебя научить! О, раз так, то я понимаю: ты должен все отбросить, все отрицать, все презирать, все растоптать ногами. Наше дело – это только несостоявшаяся попытка, наши погибшие братья – всего-навсего жертвы слепого случая, кровь их пролилась на сухую землю, и нам остается только каждый день опьяняться, чтобы усыпить в себе мучительные воспоминания и отогнать ужасный кошмар...

– Вальмарина, – мрачно сказал Стенио, – вы напрасно меня упрекаете. Вы доверили мне тайну – я ее сохранил; вы потребовали от меня клятвы – я поклялся. Вы поручили мне дело – я его совершил. Чего вы еще от меня добиваетесь? Согласитесь, что я верен своему слову, что я умею сражаться, что не отступлю перед тяготами и опасностями. Чего же вы еще от меня хотите? Вы знаете, что я дал вам право использовать меня для вашего дела, располагать мною, как вам понадобится, что, будь я хоть на краю света, я покорен вашей воле и готов явиться по первому вашему зову. Вы нашли во мне верного слугу; так пользуйтесь же им и в пылу вашего прозелитизма не ослепляйте себя, не пытайтесь сделать из меня вашего ученика. Кто дал вам право навязывать мне ваши верования и вашу надежду? Разве я искал ваших проповедников, разве я добивался милости быть принятым в число ваших рыцарей Круглого стола? Разве я явился к вам как герой, как освободитель или хотя бы как ваш адепт? Нет! Я сказал вам, что больше ни во что не верю, и вы мне ответили: «Это не имеет значения, следуй за мной и действуй». Вы воззвали к моей чести, к моей храбрости, и я не мог уже отступить. Я не хотел, чтобы меня сочли за труса... или за равнодушного, вы ведь не терпите равнодушия. Вы подвергаете его вашему ужасному суду и нарекаете подлостью. Я не настолько философ, чтобы согласиться с этим приговором. Я видел, как шла молодежь, все смелые люди моей страны; я поднялся, больной и разбитый; я потащился по окровавленной арене. И какое же зрелище вы для меня приготовили, великий боже! И все это, чтобы исцелить меня и утешить, чтобы я поверил вашим теориям? Лучших людей моего времени скосила жестокая месть сильного: тюрьмы разверзли свою отвратительную пасть, чтобы поглотить тех, кого не могли настичь пушечные ядра и лезвие меча; проскрипции осудили всех, кто сочувствовал нашему делу; словом, всякая преданность парализована, ум подавлен, храбрость сломлена, воля убита. И вы все еще называете это делом возрождения, спасительным уроком, семенем, брошенным в обетованную землю. А я видел шаги смерти, полное бессилие и последние драгоценные зерна, брошенные на ветер, рассыпанные по скалам, среди колючек! И вы считаете меня преступником, оттого что после этой катастрофы я пал духом и преисполнился ко всему отвращения. Вы не хотите, чтобы я оплакивал жертвы и чтобы, охваченный ужасом, сел на краю того рва, где хотел бы лечь и уснуть вечным сном рядом с бедным Эдмео...

– Ты недостойн произносить это имя! – воскликнул Тренмор и залился слезами. – Жалкий фразер, ты произносишь его, а глаза твои сухи! Ты хочешь только оправдать свои нечестивые сомнения, и в этом мертвом теле, лежащем в гробу, видишь только нечто ужасное, что тебе не хочется вспоминать! Нет, ты не понял этой высокой души, раз хочешь лишить ее заслуженного бессмертия, не понял ты и ее священного назначения на земле, коль скоро сомневаешься в плодах, принесенных этим великим примером. Боже правый! Не слушай этих богохульных речей! О живущий на небе сын мой, Эдмео, ты счастлив тем, что не слышишь их!..

Вальмарина упал на землю и, потрясенный столь горьким напоминанием об Эдмео, с силой сдвигая руками свою широкую грудь, чтобы только сдерживать рыдания. Можно было подумать, что он хочет удержать в сердце своем веру, потрясенную хулою на бога. Он переживал страшную муку, как Христос перед горькой чашей.

Стенио тоже плакал, он ведь по натуре был добр и чуток; только он придавал слишком много значения своим слезам. Это были слезы поэта, которые лились легко и с нежностью смывали следы его страдания. Он не мог понять, как этот сильный и великодушный человек плачет и слезы не приносят ему облегчения, а вместо этого огненным дождем низвергаются на его сердце.

Он не знал, что страдания, которые подавляют силой, острее и мучительнее тех, которым дается воля. А Стенио привык отрицать то, что не знал. Он думал, что Тренмор устыдился своей мимолетной жалости и что в порыве дикого неистовства тот хочет уничтожить воспоминание об Эдмео в своем сердце, как уничтожил его самого в сражении. Он удалился опечаленный, недовольный и к тому же несчастный, ибо у него были благородные побуждения и душа его была создана для благородной веры...

Около полуночи он пришел в салон Пульхерии. Куртизанка сидела одна за туалетом, погруженная в грустное раздумье. Когда она увидела, как Стенио, которого она считала мертвым, появился позади нее в зеркале, она решила, что это привидение, и, пронзительно вскрикнув, без чувств упала на пол.

— Достойный прием! — воскликнул Стенио. И даже не подумав поднять ее, он повалился на диван и, измученный усталостью, тут же уснул, в то время как служанки Пульхерии суетились вокруг своей госпожи, приводя ее в чувство.

51

— Милая, ты говоришь, что сестра твоя умерла. Разве у тебя была сестра?

— Стенио, — воскликнула Пульхерия, — может ли быть, чтобы ты так равнодушно принял это известие! Я говорю тебе, что Лелии больше нет в живых, а ты делаешь вид, что не понимаешь меня!

— Лелия не умерла, — сказал Стенио, покачав головой. — Могут ли мертвые умереть?

— Замолчи, несчастный, не усугубляй мое горе твоими насмешками, — ответила Цинцолина. — Сестры моей больше нет на свете, и я в этом убеждена, все меня в этом убеждает. Хотя она и была высокомерной и холодной, каким часто бываешь и ты, Стенио, следуя ее примеру, это было большое сердце и щедрая душа. В былое время она, правда, не знала ко мне снисхождения, но когда мы с ней встретились в прошлом году на балу у Бамбуччи, она смотрела на жизнь более разумно, она тосковала от своего одиночества и уже больше не удивлялась, что я избрала путь, противоположный тому, которым она шла сама.

— Поздравляю вас, и ту и другую, — с иронической насмешкой сказал Стенио. — Ваши сердца были созданы друг для друга, очень жаль, что такая трогательная гармония не смогла долго длиться. Итак, прекрасная Лелия умерла. Успокойся, милая, это еще ровно ничего не значит. Я встретил вчера человека, который знает о ней, и, по-видимому, она не только жива, но сейчас еще больше хочет жить, чем пристало хотеть этой исключительной натуре.

— Что ты говоришь? — вскричала Пульхерия. — Ты получил какие-то вести о ней? Ты знаешь, где она и что с ней?

— Да, и вести действительно интересные, — ответил Стенио с гордым небрежением. — Прежде всего я даже не знаю, где она находится, мне не сочли нужным об этом сообщить, может быть, правда, потому, что сам я ни о чем не спрашивал... Что же касается ее настроения, то, как мне кажется, играть свою величественную роль ей уже порядком надоело, и она не рассердилась бы, если бы я был настолько глуп, что стал о ней беспокоиться...

— Замолчи, Стенио! — вскричала Пульхерия. — Ты хвастун... Никогда она тебя не любила... Впрочем, — продолжала она после нескольких минут молчания, — не поручусь, что за презрением ее не скрывалось особого рода любви. Я никак не могу позабыть, что моя победа над ней в том, что касалось тебя, глубоко ее оскорбила; иначе почему она скрылась так внезапно и даже со мной не простилась? Почему за целый год своего отсутствия она ни разу о себе не напомнила, хотя, казалось, и была очень рада, когда мы с ней встретились?.. Послушай, Стенио, теперь, когда ты меня успокоил и утешил, сообщив, что она жива, я могу сказать тебе, что я подумала, когда она так таинственно исчезла из города.

— Таинственно? Почему таинственно? Не надо удивляться ничему, что делает Лелия. Поступки ее всегда отличаются от поступков других людей. Не так же ли и с ее душой? Лелия исчезает внезапно, ни с кем не простившись, не увидавшись с сестрой, не сказав приветливого слова тому, кого ласкала как сына. Что может быть проще? Ее щедрое сердце не болеет ни о ком; ее

великая душа не признает ни дружбы, ни кровных уз, ни снисхождения, ни справедливости...

– Ах, Стенио, как вы до сих пор еще любите эту женщину, о которой говорите столько всего плохого!.. Как вы горите желанием ее найти!..

Стенио пожал плечами и, не считая нужным отвергать подозрение Пульхерии, сказал:

– Расскажите же, почтеннейшая, что вы думаете об этом; вам только что пришла в голову какая-то мысль...

– Вот что, – сказала Пульхерия, – я думала, да и другие также, что в порыве отчаяния, которое ее внезапно охватило во время празднества на вилле Бамбуччи, она...

– Бросилась в море, как новоявленная Сафо! – воскликнул с презрительным смехом Стенио. – Что же, я хотел бы, чтобы это было так; по крайней мере единственный раз в своей жизни она была бы женщиной.

– Как вы хладнокровно об этом говорите! – сказала Пульхерия, пришедшая в ужас от его речей. – Уверены ли вы в том, что она действительно жива? Тот, кто вам это сообщил, уверен ли он был сам? Слушайте, вы же не знаете подробностей ее бегства? Долгое время вообще никто ничего не знал, потому что в доме Лелии все так же безмолвны, медлительны, недоверчивы, как и она. Но вот наконец, так и не дождавшись ее, испуганные слуги стали ее разыскивать, узнавать о ней, а потом делиться с другими своей тревогой и рассказывать о том, что случилось... Выслушай меня и суди сам! На третью ночь празднеств Бамбуччи ты ужинал у меня... помнишь? В эту ночь она появилась на балу, и, говорят, еще более прекрасная, спокойная и нарядная, чем всегда... Она, без сомнения, рассчитывала тебя встретить там, но ты не пришел. И вот в эту ночь Лелия вернулась домой, и с той поры никто ее больше не видел.

– Как! Она ушла одна и в бальном платье? – воскликнул Стенио. – Дорогая моя, не могло этого быть. На балу всегда нашелся бы какой-нибудь галантный кавалер, который бы ее проводил.

– Нет, Стенио, нет! Никто ее не провожал в эту ночь, и с тех пор о ней ни слуху ни духу. Слуги ее ждут. Двери во дворце открыты день и ночь, камеристка ее все время сидит у камина. Лошади в стойлах бьют копытами, и стук их – единственное, что нарушает могильную тишину этого оцепеневшего дома. Мажордом собирает причитающиеся ей доходы, складывает золото в ящики, ни от кого не получая приказаний, никому не отдавая отчета. Собаки воют, как перед покойником. И когда появляется какой-нибудь иностранец, желающий посетить это роскошное жилище, сторожа встречают его как вестника смерти.

– Все это в высшей степени романтично, – сказал Стенио. – Вы хорошо владеете современным стилем, моя дорогая. Пульхерия, неужто ты и впрямь становишься синим чулком? В эту минуту Лелия, верно, производит фурор где-нибудь на концерте в Лондоне или небрежно играет веером на каком-нибудь празднике в Мадриде; но я уверен, что она не может так искусно, как ты, изобразить на своем лице вдохновенную гримасу и заговорить на байроновском жаргоне.

– Знаешь, где нашли этот браслет? – сказала Пульхерия, показывая Стенио обруч чеканного золота, который он давно еще видел на руке Лелии.

– Верно в желудке какой-нибудь рыбы! – сказал Стенио тем же насмешливым тоном.

– На Пунта ди Оро; на другой день после исчезновения Лелии его принес какой-то охотник, а камеристка ее утверждает, что сама надела этот браслет на руку своей госпоже, когда та собиралась на последний бал на вилле Бамбуччи.

Стенио взглянул на браслет; он был сломан во время ее горячего спора с Тренмором на одной из горных вершин. Увидав его, Стенио задумался. Во время ее безрассудных блужданий по диким местам Лелию могли убить. Может быть, какой-нибудь разбойник и выронил потом эту вещь. Мрачное предчувствие охватило Стенио, и, поддавшись неожиданному порыву, какие бывают у натур неуравновешенных, он машинально надел сломанный браслет себе на руку. Потом он вышел в сад, а через четверть часа вернулся обратно и прочел Пульхерии только что сочиненные им стихи:

Сломанному браслету

Будем вместе, не надо разлучаться, участь у нас с тобою одна: ты – золотой об-

руч, когда-то служивший эмблемою вечности; я – сердце поэта, когда-то бывшее отблеском бесконечного.

Мы с тобой разделили одну судьбу – мы сломлены оба. Ты теперь стал эмблемою женской верности, я – воплощением мужского счастья.

Оба мы были игрушками для той, которая надевала на руку золотое запястье и швыряла под ноги сердце поэта.

Чистота твоя осквернена, молодость моя ушла далеко. Будем же вместе, мы оба с тобой – обломки: нас разбили в один и тот же день!

Цинцолина принялась расхваливать стихи. Она знала, что это лучшее средство утешить Стенио, а эта легкомысленная особа, которая всегда первая мгновенно поддавалась грусти и которой первой надоедало видеть эту грусть вокруг, находила, что Стенио чересчур уж долго печалится.

– Знаешь последнюю новость? – сказала она, когда они кончали ужинать. – Принцесса Клавдия удалилась в монастырь камальдулов.

– Как? Маленькая Бамбуччи? Что же, она готовится к первому причастию?

– О нет, – сказала Пульхерия, – маленькая Бамбуччи его уже получила. Ты это отлично знаешь, Стенио: не ты ли был в прошлом году ее духовником?

– Я знаю, что она запачкала ножки, проходя по твоему саду и подымаясь по твоей лестнице в твоё казино. Но ей достаточно сменить туфельки, ибо, клянусь памятью ее матери – я не хотел бы за этим столом поминать свою, в тот день никакая другая грязь ее не коснулась. Но так как я ни до этого, ни после ни разу ее не видел, то если у нее и был какой-то грех, искупить который она решила в обители камальдулов, мне об этом ничего не известно. Я не сорвал даже и листика с генеалогического древа Бамбуччи.

– Не о грехе идет сейчас речь, – сказала Пульхерия, – речь идет о безнадежной любви или о чувстве, натолкнувшемся на непреодолимые препоны, – называй это как тебе угодно. Одни говорят, что ее внезапно охватил порыв религиозного рвения; другие – что она воспользовалась этим как предлогом избавиться от посягательств старого герцога, за которого ее хотели выдать замуж. Я одна только знаю, чьей любви помогала молодая принцесса... И уж если говорить все до конца, то коль скоро она удалилась в эту обитель в день твоего отъезда, то есть в тот самый день, когда у нее было свидание с тобой, я боюсь, что проделка ее была обнаружена и что дед и бабка из соображений осторожности или строгости сами упрятали ее за решетку монастыря.

– Если это действительно так, – вскричал Стенио, ударив рукой по столу, – я ее похищу! Или нет, не похищу, а соблазню! Да разразится это несчастье над ее родными! Я берег невинность маленькой Клавдии, но отнюдь не намерен беречь гордость ее семьи!.. Да я готов даже на ней жениться, чтобы они краснели потом, породнившись с поэтом... Только на что мы с ней будем жить? Нет, небо еще ниспошлет ей благородного супруга! Ей на роду написано стать принцессой в назидание двору и всему городу. Что же, раз ей уготована эта высокая участь, пусть она пользуется молодостью своей и всеми преимуществами своего положения! Неужели, укрытый монастырскою тенью, цветок этот будет хранить свою невинность, чтобы украсить собою ржавый герб какого-нибудь старого вельможи и увянуть под его отвратительными ласками? Не понадобится ли рано или поздно какой-нибудь скромный паж или ловкий духовник, чтобы... Да это, может быть, уже и случилось... О! отшельник Магнус недаром избрал себе пустынь близ обители камальдулов! Если бы я в это поверил, я бы сейчас же... Прости меня, Пульхерия, рои безумных мыслей проносятся у меня в мозгу. Быть может, я выпил сегодня слишком много мальвазии; но только ночью я непременно учиню какую-нибудь веселую проделку; во всяком случае, попытаюсь... Вот что! Ты переоденешь меня в женское платье, и мы вспомним блаженной памяти графа Ори. У нас же сейчас карнавал, не так ли?

– И не думай о таком беспутстве, – сказала испуганная Цинцолина. – Малейшая неосторожность может навлечь на тебя подозрения, а Бамбуччи всеильны на этом маленьком кусочке земли, который они называют своим государством. Нынешний князь не таков, каким был его

отец – галантный эпикуреец; этот – свирепый фанатик и поклоняется папе, вместо того чтобы поклоняться женщинам. Стоит ему только заметить, что ты возымел дерзость мечтать о его сестре, как он велит тебя арестовать. Ты здесь в опасности, Стенио: опасность грозит тебе всюду под нашим прекрасным небом. Я тебе уже сказала: уезжай на север, чтобы избежать подозрений, которые возбудило твое отсутствие.

– Оставь меня в покое, Цинцолина, – сердито сказал Стенио, – и побереги свои политические соображения до того дня, когда вино навевает на меня сон. Сейчас оно вдохновляет меня на великие дела, и я хоть один раз в жизни да буду героем романа, не хуже всех остальных.

– Стенио, Стенио! – воскликнула Пульхерия, силясь его удержать. – Неужели ты думаешь, что для кого-нибудь тайна, почему ты так внезапно исчез три месяца тому назад? Ты видишь, что даже от меня ты не мог это скрыть. Разве я не знаю, что ты покидал нас, чтобы присоединиться к этим безумцам, которые хотели...

– Довольно, сударыня, довольно! – резко вскричал Стенио. – Устал я от всех ваших расспросов.

– Я ни о чем не спрашиваю тебя, Стенио; но ведь не зажила еще твоя рана на лбу и эта вот – на руке... Ах, бедное дитя, ты искал смерти. Только небесам не угодно было тебя призвать, подчинись же теперь их решению и не вздумай ни с того ни с сего...

Стенио не слушал ее, он был уже в перистиле дворца, весь во власти смелого замысла, целиком завладевшего его воображением.

– Прости меня, о нравственность! – вскричал он, углубляясь в темные улицы городских окраин. – О добродетель! О благочестие! О великие принципы, которые интриганы проповедуют дуракам! Простите меня за то, что мне нет дела до ваших проклятий. Вы сделали порок соблазнительным; суровым отношением своим вы разбудили в нас притупившиеся чувства, притягательной силою тайны и опасности вы разожгли в нас угасшие страсти. О предательство! О лицемерие! О продажность! Вы хотите торговать молодостью и красотой, и, так как вы царите во всей вселенной, вы думаете, что сумеете добиться своей цели! Вы объявляете нам войну и толкаете нас на преступление, нас, тех, кто имеет законное право на все сокровища, которые вы у нас похищаете! Пусть же с нравственностью будет так же, как со случайностью на войне! Не вам одним будет принадлежать право закидывать грязью невинность и лишать человека счастья. Мы бросаем нашу ставку на весы, а красавица должна сделать выбор между нами... Итак, раз красавица решает принять нас обоих, с нами вкусить наслаждение, а с вами – богатство... Горе тебе, общество! Да падет на твою голову это преступление, и только на твою, ибо ты одно вынуждаешь восставать против твоих законов или терпеть гнет твоих избранных и унижение твоих жертв.

Обеспокоенная Пульхерия вышла на балкон. Она долго следила глазами за огоньком его сигары, который причудливыми зигзагами быстро уходил в темноту. Наконец красная искорка погасла в глубоком мраке, шум шагов постепенно затих и Пульхерия осталась одна, охваченная тяжелым предчувствием. Ей казалось, что она никогда больше не увидит Стенио. Она долго смотрела на оставленный им на столе кинжал, а потом вдруг поспешно его спрятала. Кинжал этот был покрыт какими-то таинственными эмблемами, знаками, по которым участники общего дела узнавали друг друга. Раздался звонок, и Пульхерия узнала по робости его и по шороху муаровой мантии, что это втайне от всех явился прелат.

52. ПРИЗРАК

Достаточно было одной ночи, для того чтобы Стенио мог разведать окрестности монастыря и освоиться с ними; он прошел по крутому подъему, соединявшему террасу с вершиной горы опасной тропинкой, пройти по которой не дрожа может только пылкий любовник или холодный распутник, и по другой тропинке, не менее опасной, которая начиналась от кладбища и вела к зыбучим пескам ложбины. Стенио уже подкупил дежурную послушницу, и юная Клавдия знает, что завтра ночью Стенио будет ждать ее на кладбище под кипарисами.

Маленькая принцесса никогда не понимала высокого нравственного смысла того благоче-

ствия, к которому она с неких пор была так привержена. Оскорбленная холодной рассудочностью Стенио, она ушла сама в монастырь и объявила о своем намерении принять постриг. Может быть, этой экзальтированной девушкой и руководило искреннее побуждение, но в глубине души сама она далеко не так храбра, как ей хочется быть. В таких вот нервных и слабых душах есть как бы два сознания: одно – призывающее к твердым решениям, и другое – которое отвергает их и которое, вначале с трепетом их приняв, надеется, что судьба все же воспрепятствует их исполнению. Крупицы тщеславия, удовлетворенного сожалениями и лицемерными мольбами родных, большая обида на Стенио и, после того как ей пришлось краснеть перед ним за свою слабость, желание во что бы то ни стало доказать ему, что она сильнее, – вот причины, склонившие ее к уходу в монастырь. Но в этой гордости своей она была не очень тверда, в религиозной экзальтации у нее, как и у Стенио, было больше от поэзии, нежели от чувства, и ее брат, получивший воспитание у иезуитов, отлично понимал, что лучшее средство положить конец этой прихоти – ей не перечить.

Записку Стенио Клавдия получила в один из первых дней, когда она томила от скуки. Решение дочери Бамбуччи посвятить себя богу уже произвело все то впечатление, которое должно было произвести, и перестало быть притчей во языцех. В городе о нем почти уже не говорили и поэтому перестали говорить и за монастырской решеткой. Монахини, по-видимому, были уверены, что замысел ее будет приведен в исполнение. Духовник, предупрежденный принцем, наставлял свою духовную дочь с таким рвением, которое начинало ее пугать. Поэтому дерзкое решение Стенио возбудило в девушке больше радости, нежели гнева, и она отказала ему в свидании, уверенная, что он тем не менее на это свидание придет. А когда настал условленный час, она решила все же пойти сама, чтобы встретить его презрением и унизить за его дерзость. Сердце ее билось, лицо горело, она шла неуверенно, но быстро. Ночь была темной.

Кладбище камальдулов было очень красиво. Огромные кипарисы и тисы, рост которых никогда не пыталась умерить рука человека, роняли на могилы такую густую тень, что даже среди бела дня и то с трудом можно было различить мраморные фигуры надгробий и бледных девушек, склоненных возле могил. Жуткая тишина царила в этой обители мертвых. Ветер никогда не вторгался в таинственную листву деревьев; туда не проникал ни один луч луны; казалось, что свет и сама жизнь замерли у входа в это святилище, и если когда-нибудь и пытались пробраться сквозь него, то лишь для того, чтобы уйти в монастырь или остановиться у края ложбины, еще более пустынной и молчаливой.

– Ну и отлично, – сказал Стенио, садясь на надгробную плиту и ставя на землю свой потайной фонарь, – на этом кладбище я чувствую себя лучше, чем в монастыре, где все в завитках, а воздух пропитан благовониями. Всему свое место: роскошь и нега – удел куртизанок, суровость и умерщвление плоти – удел монахинь.

И он стал терпеливо дожидаться прихода Клавдии, уверенный, так же как и она, что они непременно встретятся.

Задуманное Стенио предприятие было далеко не безопасно, он это хорошо понимал. Как он ни был хладнокровен и смел, он чувствовал, что, для того чтобы насладиться этим приключением сполна, надо быть к тому же и дерзким, и осушил за ужином несколько бокалов крепкого вина, которые подносили ему прелестные руки Пульхерии. Опьяненного, его еще больше возбуждал трудный путь по горам, где надо было преодолевать препятствия и проходить по краям пропастей. Опершись на мрамор могильной плиты, он чувствовал, что земля уходит у него из-под ног, а мысли кружатся вихрем, будто во сне. Вдруг какая-то белая фигура, которую он сначала принял было за статую и которая стояла коленопреклоненной по другую сторону гробницы, зашевелилась и медленно встала: и так как она, приподнимаясь, хотела, должно быть, опереться на мраморную плиту, рука ее, еще более холодная, чем этот мрамор, коснулась руки Стенио. Он невольно вскрикнул. Тогда призрак выпрямился перед ним во весь рост.

– Клавдия! – неосторожно вскричал он. Но сейчас же, увидав, что женщина эта значительно выше Клавдии, он поспешно направил на нее свет своего фонаря; вместо той, кого ждал, он увидел бледную как смерть Лелию, окутанную белым покрывалом, будто саваном. Разум его помутился.

– Это призрак! Призрак!.. – пробормотал он сдавленным голосом и, бросив фонарь, кинулся неведь куда в темноту.

Когда начало светать, он немного пришел в себя и, охваченный страхом, смешанным со стыдом, огляделся вокруг. Он узнал маленькое озеро, на противоположном берегу в отвесной стене скалы зияла пещера отшельника Магнуса. Одежда Стенио промокла и была выпачкана в песке, руки окровавлены шипами агавы. Волосы были всклокочены, шпага сломана: он еще не пришел в себя от страшного потрясения. После этой неистовой лихорадки Стенио почувствовал себя совершенно обессиленным. Смутное воспоминание о том, как, охваченный страхом, он бежал, как отчаянно боролся с какими-то неведомыми ему неуловимыми существами, проносилось в его голове то как сон, то как действительность, настолько еще недавняя, что томительный ужас ее не успел рассеяться. Первые лучи рассвета медленно взбирались по уступам гор: они словно играли с туманом, который поднимался с болот белыми прозрачными хлопьями. Казалось, что это стая гигантских лебедей, величественно взлетающих над водой. Это дивное зрелище произвело, однако, тягостное впечатление на взбудораженные нервы Стенио; в утреннем свете, рассеянном и неясном, окружающее казалось смутно и обманом. Ветер разгонял облака, и чудилось, что все неживое, недвижимое шевелится и оживает. Стенио долго вглядывался в скалу, которую он всю ночь принимал за какое-то фантастическое чудовище, извергнутое волнами к его ногам. Он не решался оглянуться, боясь увидеть над головою гигантский скелет, всю ночь тянувшийся к нему своими костлявыми руками, чтобы его схватить. Когда он наконец набрался храбрости, то увидел вырванную с корнем засохшую сосну – она простирала над озером свои мертвые ветви, колыхавшиеся от ветра.

Когда совсем уже рассвело, Стенио, придя наконец в себя и устыдившись своего бреда, понял, что ему уже не по силам переносить возбуждение, вызванное вином, и дал себе обещание больше не пить, чтобы не сойти с ума. «Пока, – думал он, – человек в состоянии пустить себе пулю в лоб или проглотить смертельную дозу опиума, ему нечего бояться страданий; но в припадке безумия он может утратить инстинкт, влекущий его к самоубийству, и продолжать жить, вызывая в других людях ужас и жалость. Если бы я знал, что меня ожидает такая участь, то я, не медля ни минуты, вонзил бы обломок этой шпаги себе в грудь...»

Он успокаивал себя мыслью, что нельзя второй раз пережить припадок, подобный тому, который он только что перенес. Подобного ужаса он еще никогда не испытывал. Ему приходилось видеть, как его друзья и товарищи умирали в кровавой схватке. Их еще трепетавшие тела падали на него, и кровь Эдмео его обагрила. Но во всей действительности не могло быть ничего ужаснее этого кошмара, во время которого он перестал ощущать в себе силу, лишился воли.

Он подобрал обломки шпаги и бросил их в озеро; потом, приведя себя в порядок, направился к пещере отшельника. Она была пуста. Стенио кинулся на лежавшую на земле циновку и, одолеваемый усталостью, тут же уснул.

Когда он проснулся, отшельник стоял рядом. Вид этого несчастного, любившего Лелию и отвергнутого ею и презренного, возбуждал в Стенио чувство какого-то недоброго и жестокого удовлетворения, и он не мог удержаться от колкостей.

– Отец мой, – сказал он, – простите, что я нарушил ваше святое уединение; но когда я заснул на этом девственном ложе, мне приснилась женщина... И как раз та женщина, которая не была различна ни вам, ни мне.

На лице Магнуса изобразилась мучительная тревога.

– Сын мой, – очень кротко сказал он, – не будем будить воспоминания, которые смерть сделала еще более тягостными.

– Смерть! Какая смерть? – вскричал Стенио, перед глазами которого встал вдруг призрак, виденный им накануне на кладбище монастыря камальдулов.

– Лелия умерла, вы это хорошо знаете, – сказал отшельник с растерянным видом, опровергавшим его напускное спокойствие.

– О да! Лелия умерла! – повторил Стенио, горя желанием узнать правду и вместе с тем продолжая донимать священника своим сарказмом. – Вы говорите, умерла! Окончательно умерла! Это старая песенка, хорошо нам обоим известная: если она так же мертва, как была в послед-

ний раз, нам обоим, отец мой, грозит опасность: вы прочтете по этому поводу еще не одну молитву, а я, быть может, сложу еще не один мадригал.

– Лелия умерла, – сказал Тренмор твердым и решительным голосом. Стенио побледнел.

Стоя у входа в пещеру, он слышал все язвительные шуточки Стенио. Он не мог их вынести и воспользовался первым же случаем положить им конец.

– Она умерла, – продолжал он, – и, может быть, никто из здесь присутствующих не может считать себя неповинным в ее смерти перед богом, ибо ни один из нас не узнал и не понял Лелию...

Он вкладывал в свои слова символический смысл, Стенио же все понял буквально. Он опустил голову, чтобы скрыть свое смущение, и, резко переменяв разговор, поспешил распрощаться и уйти. Он торопился вернуться в город засветло, боясь наступления ночи и видя, что не в силах справиться со своими чувствами, которым был нанесен смертельный удар. Он велел зажечь сотню свечей и разослал приглашения всем своим собутыльникам, чтобы провести ночь в веселье и разгуле. Но это не помогло. В глубине сверкавших в зале зеркал ему все время являлся зловещий призрак. Он дрожал от звука голоса Пульхерии, и хоть он даже не прикоснулся к вину, друзья его думали, что он пьян: глаза его блуждали, и речи были несвязны. С этой минуты рассудок Стенио навсегда помутился, и вел он себя так странно и ни с чем не сообразно, что все от него отвернулось.

53. SUPER FLUMINA BABYLONIS – НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ

«Возьми свой терновый венец, о мученица! И облачись в свои полотняные одежды, о монахиня! Ибо сейчас ты умрешь для света и сойдешь в гроб. Возьми свой звездный венец, о благословенная! Надень свое подвенечное платье, о невеста! Отныне ты будешь жить для небес и станешь невестой Христа».

Этот гимн поет хор послушниц в монастыре, когда к общине присоединяется новая сестра, вступающая в мистический брак с сыном божьим.

Церковь убрана как в дни самых больших праздников. Дворики усыпаны лепестками роз, блестят золотые подсвечники дарохранительниц, мирро и ладан вздымаются клубами дыма из-под белых рук юных диаконис. Мягкие восточные ковры, отделанные блестящею канителью с причудливыми разводами арабесок, разостланы на мраморе паперти. Колонны утопают в шелковых драпировках, которые слегка колышет жгучее дыхание южного ветра. И тогда между гирляндами цветов, серебряной бахромой и чеканными бронзовыми светильниками проглядывает крылатая фигура серафима мозаичной работы, которая резко выделяется на сверкающем фоне и как будто собирается взлететь под округлые своды нефа.

Так всегда украшают и окуривают ароматами монастырскую церковь, когда новая послушница удостоивается принятия пострига и права надеть священное кольцо. Приближаясь к монастырю камальдулов, Тренмор увидел множество экипажей, лошадей и лакеев. Из баптистерия, высокой башни в центре здания, доносился звон больших колоколов, чье строгое звучание оглашало обитель только по особо торжественным дням. Ворота и церковные двери были открыты настежь, и народ толпился на паперти. Женщины богатые и аристократки, как всегда разряженные и говорливые, и молчаливые дочери Альбиона, всегда и везде падкие до зрелищ, занимали отведенные им привилегированные места. Тренмор подумал, что теперь не время просить свидания с Лелией. Все были слишком взволнованы происходящим, шумели, и добаться до нее было бы трудно. К тому же все двери внутренних помещений монастыря были заперты; цепочки звонков убраны; все окна закрыты глухими занавесями. Тишина и таинственность, царившие в этой части здания, контрастировали с шумом и движением в наружных помещениях, заполненных людьми.

Изгнанник, принужденный прятаться от глаз толпы, воспользовался тем, что внимание публики было отвлечено, и проскользнул незамеченным в углубление между двумя колоннами. Он стоял теперь возле решетки, разделявшей неф на две половины и наглухо завешенной великолепным смирнским ковром. Вынужденный дожидаться конца службы, он не мог не слышать

разговоров, которые велись вокруг.

– Неужели же никто не знает ее имени? – спросил женский голос.

– Нет, – ответила другая. – Имя оглашается только по окончании церемонии. Пока она не произнесет обета, никто его не узнает. Насколько монахини свободны после пострига, настолько суровы и страшны правила их послушнической жизни. Посторонняя публика, присутствующая при совершении обряда, не сможет разгадать тайну. Вы увидите, как послушница переменит в вашем присутствии одеяние, но лицо ее от вас будет скрыто. Вы услышите, как она произносит обеты, но не будете знать, кто их утверждает. Вы увидите, как она ставит свою подпись, но так и не будете знать, кто она... Вы будете присутствовать при обряде, который производится на глазах у всех, и вместе с тем ни один человек из этой толпы не сможет понять, что же все-таки происходит, и поднять свой голос в защиту жертвы, если он когда-либо понадобится ей как свидетель. Здесь, в этой жизни, с виду такой благородной и мерной, творятся ужасные и непоправимые дела. Инквизиция неотступно следит за этими великолепными обителями гордости и страдания.

– Да, но как-никак, – вступилась другая, – люди обычно знают, кто из послушниц принимает постриг. А уж тот, кто интересуется, всегда все сможет узнать заранее.

– Не думайте, что это так просто, – ответили ей. – Капитул пускает в ход всю церковную дипломатию, лишь бы обмануть всех лиц, заинтересованных в том, чтобы воспрепятствовать постригу. За этими непроницаемыми решетками легко бывает сохранить тайну. Бывают любовники или братья, которые на коленях умоляют привратниц и целый год ходят по ночам вокруг монастырских стен, после того как послушницу уже постригут или втайне переправят в какой-нибудь другой монастырь. А на этот раз все, как видно, окружается особыми предосторожностями, чтобы присутствующие не могли узнать имени принимающей постриг. Одни говорят, что она уже целых пять лет в монастыре, а другие думают (именно по причине такого рода слухов), что она носит покрывало послушницы только несколько месяцев. Известно лишь, что духовные лица очень в ней заинтересованы, что капитул рассчитывает на богатые дары и что было много причин для недопущения ее к постригу, но все были очень искусно устранены.

– Странные ходят об этом слухи, – сказала одна из собеседниц. – Кто говорит, что это принцесса королевской крови, кто – что это обращенная куртизанка. Некоторые думают, что это знаменитая Цинцолина, появление которой в прошлом году на балу у Бамбуччи наделало столько шума. Но вероятнее всего, что это не кто иная, как юная Бамбуччи.

– Говорят, – понизив голос, добавила другая, – что она сделала это с отчаяния. Она была влюблена в греческого принца Паоладжи, который презрел ее любовь и вместе с богатой Лелией уехал в Мексику.

– А я знаю из верных источников, – вмешалась третья, – что прекрасная Лелия находится сейчас в тюрьме инквизиции за свою связь с карбонариями.

– Нет, что вы, – возразила еще одна, – ее же ведь убили в Пунта ди Оро...

С первыми звуками органа разговор этот прервался. Под величественные аккорды *introit* широкая завеса медленно раздвинулась и открыла таинственные глубины алтаря.

Из церкви вышла монастырская община в полном составе, и все расселись по обе стороны в два ряда. Монахини шли первыми. Их одеяние было скромно и вместе с тем великолепно: на их ослепительной белизны рясу ниспадал до самых ног пурпуровый скапулярий, эмблема крови Христовой; головы их были укрыты белым покрывалом, другое, прозрачное праздничное покрывало окутывало всю фигуру как мантия и ниспадало на пол величественными складками.

Следом за ними шли послушницы, все стройные и белые, уже без пурпура и прозрачного покрывала. У этих одеяния были короче; их обутые в сандалии ноги были обнажены до щиколотки, и видно было, что девушки заботятся об их красоте: им больше нечем было блеснуть – даже лица их были закрыты непроницаемыми покрывалами.

Когда все они преклонили колена, появилась аббатиса: по ее правую руку шла мать-казначейша, по левую – мать-деканша. Все присутствующие встали и низко ей поклонились, после чего она села в свое кресло, поставленное посередине. Годы согнули ее. На груди у нее сверкал золотой крест, в руке был легкий серебряный посох тонкой работы.

Тогда раздался гимн «Veni Creator» и будущая монахиня вышла из внутренних дверей. Эти двери состояли из двух створок; та, через которую прошла вся община, закрылась; из той, которая открылась для принимающей постриг, видна была галерея, узкая, длинная и очень мрачная, освещенная рядом светильников. Послушница двигалась как тень в сопровождении двух молодых девушек, увенчанных белыми розами, со свечами в руках и двух прелестных девочек, выглядевших так, как в средние века изображали ангелов: золотые корсажи, белокурые выющиеся волосы, острые крылья, серебряные туники. Эти дети несли корзины, полные розовых лепестков; а сама послушница держала в руке лилию из паутинной серебряной филигрании. Это была очень высокая женщина, и хотя она была вся окутана покрывалом, по походке ее можно было судить, что она молода и хороша собой. Она уверенно подошла и, став посреди хора, опустилась на колени на богато вышитую подушку. Все четверо сопровождающих ее тоже встали на колени с четырех сторон, и церемония началась. Тренмор слышал, как вокруг шептались, что это скорее всего Пульхерия, прозванная Цинцолиной.

В другом приделе церкви началась вторая часть церемонии. Все духовенство собралось у главного алтаря.

Прелаты уселись в роскошные бархатные кресла; несколько капуцинов смиренно преклонили колена; простые священники выстроились позади, а те, которым предстояло участвовать в богослужении, вышли последними, одетые в парадные ризы. Мессу служил кардинал, славившийся своим умом. Патриарх, слывший святым, прочитал отпущение. Тренмора поразили слова:

«Бывают времена, когда церковь оскудевает и наступает век безверия, ибо политические события увлекают целое поколение на путь смуты и безумия. Но и в эти времена церковь одерживает блистательные победы. Поистине сильные души, поистине великие умы и поистине добрые сердца прибегают к ее лону, ища в нем любовь, покой и свободу, в которых им отказывает свет. Тогда кажется, что эра великой преданности и высоких подвигов, совершенных во имя веры, возрождается вновь. Церковь трепещет от радости; она вспоминает блаженного Августина, который один воплотил в себе целый век и был выразителем его дум. Она знает, что человеческий гений всегда смиритесь перед ней, ибо только она одна может напитать его и направить по истинному пути».

При этих словах, вызвавших горячее одобрение всех присутствующих, Тренмор нахмурился. Он устремил свой взгляд на принимавшую постриг. Ему хотелось бы обладать магнетической силой, чтобы проникнуть сквозь это таинственное покрывало. Но никакого признака волнения он заметить не мог – ни одна складка ее тройного покрывала не шелохнулась. Можно было подумать, что это статуя Изида из алебаstra или слоновой кости.

В торжественную минуту, когда, выйдя из капитула, она вошла в церковь, а народ толпился вокруг, со всех сторон началось шушуканье любопытных, и головы людей, над которыми возвышался Тренмор, колыхались, как волны. Стража, сопровождавшая прелата, который возглавлял церемонию, встала в два ряда, ограждая путь медленно продвигавшейся среди них послушнице. Она шла вперед, сопровождаемая пожилым священником, выполнявшим обязанности посаженного отца, и почтенной матроны из мирянок, выполнявшей роль посаженной матери, провожающей дочь к небесному жениху.

Послушница величественно поднялась по ступеням алтаря. Патриарх в полном облачении ожидал ее, сидя в кресле, похожем на трон, у входа в главный алтарь. Сопровождающие ее остановились поодаль, и принимающая постриг, закутанная в белый покров, преклонила колена перед князем церкви.

– О ты – ты, что явилась перед служителем всевышнего, как твое имя? – возгласил он звучным голосом, предлагая принимающей постриг так же ясно ответить ему и открыть свое имя перед взволнованной толпой.

Послушница встала, и когда она сняла золотую застежку, придерживавшую покрывало на лбу, все покровы упали к ее ногам, и под сияющим свадебным одеянием земной принцессы, под потоками пышных черных волос, перевитых жемчугами и увенчанных бриллиантами, под бесчисленными складками серебристого газа, затканного белыми камелиями, присутствующие увидели светящееся лицо и стройную фигуру самой красивой и самой богатой женщины этого края.

Стоявшие сзади женщины не сразу ее узнали и смотрели на нее с волнением и любопытством. Наступила такая тишина, что слышно было едва уловимое потрескивание горевших вокруг свечей.

– Я Лелия д'Альмовар, – ответила принимающая постриг сильным и звучным голосом, который, казалось, хотел пробудить от вечного сна всех мертвецов, погребенных в церкви.

– Кто ты, девушка, женщина или вдова? – спросил первосвященник.

– По принятым человечеством законам я не девушка и не женщина, – ответила она еще более твердым голосом, – перед лицом господина я вдова.

Услышав это откровенное и смелое признание, священники смутились, в глубине хоров можно было увидеть, как растерянные монахини поспешно закрывают лица покрывалами; иные начинали спрашивать друг друга, не ослышались ли они.

На лице кардинала, более спокойного и осторожного, чем его робкое стадо, не дрогнул ни один мускул, словно он ожидал подобного ответа.

Толпа безмолвствовала. И когда начался опрос, видно было только, как по губам людей пробежала ироническая улыбка – многие знали, что Лелия вообще никогда не была замужем и что Эрмолао прожил с нею три года. Но если ответ Лелии и оскорбил некоторых людей строгой нравственности, во всяком случае никто не решился над ней посмеяться.

– Чего вы хотите, дочь моя, – спросил кардинал, – и зачем вы предстали перед служителем всевышнего?

– Я невеста Иисуса Христа, – ответила она тихим и мягким голосом, – и я прошу, чтобы мой брак с владыкой моей души был сегодня признан и освящен.

– Верите ли вы в единого господина, олицетворенного в трех лицах, в его сына Иисуса Христа, бога, воплотившегося в образе человека и распятого на кресте за...

– Я клянусь, – перебила его Лелия, – следовать всем предписаниям христианской веры и римской католической церкви.

Хоть ответ ее и не соответствовал ритуалу, это было замечено лишь немногими из присутствующих; на все же остальные вопросы принимающая постриг ответила формулами, заключающими в себе некие таинственные оговорки; услышав их, иные из духовных лиц, присутствовавших при обряде, вздрогнули от удивления, страха и тревоги.

Но кардинал пребывал в полном спокойствии, и его властный взгляд, казалось, повелевал подчиненным принимать все обеты Лелии, каковы бы они ни были.

Окончив свои вопросы, кардинал обернулся лицом к алтарю и обратился к небесам с горячей молитвой за невесту Христову. Затем он взял сверкающую чашу со святым причастием и провел посвященную до самой решетки алтаря. Там был установлен изящный амвон, а на нем стояла кропильница. Лелия преклонила перед ним колена и в последний раз повернула свое открытое лицо к толпе, которая никак не могла на нее наглядеться.

В эту минуту молодой человек, стоявший возле возвышения в углу, прислонившись к колонне, скрестив на груди руки и, казалось, совершенно чуждый всему происходившему, внезапно наклонился над балюстрадой: как будто только что очнувшись от тяжелого сна, он бессмысленно взирал на толпу. В первую минуту только Тренмор один заметил его и узнал, но вскоре взоры всех обратились на него, ибо, когда его взгляд встретился как бы случайно со взглядом посвященной, он пришел в сильное возбуждение и, казалось, делал над собой невероятные усилия, чтобы проснуться.

– Взгляните же на поэта Стенио, – сказал какой-то ненавидевший его критик, – он пьян, вечно пьян!

– Скажите лучше – он сумасшедший, – поправил его другой.

– Он так несчастен, – прошептала какая-то женщина. – Разве вы не знаете, что он был влюблен в Лелию?

На одно мгновение посвященная исчезла и явилась уже без всяких украшений, в белой полотняной тунике, препоясанная веревкой. Ее роскошные волосы черными волнами рассыпались по одеянию. Она стала на колени перед аббатисой, и в мгновение ока эти роскошные волосы, которыми была бы горда любая из женщин, срезанные ножницами, застлали собою пол церкви.

Посвященная оставалась невозмутимой; старые монахини удовлетворенно улыбались, как будто в этой потере даров красоты находили утешение и торжество.

Повязка навсегда сокрыла от всех гордый лоб Лелии.

– Прими это как бремя, – пропела аббатиса сухим и надтреснутым голосом,

– а это – как саван, – добавила она, закутывая ее в покрывало.

Тут посвященную накрыли погребальным покровом. Лежа на полу между двумя рядами свечей, она приняла окропление иссопом, и над ней пропели «De profundis».

Тренмор взглянул на Стенио. Стенио взирал на этот черный покров, под которым лежало существо, полное жизненной силы, красоты и ума. Казалось, он не понимал того, что произошло, и теперь уже не выказывал никакого волнения.

Но когда Лелия поднялась с одра смерти и с ясным взглядом и спокойной улыбкой приняла от аббатисы венки из белых роз, серебряное кольцо и поцелуй мира, в то время как хор запел гимн «Veni sponsa Christi», охваченный ужасом Стенио сдавленным голосом закричал:

– Призрак! Призрак! – и упал без сознания.

В первый раз за все это время посвященная смутилась. Она узнала этот голос, он отдался в ее сердце как последний, прощальный звук жизни. Поэта, который бился словно в припадке падучей, унесли. Жадные до зрелищ зрители, увидав, что Лелия зашаталась, стали тесниться к решетке, ожидая, что разразится скандал. Испуганная аббатиса велела тут же задернуть завесу, однако новопосвященная повелительным тоном, повергшим в оцепенение и робость всех присутствующих, отменила это приказание и властно заставила продолжать церемонию.

– Послушайте, – тихо сказала она аббатисе, когда та запротестовала, – я ведь не девочка и сумею сохранить свое достоинство. Вы решили устроить зрелище, так позвольте же мне довести до конца мою роль.

Она стала посреди хора, где должна была пропеть положенную по ритуалу молитву. Четыре молодые девушки приготовились аккомпанировать ей на арфах. Но в ту минуту, когда она должна была начать этот гимн, не то память изменила ей, не то вдохновение возымело над ней власть: Лелия взяла одну из арф и, аккомпанируя себе сама, запела импровизированную песнь на слова гимна плененных.

«На реках вавилонских мы сидели и плакали, вспоминая о Сионе.

И мы повесили арфы свои на ивах прибрежных.

Когда взявшие нас в плен попросили нас произнести слова песнопения и развлечь их игрою на арфе, сказав нам: «Спойте нам что-нибудь из песнопений сионских», мы ответили им:

Как можем мы петь песню господу нашего на чужой земле?

Да забвенна будет десница моя, если я позабуду тебя, Иерусалим!

Да присохнет язык мой к гортани, если я не буду вечно помнить тебя и если ты, Иерусалим, не станешь единственной моей радостью.

.....
О предвечный! Дщери твои вспомнят алтари свои и сень зеленых деревьев на высоких холмах!

.....
Вавилон, ты будешь разрушен. Да не видать тебе всего того зла, которое ты нам причинил!

.....
Слушайте, женщины, слушайте слова вседержителя и сохраните их в сердце своем. Научите дочерей ваших плакать, и пусть каждая из них научит подругу свою стенать от горя... Ибо смерть проникла к нам в окна, поселилась в домах наших... Пусть спешат они, пусть громко стеноют над нами, и пусть глаза наши восплачут, и пусть из-под век наших потекут потоками слезы!»

Это в последний раз люди слышали великолепный голос Лелии, которому ее талант придавал неизъяснимую власть над ними. Коленопреклоненная у своей арфы, с глазами, влажными от слез, с вдохновенным лицом прекрасная как никогда, в своем белом покрывале и свадебном венке, она производила глубокое впечатление на всех, кто ее тогда видел. Каждый невольно думал о святой Цецилии и Коринне. Но один только Тренмор сразу же понял весь глубокий и горестный

смысл пропетых ею стихов песнопения, которое Лелия избрала и положила на музыку, чтобы проститься со светом и дать ему понять, что ее заставило с ним расстаться.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

54. КАРДИНАЛ

– Итак, сударыня, желания ваши исполнятся раньше, чем мы думали. Тяжелый недуг скоро унесет вашу досточтимую аббатису и приведет к большим переменам. Произойдет настолько значительное перемещение в должностях, что вы, вне всякого сомнения, сумеете найти себе занятие, которое будет вам по душе и даст применение вашему блестящему уму.

– Монсиньор, – ответила Лелия, – я ищу только возможностей приносить пользу. Но дело обстоит совсем не так просто, как мы думали. Каждое доброе намерение, разумеется, встречает здесь понимание и сочувствие, но оно подчас встречает также упорное недоверие и даже прямое противодействие. Та, которая не может стать первой, – ничто. И вот, монсиньор, прежде чем просить вас, я все серьезно обдумала: я хочу быть либо ничем, либо первой.

– Вы говорите как истая королева, сестра моя, – сказал кардинал, улыбаясь. – Я хотел бы иметь власть дать вам трон, но при нашей выборной системе я могу только помочь вам как можно быстрее пройти различные ступени иерархии.

– Я не это имела в виду, монсиньор. Я ни за что не соглашусь вступать в борьбу с мелкими интересами и мелкими страстями. Вы должны согласиться с тем, что я никак не подхожу для подобной роли.

– Я это понимаю, сударыня. Я знаю это по себе; мне немало пришлось всего выстрадать на моем еще более долгом пути, и я убежден, что вы не захотите принимать участие во всех внутренних распрях. Но только действительно ли вы ступили на стезю долга, моя дорогая Аннунциата, если вы отказываетесь отдать свой ум на служение общине, частью которой вы являетесь. Я хорошо понимаю, что вы от этого не отказываетесь; но вы собираетесь действовать в интересах церкви только при условии, что церковь предоставит вам самое высокое место, какое может занимать женщина. Аббатиса камальдулов! Но какова бы ни была ваша гордость, каково бы ни было ваше положение в свете, подумайте, сударыня, вы ведь просите о многом.

– Да, это много, если я способна на что-то хорошее; если нет – это ничто, монсиньор. Неужели пурпурная мантия возвышает вас над рядовыми священниками? Зачем мне золотой крест и серебряный посох, если игра в эти пустые игрушки ни в малейшей степени не помогает возвысить душу? Неужели у меня не было других, побогаче, и неужели, подобно большинству женщин, я не могла удовлетвориться этим тщеславием?

– Это верно, сударыня; вот вы и станете аббатисой.

– Скажите мне, что я уже стала ею, монсиньор. Иначе я отвечу вам, что никогда ею не буду...

– Сестра Аннунциата, вы до странности властолюбивы!

– Да, монсиньор, потому что я так же презираю всякую показную и мелочную сторону этих вещей, как и вы сами. Я не боюсь потребовать того, в чем мне могут отказать, ибо отказ этот отнюдь не разочарует меня и не вызовет во мне сожаления. Я пришла сюда совсем не для того, чтобы удовлетворять свое честолюбие. Я пришла сюда для того, чтобы, удалившись от света, жить в уединении. Я не подхожу ни для хозяйственной должности, ни для выполнения каких-либо мелких обязанностей. Я не хочу этим заниматься, ибо знаю, что хорошего из этого ничего не выйдет: либо я перенесу на этот труд мою любовь к порядку и не позволю никому мне перечить, либо я впаду в состояние небрежения, и оно усыпит меня, сузив круг моих мыслей и меня принизив. Вы ведь не хотели ни того, ни другого, не правда ли?

– Ну конечно нет! – воскликнул прелат. – Ваш недюжинный ум и сильный характер для меня священны. Может быть, я один только способен их понять. Мне, во всяком случае, льстит сознание, что я первый их угадал, и я оберегаю эти дары небес ревностно, как отец или как брат.

Это ведь сокровища, и господь назначил меня как бы хранителем их и в один прекрасный день спросит с меня отчет. Поэтому я буду следить за тем, чтобы тратились они на его прославление. О Лелия, вы можете много, я это знаю; поэтому я много сделаю для вас, можете в этом не сомневаться!

– А что именно? – спросила Лелия.

– Сегодня вы будете второй, а завтра – первой.

– Не значит ли это, что я буду исполнительницей чужой воли до тех пор, пока смерть не положит этой воле предел? Нет, монсиньор.

– Но ведь вы же будете распределять милостыню, вы будете опекать бедных, утешать скорбящих; вы сможете полными пригоршнями раздавать золото всем тем, кто будет возбуждать ваше сострадание!..

– А разве я не была свободна делать это и до того, как я принесла сюда мои богатства? Разве я не старалась всемерно помочь людям деньгами? Разве я уже не пресытилась этой радостью? К тому же, даже если бы такого рода благотворительность пришлась мне по душе, разве может распределение монастырских богатств зависеть от решения той, которая зовется матерью-казначейшей?

– Сама аббатиса, и та не может ничем распорядиться без согласия высшего совета.

– Так вот, не этого я хочу, монсиньор. И вы это хорошо знаете. Я хочу не только раздавать хлеб беднякам, я хочу наставлять богатых; я хочу, чтобы дети их получали хлеб насущный, то есть идеи и принципы, которым их никто никогда не учил. Вы открыли для их сыновей школы, вы поощряли развитие их способностей, горячо добиваясь для них высокого нравственного смысла всего, что они делают. Вы знаете, что я смогла и сумела бы сделать то же самое для их дочерей. Вы подали мне эту мысль; вы потребовали от меня обещания взяться за дело храбро, преданно и упорно. Но вам известны мои условия: никаких промежуточных должностей, никакой середины между безмятежным спокойствием самого низкого положения и почетными обязанностями самого высокого.

– Ну хорошо, сударыня, вы будете аббатисой, но, помните, мы с вами играем в большую игру, мы втайне совершаем отступничество от церкви. Церковь – мы не можем закрывать на это глаза – не очень хорошо понимает свое назначение. Ключи святого Петра не всегда находятся в самых умелых руках. Я не знаю, открывают ли они врата рая, но я убежден, что они закрывают врата церкви и что они отталкивают от католицизма всех людей значительных, просвещенных, всех аристократов ума. Поглощенные пустой и опасной заботой сохранять в неприкосновенности букву последних соборов, служители церкви забыли о духе христианства, который заключается в том, чтобы возвысить людей до идеала и открыть настежь двери храма всем душам так, чтобы лучшие места достались избранным. Они поступили как раз наоборот: грубая чернь восседает у алтаря, а патриции ума вынуждены стоять у дверей и так близко к выходу, что, пользуясь этим, уходят и больше не возвращаются. Неужели вы думаете, сестра моя, что мы с вами, решив поставить каждого на свое место и подчинить неведение советам разума, суеверие – назиданиям истинного благочестия, – неужели вы думаете, что мы можем что-нибудь сделать против столь тесно сплотившейся злосчастной котерии, возмнившей себя церковью?

– Я совсем этого не знаю, монсиньор; если я на минуту и поверила этому, то лишь потому, что вы постарались меня убедить.

– Как! Вам больше нечем ободрить меня, сударыня? Меня это пугает. Иногда душа моя изнемогает под гнетом всех огорчений и страха. Быть может, после целой жизни, полной непрестанного труда и изнурительных тягот, меня прогонят, как ни на что не годного слугу, или будут держать в стороне, как опасного союзника! Неужели же в часы этого грустного предчувствия я в вашей душе, как и в моей, найду одни только сомнения и расслабленность? Неужели в дружбе высокой и святой мое опечаленное сердце не найдет утешения?

Монахиня и прелат пристально посмотрели друг на друга, и с таким спокойствием, от которого обоим стало даже страшно. Потом, как два орла, которые, прежде чем кинуться друг на друга, ерошат перья и прикидывают силы противника, каждый приготовился к обороне. Лелия постаралась не дать князю церкви почувствовать, что между ними завязываются отношения бо-

лее серьезные, чем он мог предполагать, и кардинал отлично понял, что ни ради честолюбивого желания управлять общиной, ни во имя восхищения, которого он по многим причинам был вправе от нее ожидать, монахиня не поступится своими суровыми идеями и непреклонными решениями. Поэтому он тут же отступил со всем благоразумием и достоинством искусного стратега, и, как подобает мудрому и учтивому победителю, Лелия сделала вид, что не поняла его атаки. Взглядов, которыми они обменялись, было достаточно, чтобы навсегда определить их отношение друг к другу. Это был первый взгляд, который после целого рода смятения и неуверенности в себе кардинал осмелился устремить в черные очи Лелии. До этой минуты он боялся, что потеряет ее доверие и она будет вынуждена оставить обитель. Теперь же, скованная и, может быть, одолеваемая честолюбием, она показалась ему не такой страшной. Но при первом же столкновении с ней он увидел, что, по примеру великих побежденных, гордость ее растет в цепях.

Монсиньор Аннибал был человеком отнюдь не заурядным. Если его и одолевали сильные страсти, он был достаточно высок душою, чтоб все их вместить. Овладев предметом своих неумных желаний, он мог начать презирать его, но тому, кто отвергал его притязания, не приходилось бояться трусливой мести. Это был человек своей эпохи, а никак не былого времени: человек, полный пороков и величия, слабостей и героизма. Приверженный в силу воспитания и привычки к благам и радостям земным, он, однако, оставался верен своему идеалу, постигая его каким-то чутьем. Он не шел к нему прямыми путями (это уж было не в его власти), но в самом разгаре сомнений и смятений ощущение будущего явилось ему неким провидческим откровением, овладело им и толкнуло на высокие дела. Дурные деяния все еще омрачали блеск его жизни, но они не сковывали ее. Тот, кто видел только одну его сторону, легко мог преисполниться к нему презрения; но Лелия с самого начала увидела обе: она остерегалась его, не испытывая, однако, страха, и уважала его, хоть и не одобряла его действий.

– Монсиньор, – ответила она после продолжительного молчания, – я не вижу, чего нам бояться в деле, к которому мы относимся с таким бескорыстием. Я не знаю, может быть, я и оболыщаюсь, но, повторяю, я не вижу во внешней стороне избранной нами роли никаких преимуществ, к которым бы мы особенно стремились и потерю которых стали бы оплакивать. Надо применить на деле веру, которая внутри нас. В течение долгих лет вы трудитесь без передышки и вас поддерживает надежда. А я еще ни в чем не пробовала своих сил и поэтому не извела ни доверия, ни страха. Я готова следовать по пути, который вы мне открыли, и если я потерплю неудачу, то мне кажется, что страдать я буду отнюдь не оттого, что духовенство станет плохо ко мне относиться. Монсиньор, нам надо будет искать повыше истоки наших слез, если мы не найдем в обществе нужной поддержки, чтобы вознаградить себя за все анафемы, которым нас предает церковь.

– Лелия, – сказал прелат, с благородной откровенностью протягивая ей руку, – вы правы, вы смелее, чем я, и всякий раз, после того как я вас вижу, я чувствую, что душа моя возвышается от соприкосновения с вашей. Может быть, в известном отношении я значу гораздо меньше, чем вы думаете. Боюсь, что я не настолько еще отрешился от людского тщеславия, и вы оказываете мне чрезмерную честь, считая меня выше, чем я есть на самом деле. Но я чувствую, что могу отрешиться от него еще больше, и я не покраснею, признав, что великим примером этой отрешенности для меня стала высокая мудрость женщины. Положитесь на меня: вы будете аббатисой.

– Как вам будет угодно, монсиньор, сейчас меня это меньше всего волнует, и я не дерзнула бы просить вас об этом свидании, если бы не должна была молить ваше преосвященство о милости более высокой.

«Ах, вот еще что!» – подумал кардинал, и в глазах его неожиданно для него самого блеснул огонек надежды. – Сестра моя, – сказал он, – я вижу, что вы относитесь ко мне с большим доверием, и я за это вам благодарен.

– Да, я очень верю в вас, монсиньор, – многозначительно сказала Лелия, – от вас потребуются доблесть, великодушие, смелость – и вы их в себе найдете.

– Так чего же вам от меня угодно? – спросил кардинал, и от мысли, что он сможет удовлетворить свое благородное тщеславие, глаза его заблестели еще ярче.

– Надо спасти Вальмарину, – ответила Лелия. – Вы можете это сделать! Вы этого хотите!

– Да, хочу, – решительно ответил Аннибал. – Знаете вы, сударыня, что на этот раз на карту поставлена моя жизнь? Если дело окончится неудачей, я не только попаду в опалу, но меня осудят как гражданина: короче говоря, – добавил он со смехом, – меня повесят.

– Да, это так, монсиньор, я об этом уже думала.

– Лелия, Лелия! – воскликнул кардинал, начав от волнения ходить взад и вперед. – Вы глубоко меня уважаете, и я должен этим гордиться!..

Последние слова он произнес с грустью, но это было выражение наивного и почтительного сожаления, за которым не скрывалось никакой задней мысли.

– Где Вальмарина? – решительно спросил кардинал.

– По ту сторону оврага, – сказала Лелия, показывая пальцем в направлении окна.

– Они еще не напали на его след... И все-таки времени терять нельзя... Ему надо бежать за границу.

– Лесом, монсиньор, там всего только четыре лье.

– Да, но для этого нужен паспорт!..

– Если он поедет в вашей карете вместе с вами, монсиньор, ничего этого не понадобится.

Кардинал в удивлении развел руками, потом улыбнулся. Он был смущен тем, что Лелия говорит с ним как равная с равным, лишая его всякой надежды. Но смелость эта ему нравилась: она открывала перед ним новый мир и возвышала его в собственных глазах.

– А в котором часу я должен прийти на свидание? – спросил он, радостный и растроганный.

– Есть одно лицо, которому ваше преосвященство может довериться, – ответила Лелия, – это женщина, и она сообщила мне сегодня утром, что изгнаннику уже небезопасно в его убежище и он придет к ней сегодня вечером...

– А что это за женщина?

– Вот ее записка.

Кардинал взял бумажку.

«Моя дорогая праведница, тот, кого ты называешь Тренмором, попросил у меня приюта на эту ночь. Ему опасно оставаться в его убежище, но и у меня он не будет в безопасности. Ты знаешь, что ко мне приходят разные люди – его могут встретить и узнать. Я больше всего боюсь...»

Кардинал за один миг прочел и имя этого особенно опасного человека и подпись в конце записки. Он сделал над собой усилие, чтобы судорожным движением не смять ее в руках, и посмотрел на Лелию с негодованием и ужасом.

– Вы что, играете со мною, сударыня? – спросил он дрожащим голосом.

– Монсиньор, – ответила Лелия, – момент для этого не очень-то подходящий. Вальмарина в опасности, и я доверяю вам его жизнь. Эта женщина – моя сестра, моя родная сестра, и я также вручаю вам ее судьбу.

– Она ваша сестра!.. Это невозможно!

– При всей ее порочности это возвышенная душа; она настолько великодушна, что скрывает мое родство с ней. Ну, а мне всегда было совершенно безразлично мнение света, и я этого не скрываю. Говорить о ней для меня мучительно, я ведь любила ее; но и скорбя о ней, я все же за нее не краснею.

– Ну, так вы и на этот раз победили, – сказал кардинал, возвращая Лелии записку, которую она тут же сожгла, – вы женщина храбрая, вы не отрекаетесь от правды. Вы холодная и острая, как меч правосудия, сестра Аннунциата; но кто же решился бы противиться вам?

– Аннибал, – сказала Лелия, в свою очередь протягивая ему руку, – уважайте меня так, как я вас уважаю.

– Да, сестра моя, – ответил он, с силой пожимая ей руку, – в полночь я буду у... у вашей сестры. Карета моя и слуги будут ждать у городских ворот. Завтра днем я приду рассказать вам о моей поездке... если останусь жив!..

– Господь не допустит, чтобы вы погибли, – сказала Лелия.

– Только, – продолжал кардинал, вернувшись уже с порога, – вы должны мне сказать всю правду... Я такой человек, который может, который должен все знать, Лелия... Если вы будете

щадить меня, вы меня этим убьете... Тогда я, должно быть, вас возненавижу... Признайтесь во всем добровольно, раз уже вы помимо моей воли исповедуете меня. Вальмарина явился сюда ради вас?

– Да, монсиньор.

– Он вас любит?

– Как брат.

– Значит, как я вас люблю?

Подумав, Лелия ответила:

– Как я вас, монсиньор.

– Но вы его все-таки любили?

– Я никогда не любила его иначе, чем люблю сейчас.

Кардинал некоторое время молчал, а потом спросил:

– По совести, сестра Аннунциата: что вы думаете о вопросах, которые я вам задаю?

– Я думаю, что вы ищете нового случая быть великодушным и благородным. Вы тщеславны, монсиньор.

– С вами – да, – сказал Аннибал.

Кардинал молча на нее смотрел: лицо его выражало пламенную страсть, но без надежды и без мольбы.

– Ах, – прибавил он по вполне понятной ассоциации мыслей, но тоном, который неминуемо должен был удовлетворить гордость Лелии, – я совсем забыл, что вы хотите стать аббатисой. Я сейчас же об этом похлопочу.

И он быстро вышел.

55

«Сестра моя, я не могу принести вам эту добрую весть сам, но радуйтесь: друг ваш спасен, и теперь ему легко будет давать знать о себе. Вы, со своей стороны, можете тоже передать мне письмо для него. Я думаю, что вам, в вашем уединении, приятно будет переписываться с этим достойным всяческого уважения человеком.

Да, Лелия, этот страдалец, который все силы свои отдает добродетели и скрывается от славы так же старательно, как иные ее домогаются, поразил меня. Сердце мое преисполнилось грусти и уважения. Он решился открыть мне свою тайну, рассказать о своей молодости, о своем преступлении и о своем несчастье. Удивительная щепетильность сердца, которое не хочет принимать от другого знаков внимания и участия, не испытал его сначала суровым признанием. Необыкновенная и чудесная судьба кающегося, который исповедуется в том, что любой другой хотел бы скрыть, и который, в противовес всем тем, кого общество унижает, делает такие признания, что никто не считает возможным его предать!

Да, этот человек с ужасающей настойчивостью ищет позора, страдания, искупления. Он никакой не христианин, и, однако, в нем есть весь пыл, все самоотречение, весь энтузиазм первых христиан. Это живое воплощение великого и неисчерпаемого источника божественности, бьющего из глубин человеческой души. Это энергический протест против слабости и глупости человеческих суждений. Он отказался от всякой личной жизни, чтобы жить единственно ради людей. Все его помыслы принадлежат огромной семье несчастных. Ей он посвящает свои труды, свои страдания, свои бессонные ночи, свои желания, каждое движение ума, каждое биение сердца. И самая обыкновенная награда пугает его. Самые законные знаки одобрения или уважения его смущают! На первый взгляд можно было бы подумать, что это ловкий способ восстановить свое доброе имя в глазах общества; когда же заглядываешь в глубь его мыслей, видишь, что избыток его смирения – это избыток гордости. Но какая это благородная и благочестивая гордость! Он знает людей; жестоко надломленный ими, он больше уже не может ни ценить их одобрение, ни домогаться их сочувствия. Он бы, верно, их презирал, если бы в нем не было глубокого чувства любви и жалости, которое заставляет его жалеть их. И вот он отдает им себя безраздельно: в том, как они поступают с ним, он видит только доказательство их заблуждения. И он хотел бы,

чтобы то, что они сделают для него, они сделали друг для друга.

«Что же, – говорил он мне, в то время как, под прикрытием темноты, мы стремительно проезжали лесом, – даже если весь труд моей жизни приведет к тому, что через несколько столетий какой-нибудь один преступник окончательно примирится с богом и всем человеческим родом, разве это не будет для меня достаточною наградой? Господь взвешивает на верных весах человеческие поступки; но так как в его законах идея справедливости включает в себя также идею великодушия и всепрощения, он создал для наших преступлений чашу несравненно более легкую, чем та, куда кладутся наши добрые деяния, которые должны искупать совершенные нами грехи. Одно чистое зернышко, брошенное на эту чашу, перевешивает целые годы несправедливости, нагроможденные на другой, и это благословенное зерно я посеял. Это, конечно, очень мало на земле, но много на небе, потому что там пребывает источник жизни, нужный для того, чтобы это зерно проросло, созрело и размножилось».

О Лелия! Пример этого человека возымел на меня удивительное действие – он заставил меня оглянуться на себя и увидеть, что я, облеченный властью здесь, на земле, благословляющий людей, простертых на моем пути, возносящий гостию над склоненными головами королей, идущий по аллеям, усыпанным цветами, влача за собой золото и пурпур, как будто кровь у меня чище, чем у всех остальных, как будто я принадлежу к некоей высшей породе людей, – что сам я до крайности ничтожен, пуст, смешон рядом с этим изгнанником, который бродит ночью по дорогам, спасаясь от преследования, как загнанный зверь, – ему ведь каждую минуту грозит эшафот или кинжал первого наемного убийцы, который узнает его лицо. И этот человек носит в душе своей идеал, всем существом своим он глубоко человечен! А у меня в груди одна только гордость, муки самого заурядного честолюбия и грязь моих пороков.

О Лелия! Вы меня исповедали. Вы хорошо сделали, за это я вам благодарен. Мне кажется, что я очистился бы от моих грехов, если бы мог до конца вам открыть свою душу. Подумайте только: мы становимся на колени перед рядовым священником и рассказываем ему наши грехи, но это еще не означает настоящую исповедь. Мы, власть имущие, не можем отрешиться от мысли, что если мы стоим на коленях перед человеком, который по своему положению ниже нас, то в душе этот человек сам падает ниц перед блеском наших титулов. Он выслушивает, дрожа, то, что мы с высокомерной снисходительностью ему поверяем. Он в страхе, когда слышит признания в наших грехах, ибо он боится, что по должности своей ему придется нас поучать; и выходит, что судия смущается, отшатывается в испуге, а кающийся, который только улыбается, видя это его смущение, и есть истинный судия, гордо презирающий всякую человеческую слабость. Или же, если нам приходится исповедоваться перед равными, мы больше всего беспокоимся о том, чтобы в признаниях наших не было каких бы то ни было обстоятельств, могущих дать пищу интриге или сделаться оружием в руках ревности. Может ли, однажды поддавшись этим мелочным соображениям, хоть одна душа стать столь благочестивой, хоть одно раскаяние – столь пламенным, чтобы устремиться к богу, отрешась от всякой земной заботы? Нет, Лелия, никогда еще мне не приходилось со всей откровенностью признаваться в моих грехах; и, однако, никто больше меня не проникнут возвышенностью и величием этого таинства, которое избавило бы Тренмора от всех ужасов каторги, если бы дух христианского покаяния и святости религиозного очищения мог хоть сколько-нибудь повлиять на законы общества.

О да, я понял значение и благостное действие этого высокого обряда! Я хотел бы укрепить им ослабевшие силы и возродить душу в спасительных водах этого второго крещения! Но я не мог этого сделать, ибо не находил духовника, достойного моей исповеди. Я видел, что каждый раз в духовенстве ум соединяется с гордостью или хитросплетениями интриги, душевная чистота – с суеверием или неведением. Когда кающийся поднимается до высоты таинства, исповедник оказывается ниже, и напротив: когда исповедник готов освободить душу от нечистых оков, пленник не стоит того, чтобы его освобождали. Вот почему, для того чтобы могло свершиться высшее таинство отпущения грехов, нужно сочетание двух одинаково верующих душ, в равной степени преисполненных божественного чувства.

Так вот, Лелия, мне кажется, что раз нет такого священника, нет такого праведника, я могу призвать сестру, даже, если хотите, мать; ибо хотя вы и на много лет моложе меня, вы самая

сильная и самая мудрая из нас, и я, человек с уже редющими волосами дрожу перед вами и покоряюсь вам, как ребенок. Исповедаете меня, коль скоро вы не испугались сказать мне в глаза, что я грешник, согласитесь спуститься в глубины моей совести и, если вы обнаружите там истинное страдание и раскаяние, отпустите мне мои грехи! Мне думается, что небо утвердит ваше решение и что впервые в жизни душа моя очистится.

Скажите мне откровенно все, что вы думаете обо мне, и осудите меня со свойственной вам суровостью. Неужели оттого только, что я уступаю влечению сердца, — я ведь стыжусь этого как мужчина, а как священник вынужден это скрывать, — я становлюсь лицемером? Если бы я так думал, я содрогнулся бы от ужаса перед самим собой и, по правде говоря, мне не кажется, что мне можно приписать эту отвратительную роль. Неужели для нашего времени такого рода поведение, которое вообще-то говоря я далек от мысли оправдывать, это то же самое, что поведение Тартюфа в семнадцатом веке? Нет, ни за что не поверю! Этот святоша былых времен был в душе атеистом, а я нет. Он смеялся над богом и над людьми, а я, хоть я и не боюсь ни бога, ни людей, я, однако, продолжаю все так же чтить всевышнего и любить себе подобных. Только я постарался заглянуть в глубь, я исследовал самую сущность христианской религии, и, думается, я лучше понял ее, чем все те, которые называют себя ее апостолами. Я считаю, что она прогрессирует и может совершенствоваться, что на это есть соизволение ее творца, что это ни в чем не перечит его святой воле. И хоть я отлично знаю, что с точки зрения существующей церкви я еретик, в душе я убежден в том, что моя вера чиста, а принципы верны.

Я отнюдь не атеист, когда я нарушаю предписанное церковью, ибо эти предписания представляются мне недостаточными для нашего времени, а у церкви есть право их переделать и они в силах это право осуществить. Ее задача — согласовать свои установления с изменяющимися правами и потребностями людей. Она поступала так из века в век со времени своего основания: так почему же теперь она остановилась на своем провиденциальном пути? Почему же она, которая была выражением последовательного совершенствования человеческого рода и, осененная великой славой, шла во главе цивилизации, вдруг задремала к концу пути, не думая о том, что есть еще завтрашний день? Неужели она считает, что исчерпала себя? Что же мешает ей идти вперед — головокружение от гордости или измождение и усталость? Ах, я вам часто говорил это, я мечтаю о ее пробуждении, я его предчувствую, я верю в него, для него я тружусь, я жду его с нетерпением и призываю его всем моим существом! Поэтому я и не хочу покидать ее лоно и быть исключенным из ее общины: я не думаю, чтобы вышедшая из нее схизма, подняв новое знамя, оказалась бы на истинном пути религиозного прогресса. Чтобы открыто отколоться, надо отделиться от тела церкви, порвать и с прошлым и с настоящим, потерять одну за другой все выгоды, все преимущества, все, чего достигло прошлое, богатое, могущественное и славное. Человечество, привыкшее идти широкой и прямой дорогой церкви, может отклоняться в сторону только отдельными группами, и то лишь по временам. Оно всегда будет чувствовать в своих религиозных учреждениях, как, впрочем, и в учреждениях светских, неодолимую потребность в единении. Обществу нужен культ, единый и неделимый. Католическая церковь — это единственный храм, достаточно обширный, достаточно древний, достаточно прочный, чтобы вместить в себя все человечество и его оградить. Для многочисленных наций, разбросанных по поверхности земли, у которых пока еще очень нетвердая вера и грубые обряды, католицизм — это единственная, ясно представленная и просто сформулированная высокая мораль, призванная смягчить дикие нравы и осветить темные закоулки сознания. Насколько я знаю, ни одна современная философия не дошла до такого совершенства, как церковь, и ни одна не способна осветить младенчество наций таким ясным светом.

Итак, я верю в будущее и в вечную жизнь католической церкви и не хочу отделяться от постановлений соборов (хоть я и считаю сделанное ими недостаточным и незавершенным), ибо никакой новый авторитет никогда не сможет быть столь священным. Несмотря на все мое восхищение Лютером и сочувственное отношение к идеям Реформации, живи я в эпоху этого высокого потрясения основ, я никогда не встал бы под его знамя. Мне кажется, что я тогда еще понял бы, что порывая с великими силами, освященными столетиями, протестантизм в день своего рождения уже подписывает себе смертный приговор. Да, я считаю, что под остывшим пеплом

этой одряхлевшей и, казалось бы, уже умирающей церкви скрыта искра вечной жизни, и я хочу, чтобы все труды и все усилия веры и разума оживляли бы эту искру и на алтаре снова зажглось бы пламя. Я за то, чтобы сохранить всемогущество папы и непогрешимость конклава, дабы собирались все новые конклавы, дабы они проверяли деятельность предыдущих и перешивали бы одеяния культа в соответствии с ростом людей, которые мужают и крепнут.

В числе других реформ, обсуждение и проведение которых мне хотелось бы видеть, я назову одну – о ней я больше всего думал с тех пор, как сделался священником: это отмена безбрачия для духовенства. И не думайте, Лелия, что на меня оказывают влияние мои собственные чувства или ропот молодых священников. Мы считаем этот обет трудно выполнимым и жестоким и не настолько свято его соблюдаем, чтобы могла понадобиться публичная санкция нашей неверности. Я старался заглянуть выше, чтобы найти причину опасностей и гибельных неудобств, связанных с безбрачием священников, и нашел его в истории. Я увидел, сколько могущества, высокого ума и просвещенности было в жреческих кастах древних религий. И все это благодаря тому, что священнослужители были женаты и специальное воспитание давало возможность отцам подготовить достойных преемников в лице своих сыновей. Я видел, что в христианской церкви, пока ряды ее пополнялись изнутри, была та царственность ума, которой она превосходила царей земных; но едва только она потребовала обета безбрачия для своих служителей, она подвергла себя такой опасности, что удивительно, как она до сих пор еще окончательно не пала, что, вообще-то говоря, неминуемо произойдет, если она не постарается отменить этот гибельный закон. Я не сомневаюсь, что она это сделает; она поймет, что, набирая левитов из всех классов общества, она вводит в лоно свое самые различные, самые разнородные и несоединимые элементы; тут уж не останется ни цельности, ни единства, ни самой церкви. Церковь теперь уже отнюдь не место, где право наследования сковывает души и посвящает в священники. Это мастерская, где каждый работающий приходит получать свой законный заработок даже тогда, когда он втайне презирает свою работу. И отсюда – лицемерие, этот омерзительный порок, одна мысль о котором приводит в негодование каждого честного человека, но без которого духовенство не могло бы продержаться до этих пор, как ему это удалось – худо ли, хорошо ли – среди великого множества смут, низости и лжи, которые церковь вынуждена хранить втайне, вместо того чтобы выявлять и наказывать: великое свидетельство ее слабости и развращенности!

Я должен был дать вам эти объяснения, чтобы в известном отношении оправдаться. Я не верю в абсолютную святость безбрачия. Христос, сын божий, проповедовал преимущества безбрачия, но никогда не вменял его в обязанность. И он проповедовал его людям, предававшимся грубым излишествам и потерявшим человеческий облик, людям, которых он пришел поучать и цивилизовать. Если он облек апостолов своих вечной властью, то он сделал это потому, что в безмерной мудрости своей предвидел грядущее; он знал, что настанет день, когда безбрачие делается опасным для исполнения его божественных заветов и когда преемникам апостолов придется его уничтожить. Час настал, я в этом уверен, и церковь не замедлит объявить о его отмене. А пока это не случилось, мы нарушаем наши обеты. Заслуживаем ли мы прощения? Разумеется, нет, ибо наше святое учение проповедует предельное совершенство, к которому мы должны неустанно стремиться, чего бы нам это ни стоило. И в трудном положении, в котором мы находимся, добродетель и высшее совершенство для нас должны состоять в том, чтобы преодолевать наши страсти и жить непорочной жизнью в ожидании, что нашим естественным инстинктам будет дана воля. Я проклинаю эту презренную слабость, которая мешает мне так поступить, я себя за нее корю. Осудите же и вы меня, моя праведница! Только ради бога не смешивайте меня с наглыми пошляками, которые хвастают ею, или с теми трусливыми лжецами, которые от нее отпираются. На такой обман способны сейчас только последние из людей. Если мы в силах хоть что-нибудь чувствовать, мы не сомневаемся в том, что главное наше назначение на земле отнюдь не расхаживать по улицам с бледным лицом и опущенными глазами, вызывая в людях ужас и уважение, – подобно индийским йогам или средневековым монахам. Не очень-то много для нас значат эти суровые правила, а тем более то поклонение, которое некогда вызывали соблюдающие их люди. У нас есть другие работы, которые мы должны делать, другие истины, которые мы должны преподавать людям, новые пути, которые мы должны проложить. Мы побуждаем к жизни

– или, во всяком случае, призваны побуждать к ней, – а вовсе не сторожить могилу.

И все-таки мы умалчиваем о наших слабостях, скажете вы! Нам не хватает смелости провозгласить это право, которое каждый из нас признает за собой, а меж тем, решительно проводя его в жизнь, мы этим стали бы громко призывать к новому статусу. Но этого мы не можем сделать, ибо не хотим отдаляться от церкви и потерять свои гражданские права – участвовать в собраниях священного города. Мы терпим неудобства и муки этого ложного положения, в которое нас ставит тупое упорство или нерадивость наших законодателей. И из-за этого нам не приходится прибегать к плутовству, ибо наше распутство встретило бы сегодня даже некоторое сочувствие, между тем как раньше пороки наши возбуждали только негодование и ненависть. Да, уверяю вас, я хорошо знаю свет и людей, которые налагают запреты и определяют общественное мнение, у нас больше любят легкие нравы, даже распутство, чем свирепую суровость, ибо наши заблуждения, видите ли, свидетельствуют об упоении прогрессом, тогда как добродетели их знаменуют собою только слепую косность.

Только, ради всего святого, не обвиняйте меня в трусости, сестра моя, ибо в наши дни для того, чтобы молчать, нужно больше храбрости, чем для того, чтобы открыть душу. Обвиняйте меня в слабости другого рода, я соглашусь. О да, поругайте меня за то, что я не применил своих идеалов на деле и что жил в противоречии с самим собой. Мне кажется, что вы можете вернуть меня на стезю добродетели, ибо вы заставляете меня с каждым днем относиться к ней все нежнее, о благородная грешница, удалившаяся в пустыню, чтобы созерцать и пророчествовать! Увы! Говорите со мной, подбодрите меня и помолитесь, за меня, вы, которую полюбил господь!

Прощайте! Я только что получил разрешение предложить вас на должность аббатисы вашей общины. Это предложение равносильно приказу. Итак, вы теперь княгиня церкви, сударыня. Теперь вам надо послужить церкви. Вы это можете, вы должны. Весь ваш пол глядит на вас!»

56

«Господь вознаградит вас за то, что вы сделали. Он ниспошлет покой вашим ночам и силу вашим дням. Я не благодарю вас. Я далека от мысли приписывать дружескому участию поступки, которые были продиктованы вам благородными побуждениями, монсиньор. Вы завоевали себе доброе имя среди людей, но вы стяжали себе еще большую славу на небесах, и перед нею то я и преклоняюсь.

Вы хотите, чтобы я ответила на очень трудные вопросы и чтобы я высказала свои мысли о вещах, которые, может быть, превыше моего разумения. Я все же попытаюсь это сделать, не потому, что беру на себя почетную роль исповедника, которую вам угодно мне доверить, но потому, что я настолько восхищена вами, что испытываю потребность со всею искренностью открыть вам душу.

Я не позволю себе осуждать вас за те стороны вашей жизни, в которых вы призываете меня быть судьей. Но я огорчаюсь, видя, что вы вступаете в противоречие с самим собой. Вы, очевидно, хорошо это понимаете сами, если не стремитесь себя защитить и хотите лишь оправдаться. Да, конечно, вы заслужили прощение. Господь не позволяет нам пренебрегать священной свободой нашей совести и правом пересматривать религиозные установления, которые Иисус Христос завещал нам как нескончаемую задачу, для того чтобы мы умножали их и не давали им окостенеть; но у этой свободы совести, когда дело идет о применении ее отдельными людьми, есть определенные границы. И, может быть, если вы серьезно задумаетесь над тем, чтобы провести эти границы, противоречия, от которых вы страдаете, разрушатся сами собой, без всякого усилия с вашей стороны. Мне кажется, что, когда наши поступки не согласуются с нашими принципами, можно сделать вывод, что сами принципы еще не окончательно установились. Во всяком случае, для таких натур, как ваша, твердые идеи должны так подчинить себе инстинкты, чтобы, однажды решив, что есть долг, применять этот принцип на практике было бы до того естественным, больше того – необходимым, что не было бы возможности от этого уклоняться. Подумаем же вместе, монсиньор, не великое ли это зло – пользоваться свободой, которую церковь еще не санкционировала, и в то же время находиться в лоне церкви, и не будут ли люди, привыкшие су-

дить о других по делам их, вправе упрекать вас в двоедушии – упрек, которого вы очень боитесь и которого вместе с тем вы ни с какой стороны не заслуживаете, что ясно всякому, кто сумеет заглянуть в вас поглубже.

В одном отношении вы гораздо менее католик, чем я, монсиньор, в другом – гораздо более. Я привязалась к римско-католической вере из принципа и своего рода убеждения, которое никак нельзя назвать лицемерием, ибо я решила строго подчиниться всем принятым правилам. Эта сторона вас отталкивает, вы нарушаете предписание церкви, и вместе с тем вы сердцем своим привязаны к ней и сочетались с ней, если можно так выразиться, браком по любви, тогда как для меня это брак по расчету. Вы верите в ее будущее, и для вас прогресс человечества осуществляется в ней и благодаря ей. Она вас мучит, раздражает, сердит; вы видите ее недостатки, вы замечаете ее промахи и заблуждения. Но вы все так же привязаны к ней, вы предпочитаете жертвовать для нее спокойствием совести, даже ее достоинством, лишь бы не порвать с этой властной женой, которую вы так любите.

У меня все по-другому. Позвольте же мне продолжить эту параллель между вами и мною, монсиньор; она нужна мне, чтобы ясно высказать мои мысли. Без рвения и без радости вернулась я в недра этой церкви, которой я когда-то служила восторженно и влюбленно. Этого благоговения моих юных лет, этого слепого доверия, этой экзальтированной веры душе моей уже не обрести вновь; я о них больше не думаю, и я спокойна, потому что я, должно быть, нашла если не истинную мудрость, то, во всяком случае, прямой путь к моему личному совершенствованию, избрав, за отсутствием лучшего, эту особую разновидность всеобщей религии. Я искала наиболее четкого выражения этой религии идеального, которая была мне нужна. Здесь она, правда, еще не вполне совершенна, но выше всех остальных, и я укрылась в лоне ее, особенно не беспокоясь об ее будущем. Так или иначе, монсиньор, она просуществует дольше, чем мы, и провидение будет поддерживать в людях нравственную силу и оказывать помощь человечеству в формах, предвидеть которые не так легко, как вы думаете. Я не смею доверяться моим инстинктам; я слишком много выстрадала от сомнений, чтобы устремить сейчас в грядущее испытующий взор. Мне было бы страшно увидеть там еще больший ужас, и я смиренно преклоняю колена в настоящем, прося господина научить меня, как исполнить мои сегодняшние обязанности. Я сделаю все, что смогу; это будет не много, но, как говорит Тренмор, господь даст зерну принести плод, если найдет его достойным своего благословения. Я не могу не думать о том, что мы переживаем время смут между гаснущей и занимающейся зарею, пока еще неясной и такой бледной, что мы ступаем почти что в потемках. Во мне жила большая уверенность в себе, но усталость и страдание ее охладили. Я жду – молча и с разбитым сердцем, решив, что, во всяком случае, буду воздерживаться от зла, и отказавшись от надежды на всякую личную радость, ибо развращенность нашего времени и неопределенность господствующих доктрин сделали все наши права незаконными и все наши желания неосуществимыми. Несколько лет тому назад, когда у меня не было сложившегося мнения об обязанностях, гражданских и религиозных, когда я ясно видела недостатки обоих законодательств и, не зная, какими средствами их исправить, дерзнула искать света истины собственным жизненным опытом, я поддалась самому благородному побуждению моей души – любви.

Это был горький опыт, я пожертвовала ради него моим покоем на этом свете, моей силой в обществе, незапятнанностью моего имени. Какое мне было дело до того, что думают обо мне люди? Я хотела идти к идеалу и думала, что уже на пути к нему, ибо чувствовала, как в сердце моем пробуждаются самые возвышенные способности: преданность, верность, стойкость, самоотречение. Последователей у меня не было. Да их и не могло быть. Люди моего времени думали, чувствовали и поступали в соответствии со своими прежними законами, а мой новый закон, целиком основанный на инстинкте и наитии, не мог быть понят и развит. Страдание довело меня до изнеможения, отчаяние сломило меня, я слишком долго бродила по лабиринту противоречивших друг другу обетов и надежд, до того дня, когда от неудачи нового опыта едва не упала духом, – и вдруг чужие слабость и ослепление вывели меня к силе и свету. Тогда меня осенила дерзкая мысль, что я опередила человечество и должна пострадать за мое нетерпение. Брачного союза, такого, каким он представлялся мне, каким я стала бы требовать его, на земле тогда не

существовало. Мне пришлось удалиться в пустыню и ждать, чтобы предназначения господни созрели. Перед глазами у меня был печальный пример моей сестры, одаренной, как и я, сильным стремлением к независимости и огромной потребностью в любви и низвергнутой в бездны порока за то, что она осмелилась искать осуществления своей мечты. У меня не было выбора между ее путем и тем, которым я пошла. Я избрала для себя монастырь, и он удочерил меня; помните, монсиньор, именно монастырь, а не церковь.

Отнюдь не слава одной касты может прельстить меня и стать целью, к которой я буду стремиться: спасение половины человечества – вот что заботит меня и мучит. Увы! Это спасение человечества в целом, ибо мужчины не меньше, чем женщины, страдают оттого, что живут без любви, и все, чем они пытаются заменить ее – честолюбие, разврат, владычество, – повергает их в муки и глубокую тоску, причины которой они тщатся узнать, но так и не знают. Они уверены, что чем крепче они будут стягивать наши узы, тем сильнее мы воспламенимся к ним любовью, они видят, что пламя это с каждым днем угасает, и даже не подозревают, что стоит только освободить нас от грубо навязанного нам бремени, и мы добровольно возложим на себя бремя священное. Коль скоро они не хотят решиться на это сами, мы должны их заставить. Но как? Бросаться каждый день в объятия идола, которого наутро мы разобьем? Нет! Ибо так мы скоро разобьем и себя. Затевать позорные распри под сенью домашнего очага? Нет, ибо законы отказывают нам в своей поддержке, и борьба эта нередко калечит наших детей. Может быть, наконец, предавшись разгулу, обманывая наших повелителей, беспрерывно изменяя предметам наших минутных желаний? Нет! Ибо мы этим совершенно загасим священное пламя, оно исчезнет с лица земли. Мы станем тогда атеистами в любви, такими же, как мужчины. И будем ли мы тогда вправе жаловаться на то, что нас подчиняют царству силы?

Итак, у нас имеется одно-единственное средство бороться за наше освобождение – это замкнуться в справедливую гордость, это повесить, подобно девам Сиона, арфы на ивы вавилонские и отказаться услаждать любовью и песнопениями слух поработителей-чужеземцев. Мы, правда, будем в трауре и в слезах; мы себя похороним заживо, мы откажемся от священных радостей семейной жизни и от пьянящих наслаждений, но мы сохраним память об Иерусалиме, культ идеала. Это будет наш протест против грязи и грубости нашего времени, и мы заставим мужчин, которые скоро устанут от своих бесстыдных радостей, уготовить нам новое место подле них и приносить нам ко дню свадьбы такую же чистоту в прошлом, такую же верность в будущем, каких они требуют от нас.

Вот мое мнение, монсиньор. С этой целью я и хотела первой повесить мою арфу, отныне умолкшую для сынов человеческих. Я убеждена, что другие благоразумные женщины последуют моему примеру и придут плакать вместе со мной на холмы. Я хотела пользоваться авторитетом среди этих женщин, дабы убедить их в важности и в величии их обета. В этом, монсиньор, я верна самому чистому христианству и хочу возвратить монастырской жизни дух его первых установлений. Помните вы эти смутные и несчастные времена, которые предшествовали и следовали за евангельским откровением, тогда еще не всюду распространенным и весьма несовершенно изложенным; помните об ессеях, которые, как пишет Плиний, собрались на берегах Каспийского моря: «Сильный народ, где никто не рождается на свет и где некому умирать, одинокое, дружащее с пальмами племя!». Подумайте об отцах пустынниках, о непорочных женах, об апостоле Иоанне, вдохновенном поэте, о блаженном Августине, пресытившемся радостями земными и возжаждавшем жизни небесной! Пресыщение, толкнувшее всех этих адептов идеала в глубину пустынь, душевная тревога, которая заставляла их блуждать в уединенных вертоградах, аскетизм, державший их в кельях, – разве все это не свидетельствовало о невозможности жить одною жизнью со страшными поколениями, среди которых они родились и выросли? Разве они хотели утвердить как некий принцип, абсолютный, всеобщий, вечный, преимущество целомудренной жизни, необходимость отрешения от всего мирского? Разумеется, нет: они прекрасно знали, что человечество не может кончить жизнь самоубийством и не должно этого хотеть; но они самоотверженно приносили создателю себя в жертву, дабы люди, становившиеся свидетелями их предсмертных мучений, углубились в себя и почувствовали необходимость себя переделать.

Поэтому, монсиньор, обитель кажется мне сейчас, как и прежде, пещерой, где укрываются от бури, убежищем, где находят защиту от кровожадных волков. Монастырь, находящийся под покровительством католической церкви, должен признать ее авторитет и подчиниться ее правилам. Община может и должна пополняться не за счет девушек, обездоленных природой и судьбой, но за счет избранных из числа девственниц или вдов. У него есть еще одно назначение: это давать религиозное воспитание множеству других девушек, не удерживая их потом в своих стенах. Там, мне кажется, следовало бы закладывать такие прочные нравственные основы поведения, которые бы юные души эти потом никогда не забыли и могли черпать в них и духовную силу и достоинство, которые понадобятся им на протяжении всей их жизни. Может быть, в основу их обучения следует положить некие более основательные принципы, а не те, на которых оно строилось до сих пор и которые принесли так мало плодов и так быстро изгладились из их памяти. Я уверена, что, и не удаляясь от апостольской доктрины, можно достичь лучших результатов, таких, каких у нас не было уже давно. Монастырь, настоятельницей которого вы делаете меня сейчас, был основан святой, чья жизнь для меня – источник размышлений, полных очарования и весьма плодотворных. Дочь и сестра короля, она оставила свои шитые золотом сапожки у порога дворца. Босая, она прошла по скалам и питалась одними кореньями, пила только воду из родника. Направив в экстазе все помыслы свои к небесам, она презрела и роскошь богатства и блеск власти; она употребила свое приданое на то, чтобы собрать подле себя подруг, а дары своего ума – на то, чтобы научить их презирать людей подлых и воздержаться от наслаждений, не увенчанных идеалом. О, разумеется, чтобы все это понять, она должна была сама испытать любовь.

Так вот, я хочу, следуя примеру этой поистине царственной принцессы, научить обманутых женщин утешиться и обрести новые силы, вверив себя создателю; девушек доверчивых и простодушных – сохранять чистоту и гордость свою в браке. Им чересчур много говорят о счастье, которое, возможно, и узаконено обществом: это ложь! Их заставляют верить, что, смирившись и отказавшись от собственной воли, они встретят в мужьях своих ту же любовь и верность: это обман! Говорить им надо не о счастье, а о добродетели; надо научить их в мягкости быть твердыми, в терпении непоколебимыми, в преданности мудрыми и благоразумными. Надо научить их любви к богу, такой ненасытной, чтобы они находили в ней утешение от всех жизненных зол и чтобы, увидав, что доверие их предано, а земная любовь растоптана, они не кидались в распутную жизнь, ища в ней того единственного счастья, которому их поучали, для которого их воспитали. Надо, наконец, чтобы они были готовы страдать и отказаться от всякой надежды: ибо всякая надежда эфемерна, всякое обещание обманчиво, кроме надежды и обещания господина. Я надеюсь, что это вполне в духе церкви. Почему же подобные наставления больше не приносят уже плодов?

Вы видите, монсиньор, что, хоть я и не так предана, как вы, интересам церкви, самый ход моих рассуждений заставляет меня служить ей более преданно, чем вы. Отчего же у нас с вами все так по-разному? Боже сохрани, чтобы я поднялась выше вас! Вы обладаете способностями, равных которым у меня нет: твердым характером, сильной волей, светом науки, пылом прозелитизма, огромной силою убеждения; но вы хотите примирить два непримиримых начала – покровительство церкви и вашу независимость. Боюсь, что церковь не очень благосклонно встретит те порядки, которые вы хотите установить. Мне не дозволено судить о вашем протесте против безбрачия духовенства; я лично не очень-то его одобряю. И это потому, что я не очень-то убеждена, что будущее мира в руках церкви; я вижу только, что церковь служит этому будущему. В этом смысле мне кажется, что церковь может лишь ускорить свою гибель, отказавшись от всех суровых правил, единственной поддержки для душ, которых поток нашего века не влечет к краю бездны. Тренмор верит в приход новой религии, которая должна возникнуть из обломков прежней, сохранив все, что в ней было бессмертного, и обратив взор на новые горизонты. Он считает, что эта религия облечет всех своих адептов священническим авторитетом, то есть правом проповедовать и быть судьей поступков и мыслей. Каждый человек будет гражданином, то есть супругом и отцом, и, наряду с этим, – священником и богословом. Все это вполне возможно, но тогда, монсиньор, это уже больше не будет католицизмом, и церкви тоже не будет. Если церковь перестанет быть необходимой, она вскоре уже сделается опасной; и тогда кто будет о ней жалеть?

Достойный прелат, вы слишком озабочены ее славой, потому что ваш высокий ум сам нуждается в славе и хочет, чтобы его осветили лучи славы церковной. Но попробуйте хотя бы на мгновение отделить вашу личную славу от славы всей церкви в целом, и вы увидите, что у вас нет другого пути, кроме как восстать против всех ее предписаний. В этом случае вы плохой прелат, но великий человек. Но ведь вы не хотите отделиться от церкви? Вместе с тем вы не можете подавить в себе страсти, и вы соглашаетесь играть лицемерную роль, вы готовы навлечь на себя упрек, который несет вам горечь и боль, лишь бы не покинуть ряды духовенства. В этом случае вы великий прелат, но вы самый заурядный человек. Поступитесь вашими страстями, монсиньор, и вы тут же станете вновь тем, чем вас создали небо и люди: великим человеком и великим прелатом».

57. МЕРТВЫЕ

«Каждый день, поднимаясь еще задолго до рассвета, я потом гуляю по испещренным надписями длинным надгробным плитам, положенным здесь, чтобы стеречь чей-то непробудный и вечный сон. Я ловлю себя на том, что мысленно спускаюсь в эти склепы и спокойно ложусь там, чтобы отдохнуть от жизни.

Время от времени я предаюсь мыслям о небытии, таким сладостным для разума, стремящегося от всего отрешиться, и для утомленного сердца; и видя в этих склепах, по которым я ступаю, только дорогие мне священные реликвии, я ищу среди них себе место, я вглядываюсь в мраморное надгробие, прикрывающее немое и безмятежное ложе, где я буду скоро покоиться, и дух мой счастлив расположиться в нем.

В другие минуты я поддаюсь очарованию христианской поэзии. Мне кажется, что дух мой явится еще, чтобы тихо скользить под этими сводами, привыкшими повторять эхо моих шагов. Иногда мне кажется, что я только призрак, который с наступлением сумерек должен скрыться, уйти под этот мрамор, и я взираю тогда на прошлое, даже на настоящее, как на жизнь, от которой меня уже отделяет могильная плита.

Под этими прекрасными византийскими аркадами монастыря есть одно место, которое я особенно люблю. Это у самого края монастырского дворика, где ряды надгробий утопают в пахучих травах, которыми поросли аллеи, где расцветающие в неволе бледные розы склоняются над человеческим черепом, изображение которого высечено в углу каждой плиты. Большой олеандр захватил легкий свод последней арки. Ветви его повторяют округлость купола галереи. Плиты усыпаны чудесными лепестками, которые при малейшем дуновении ветра отрываются от своих крохотных чашечек и усыпают ложе смерти Франциски.

Франциска была аббатисой, предшественницей той, которую я сменила. Она прожила около ста лет, сохранив в полной силе добродетели свои и ясный ум.

Говорят, что это была праведница и женщина очень умная. Она явилась Марии дель Фиоре через несколько дней после своей смерти, в ту минуту, когда робкая послушница молилась у нее на могиле. Девушка так испугалась, что неделю спустя умерла, то улыбаясь, то леденея от страха, говоря, что аббатиса ее призвала и приказала готовиться к смерти. Ее похоронили в ногах у Франциски, под олеандрами.

Я хочу, чтобы там похоронили и меня. Там есть плита без надписи над пустой могилой, которую поднимут для меня, а потом за мной замуруют, – между женщиною большой силы духа и твердой веры, вынесшей бремя столетней жизни, и девушкой благочестивой и робкой, которая погибла при первом же дуновении ветра смерти, между этими двумя столь дорогими для меня образами – воплощением силы и воплощением нежности, между сестрою Тренмора и сестрою Стенио.

Франциска увлекалась астрономией. Она глубоко ее изучила и немного подсмеивалась, над страстью Марии к цветам. Говорят, что когда вечером послушница звала ее посмотреть, как она убрала за день цветочные клумбы, старая аббатиса, показывая своей костлявой рукой на звезды, голосом все еще сильным и уверенным говорила: «Вот мой цветник».

Мне интересно было расспросить монахинь об обеих усопших и собрать сведения об этих

двух жизнях, которые скоро канут в забвение.

Как грустно это наше полное отчуждение от мертвых. Вырождающееся христианство старалось внушить к ним ужас, смешанный с ненавистью. В основе этого чувства лежит, может быть, тот отвратительный способ, которым мы хороним своих покойников, и эта необходимость внезапно расставаться навсегда с останками любимых существ. У древних не было этого ребяческого страха. Мне приятно смотреть, как они несут в руках урну с прахом родственника или друга; и мне кажется, что я вижу, как часто они на нее смотрят, как призывают ее в самых важных случаях жизни, как посвящают ей свои самые высокие деяния. Она становится частью их наследства. Погребальные церемонии не поручаются наемной силе; сын не отворачивается с ужасом от трупа той, чье чрево выносило его. Он не дает касаться его посторонним рукам: он сам отдает ей последний долг и сам умащает благовониями, свидетельством любви, останки любимой матери.

В религиозных общинах я отыскала частицу этого уважения и этой античной любви к мертвым. Руки сестер завертывают тело усопшей в саван, украшают цветами ее лицо, открытое целый день для прощания. Гроб ставится в доме, где жила покойная и где все для нее привычно. Ей надлежит спать вечным сном среди людей, которые и сами будут спать с нею рядом, и все, кто придет на ее могилу, здороваются с покойницей как с живой. Монастырский устав охраняет память об умершем как о живом и увековечивает почести, которые ему воздают. *Правила* – такая замечательная вещь, наущно необходимая человеку, подобие божества на земле: они оберегают людей от злоупотребления своими силами, помогают великодушно хранить добрые чувства и старые привязанности, они становятся другом для тех, у кого больше нет друзей. Они напоминают нам каждый день в молитвах о множестве умерших, от которых на земле не осталось ничего, кроме имени, написанного на могильной плите и произнесенного за вечерней мессой. Обычай этот пришелся мне так по душе, что я вписала немало стертых имен, вычеркнутых когда-то, чтобы сделать молитвы короче; я требую строго перечислять их все и слежу за тем, чтобы толпа молодых послушниц, возвращающихся с шумной прогулки, проходила по галереям монастыря сосредоточенно и тихо.

Что же касается забвения обстоятельств жизни, то для умерших оно здесь наступает быстрее, чем где бы то ни было: причина этому – отсутствие потомства. Целое поколение монахинь уходит из жизни почти что одновременно, ибо отсутствие событий, одинаковые привычки почти в равной степени продлевают жизнь всем. Случаев долголетия здесь очень много, но жизнь кончается вся сполна. Особые интересы или фамильная гордость не оказывают предпочтения ни единому имени, и ввиду того, что никакого соперничества не существует, всех торжественно уравнивает могила. Это равенство очень скоро стирает черты биографий. Правила запрещают записывать их, если не произошло формальной канонизации, и в этом предписании много силы и мудрости. Оно обуздывает гордость, порок самый распространенный среди добродетельных душ; оно не дает живущим смиренной жизнью рассчитывать на удовлетворение тщеславия своего за гробом. Поэтому спустя пятьдесят лет очень редко бывает, чтобы предание сохранило какие-то подробности из жизни той или иной монахини, а в силу этого подробности эти тем более драгоценны.

Так как запрещение писать не распространяется на меня, я хочу упомянуть об Агнессе Катанской, романтическая история которой передается здесь из уст в уста.

Это была послушница, исполненная религиозного рвения, и накануне того дня, когда ей предстояло принять постриг, отец ее, человек непреклонной воли возвратил ее в мир. Ее выдали замуж за старого французского дворянина, и она очутилась при дворе Людовика XV. Но она и там хранила верность обету, оставшись девственницей и телом и духом, несмотря на то, что ее исключительная красота была предметом самого восторженного поклонения. Наконец, после десяти лет изгнания *на земле Ханаанской*, когда отец ее, а потом и муж умерли, она обрела свободу и снова посвятила себя Иисусу Христу. Когда она ехала сюда горной дорогой, она была богато одета, и ее сопровождала многочисленная свита. У входа собралась толпа любопытных, и каждому не терпелось на нее взглянуть. Монахини вышли из церкви, и с поднятыми хоругвями процессия их направилась к воротам монастыря; возглавляла шествие аббатиса. Они пели хором: «In

exitu Israel de Egypto». Решетка отворилась, чтобы впустить приехавшую. Тогда прелестная Агнесса сняла со своего корсажа букет и, улыбнувшись, перебросила его через плечо, как первый и последний залог, который мир мог от нее получить; вслед за тем, быстро вырвав из рук маленького мавра шлейф своего плаща, она стремительно ступила за решетку, которая закрылась за ней навсегда. Тут аббатиса приняла ее в свои объятия, а монахини одна за другой запечатлели на ее лбу поцелуй, в знак того, что теперь они сестры по духу. На другой день она принесла покаяние за десять лет, проведенных в миру, и исповедник нашел жизнь ее на протяжении этих лет такой чистой и прекрасной, что позволил ей вернуться в ту степень послушничества, на которой он ее оставил, как будто это было не десять лет, а всего один день; и день, исполненный такой чистоты и такого рвения, что он не смутил совершенства ее души, когда накануне принятия пострига она была увезена к иным алтарям.

Это была одна из самых непривередливых и смиренных монахинь, каких только когда-либо знал этот монастырь. Кроткая, набожная, терпимая и всегда приветливая, она сохранила вместе с тем то изящество, к которому с детства была приучена. Рассказывают, что ее монашеское одеяние всегда было очень изысканно, и когда на исповеди ее упрекнули в тщеславии, она простодушно ответила в духе своего времени, что ей непонятен этот упрек и что она, вовсе об этом не думая старается всегда приодеться, просто из привычки повиноваться родителям, усвоенной ею еще в мирской жизни; что в общем-то она несколько не огорчена тем, что, по мнению всех, *хорошо выглядит*, ибо считает, что цветущая молодость и признанная всеми красота более достойный дар небесному жениху, чем увядшая красота и уже угасающая жизнь. История эта показалась мне прелестной.

Знайте, Тренмор, как велико обаяние привычки, как радостно созерцание, которое ничто не смущает. У непоседливой женщины, которую вы знали раньше, не было родины, да она и не хотела ее иметь: она продавала и перепродавала замки свои и земли, не умея привязать себя к определенному месту; этой душе странницы, которая нигде не находила себе приюта, везде было тесно, и в поисках места для могилы она колебалась между вершинами Альп, кратером Везувия и глубинами океана. И вот наконец она так горячо полюбила несколько туазов земли и груды камней, что мысль быть похороненной где-то в другом месте ей была бы мучительна. Она прониклась такой нежной любовью к мертвым, что иногда она простирает к ним руки и среди ночи кричит:

«О тени, подруги мои! Возлюбленные моей души! Девственницы, которые, как и я, ходили в тишине по могилам ваших сестер! Вы, дышавшие ароматами, которыми теперь дышу я, и улыбавшиеся этой луне, которая теперь отвечает и мне своей улыбкой! Вы, которые, может быть, тоже испытали грозы жизни и светскую суету! Вы, которые стремились к великому покою и которые предвкушали его здесь, под сенью этих священных сводов, укрытые от всего в этом добровольном узилище! И прежде всего вы, препоясавшие себя крестом веры и перешедшие из объятий незримого ангела в объятия небесного супруга, непорочные возлюбленные Надежды, сильные жены Воли! Благословляете ли вы меня, скажите, и молитесь ли вы непрестанно за ту, которая предпочитает быть с вами, а не с живыми? Ваши ли золотые кадильницы источают по ночам эти вот благовония? Ваши ль нежные голоса слышатся сейчас в воздухе? Вы ли это священным волшебством своим придаете столько красоты, обаяния и целительного покоя этому участку земли, этому уголку зелени, мрамору и цветам, где теперь отдыхаете и вы и я?»

Каким чудом удалось вам сделать его таким драгоценным и желанным, что я привязалась к нему всеми фибрами души, что он горячит мне кровь, что жизнь кажется мне теперь слишком короткой, чтобы насладиться ею сполна, и я хочу, чтобы мне отвели в нем уголок для моих костей, когда божественное дыхание их оставит?»

Тогда, раздумывая над смутами прошлого и над умиротворенностью настоящего, я призываю их в свидетели моего смирения.

О души усопших, – говорю я им, – о девственницы – сестры! О красавица Агнесса! О кроткая Мария дель Фиоре! О премудрая Франциска! Взгляните, как сердце мое отрешается от своей прежней неприязни и как покорно соглашается на жизнь в те времена и на том пространстве, которое ему отвел господь!

Взгляните и скажите тому, на кого вы смотрите с открытым лицом:

«Лелия больше не проклинает того дня, который ты повелел ей заполнить; она идет к ночи своей, ведомая духом разума, который тебе угоден. Она больше не воспламеняется страстью к мгновениям, которые проходят. Она не стремится удержать иные из них, не торопится сократить другие. И вот она идет мерно и непрестанно, подобно земле, которая совершает кругооборот свой без потрясений и которая, видя, как от вечера до утра меняются звезды на небе, не останавливается ни под одним знаком зодиака, не желая бросаться в объятия прекрасных Плеяд, не убегая от пылающего дротика Стрельца, не отступая перед растрепанными волосами похожей на привидение Вероники. Она покорилась, она живет! Она исполняет закон. Она не боится смерти, но и не хочет ее; она не противится порядку вселенной. Без сожаления смешает она прах свой с нашим; она уже касается наших ледяных рук, и в ней нет страха. Не позволишь ли ты, милосердный господь, чтобы испытанию ее пришел конец и чтобы, как только солнце начнет всходить, она последовала за нами туда, куда идем мы?»

И тогда в борющемся с зарею ветерке мне чудятся голоса слабые и смутные, таинственные они звучат то громче, то тише и пытаются призвать меня к себе из-под камня, но все еще никак не могут справиться с навалившейся на меня тяжестью.

На какое-то мгновение я останавливаюсь и смотрю, не приподнимается ли моя каменная плита и не стоит ли со мною рядом столетняя старуха, не показывает ли она мне Марию дель Фиоре, тихо уснувшую на первой ступеньке нашего склепа. В это мгновение страшный шум слышится из подземелья, и под ногами у меня раздаются чьи-то вздохи. Но все глохнет, все умолкает, как только Полярная звезда исчезает с ночного неба. Тонкие тени кипарисов, которые свет луны чертит на стенах, а ветер каждым порывом своим колеблет, словно вдыхая жизнь в изображения святых на фресках, понемногу начинают бледнеть. Тогда фигуры на стенах снова застывают в своей неподвижности: шелест листвы умолкает, и раздаются голоса птиц. Жаворонок просыпается в клетке, и в воздух врывается его отчетливое, звучное пение, большие белые лилии на клумбах вырисовываются из полумрака и, омытые обильной росой, цепенеют от наслаждения. В ожидании солнца замирает тревожная рябь, все смутные отсветы сбрасывают свой волшебный покров. Вот тогда-то призраки действительно исчезают в прояснившемся воздухе и необъяснимые шумы уступают место чистым гармониям. Время от времени последнее дуновение ночи колышет олеандр, судорожно мнет его ветки, парит, кружась, над его цветущей верхушкой и замирает издавая совсем слабый вздох, как будто это Франциска взяла за руку Марию дель Фиоре и уводит ее от цветника, а той трудно оторваться от любимого деревца, и она уходит в объятия мертвых, исполненная какой-то досады и сожаления.

Наконец все иллюзии исчезают; металлические купола сверкают золотом в первых лучах солнца. Звон колокола как бы проводит в воздухе глубокую борозду, в которой тонут все разрозненные, парящие тут и там шумы; павлины слетают с насестов и долго отряхают влажные перья на блестящий песок садовых дорожек; двери дортуаров со скрипом повертываются на своих петлях, и звуки «Ave Maria», которую поет хор послушниц, гулко разносятся под сводами огромных каменных лестниц. Нет ничего торжественнее, чем этот первый звук человеческого голоса, когда только еще занимается день. Здесь все исполнено величия, все запоминается, потому что даже в самом незначительном проявлении домашней жизни есть черты единства и цельности. После всех метаний, после всех восторженных прозрений в часы бессонницы, слыша эту утреннюю молитву, чувствую, как по жилам моим пробегает трепет наслаждения и страха. Монастырские правила, этот великий закон, которому все никак не нарадуется мой ум и суровость которого иногда чрезмерно поэтизирует мое воображение, тут же простирают надо мной свою власть, о которой я забываю в романтические ночные часы. Тогда я покидаю могилу Франциски, где простояла, неподвижная и сосредоточенная, пока свершалось это обновление света и пробуждение природы, и схожу с камня, как античная статуя, которая вдруг оживает и при первых лучах солнца обретает в груди свой голос. Как она, я начинаю петь гимн радости, и вот я уже иду навстречу моей пастве и пою громко и восторженно, в то время как девушки двумя стройными рядами спускаются по большой лестнице, ведущей в церковь. Я всегда замечала в них какой-то инстинктивный страх, когда они видели, как я выхожу из обители мертвых, чтобы стать во главе

их, раскрыв свои объятия и воздев глаза к небу. В часы, когда мысли их еще отягчены сном и когда чувство долга борется в них со слабостью природы, они поражаются, видя, что я полна сил и жизни, и, несмотря на все мои усилия разубедить их, они продолжают упорно считать, что я по ночам общаюсь с мерными, покоящимися на монастырском кладбище под сенью олеандров. Я вижу, как они бледнеют, когда, скрестив свои белые руки на пурпурных скапуляриях, опускают головы, преклоняя передо мною колена, и как невольно вздрагивают, когда, заворачивая за угол, одна за другой касаются моего одеяния».

58. СОЗЕРЦАНИЕ

«Одна из дверей помещения, где я живу, выходит на скалы. Изъеденные временем и поросшие мхом уступы окружают со всех сторон обрывистый утес, на котором стоит эта часть здания, и крутыми переходами соединяют монастырь с горою. Это единственный путь, каким можно подняться на нашу крепость; но идти им страшно, и после святой Франциски никто не решается туда взбираться. Идти по неровным ступенькам очень трудно, некуда поставить ногу, и кружится голова от соседствующих с ними крутых обрывов.

Мне хотелось узнать, не потеряла ли я за время моей уединенной и бездеятельной жизни прежнюю храбрость и физическую силу. И вот однажды, среди ночи, когда ярко светила луна, я решила спуститься по этим ступенькам. Без труда добралась я до того места, где обвал, казалось, разрушил всю работу монахов. Повиснув на мгновение между небом и бездонной пропастью, я задрожала от мысли, что мне предстоит возвращаться той же дорогой. Я очутилась на выступе – таком узеньком, что ноги мои едва на нем помещались. Я долго простояла так, не шевелясь, чтобы дать глазам освоиться с этим положением, и раздумывая о том, какую власть над нашими чувствами имеют, с одной стороны, воля, с другой – воображение. Если бы я уступила силе воображения, я бы бросилась на дно пропасти, которая, казалось, каким-то магнитом притягивала меня к себе; но холодная воля обуздала все мои страхи и помогла мне держаться твердо на моем узеньком пьедестале.

Нельзя ли предложить этот пример тем, кто говорит, что соблазны непреодолимы, что всякое принуждение, предписанное человеку, противно природе и преступно по отношению к богу? О Пульхерия! В эту минуту я подумала о тебе; я сравнивала всю тщету погубивших тебя наслаждений с этим обманом чувств, который я испытала, стоя на краю пропасти, – как он соблазнял меня сократить мой томительный путь, поддавшись охватившей меня слабости. Я сравнивала также добродетель, которая могла бы тебя уберечь, с инстинктом самосохранения, с силой мысли, помогающей человеку побеждать в себе всякую изнеженность и страх. О, вы наносите оскорбление милости господней, и вы глубоко презираете его дары, вы, принимающие за самую благородную и здоровую часть вашего существа слабость, которую он ниспослал вам лишь для того, чтобы уравновесить силу, которой бы вы без этого чересчур гордились.

Внимательно осмотрев все вокруг, я заметила, что лестница идет дальше вниз по другой скале, как раз под площадкой, где я стояла. Без труда я перебралась на этот новый уступ. Стоило мне все спокойно обдумать, как казавшееся с первого взгляда невозможным сделаться вполне осуществимым. Вскоре я была вне опасности на естественных террасах горы. Глаза мои давно уже привыкли к виду этих неприступных мест. Пять лет в воображении я прогуливалась по ним, при этом даже не мечтая, что нога моя на них когда-нибудь ступит. Но я видела только снаружи эту величественную каменную громаду, зубцы которой врезаются в облака. Каково же было мое удивление, когда, подойдя к этим зубцам совсем близко, я обнаружила, что могу проникнуть в глубь скалы сквозь трещины, которые издали казались такими узкими, что по ним едва ли могла пролететь даже птица. Долго не раздумывая, я устремилась туда и, по обломкам камней, по грудам базальта, прорываясь сквозь густую сеть вьющихся растений, крадучись по трудным неведомым переходам, добралась до мест, куда никогда не проникал взгляд, по которым никогда не ступала нога человека с того времени, когда святая уединялась там, чтобы творить молитву вдали от всякого шума и суеты.

Здесь существует поверье, что каждую ночь дух господень поднимал ее на эти неприступ-

ные вершины, что незримый ангел возносил ее на кручи, и с тех пор ни один житель этих мест не решался разгадать это чудо, совершавшееся с помощью веры – веры, которую люди недалекие называют слабостью, суеверием, глупостью! Веры, которая есть не что иное, как воля, соединенная с доверием, – великолепная способность, дарованная человеку, чтобы перейти границы животной жизни и беспредельно раздвинуть границы разума.

Гора, вершина которой была срезана извержением вулкана, потухшего еще в первые тысячелетия нашей планеты, являла взгляду обширные нагромождения обломков, обрамленных неровными зубцами и зиявшими меж ними расщелинами. Черная зола, металлическая пыль, выброшенная извержением; кучи хрупкого шлака, которого состояние остекленения оберегает от действия стихий и который хрустит под ногами, словно мелкие кости; пропасть, заполненная наносной землей и поросшая мхом; естественные стены из красной лавы, которую можно принять за кирпич; гигантские кристаллы базальта, и всюду, на всех минералах, – застывшие капли расплавленного металла, когда-то выброшенного бурей из недр земли; большие, грубые лишай, поблекшие, как сами камни, на которых они выросли; потоки, которых не видно и которые только бурлят где-то под скалами, – вот как выглядел этот дикий край, где нельзя было обнаружить ни единого следа живых существ. Я так давно не была в пустыне, что в первую минуту мной овладел ужас при виде этих руин вселенной, существовавших еще задолго до появления человека. Меня охватило какое-то странное и неприятное чувство, и я не могла заставить себя сесть и спокойно посидеть среди этого хаоса. Мне казалось, что это владения нечистой силы, призванной нарушать покой человека. И я все шла, поднимаясь выше и выше, до тех пор, пока не достигла самых высоких гребней, образующих вокруг этого огромного кратера великолепный венец странной и затейливой формы.

Там я увидела необъятное небо, море, город, окружающие его плодородные долины, реку, леса, мысы, и чудесные острова, и вулкан. Это был единственный гигант, возвышавшийся надо мной, единственное жерло подземного канала, куда ринулись все потоки огня, бушевавшие в недрах этой земли. Возделанные поля, деревушки и виллы, покрывающие живописные склоны холмов, тонули вдалеке в прозрачной мгле. Но, по мере того как над морем занималась заря, все вокруг становилось отчетливее, и вскоре я могла убедиться, что почва еще плодородна, что человечество еще существует. Когда я сидела на этом воздушном троне, там, куда, может быть, никогда не поднималась и сама святая, мне показалось, что я овладела краями, неподвластными человеку. Отвратительный циклоп, нагромоздивший здесь эти каменные глыбы, чтобы сбросить их вниз, в долину, и извлекший из неведомых подземелий адский пламень, чтобы сжечь юные всходы земли, навлек на себя гнев мстительного бога. Мне казалось, что я пришла сюда заклеить его последним клеймом раба, ступив ногою на его разбитую голову. Недостаточно было, чтобы вседержитель позволил цивилизованной расе заполнить своими победами и трудами всю эту землю, отвоеванную у стихий; надо было, чтобы женщина взошла на эту последнюю вершину, поднялась к пустынному и безмолвному алтарю поверженного титана. Надо было, чтобы человеческий разум, орел, способный охватить полетом своим бесконечные пространства и владеющий сокровищем всех миров, прилетел и опустился на этот алтарь и расправил крылья, чтобы склониться к земле и братски благословить ее, пробуждая в первый раз сочувствие человека к человеку среди бездн пространства. Повернувшись тогда к пустынным местам, по которым я только что шла, я попыталась уяснить себе ту перемену, которая произошла во вкусах моих и привычках. Почему это раньше мне все время казалось, что я недостаточно далеко ушла от человеческого жилья? Почему теперь мне так хочется быть к нему ближе? Я ведь не открыла в человеке никаких новых добродетелей, качеств, которых бы я до сих пор не знала. Общество не стало ведь лучше с того дня, когда я с ним рассталась. Издали, так же как и вблизи, я до сих пор нахожу в нем все те же пороки, все ту же косность, мешающую ему переделать себя в соответствии с благородными и истинными потребностями. Что же касается дикой красоты природы, то я отнюдь не потеряла способности восхищаться ею.

Ничто не может погасить в поэтических душах чувства прекрасного, и то, что им сначала кажется гибельным, развивает в них неведомые способности, неистощимые силы. Между тем прежде мне казалось, что где-то, должно быть, есть какая-то еще более недоступная пещера, еще

более безлюдная пустошь, еще более дикий морской берег, что лишь он один удовлетворит одолевающий меня зуд ходьбы и ненасытную жажду ума. Альпы были для меня слишком низки, а море чересчур узко. Непреложные гармонические законы вселенной утомили мой взгляд, истощили мое терпение. Следя глазами за ползущей лавиной, я думала каждый раз, что она должна бы на пут своем взорхнуть больше снега, повалить больше сосен, сильнее оглушить своим грохотом испуганное эхо окрестных ледников. Мне казалось, что гроза всегда медлит и всегда звучит приглушенно. Мне хотелось запустить руку в темные тучи и с грохотом разодрать их на части. Мне хотелось присутствовать при каком-нибудь новом потопе, видеть, как падает звезда, как некая новая катаклизма потрясает вселенную. Я бы закричала от радости, если бы вдруг низверглась в бездну вместе с обломками мира, и тогда только я признала бы, что бог действительно такой сильный, каким я его себе представляла.

И вот, оттого что я вспоминаю эти неистовые дни и безумные желания, я дрожу теперь при виде мест, сохранивших следы былых потрясений нашей планеты. Любовь к порядку, пробудившаяся во мне с тех пор, как я покинула свет, не дает мне испытать прежней радости, когда я слышу глухой рокот вулкана или вижу, как катится с гор лавина. Когда страдание делало меня слабой, мне нужен был бог и сильный и гневный. Сейчас, когда боль улеглась, я понимаю, что сила – в спокойствии и кротости. О несотворенная доброта! Как ты открылась мне вдруг! Как я благословляю тебя на самой узенькой зеленой бороздке, которую твой взор делает плодородной! Как сливаюсь воедино с этой щедрой землей, где прорастает твое зерно! Как я хорошо понимаю твою неистощимую мягкость! О земля, дочь неба! Какому великому милосердию научил тебя отец твой – ты, не сохнувшая под ногой нечестивца, ты, позволяющая богатым владеть тобой, но с уверенностью ожидающая дня, который отдаст тебя всем твоим детям! Тогда ты, разумеется, предстанешь нам преображенной и похорошевшей: ты станешь веселее и плодороднее, ты, может быть, осуществишь те чудесные поэтические мечты, которые сейчас провозглашают новые секты и которые, подобно таинственным ароматам, возносятся над этим веком сомнений, странной смеси высокомерных отрицаний и сладостных надежд.

Упоенная созерцанием этой дивной ночи, я отдалась течению времени. В полночь луна зашла. Вернуться уже не было возможности; теперь, когда она перестала светить, я все равно не могла бы найти дорогу в лабиринте этих нагроможденных обломков – хоть на небе и сверкали звезды, глубины кратера были погружены во мрак. Я подождала, пока первый луч солнца не забелеет на горизонте. Но едва только светлая полоска появилась на небе, земля так похорошела, что я не могла оторваться от картины, которая все время менялась и на глазах у меня становилась все красивее.

Бледные звезды Скорпиона, справа от меня, по одной погружались в море. Прелестные нимфы, неразлучные сестры, они, казалось, сплетались в объятиях, увлекая друг друга на купанье, сулившее им великую и чистую радость. Бесчисленные светила, которыми было усеяно небо, сделались более редкими и сияли ярче; день еще не занялся, а меж тем небо уже посветлело, будто серебряная пелена украсила его лазурное лоно. В воздухе посвежело, и казалось, что звезды разгорались от этого свежего дуновения, как пламя, которое ветер раздувает, прежде чем погасить. Капелла взошла слева от меня, сверкая ярким красным светом, над огромными лесами, а Млечный Путь растаял над моей головой, как тает, поднимаясь к небу, туман.

Тогда небо сделалось похожим на купол, который вдруг откинулся в сторону, и заря занялась, разгоняя на своем пути заленившиеся звезды. Ветер задувал их одну за другой взмахом своих крыльев, но те, что упорно не хотели уйти, сверкали теперь еще ярче, еще красивее. Геспер все светлел и надвигался так величественно, что казалось невозможным низвергнуть его с трона. Большая Медведица пригибала свою огромную спину, пробираясь на север. Земля представлялась сплошной черной массой, и только кое-где вершины гор перебивали ровную линию горизонта. Мало-помалу прояснялись озера и речки – маленькие пятнышки, извилистые ниточки бледного серебра на темном покрове. По мере того как рассвет сменялся сиянием дня, все эти воды расцветчивались переменчивыми отблесками перламутра. И долго еще лазурь, с целой гаммой бесчисленных оттенков, переливающихся от белого к черному, была единственной краской, разлитой по земле и небу. Восток заалел гораздо раньше, чем в окружающем пейзаже пробуди-

лись цвета и формы. И вот наконец первые контуры возникли из хаоса. Прежде всего определились очертания переднего плато, за ним последовали другие, вплоть до самых дальних; и когда весь рисунок стал отчетливо виден, вспыхнула зелень листвы, и растительность начала постепенно, оттенок за оттенком, менять окраску: из темно-синей она становилась ярко-зеленой.

Самыми упоительными были минуты перед тем, как солнечный диск взошел на небо. Очертания предметов определились четко и стройно. Было какое-то неизъяснимое очарование в озарившем все вокруг рассеянном бледном свете. Лучи поднимались, как пламя, за огромной завесою тополей, которые все еще оставались неосвещенными и черными силуэтами вырисовывались на фоне раскаленного пекла. Однако на юго-востоке световые фантазмагии становились все ярче. Косые лучи проскальзывали всюду в промежутках между холмами, рощами и садами. Освещенные по краям леса высились, легкие и прозрачные, меж тем как глубь их оставалась непроницаемой. До чего же хороши были при этом свете деревья! Сколько изящества было в стройных тополях, сколько приятной округлости в рожковых деревьях, сколько мягкости в миртах и раkitнике! Зеленъ была вся одного тона, но прозрачность ее возмещала богатство оттенков; каждое мгновение становящиеся более яркими, лучи проникали во все извилины, во все глубины. За каждой стеной листвы как бы спадала какая-то пелена, и, словно по мановению волшебного жезла, возникали новые перспективы, исполненные все большей прелести и свежести. Прояснялись отдаленные уголки лугов, кустарника, рощ, опушек, поросших мохом и камышами. И вместе с тем в далеких глубинах, и там, где стволы сплетались в одно, укрывались еще какие-то сладостные тайны утра, не столь непроницаемые, как тайны ночи, но зато более чистые, чем то, что с собою приносил день. За белеющими стволами старых смоковниц уже не было спрятанных в лесной чаще пещер, где скрывались коварные фавны; там, в убежищах своих, притаились стыдливые и тихие гамадриады. Едва только пробудившиеся птицы пели еще мало, и в голосах их слышалась робость. Ветер умолк, даже на самой высокой из осин не шелохнулся ни один листик. Напоенные росой цветы еще не начали пахнуть. Всю жизнь я больше всего любила эти минуты: они возвращают нас к извечной юности человека. Сколько в них чистоты, умеренности и неги... О Стенио! Это минуты, когда твоя бледная красота и твои прозрачные глаза светят мне так же, как светили когда-то!

Но внезапно листва вся затрепетала – пролетела огромная стая птиц. Все словно задрожало от радости; ветер дул с запада, с верхушки деревьев, казалось, склонились перед богом.

Подобно тому как король, впереди которого едет блестящий кортеж, явившись сам, очень скоро затмевает весь блеск своей пышной свиты, так и солнце, поднявшись на горизонте, затмило рассыпанный на его дороге пурпур. Оно пустилось в путь с быстротой, которая не может не поражать, ибо это единственный миг, когда наш глаз ясно различает движение, и это движение увлекает нас и словно кидает под пылающие колеса небесной колесницы. Окунувшись на мгновение в огненные испарения атмосферы, все какое-то расплывшееся, оно всплыло и вспрыгнуло неловким и не очень решительным прыжком, подобно причудливому огненному призраку, готовому растаять и кануть в ночь. Но сомнения его быстро рассеялись: оно округлилось и словно раскололось, бросая вдаль сиянье своих лучей. Так еще древним Гелиосом оно, выходя из моря, встряхивало свои горящие волосы на берегу и огненным дождем вливалось в реки; так, став высоким творением единого бога, оно несет жизнь простершимся перед ним мирам.

Вместе с солнцем краски, до этого неясные и смутные, обрели вдруг полную силу. Серебряные края лесных массивов окрасились темною зеленью с одной стороны и изумрудной – с другой. Та часть пейзажа, в которую я больше всего вглядывалась, изменила вид, и каждый предмет предстал как бы в двух ликах: одном – темном, другом – сверкающем; каждый листик сделался каплей золотого дождя; потом отсветы пурпура обозначили переход света в зной. Бельный песок на дорожках пожелтел, и на серых глыбах скал живописными сочетаниями заиграли коричневые, желтые, бурые и красные пятна. Луга впитали в себя росу, от которой они казались светлее и сделались такими свежими, такими зелеными, что вся другая зелень вдруг потускнела. На месте красок всюду появились оттенки; на всех зеленых покровах серебро превратилось в золото, изумруды – в рубины, жемчуга – в бриллианты. Лес понемногу потерял всю свою таинственность; бог-победитель проник в самые укромные убежища, в самые тенистые уголки. Я

увидела, как цветы вокруг меня раскрываются, почувствовала, как они отдают ему весь свой аромат...

Я ушла – все это не так подходило к моему настроению и к моей странной судьбе. Это было скорее воплощение пылкого периода юности, а никак не последовавших за ним умиротворяющих лет; это был бурный призыв к жизни, которой я не жила и не должна жить. Я приветствовала творение и отвратила от него взор без неблагодарности и без горечи.

Я провела там несколько упоительных часов; разве не должна я была возблагодарить за них бога, сделавшего красоту земли бесконечной, дабы каждое живое существо могло черпать из нее потребное ему счастье. Иные создания живут всего несколько часов; другие пробуждаются, когда засыпает все остальное; третьи существуют только несколько месяцев в году. И что же! Неужели человеческое существо, обреченное на одиночество, не сумеет без гнева отказаться от нескольких минут всеобщего опьянения, если ему дано вкушать все радости, которые дарует покой! Нет, я ни на что не жаловалась, и я сошла с горы, время от времени останавливаясь, чтобы взглянуть на знойное небо и удивиться, что прошло так мало времени с тех пор, как над всем царила томная бледность луны.

Ни на одном человеческом языке нельзя рассказать о тех волшебных переменах, которые несет во вселенную бог времени. Человек не может ни определить, ни описать движение. Различные фазы этого движения, которое именуют *временем*, носят одинаковые названия на всех языках, а для каждой минуты следовало бы придумать особое, ибо ни одна из них не похожа на предыдущую. Каждое из этих мгновений, которое мы пытаемся выразить числами, преобразует творение и производит в бесчисленных мирах столь же бесчисленные перевороты. Точно так же, как ни один день не похож на другой, ни одна ночь – на другую ночь, ни одно мгновение дня или ночи не похоже на то, которое ему предшествует, и на то, которое за ним следует. Элементом великого целого свойствен определенный порядок как неизменное условие существования, и вместе с тем неистощимое разнообразие, свидетельство безграничной силы и неутомимой энергии, управляет жизнью во всех ее проявлениях, начиная с облика созвездий и кончая чертами человеческого лица, начиная от морских волн и кончая былинками на лугу, начиная от всемирного пожара незапамятных времен, уничтожившего светила, и кончая неопишуемыми изменениями атмосферы, окружающей мира, – нет вещи, у которой не было бы своего собственного существования и которая бы в каждый период своей жизни не претерпела бы более или менее заметных для человека изменений.

Видел ли кто-нибудь два одинаковых восхода солнца? Разве человеку, который растрчивает силы на такое количество ничтожных дел и находит удовольствие в стольких зрелищах, его недостойных, не следовало бы искать подлинное наслаждение в созерцании великого и вечного? Среди нас нет никого, кто бы не сохранил в памяти подробности какого-нибудь самого простого происшествия, но ни один из нас, перебирая свои самые радостные воспоминания, не отыщет среди них минут, когда природа полюбила ему ради нее самой, когда лучи солнца вывели его из замкнутого круга эгоизма и растворили в этом потоке любви и счастья, который опьяняет все наше существо, когда всходит солнце. Мы помимо воли вкушаем эти несказанные блага, которые нам расточает господь; мы видим, как они проходят мимо, и привыкли встречать их каждый раз самыми избитыми словами. Мы не вникаем в их характер; своей равнодушно-невнятной оценкой мы сводим к одному все многообразие наших сияющих дней. Мы не отмечаем как счастливое событие нашей жизни ночи, проведенной в созерцании звезд, великолепия утреннего неба без единого облачка. У каждого человека был в жизни день, когда солнце сияло прекраснее, чем в любой другой день его жизни. Он едва обратил на него внимание и больше не вспоминает о нем. О Движение! Старик Сатурн, отец всех сил! Это тебя должны были бы чтить люди в образе колеса; но они отдали твои атрибуты Фортуне, ибо она одна приводит в движение их минуты, она одна переворачивает песочные часы жизни. Вовсе не бег светил регулирует их потребности и мысли; вовсе не восхитительная гармония вселенной заставляет колена их склоняться, а сердца биться; детские игрушки наполняют твой рог изобилия. Ты высыпашь его на дороге, и они нагибаются, чтобы искать их в грязи, а в это время неистощимый источник счастья и покоя, чистый и щедрый, просачивается всюду вокруг, сквозь все поры творения».

«Лелия, я с жадностью прочел рассказ о благородных и трогательных чувствах, которые наполнили вашу душу за годы, прошедшие после нашего расставания. Слава богу, вы спокойны! Я тоже спокоен, но печален, ибо давно уже ни на что не нужен. Я скрыл это от вас, чтобы не нарушать ваше просветленное спокойствие; но теперь я могу вам это сказать. Все это время я провел, закованный в кандалы; и притом на земле, чуждой политическим распрям, за которые меня изгнали из страны, где живете вы, на земле, призванной давать убежище изгнанникам и кичащейся своей свободой. Меня сочли подозрительным: достаточно было одного-единственного подозрения, чтобы гостеприимство превратилось для меня в тиранию. Но вот наконец я освободился из тюрьмы и возвращаюсь к своему делу. Здесь, как, впрочем, и всюду, я встречу сочувствие, ибо здесь больше, может быть, чем где бы то ни было, великих страданий, великих потребностей и великих несправедливостей.

Ваши рассказы и ваши описания монастырской жизни украсили мое безотрадное существование восхитительными часами и погружали меня в поэтические мечты. Лелия, я ведь тоже изведаль в тюрьме счастливые дни, назло и судьбе и людям.

Было время, когда я часто стремился к одиночеству. В часы тоски и бесплодных угрызений совести я пробовал бежать от людей; однако напрасно искочевал я полсвета: одиночество убегало от меня; сам человек, или влияние его, которого нельзя было избежать, или его деспотическая власть, простирающаяся на все живое, преследовали меня даже в самой глухой пустыне. В тюрьме я обрел это одиночество, такое спасительное, то, чего я всюду искал и не находил. В этой тишине мое сердце открылось и постигло всю красоту природы. Когда-то я был до того пресыщен, что меня не радовали самые красивые страны, где светит солнце, теперь какой-нибудь бледный луч, мелькнувший на затянутом небе, жалостное завывание ветра на морском берегу, шум волн, грустные крики чаек, далекая песня девушки, аромат цветка, пробившегося с великим трудом сквозь щель в стене, — для меня это все живые радости, сокровища, цену которых я знаю. Сколько раз я восхищенно взирал сквозь темную решетку тюремного окна на грандиозную картину морского прибоя, на эти судороги волн, на лохматые хлопья пены, которые с быстротою молнии проносятся от края до края! Сколько красоты было тогда в этом море, обрамленном железным прутком! С какой жадностью взор мой, прикованный к этой открытой щели, охватывал расстилающуюся передо мной безграничную ширь! Ах, разве оно не принадлежало мне тогда все целиком, это огромное море, которое я мог обнять взглядом, где моя свободная мысль могла блуждать без конца и была более быстрой, более гибкой, более прихотливой в своем полете по небу, чем ласточки с большими черными крыльями, которые взрывали пену и, задремав, качались потом на ветру. Что значили для меня тогда и тюрьма и цепи? Воображение мое несло вместе с бурей, как тени, вызванные арфой Оссиана. Потом я на легком суденышке переплыл это море, где душа моя блуждала так много раз. И что же? Поверьте, оно показалось мне уже не таким прекрасным. Ветер был тяжелым и медленным, отсветы на воде сверкали не так ярко, волны колыхались не так плавно. Восходы солнца не были такими чистыми, закаты — такими роскошными. Море, которое меня уносило, уже не было прежним морем, тем, которое баюкало мои мечты, которое принадлежало мне одному и которым я наслаждался один среди закованных в цепи рабов.

Теперь я живу все будто в полусне, не делая никаких усилий, как выздоравливающий после тяжелой болезни. Довелось ли вам испытать это сладостное оцепенение души и тела после дней горячки и кошмаров, дней одновременно тягучих и скоротечных, когда, истерзанный бредом, устав от видений неожиданных и бессвязных, не замечаешь движения времени и чередований дня и ночи? Послушайте, если вы пережили фантастические ужасы, в которые ввергает вас лихорадка, и возвращаясь к спокойному и ленивому течению жизни, к ее идиллиям, к ее тихим прогулкам под ласковым солнцем, среди растений, которые тогда были только еще посажены в землю, а теперь уже расцвели, если вы, совсем еще слабый, бродили вдоль ручейка, беззаботного и кроткого, как вы сами, если вы прислушивались к этим смутным шорохам природы, давно уже

переставшим для вас существовать и почти забытым среди страданий; если вы, наконец, возвращаетесь к жизни постепенно, впитывая ее всеми порами своего существа, переходя от ощущения к ощущению, – тогда вы способны понять, что значит отдых после жизненных бурь.

Но мы не вправе останавливаться по дороге больше чем на день. Небо побуждает нас к труду. Больше чем кому-либо другому, мне надлежит проделать тяжелый путь. Отдых таит в себе безграничные радости; но нам нельзя убаюкивать себя этими наслаждениями – они нас погубят. Они посланы нам мимоходом, как оазисы в пустыне, как предчувствие неба; но наша земная отчизна – это невоздланная земля, которую нам надлежит победить, цивилизовать и освободить от рабства. Я не забываю этого, Лелия, и вот я уже снова пускаюсь в путь, а вам желаю мира душевного!»

60. ПЕСНЬ ПУЛЬХЕРИИ

«Когда я покидаю ложе наслаждений, чтобы взглянуть на звезды, светлеющие на небесной лазури, колени мои дрожат от холода этого зимнего утра. Страшные свинцовые тучи нависли над горизонтом, и заря напрасно старается вырваться из их мертвенного, бледного лона. Звезда Волопаса бросает последний красноватый луч к ногам Большой Медведицы, все семь светильников которой бледнеют и гаснут от сияния денницы. Луна продолжает свой путь и медленно спускается, холодная и зловещая, со своих высот, надвигаясь на зубцы мрачных зданий. Начинают проглядывать узенькие ложбины, проложенные дождем, отсвечивающие тусклым, оловянным блеском. Громко распевают петухи, и кажется, что звуки молитвы, встречающие эту ледяную зарю, возвещают пробуждение мертвецов в могилах, а не живых в их домах.

Зачем тебе вылезать из своей постели, едва согревшейся от недолгого сна, о землепашец, ты, который бледнее, чем зимняя заря, печальнее, чем залитая водою земля, суше, чем дерево, у которого осыпались листья? В силу какой жалкой привычки осеняешь ты крестным знамением свой узкий лоб, раньше времени изборожденный морщинами, едва только зазвучит католический колокол? По какой нелепой слабости считаешь ты единственной своей надеждой, единственным утешением обряды религии, которая освящает всю нищету и продлевает твоё рабство до скончания века? Ты остаешься глух к голосу сердца, которое кричит тебе: «Храбрость и месть!», и ты склоняешь голову, как только воздух задрожит от унылого звука, возвещающего миру удел, на который ты осужден навеки: малодушие, унижение, страх!

Тварь, не достойная жизни! Взгляни, с каким сожалением солнце изливает на тебя свет, как скупа и неблагодарна природа, как неохотно покидает ночь пределы твоего унылого края! Твой никогда не утолимый голод – единственная сила, еще имеющая над тобой власть. Это она побуждает тебя в бессилии и слепоте твоей искать жалкого пастбища на земле, истощенной трудом твоих неумелых и грубых рук, которые одна лишь нужда приводит в движение, подобно рычагам механизма. Ступай и дろби булыжники на дороге, они ведь не так тверды, как твой мозг, чтобы, когда мои чистокровные кони гордо по ним побегут, они не повредили себе копыт! Засей илистые берега, чтобы псы мои кормились отборным зерном и чтобы потом твои голодные дети жадно выпрашивали объедки! Ступай, захиревшее отродье, ублажай сосущую твою кровь нечисть! Прозябай, как зловонная трава на болотах! Ползи, как червяк по грязи! А ты, солнце, не показывай своего лика этим пресмыкающимся, недостойным тебя созерцать. Кровавые тучи, разверзающиеся при его приближении, закройте собою, как саваном, его сияющее лицо и заволоките всю египетскую землю, доколе этот жалкий народ не принесет покаяния и не смоет с себя клеймо постыдного рабства.

Юный влюбленный мой, ты не отвечаешь мне, ты меня не слышишь? Голова твоя покоится на мягкой подушке. Неужели ты боишься, как бы я не увидела твоих чистых слез? Неужели ты оплакиваешь отвратительный день, который лишь занимается над этой презренной породой людей, пробуждающейся ото сна? Неужели ты мечтаешь о кровопролитии и о свободе? Неужели ты стонешь от страдания и от гнева? Ты спишь? Волосы твои покрылись испариной, плечи потеряли силу в любовных утехах. Тело твое и мысли тяжелеют от невыразимой истомы... Неужели и сил и жара сердца тебе хватает только на одни наслаждения? Как! Ты спишь? Значит, молодость

твоя без остатка удовлетворяется сладострастием, и у тебя нет никакого другого влечения, кроме страсти к женщине? Странная молодость! Она даже не знает, ни в какой мир, ни в какой век забросила ее судьба! Все твое прошлое – в тщеславии, все настоящее – в наслаждении жизнью, все будущее – в безответственности. Ну что же, раз у тебя столько безразличия и презрения к несчастью другого, удели мне немного твоей холодной подлости. Пусть же вся сила наших душ, пусть весь пыл нашей крови сольются воедино, чтобы сообщить особую пряность нашим иступленным ласкам. Ну что ж! Раскроем объятия и закроем сердца! Опустим занавес, скрывающий от дневного света наши постыдные радости! Помечтаем, разогретые жаром похоти, о мягком климате Греции, об античных наслаждениях и о языческом разврате! И пусть слабый, бедный, угнетенный, простодушный трудятся в поте лица и страдают, оттого что им приходится есть черный хлеб, орошенный слезами; мы будем жить среди оргий, и наши шумные наслаждения заглушат их стоны! И пусть святые кричат в пустыне, пусть пророки вернутся и их еще раз побьют камнями, пусть евреи еще раз распнут Христа! Будем жить!

Или, хочешь, умрем? Задохнемся от любви! Покинем жизнь, сломленные усталостью, как иные влюбленные покидали ее, охваченные фанатизмом любви. Надо, чтобы наша душа погибла под тяжестью материи, или чтобы наше тело, поглощенное духом, избавилось от всего ужаса человеческой доли.

Он все спит! А мне не найти ни минуты покоя, я сопоставляю нищету других с моим проклятым богатством, и в сердце мое вторгаются угрызения! О небо! До чего же груб этот юноша, который вчера еще казался мне таким красивым! Взгляните же на него, мерцающие звезды, устремленные в беспредельность, и скройтесь от него навсегда! Солнце, не заглядывай к нему в комнату, не озаряй его лица, истомленного развратом; на нем ни разу не было ни тени упрека, ни проклятия провидению, которое о нем позабыло!

А ты, вассал, жертва, оборванец, посмотри на него... Ты раб, ты труженик, посмотри на меня, бледную, растрепанную, безутешную, у этого окна... Посмотри хорошенько на нас обоих. Юноша, богатый и красивый, который платит деньги за любовь женщины, и погибшая женщина, презирающая этого юношу и его деньги! Вот те, кому ты служишь, кого боишься, кого чтишь... Подыми же свою кирку и молот, орудия твоего проклятого навеки труда, и ударь! Разрази этих трутней, которые едят твой хлеб и крадут у тебя все, даже твое место под солнцем! Убей этого мужчину, который спит, убаюканный своим эгоизмом, и эту женщину, которая проливает слезы, бессильная порвать со своим пороком!»

61

Однажды вечером отшельник увидел, как в келью к нему входит какой-то молодой человек, которого он с трудом мог узнать, ибо одежда его, манеры, походка, голос и даже черты лица – все изменилось, все, если можно так выразиться, потеряло свой национальный облик, на всем был след иноземной цивилизации.

Когда Стенио разделил с Магнусом его скудный ужин, тот взял его за руку и спустился с ним к берегу озера. Он любил приходить в эти дикие места глядеть на склонившиеся над пропастью огромные кедры, на посеребренный луною песок и на эту неподвижную воду, в которой отражались звезды, такие спокойные, как будто они мерцали где-то в другом мире. Ему нравились и стрекотание цикад, и жужжанье жуков в прибрежных камышах, и тихий полет летучих мышей, описывавших над его головою таинственные круги. В келье отшельника, на краю обрыва, в глубине этого безбрежного озера душа его искала мысль, надежду, улыбку судьбы.

Видя, что лицо его спокойно и он так долго молчит, Магнус решил, что господь сжалился над ним и открыл наконец этому страждущему сердцу сокровища божественной надежды. Но неожиданно Стенио, остановив его в светлом и чистом сиянии луны, сказал, пронизывая его своим циничным взглядом:

– Расскажи мне, монах, про твою любовь к Лелии, о том, как она сделала из тебя безбожника и ренегата, а потом свела с ума.

– Господи, – вскричал отшельник, растерянный и бледный, – да минует меня чаша сия!

Стенио разразился горьким смехом, снял шляпу и с нарочитой торжественностью сказал:

– Приветствую вас, любезный отшельник. Насколько я вижу, вожделение сопутствует вам всюду; вам нельзя задать даже самого пустячного вопроса: тысячи кинжалов вонзаются вам в сердце. Так не будем больше об этом говорить. А я-то думал, что достойная настоятельница монастыря камальдулов сделалась настолько важной персоной, что больше уже не тревожит ваше воображение. Скажите мне, Магнус, вы видели ее, с тех пор как она там?

И он показал рукой на монастырь, купола которого, посеребренные луной, возвышались над кипарисами кладбища.

Магнус покачал головой.

– А что это вы делаете тут, так близко от вражеского лагеря? – спросил Стенио. – Почему это вы раскинули палатку под его батареями?

– Я уже целый год был здесь, когда узнал, что она приняла постриг, – ответил Магнус.

– И с тех пор вы боретесь с желанием перебраться через овраг и посмотреть сквозь какую-нибудь замочную скважину, хороша ли еще собой аббатиса? Я восхищаюсь вами и вас одобряю. Храните свою иллюзию и свою любовь, отец мой. Может быть, для того, чтобы выздороветь, вам достаточно взглянуть на ту, которую вы так любили. Но в чем бы тогда состояли ваши заслуги, если бы вы вдруг выздоровели? Ладно уж, попадайте на небо, оно ведь создано для дураков. Что до меня, – добавил он голосом, который сразу сделался мрачным и страшным, – то я знаю, что в снах людских нет и доли правды и что как только истина открылась, человеку остается либо терпеливо скучать, либо в отчаянии на что-то решиться. И когда я как-то говорил, что он может найти силу в себе самом, я лгал и другим и себе, ибо тот, кто достиг обладания бесполезною силой, кто упражняет свои способности, сами по себе ничего не стоящие и не ведущие ни к какой цели, – сумасшедший, которого надо остерегаться.

В моих юношеских мечтах, в экстазах моей самой чистой поэзии, беспрестанно витал призрак любви и открывал мне небо. Лелия, моя мечта, моя поэзия, мой Элизиум, мой идеал, что стало с тобой? Куда скрылся твой легкий дух? В каком неуловимом эфире исчезла твоя нематериальная сущность? Дело в том, что глаза мои открылись, и когда я узнал, что ты для меня недосяжима, жизнь предстала мне во всей своей наготе, во всем цинизме, иногда прекрасная, чаще отвратительная, но всегда похожая на самое себя в красоте своей и в ужасе: всегда ограниченная, всегда подчиненная незыблемым законам, которые человеческая фантазия бессильна преодолеть! И по мере того как фантазия истощалась и теряла свое обаяние (фантазия, умеющая представить себе неосуществимое и этим внести поэзию в жизнь человека и на несколько лет привязать его к легкомысленным наслаждениям), по мере того как душа моя уставала искать в объятиях распутных женщин тот экстатический поцелуй, подарить который могла только Лелия, в вине – поэзию и лесть, опьянение, для которого достаточно было одного слова любви, произнесенного Лелией, и только ею одной, я прозрел и узнал, что... Послушайте меня, Магнус, и пусть слова мои пойдут вам на пользу. Я просветился настолько, что узнал, что Лелия такая же женщина, как и всякая другая, что поцелуй ее губ нисколько не слаще поцелуев других губ, что в словах ее не больше веса, чем в словах, других женщин. Теперь я знаю Лелию всю до конца, как будто владел ею, знаю, отчего она была такой красивой, такой чистой, такой божественной; причиной этому был я сам, моя молодость. Но по мере того как увядала моя душа, увядала и Лелия. Теперь я вижу ее такой, какая она есть. Она бледна; губы ее поблекли; в волосах проглядывают те первые ниточки серебра, которые потом заполняют голову сплошь, как разросшаяся на могиле трава; лоб перерезан неизгладимой чертой, которую проводит старость, сначала легкой и снисходительной рукой, потом ногтем жестоким и резким. Бедная Лелия, до чего же вы изменились! Когда вы являетесь мне во сне в ваших прежних бриллиантах, в драгоценных уборах, которые вы когда-то носили, я не могу удержаться от горького смеха и от слов: «Ваше счастье, что вы аббатиса, Лелия, и что вы очень добродетельны; ибо, честное слово, вы уже потеряли свою красоту, и если бы вы меня пригласили сегодня на небесное празднество в честь вашей любви, я бы предпочел вам юную танцовщицу Торквату или куртизанку Эльвиру».

Но в конце-то концов Торквата, Эльвира, Пульхерия, Лелия, кто вы все, чтобы опьянить меня, чтоб привязывать меня к железному ярму, от которого у меня на лбу кровь, чтобы вздевать

на виселицу, переломав руки и ноги? Толпа женщин, белокурых, черноволосых, с ногами цвета слоновой кости, со смуглыми плечами, стыдливые скромницы, смешливые потаскухи, вздыхающие девственницы, меднолобые Мессалины, все вы, которые были моими и о которых я только мечтал, чего ради вам приходится сейчас в мою жизнь? Какую тайну можете вы открыть мне? Дадите вы мне крылья ночи, чтобы я мог облететь вселенную? Расскажите тайны вечности? Заставите все звезды сойти с неба, чтобы меня увенчать? Заставите распуститься для меня хотя бы один цветок нежнее и прекраснее тех, которыми усеяна земля, где живут люди? Бесстыдные обманщицы! Что же особенного в ваших ласках, чтобы ценить их так высоко? Тайны каких небесных радостей в ваших руках, чтобы желания наши так могли вас украсить? Иллюзия и мечта, так это вы истинные царицы мира! Когда светильник ваш гаснет, мир необитаем.

Бедный Магнус! Перестань грызть себя, перестань бить себя в грудь, чтобы загнать внутрь нескромные порывы твоих желаний! Перестань заглушать твои вздохи и кусать одеяло, когда Лелия является в твоих снах! Полно, ведь это ты сам, бедняга, делаешь ее такой красивой и такой обольстительной; священное пламя озарило недостойный алтарь – женщина эта смеется в душе над твоими страданиями. Ибо она отлично знает, что ей нечем ответить на такую любовь. Она ловчее других, она окутывает себя туманом. Она не дается тебе в руки, хочет стать для тебя божеством. Но разве она стала бы кутаться так, если бы тело ее было красивее, чем тело продажных женщин? Неужели душа ее стала бы прятаться от излияний любви, если бы она была действительно более нежной и величественной, чем наша!

О женщина! Ты только ложь! Мужчина, ты только тщеславие! Философия, ты не более чем софизм; благочестие, ты всего-навсего трусость!

62. ДОН ЖУАН

В эти годы, развеявшие, подобно осенним листьям, людей, когда-то близких друг другу, Стенио покинул благодатные, солнечные берега – то ли потому, что ему просто наскучила его прежняя жизнь, то ли потому, что его подозревали в участии в заговоре и ему приходилось скрываться. Он отправился в наши холодные страны, чтобы познакомиться с чудесными открытиями, сделанными там, с изощренными наслаждениями и, может быть, также с гордыми софизмами наших философов. Стенио был богат. Роскошь, веселье, развлечения, игра, разврат – все средства прожигания жизни были ему доступны. Но больше всего его пленяло то, что он нашел уже сложившиеся устои жизни под стать своему эгоизму и людей, в силу самих привычек своих и вкусов ставших такими, каким его сделали слабость и отчаяние. Его восхитило возведение в принцип и систематическое разумное применение на практике того, что до сих пор ему приходилось делать с вызовом и ожесточением. Он услышал, как профессора с позиций своей философии оправдывают все капризы, все дурные желания, все злые причуды тем, что человек в поступках своих руководствуется одним только разумом, а разум есть не что иное, как инстинкт. Он узнал у нас все чудеса психологии, все тонкости эклектизма, всю науку и всю мораль века, узнал, что мы должны внимательно изучить самих себя, не заботясь друг о друге, и что каждый должен делать только то, что ему нравится, при условии, что будет это делать очень умно. Итак, Стенио уже оставил свои безрассудства: он сделался остроумным, элегантным и равнодушным. Он стал посещать салоны и таверны, неся в таверны изысканные манеры именитого дворянина, а в салоны – наглость распутника. Публичные девки находили его очень милым, светские дамы считали оригиналом. Стенио фанатически следовал моде: он испещрял стихами альбомы и каждый вечер вдохновенно пел перед тремьями зрителей, после чего вел споры о страсти и о гениальности, о науке, о религии, о политике, об искусстве, о магнетизме. А в полночь он шел ужинать с проститутками.

Разорившись, он опять заболел: это был сплин; от его блестящего ума не осталось и следа, и он стал поговаривать, что надо пустить себе пулю в лоб. Один известный в стране государственный деятель вообразил, что разгадал причину его хандры, и предложил ему денег за стихи. Обида эта вернула Стенио присутствие духа. Он уехал, глубоко оскорбленный, и вернулся к себе на родину, снедаемый печалью и привезя с собой, в качестве итога своих путешествий, великую

истину, что люди богатые презирают того, у кого нет денег, и что человек должен скрывать свою бедность как позор, если не хочет выходить из нее низкими путями. Он нашел, что в его провинции за это время произошли немалые перемены. Кардинал Аннибал и аббатиса камальдулов произвели целую революцию в нравах и привычках людей. Прелат привлекал своими проповедями толпу, но избранному обществу, состоявшему из представителей высших классов, больше всего нравилось слушать его в монастыре камальдулов. В этой привилегированной обители и среди избранной публики его красноречие, казалось, превзошло самое себя. То ли присутствие аббатисы за занавесью на хорах, то ли особое доверие, которое ему внушала аудитория, более привлекательная и менее многочисленная, чем в базиликах, но кардинал чувствовал, что на него снисходит настоящее вдохновение, и умел с большой изобретательностью облечь в мистические формы едкий и проникновенный смысл своего просвещенного либерализма. Со своей стороны, аббатиса завела в стенах обители теологические чтения, куда допускались родственницы и подруги юных воспитанниц монастыря. Эти чтения посещались очень охотно и имели не меньше влияния, чем проповеди кардинала. Лелия была первой женщиной, в ясных и изящных выражениях заговорившей о вещах отвлеченных, и перед ее слушательницами открылся совершенно новый для них мир. Лелия умела убедить их в своей правоте, не задевая их предрассудков и не зарождая сомнения в их благочестивых душах. Она знала, в каких положениях христианской морали искать опоры, чтобы проповедовать дорогие ее сердцу взгляды – чистоту мыслей, возвышенность чувств, презрение к тщеславию, такому губительному для женщины, стремление к бесконечной любви, так мало им известной и такой для них непонятной. Незаметным образом она завладевала их душами, и католическая вера, которая до этого сводилась для них только к обрядам, начала пускать глубокие корни в их убеждениях. Надо признать также, что мода способствовала успеху этого предприятия; это было время заката католической веры. Великие умы, жаждавшие идеала, посвятили себя тому, чтобы ее возродить; на самом деле они только ускорили падение церкви, ибо церковь их предала, оттолкнула и осталась одна в своем ослеплении, окруженная равнодушием народов.

Когда Стенио вошел в будуар Пульхерии, он увидел, что комната превращена в молельню. На том месте, где была статуя Леды, стояла теперь статуя кающейся Магдалины. Великолепное жемужное ожерелье превратилось в четки, увенчанные бриллиантовым крестом. На месте дивана стояла скамеечка, а изящный кубок работы Бенвенуто Челлини, вделанный в раковину из ялпис-лазури, был превращен в кропильницу.

Стенио не успел еще оглядеться, как Цинцолина вернулась с проповеди. Она вошла, одетая в черный бархат; голова ее была укутана покрывалом. В руках у нее была книга в шагреновом переплете, с серебряными застежками, на шее висел большой золотой крест. Стенио покатился со смеху.

– Что это за маскарад? – вскричал он. – С каких это пор мы стали молиться богу? Говорят, что дьявол становится отшельником, когда... только да хранит меня господь от того, чтобы применить к вам эту обидную пословицу, о моя высокочтимая римская матрона! Вы еще красивы, хотя вы и раздобрели и в ваших золотистых волосах появились отсветы серебра...

Было время, когда Пульхерия в расцвете молодости, уверенная в своих победах, только посмеялась бы, слушая саркастические речи Стенио; но, как Стенио верно заметил, красота ее близились к закату, и горькие остроты молодого поэта ее только раздражали. Душа Пульхерии была еще более измята чем лицо; благочестивым порывам было бы трудно омолодить сердце, изнуренное множеством неисправимых пороков и эфемерных желаний. Она ходила в церковь для того, чтобы следовать моде, и для того, чтобы объяснить людям, почему она перестала пользоваться успехом, но так, чтобы ее тщеславие при этом не пострадало. Она пыталась доказать, что искренне набожна; но у нее это так плохо получалось и Стенио так жестоко ее высмеял, что после его слов она почувствовала себя побежденной и принялась плакать.

Когда слезы ее перестали развлекать Стенио, то, для того чтобы не тратить сил на утешение, он стал ее поучать и в назидание повторил общеизвестные истины, успевшие в северных странах все уже надоесть, полагая, что на юге они могут быть восприняты как откровение. Он позволил ей исповедовать католицизм, не слишком деликатно, однако, дав понять, что религия

создана для людей ограниченных, что народ нуждается в ней и что поэтому не худо ее поощрять. Потом он стал говорить, что Пульхерия подает хороший пример своей горничной и что к тому же люди всегда привыкли сообразоваться с веянием времени. Заканчивая свои разглагольствования, он сказал, что поведение ее, хоть вообще-то оно и выглядит вполне пристойным, в узком кругу будет сочтено проявлением самого дурного тона, и призвал ее молиться богу по утрам, а вечера свои посвящать галантным забавам.

Выслушав его речь, Цинцолина захотела отплатить ему тем же и стала высмеивать его, особенно когда узнала, что он разорился. После этого она сделалась великодушной и предложила ему свой стол и карету, и, разумеется, от чистого сердца, ибо Цинцолина была щедра, как и все ей подобные; но тот покровительственный тон, каким она стала говорить со Стенио, окончательно сразил поэта. Влиятельное лицо хотело купить плоды его вдохновения; проститутка обещала ему дары своих любовников. Разъяренный, он вскочил и ушел от нее, чтобы больше не возвращаться.

Когда он увидел, что религиозное рвение распространилось повсюду, и узнал, каким огромным влиянием стала пользоваться аббатиса камальдулов, ироническое настроение его достигло своего апогея. Чувство горькой обиды, с которым он всегда думал о Лелии, пробудилось с новой силой при мысли, что она счастлива и облечена властью. Ведь страдая от того, что он называл ее мезьей, он находил утешение в сознании, что ей это дорого обойдется, что скука отравит ей жизнь, что общество монахинь ей будет тягостно и что с ее непреклонным характером она неминуемо учинит какой-нибудь скандал и будет вынуждена покинуть обитель. Когда же он увидел, что обманулся в своих ожиданиях, ему стало казаться, что ее успех его унижает, и он впал в еще более глубокое уныние. Взгляд его на собственную жизнь до крайности сузился, и он готов был завидовать всем, кто не был, подобно ему, изможден и повержен во прах. Он завидовал даже высоким званиям и богатству других. Он начал испытывать какую-то безотчетную ненависть к кардиналу и самым оскорбительным образом ставил под вопрос чистоту отношений его с аббатисой. Он утратил ту деликатную терпимость скептика, которой его научила цивилизация, и, переняв от покинутой им партии именно то, что во взглядах ее было ошибочного и узкого, резко высказывался против благочестия и обвинял в иезуитизме не только людей, интриговавших против государства, но и всех тех, кто стремился достичь прогресса путем религии. Как поэт, он раньше вел себя достойно, отвергая низменные соблазны корысти; теперь он потерял это достоинство, заставляя себя слагать полные желчи сатиры и пышущие ненавистью памфлеты. Таким образом, вместо того чтобы протянуть руку людям искренним и благородным, мечтавшим о свободе и служившим ее делу как только могли, современная Стенио молодежь, считая, что спасает свободу, обвинила в коварстве и грубо оттолкнула тех, кто, безусловно, помог бы торжеству истины, если бы только просвещение и справедливость могли одержать верх над человеческими распрями.

Однажды Стенио вздумалось переодеться в женское платье и пробраться в монастырь, чтобы присутствовать на одной из бесед аббатисы камальдулов. Он стоял слишком далеко от нее, чтобы видеть ее черты, но хорошо слышал ее речи.

Вынужденная соблюдать обычаи католицизма, Лелия облекла это религиозное собеседование в наивную форму спора, где поборник дурного дела выставляет свои положения, которые защитник истины каждый раз блистательно разбивает. Первое время роль зачинщика спора исполняла молодая девушка, робко высказывавшая свои сомнения, или монахиня, делавшая вид, что сожалеет о мирских радостях. Но мало-помалу присутствовавшие на этих собеседованиях несколько женщин из числа более развитых стали просить аббатису разрешить им вступить с нею в открытый спор, дабы высказать ей свои сомнения или излить свои горести. И пусть уж она наставит их и утешит. Она согласилась исполнить это желание и, отвечая на их неожиданные вопросы, замысловатые и каверзные, все очень разумно им разъясняла и поучала так проникновенно, что сердца ее собеседниц наполнялись умилением и восторгом.

Стенио, слышавший это плавное чередование благородных и благочестивых речей, восхищенный искусством, с каким Лелия вела спор, и вместе с тем несколько раздраженный тем, что она так легко одерживала победы над аргументами, казавшимися ему легковесными и слабыми,

решил попросить, чтобы и ему дали слово. Он уже давно не показывался в этих краях; вида его никто здесь не помнил; к тому же переоделся он очень искусно, красота его сохранила в себе что-то женственное, а голос был нежен, как у ребенка. Никому не могло прийти в голову, что это переодетый мужчина, и в первую минуту Лелия сама поддалась обману.

– О мать моя, – сказал он голосом сладостным и грустным, – вы все время советуете мне быть благоразумной! Вы велите мне в выборе супруга руководствоваться не блеском ума и не красотой тела, а добротой сердца и прямотою. Я понимаю, что, соблюдая эти предосторожности, я смогу избежать обмана и уберегу себя от страданий; но разве истинная христианка непременно должна в этой жизни бежать от страданий и, эгоистически отчуждаясь от всех, думать только о том, чтобы сохранить собственное спокойствие? Я полагала, что, напротив, первая наша обязанность самоотвержение и что если небо наделило неотразимым могуществом молодость и красоту, то оно хотело открыть людям некий идеал и заставить его полюбить. Этими дарами, которые вы, сударыня, разумеется считаете пагубными – вы ведь ими владели и вы их похоронили под власницей, – люди были наделены отнюдь не без пользы; всемогущий не вкладывал ничего бесполезного, а тем более вредного, в существо, которому дарована жизнь и которое не имеет права от нее отказаться. Я вот думаю, что поелику мы созданы, чтобы внушить кому-то любовь, мы должны повиноваться предначертаниям неба, открывая душу нашу любви, любви великодушной, верной и исполненной самоотречения. Милосердие – самый прекрасный из атрибутов божества. Отчего же вы закрываете сердца наши милосердию, предписывая нам любить только тех, кто не нуждается в нашей любви и никогда не даст нам повод проявить это чувство? Велика ли заслуга стать женою праведника? Праведник обеспечит мне спокойную жизнь в этом мире; но в каком отношении он сделает меня достойной лучшего мира? И когда, представ перед судом всевышнего, я не принесу ему сокровища моих слез, чтобы смыть ими мои грехи, не ответит ли он мне так, как Иисус ответил надменным фарисеям: «Разве вы уже не получили свою награду?».

Послушайте, госпожа аббатиса: людям мудрым и сильным женская нежность ни на что не нужна. Господь предназначил ее, чтобы укреплять и облегчать ея сердца грешников, заблудших и слабых. Вы, значит, не хотите, чтобы эти несчастные, чьи грехи Христос искупил своей кровью, вновь обрели добродетель и счастье? Разве не ради них он принес себя в жертву, и разве мы не должны почтить сострадание и милосердие Христовы примером, которому мы должны подражать, стараясь применить самые высокие наши способности?

О мать моя, вместо того чтобы ненавидеть злых, надо было бы подумать о том, как их исправить. И так как сами они ничего не могут сделать друг для друга, ибо общение с падшими женщинами, во власть которых вы их отдаете, может только еще больше развратить их и погубить, господь, может быть, велит нам спуститься до них, чтобы тотчас же возвысить их до него. Разумеется, нам придется страдать от порывов их страстей, от их неверности, от всех недостатков и пороков, в которые их повергла дурная жизнь; но мы вытерпим все это зло во имя как их спасения, так и нашего собственного, ибо в Писании сказано, что один раскаявшийся грешник – большая радость для небес, нежели сто праведников.

Позвольте мне, госпожа аббатиса, рассказать вам сейчас одну легенду, которую вы, конечно, знаете, ибо она создалась в вашей стране и поэты перевели ее на все языки. Жил некогда распутный человек, которого звали Дон Жуан... Пусть невинные не смущаются, услышав это имя, в рассказе моем речь будет идти только о вещах возвышенных. Человек этот совершил немало преступлений, на его совести множество жертв. Он похитил невинную девушку, а потом убил оскорбленного отца несчастной; он бросал самых красивых и самых невинных женщин; говорят, он даже соблазнил и бросил монахиню... Господь осудил его и позволил духам тьмы завладеть им; но у Дон Жуана был на небе защитник – его ангел-хранитель. Этот прекрасный ангел пал ниц перед троном всевышнего и попросил его позволить переменить свою высшую божественную сущность на смиренную и страдальческую участь женщины. Господь разрешил ему эту перемену. И знаете, сестры мои, что сделал ангел, когда его превратили в женщину? Он полюбил Дон Жуана и заставил его полюбить себя, дабы очистить его и направить на путь истинный.

Стению умолк. Речь его повергла всех в большое смущение. Как мирские девушки, так и

большая часть монахинь слышали эту легенду впервые. Многие с явным любопытством взирали на незнакомку. Голос ее взволновал их, а ее огненные глаза невольно притягивали к себе их взгляды. Иные в испуге обернулись к аббатисе и с нетерпением ждали ее ответа.

Первые минуты Лелия растерялась от дерзкой выходки Стенио и уже думала, не изгнать ли его сразу из святой обители. Но потом она решила, что поднимется шум и это произведет на все еще худшее впечатление, чем только что произнесенная речь, и почла за благо ему ответить.

– Сестры мои, – сказала она, – и вы, дети мои, вы не знаете конца этой легенды; сейчас я вам его расскажу. Дон Жуан полюбил ангела, но на путь истинный он не обратился. Он убил своего родного брата и снова принялся за прежние злодеяния. По натуре он был человеком коварным и трусливым, и стоило ему напиться пьяным, как он начинал трепетать перед адом. А наутро снова богохульствовал, осквернял алтарь всевышнего и попирали ногами прекраснейшие его творения. Превратившись в женщину, ангел потерял разум, позабыл о своей небесной отчизне, о своей божественной сущности, о надежде на бессмертие. Дон Жуан умер без покаяния, мучимый демонами – угрызениями совести, запоздалыми и бессильными. На небе стало одним ангелом меньше, а в аду – одним дьяволом больше.

Знай же, дети мои, что в те времена – времена необыкновенных приступов отчаяния и необъяснимых причуд – Дон Жуан сделался неким символом, героем, почти что божеством. Женщинам нравятся мужчины, похожие на Дон Жуана. Женщины воображают, что они ангелы и что небо возложило на них миссию – спасти всех этих Дон Жуанов и наделило их силою осуществить это свое назначение. Но, подобно ангелу легенды, они не обращают его на путь истинный, а сами погибают вместе с ними. Что же касается мужчин, то знайте, что нелепая мысль окружить ореолом величия и поэзии олицетворение порока – один из самых пагубных софизмов, когда-либо ими созданных. О Дон Жуан, отвратительный призрак, сколько душ ты погубил безвозвратно! Это их глупое восхищение тобою растлило столько юных жизней и низвергло столько женщин в бездонную пропасть! Идя по твоим следам, они надеялись подняться над средним уровнем людей.

Будь же проклят, Дон Жуан! Люди находили в тебе величие там, где на самом деле было только безумие. Прах от ног твоих все равно что пепел, развеянный ветром. Путь, которым ты шел, ведет только к отчаянию и к гибели.

Наглый хвастун, кто дал тебе бессмысленные права, которыми ты пользуешься всю жизнь? Когда и где господь сказал тебе: «Вот земля, она твоя: ты будешь господином и царем над всеми семьями; стоит тебе выбрать любую женщину, и она разделит с тобою ложе. Любые глаза, которых ты удостоишь своей улыбкой, станут в слезах молить тебя о великой милости. Самые священные узы порвутся, как только ты скажешь: „Хочу“. Если отец откажется отдать тебе дочь, ты вонзишь свою шпагу в его удрученное сердце и осквернишь его седины кровью и грязью. Если разъяренный муж с оружием в руках будет отстаивать отбитую у него жену, ты только посмеешься над его гневом и не отступишься от своей цели. Ты будешь спокойно его ждать, не торопясь нанести удар, который должен его поразить. Ангел, которого я пошлю к тебе, затмит его взгляд и поведет его навстречу смертоубийственному железу».

Выходит, что господь управлял миром ради твоих утех? Он повелевал солнцу встать, чтобы осветить деревни и таверны, монастыри и дворцы, где ты давал волю загоревшемуся в тебе желанию; а когда наступала ночь, когда твое неумное тщеславие насыщалось вздохами и слезами, он зажигал на небе тихие звезды, чтобы помочь тебе скрыться и указывать, к каким новым похождениям тебе лучше всего направить твои стопы.

Учиненная тобою подлость считалась честью, достойной зависти. Клеймо твоего позора сделалось печатью славы, великолепной, неизгладимой, и печать эта отмечала путь твой, как повергнутые молнией дубы отмечают путь огненных туч. Ты не признавал ни за кем права сказать: «Дон Жуан подлец, ибо он пользуется чужою слабостью; он обманывает беззащитных женщин». Нет, ты не отступал перед опасностью. Если кто-нибудь решал отомстить тебе за жертвы твоего распутства, ты готов был уложить его на месте и не боялся споткнуться, задев ногой окоченевшее тело.

День без обещаний и без обмана, ночь без прелюбодеяния и без дуэли казалась тебе

несмываемым позором. Ты шел с высоко поднятой головой, и глаза твои дерзко искали добычу, на которую надлежит кинуться. Начиная от робкой девушки, которая дрожала, заслышав твои шаги, и кончая бесстыдною куртизанкой, которая бросила тень на доблесть твою и честь, ты не хотел поступиться ни одним наслаждением души или чувств; ты мог уснуть и на мраморных плитах храма и на зловонной соломе конюшни.

Чего же ты хотел, Дон Жуан? Чего ты добивался от этих несчастных женщин? Разве в их объятиях ты искал счастья? Разве, устав от всех своих бурных скитаний, ты действительно стремился к передышке? Ужели ты думал, что, для того чтобы обуздать твое непостоянство в любви, господь пошлет тебе наконец женщину, которая окажется выше всех тех, которых ты обманул? Но почему же ты их обманывал? Или, расставаясь с ними, ты ощущал раздражение и разочарование от потерянной иллюзии? Или их любовь была ниже твоих тщеславных мечтаний? Может быть, одержимый своей одинокой чудовищной гордостью, ты подумал: «Они должны мне дать безграничное счастье, какого я им дать не могу; их вздохи и стоны – пленительная музыка для моего слуха; их муки и страх перед моими первыми объятиями – усада для моих взоров; это покорные и преданные рабыни, и мне нравится смотреть, как они стараются напустить на себя притворную радость, чтобы не омрачить мое наслаждение. Я не позволяю им тешить себя даже самой далекой надеждой, я не позволю им рассчитывать, что за их самопожертвование заплатят верностью?»

Не дрожал ли ты от гнева всякий раз, когда угадывал на дне их души непостоянство, которое делало их равными тебе и, может быть, даже тебя опережало? Чувствовал ли ты себя пристыженным и посрамленным, когда клятвы их угрожали тебе упорной и пылкой любовью, которая могла заковать в цепи себялюбие твое и твою славу? Читал ли ты где-нибудь в велениях господних, что женщина создана для наслаждения мужчины и не способна противиться ему и ему изменить? Неужели ты думал, что эта высшая степень отречения существует и должна обеспечить тебе непрерывное обновление твоих радостей? Неужели ты думал, что может настать такой день, когда с губ твоей жертвы сорвется нечестивое обещание и она воскликнет: «Люблю тебя, потому что страдаю; люблю тебя, потому что ты вкушаешь неразделенное наслаждение; люблю тебя, потому что чувствую по твоей слабеющей страстности, по объятиям, которые постепенно отпускают меня, что скоро ты пресытишься мной и меня позабудешь. Я привязываюсь к тебе, оттого что ты отталкиваешь меня; я буду вспоминать о тебе, оттого что ты хочешь вычеркнуть меня из памяти. Я воздвигну тебе в сердце моем нерушимый алтарь, оттого что ты впишешь мое имя в архивы твоего презрения?»

Если ты хотя бы один миг лелеял в себе эту нелепую надежду, ты был безумцем, о Дон Жуан! Если ты хотя бы один миг думал, что женщина может дать мужчине, которого любит, нечто иное, кроме своей красоты, любви и доверия, ты был просто глупцом; если ты полагал, что она не вознегодует, когда рука твоя швырнет ее прочь, как негодную одежду, ты был слеп. Да, ты был всего-навсего бессердечным распутником с душою бесстыжего светского льстеца в теле мужлана.

О, как плохо тебя поняли те, кто считал твою судьбу воплощением славной и упорной борьбы с действительностью! Если бы они сами повторили на себе твой опыт, они бы не восхваляли тебя так: они бы во всеуслышание признались в ничтожестве твоих побуждений, в скудости твоих чаяний; если бы они, как ты, грудью сражались с нечестием и развратом, как бы хорошо они знали, чего недоставало тебе, который никогда не знал любви и который, вместо того чтобы взлететь со своим добрым ангелом на небеса, низверг его вслед за собою в ад!

Вот почему, Дон Жуан, смерть твоя страшит их и приводит в оцепенение, и они преклоняют перед тобою колена. Взгляды их не проникают за пределы твоего горизонта; да, они счастливы, как и ты, но при этом они скрежещут зубами. Измождение и страдание, которыми отмечены твои последние дни, жестокий поединок твоего заблудившего разума с холодеющей кровью, корчи и хрипенье твоих бессонных ночей – все это наполняет их ужасом и кажется каким-то зловещим пророчеством.

В ослеплении своем они не знают, что жалобы твои были богохульством и что смерть для тебя всего лишь справедливое наказание. Они не знают, что господь карает в тебе эгоизм и тщеславие.

славию, что он послал тебе отчаяние, чтобы отметить за жертвы, голоса которых взывали к нему, обвиняя тебя.

Но ты не вправе жаловаться; поразившее тебя наказание всего лишь возмездие. Ты не был прозорлив, Дон Жуан, если ты не предвидел роковой развязки всех сыгранных тобою трагедий. Ты плохо изучал жизни людей, с которых брал пример и чей опыт хотел возродить. Ты, оказываясь, не знал, что преступление, когда оно гонится за величием и за властью над миром, должно жить, постоянно памятуя о наказании, которое его ожидает, ибо каждым днем своим оно его заслужило? Тогда еще, пожалуй, оно сможет хвастать своею храбростью, ибо знает какой конец ему уготован. Но ты ведь думал, что избежишь небесного отмщения, Дон Жуан, значит ты был трусом?

О сестры мои, о дети мои, вот что такое Дон Жуан. Любите его теперь, если можете. Пусть воображение ваше воодушевляется мыслью отдать сокровища вашей души отравленному дыханию нечестивца. Пусть романы, поэмы, драмы покажут вам торжествующее распутство презревшего вас грубияна. Опуститесь перед ним на колени, откажитесь ради него от всех даров неба, раскидайте их на дороге, которую от обогривит кровью и польет грязью! Да, склоните перед ним головы, покиньте лоно господне, юные ангелы, живущие в боге. Станьте жертвами, станьте рабынями, станьте женщинами!

Или нет, лучше не давайте себя заманить в плохо скрытую западню, которую расставляет вам порок. Чтобы наилучшим способом расположить вас к себе он прикинется приятным, он избрет особую тактику: он захочет заинтересовать вас собою. Он скажет вам, что страдает, что вздыхает по небу, которое его отвергло, что он дожидается только вас, чтобы вернуться туда, но он уже расточал эту подлую ложь и эти коварные обещания женщинам столь же чистым, как вы, и когда он так же надругается над вами и так же разобьет вашу жизнь, он бросит и вас, как их, и спокойно занесет ваши имена в список своих развратных деяний.

Правда, есть случаи, по счастью, весьма редкие, когда прощение и терпеливость женщины направляются на осуществление воли божьей и обращают таких людей на путь истинный. Когда в нашей жизни происходит нечто подобное, не зависящее от нашей воли и неожиданное, надо принять это испытание. Есть страдания, которые нам посылает господь; пусть же преданность, кротость и самоотречение станут средствами защиты для женщины, которую провидение заставляет страдать, послав ей такого мужа. Но у этой преданности должны быть свои пределы, ибо нет ничего хуже, чем забывать, что всякий порок ненавистен, и любить его. Если, как привыкли говорить мужчины, женщина – существо слабое, невежественное и легковверное, то кто им дал тогда право призывать нас, чтобы их обращать? Мы, разумеется, не можем этого сделать, а они, будучи выше нас, будучи нашими господами, могут, оказывается, развращать нас и губить наши души? Видите, сколько лицемерия и сколько нелепости в их рассуждениях.

Если есть страдания, идущие от бога, поверьте мне, есть и гораздо больше других, которые происходят от нас самих и на которые мы сами безрассудством своим себя обрекаем. Хотеть любви человека дурного, искать свой идеал в общении с пороком!.. Можно ли это допустить, можно ли этому поверить? Зло настолько заразительно, что ангелы, и те поддаются под его власть. Какой безрассудной и самоуверенной надо быть, чтобы избрать себе подобную участь! Ах, если кому-нибудь из вас выпадет в жизни подобное испытание, пусть она хорошо проверит себя, и она увидит, что за ее прозелитизмом скрывается тщеславие. Сколько красоты в том, чтобы обратиться к Дон Жуану! Сколько славы в том, чтобы восторжествовать там, где столько других потерпели неудачу! Ну что же, вы красивы, вы неотразимы, вы исключительное существо; может быть, вы оставите заметный след в жизни Дон Жуана. Он никогда не любил одну и ту же женщину больше одного дня; может быть, вам он будет верен два дня подряд. Это будет великой победой; люди станут о ней говорить. Но что будет с вами на третий день? Осмелитесь ли вы предстать перед господом и просить его вернуть вам покой, который у вас был и которым вы поступились ради чести стать избранницей Дон Жуана? Вы обещали богу возвратить ему эту заблудшую душу, а возвращаетесь одна, приниженная и оскверненная. Душа ваша потеряла свою чистоту, красота – силу, молодость – надежду. Дон Жуан обдал вас своим дыханием. Кайтесь; надо много молиться, много плакать, прежде чем вы смоете это пятно и рана ваша перестанет

кровоточить. Но что это! Примирение с господом вас пугает. Вы боитесь угрызений совести, ужаса одиночества! Вы кидаетесь в суету! Вы надеетесь опьянить себя и забыть свое горе. Но свет смеется над вами и вас презирает. Свет жесток, безжалостен. Ваши слезы, которые умили-стивили бы господа, для него были бы только поводом к смеху. Тогда вам приходится противиться наглости света и спасать ваше ущемленное тщеславие какими-то новыми победами. Вам нужна чья-то любовь, вам нельзя оставаться одинокой и покинутой. Вы не можете допустить, чтобы другие женщины вас жалели. Вы непременно должны добиться внимания Дон Жуана. Вернитесь к нему; ваше упорство преисполнит его гордостью, и еще один день вам будет казаться, что вы на вершине счастья и славы. Но с Дон Жуаном всегда наступает неумолимый завтрашний день. Он словно во власти какого-то колдовства: скука преследует его всюду и отовсюду гонит. Она вырвет его и из ваших объятий, как и из объятий всех других женщин. Следуйте за ним, если смеете!

Или нет, дайте волю гневу, мести. Забудьте Дон Жуана, докажите ему, что вы такая же сильная, такая же легкомысленная, как он, ищите того, кто мог бы загладить вашу обиду, утешить вас в вашем горе. Явится другой Дон Жуан – в наше время их ведь немало. Он будет красивее, элегантнее, бесстыднее первого. Этот не стал бы вас даже искать, пока вы были чисты. Он любит только неприкрытый порок и когда узнает, что над вами надругались, увидит, что нашел как раз то, что искал. Он будет преследовать вас, он без труда убедит вас, ибо знает, что толкает вас к нему отнюдь не потребность в любви, а досада и раздражение. Он слишком опытен, чтобы поверить в любовь, которой у вас к нему нет и которой нет и у него к вам, он не боится обманывать вас самой вздорной ложью. С первым у вас было два или три дня ласки, со вторым не будет ни одного.

Я кончаю: довольно рисовать вам омерзительную картину заблуждения и отчаяния. Отвратите от нее ваши взоры, о мои кроткие и целомудренные подруги! Возведите их к небу и посмотрите, не скучают ли там ангелы в обществе всевышнего! Посмотрите, верна ли легенда и действительно ли блаженные отказываются от несказанных радостей ради общества людей развращенных!

Прелестная Клавдия плакала...

Стенио не слышал окончания речи аббатисы. Как всегда, она склонила всех на свою сторону, и слава Дон Жуана померкла. Когда поэт заметил, что, несмотря на внимание, с каким все слушали аббатису, время от времени нерешительные и любопытные взгляды останавливаются на нем, он испугался, что его могут узнать, если он будет выходить вместе с толпой. И он скрылся незаметно и бесшумно и вернулся к себе, чтобы переодеться.

В голове его роилось множество проектов мести, один сумасброднее другого.

63

Перебирая в мыслях разные планы действий, Стенио вышел, так и не приняв никакого определенного решения. Он снова переоделся в мужское платье, и туалет его был очень изыскан. Он долго ходил, а потом снова задумался над тем, что же ему все-таки делать. Он оказался возле монастыря камальдулов. Инстинкт и судьба привели его туда незаметно для него самого.

Когда-то Стенио удавалось уже пробраться в эту обитель. В течение двух ночей бродил он тогда по террасам, по крытым галереям, обходил вокруг келий. Он без труда отыскал келью Клавдии и, карабкаясь по веткам жасмина возле ее окна, уже подумывал о том, чтобы выдавить стекло и туда влезть.

Стенио во что бы то ни стало хотелось оскорбить гордость Лелии. Не будучи в состоянии сломить ее, он хотел по крайней мере ее помучить и только спрашивал себя, с кого начать свою первую попытку? Может быть, с Клавдии, этой девочки, которая когда-то так внимательно его слушала? Она превратилась теперь в высокую и красивую девушку, полную достоинства, ума и самого искреннего благочестия. Наставляя ее, аббатиса превзошла самое себя, так как ни одна душа не была так близка к падению и ни одной не приходилось делать таких усилий, чтобы открыться для мудрости и прямоты. Клавдия понимала, сколько зла причинили ей неправильным

воспитанием, и, борясь с дурными влияниями прошлого, она была в таком страхе перед будущим, что каприз ее превратился в непоколебимое решение. Она пошла в монастырь и стала послушницей.

Сколько славы бы стяжал Стенио и как была бы унижена Лелия, если бы ему удалось вырвать у нее эту добычу – эту новообращенную! Как бы он мог хвастать своей победой над Клавдией, ведь он встретил ее презрением у куртизанки, куда она пришла за ним, а потом не явился на свидание, которое ей назначил; и вот теперь он заставит ее отказаться от принятых ею серьезных решений, доставшихся молодой девушке ценою долгих раздумий! Может быть, в эту минуту гордая аббатиса рассказывает старым монахиням, что узнала в явившейся на собеседование незнакомке светского хлыща, которого она ответом своим высмеяла и посрамила! Может быть, завтра же болтливые монахини разнесут по всему городу весть о том, какую блестящую победу Лелия красноречием своим одержала над Стенио. Нужно какое-то скандальное происшествие, чтобы смеяться стали не над ним, а над ней. Но кого же он будет соблазнять, Клавдию или самое Лелию?

Повиснув на решетке, он различил при слабом свете лампы, зажженной перед статуей божьей матери, белую фигуру, небрежно раскинувшуюся на невысоком и узком ложе. Это была красавица Клавдия; она спала в своей кровати, имевшей форму гроба. Сон ее был не очень спокоен. Время от времени глубокий вздох, смутное воспоминание о горе, страхе и раскаянье, вырывался у нее из груди. Лента у нее на голове развязалась, и ее длинные черные волосы, которых ей, как и Лелии, скоро предстояло лишиться, упали на ее белую, как алебастр, руку, обнажившуюся из-под широкого рукава.

С тех пор как Стенио ее видел, красота этой девушки так развилась, в очертаниях ее тела было столько изящества, весь облик ее был исполнен такого сладостного томления, хоть и слабо, но все же еще сопротивлявшегося торжествующему целомудрию, что смущенный Стенио забыл о своих хитрых намерениях и мечтал только овладеть ею ради нее самой. Но вздохи, которые время от времени вырывались из груди Клавдии, словно лившаяся в небо таинственная мелодия, вселяли в распутника инстинктивный страх. Ему приходили также на память проклятия, которые Лелия посылала Дон Жуану, – теперь они больше уже не казались ему личными выпадами против него самого. «В конце концов, – подумал он, взирая на девственный сон Клавдии, – эта проповедь не может относиться ко мне. Я не какой-нибудь развратник: я вольнодумец, но никак не обманщик и не подлец. Я живу с распутными женщинами и не очень высокого мнения о добродетели всех остальных; но я не стремлюсь в этом удостовериться, ибо в воспоминании о первом обмане, которому я поддался, есть нечто такое, что вселяет в меня недоверие к себе самому. Может быть, правда, у меня и манеры и развязность Ловласа, но у меня нет его высокомерной самоуверенности. Я не обманул и не соблазнил ни одной женщины, даже той, которая пришла за мною в притон; теперь она спит здесь, закутавшись в покрывало послушницы, и я не решусь потревожить ни одной его складки. Что у меня общего с Дон Жуаном? У меня, правда, возникало желание ему подражать, но я тут же почувствовал, что это не в моих силах. Не знаю, лучше я или хуже, чем он, но, во всяком случае, я на него непохож. Я не так здоров, не так жизнерадостен, как он, не так бесстыден, чтобы затрачивать столько сил, зная, что есть гораздо более легкие пути к наслаждениям. Если Лелия воображает, что задела меня за живое, изничтожая своим красноречием Дон Жуана, она жестоко ошибается, она понапрасну расточала свои слова».

Он спрыгнул вниз и стал прогуливаться по саду, вспоминая проклятия Лелии и чувствуя, что в нем все сильнее становится не желание отомстить за себя, заслужив эти проклятия, а желание отвергнуть их, убедив ее, что он не заслуживает этой хулы. В глубине души Стенио был человеком порядочным и прямым. У него, правда, всегда была склонность выдавать себя за человека более порочного, чем он был на самом деле; но когда притворство его принимали за чистую монету, гордость его возмущалась, и негодование это доказывало, что у него все же были какие-то твердые принципы.

В волнении расхаживал он под миртами монастырского двора, и все слова аббатисы необыкновенно отчетливо всплывали у него в памяти. Гнев его уступил место глубокому страданию. Он не мог отделаться от чувства восхищения перед речью Лелии; голос ее звучал гармо-

ничнее, чем всегда, а тон его выдавал глубокую убежденность, великую искренность, которую она сохраняла и в скептицизме и в религии. Лица ее он не мог как следует разглядеть, но ему показалось, что она все так же хороша собою и фигура ее, в отличие от Пульхерии, не потеряла изящества и легкости. Неожиданно для себя Стенио был поражен тем умственным прогрессом, который преобразил эту измученную душу в том возрасте, когда женщины вместе с потерей красоты переживают обычно упадок духовных сил. Лелия решительным образом опровергла все привычные ожидания. Она восторжествовала над всем – над своим любовником, над светом и над самой собой. Сила ее пугала Стенио; он уже больше не знал, проклинать ее или перед ней преклоняться. Но он с особенной остротой ощутил боль, оттого что она не ставит его ни во что, оттого что она, вне всякого сомнения, презирает его, в то время как он, помимо своей воли, чтит ее и боится.

Таково сердце человека; любовь – это борьба самых высоких способностей двух душ, которые, влекомые взаимной симпатией, стремятся слиться друг с другом. Когда им это не удается, появляется желание сравняться хотя бы в достоинствах, и желание это становится сущей мукой для их обоюдно уязвленного самолюбия. Каждая из сторон хочет, чтобы сожаления доставались на долю другой, и та, которая думает, что это удел ее одной, невероятно страдает.

Все больше волнуясь, Стенио вышел из сада и побрел наугад под стройными сводами узенькой галереи. В конце этой галереи оказалась лестница, вившаяся вокруг мраморного столба. Он поднялся по ней, думая, что так снова выйдет на террасы, по которым пришел. Перед ним была черная суконная портьера; Стенио решился осторожно ее приподнять. Днем стояла невыносимая жара, и поэтому дверь в покои аббатисы была открыта.

Стенио прошел через молельню и очутился в комнате Лелии. Это была простая, но довольно изыскано убранная келья. Стены и потолок были покрыты белой, как алебастр, штукатуркой. Большое распятие из слоновой кости, прекрасной работы выделялось на лиловом бархате, окаймленном резным бронзовым багетом. Кресла черного дерева с квадратными спинками, массивные и вместе с тем сделанные с большим вкусом, казавшиеся выше от пунцовых бархатных подушек, аналой со скамеечкой и того же стиля стол, а на нем – череп, песочные часы, книги и фаянсовая ваза с чудесными цветами, составляли всю обстановку кельи.

Стоявшая на аналое старинная бронзовая лампа скудно освещала эту довольно просторную комнату, в глубине которой Стенио не сразу заметил Лелию. Но когда он ее увидел, он остановился как вкопанный, потому что не знал, была ли это она, или только похожая на нее алебастровая статуя, или призрак, являвшийся ему в дни его безумного бреда, когда силы совсем его оставляли.

Лелия сидела на своем ложе; это был стоявший прямо на полу гроб из черного дерева. Босые ноги ее касались каменного пола и сливались с белизной мрамора. Она была вся закутана в белые покрывала необычайной свежести. Прекрасная настоятельница монастыря камальдулов была всегда так одета, и в сиянии этих одежд без единого пятнышка и без единой складки было нечто фантастическое, наводившее на мысль о бесплотности, о предельной ясности духа. Монахини испытывали к этим чистейшим одежам какое-то почти суеверное почтение. Никто из них не осмеливался к ним прикоснуться, ибо аббатиса слыла святой и все, что ей принадлежало, считалось священным. Может быть, и у нее самой с этой белизной полотна, в которое она облачалась, связывалась какая-то романтическая идея. Так же, как и христианская поэзия, она видела в этой одежде невинности, столь драгоценной и прославленной, одну из самых трогательных эмблем душевной чистоты.

Хотя Стенио стоял прямо перед ней, Лелия его не замечала, и Стенио не знал, спит она или молится, настолько она была неподвижна и поглощена своими мыслями. Ее большие черные глаза были открыты, но в спокойной их неподвижности было что-то жуткое, что-то от смерти. Казалось, она не дышит. Она сидела, сложив свои белоснежные руки, и нельзя было понять, страдает она, молится или чем-то удручена. Ее можно было принять за статую, олицетворяющую собою спокойствие.

Стенио долго смотрел на нее. Такой красивой он никогда ее не видел; хоть она была уже не очень молода, но, глядя на нее, невозможно было представить себе, что ей больше двадцати пяти

лет; и в то же время она была бледна, как белая лилия, и в лице ее не было той полноты, которая может скрыть разрушительное действие лет.

Но Лелия была особым существом, отличным от всех других. Страсти ее кипели где-то на дне души, а людям она казалась бесстрастной. Отчаяние так глубоко внедрилось в нее, что превратилось в покой. Мысль о личном счастье была столь решительно отвергнута, что на лице ее не осталось ни малейшего следа сожаления или грусти. А меж тем Лелия знала такие страдания, подобных которым не испытывали другие; но она была как море, когда на него смотрят с вершины горы: оно кажется таким гладким, что невозможно представить себе, какие бури спрятаны в его глубинах.

Когда Стенио, который был уверен, что найдет Лелию лишенной прежнего величия, увидел ее, он был смущен и, растроганный до глубины души, не мог сдержать своего восторга. Шесть лет раздражения, недоверия и иронии были забыты, едва только он увидел, как она хороша собою; шесть лет разгула, скептицизма и нечестивой жизни словно по мановению волшебного жезла исчезли при виде этого душевного величия. В прежнее время Стенио боготворил в Лелии именно эту гармонию красоты физической с красотой ума. Он возненавидел эту силу ума за то, что она не захотела ему покориться. Ему хотелось сохранить в памяти только образ красавицы, и, дабы самолюбие его не терзалось тем, что он становился на колени перед Лелией, ему доставляло удовольствие повторять себе, что он был ослеплен только ее физической красотой, и приписал ей качества, которых у нее вовсе не было. Когда Стенио увидел сидевшую в задумчивости Лелию, он не мог не почувствовать, что между этой женщиной, которую он мог завоевать, и всеми другими, которых он пытался сравнить с ней и ей уподобить, была бездонная пропасть. При виде сокровища, которым он пренебрег и которое от него ускользало, он, словно разорившийся мот, почувствовал, что у него кружится голова, и в отчаянии прислонился к двери, чтобы только не упасть на колени. Лелия не заметила этого волнения. Увлеченная своими мыслями в другой мир, она была глуха ко всему.

Стенио простоял перед нею чуть ли не целый час, с жадностью разглядывая ее, выслеживая пробуждение чувства в этом экстазе мысли, спрашивая себя с тоской, думает ли она в эту минуту о нем, сочувствует ли ему, жалеет ли его или презирает. Наконец она слегка вздрогнула и, казалось, начала пробуждаться от сна, понемногу и не до конца еще отдавая себе отчет во всем происходящем. Потом она встала и тихо прошла в глубь комнаты. Ее едва заметная прозрачная тень скользнула по бледной стене. Можно было подумать, что это ее дух, неотступно следующий за нею. Наконец Лелия остановилась перед столом и, скрестив руки на груди и наклонив голову вперед, долго и на этот раз уже с грустью, разглядывала вазу с цветами. Стенио увидел, что она вытерла слезы, струившиеся из ее глаз медленно и спокойно, как вода из прозрачного и тихого источника. Он больше уже не мог сдержать своего волнения.

– Лелия, – воскликнул он, направляясь к ней, – второй раз я вижу, как ты плачешь. В первый раз я был у твоих ног; сейчас я опять припаду к ним, если ты захочешь рассказать мне, о чем ты плачешь.

Лелия даже не вздрогнула; она посмотрела на Стенио странным взглядом, в котором не было ни страха, ни гнева на то, что он проник к ней так, среди ночи.

– Стенио, – сказала она, – я думала о тебе; мне казалось, что я вижу тебя и слышу; образ твой стоял передо мной. Зачем ты пришел сюда такой, как сейчас?

– Вы в ужасе, оттого что я пришел, Лелия? – воскликнул Стенио, потрясенный этим холодным приемом.

– Нет, – ответила Лелия.

– Но, признайтесь, приход мой вас оскорбляет и возмущает?

– Нисколько, – ответила Лелия.

– В таком случае он вас, может быть, огорчает?

– Не знаю уж, что может меня теперь огорчить, Стенио! В душе моей вечно присутствуют предметы ее раздумий и причины ее страданий. Как видишь, приход твой волнует меня не больше, чем воспоминание о тебе, и сам ты не больше, чем твой образ.

– Вы плакали, Лелия, и вы говорите, что думали обо мне!

– Взгляни на этот цветок, – сказала Лелия, показывая ему чудесно пахнущий белый нарцисс. – Он мне напомнил тебя таким, каким ты был в юности, когда я тебя любила, и я тут же увидела твое лицо, услышала звук твоего голоса, и сердце мое охватила пленительная нежность, как в те дни, когда я думала, что ты меня любишь.

Неужели мне все это снится? – воскликнул Стенио вне себя от волнения. – Неужели это Лелия говорит мне такие слова? А если это действительно она, то, может быть, сестра Аннунциата просто скучает от одиночества, или же аббатиса камальдулов решила жестоко посмеяться над моей дерзостью?

Лелия, казалось, не слыхала слов Стенио; она держала в руке нарцисс и ласково на него смотрела.

– Это ты, мой поэт, – сказала она, – такой, как в те дни, когда я часто любовалась тобою так, что ты и не знал. Часто, во время наших задумчивых прогулок, я видела, как ты, который был слабее Тренмора и меня, поддавался усталости и засыпал у моих ног в лесу, среди цветов, овеваемый горячим южным ветром. Склонившись над тобой, я охраняла твой сон, отгоняла от себя надоедливых мух. Я укрывала тебя своей тенью, когда солнце прорывалось сквозь листву, чтобы запечатлеть жгучий поцелуй на твоём совсем ещё свежем, как у девушки, лице. Я становилась между ним и тобой. Моя деспотичная и ревнивая душа окружала тебя своей любовью. Спокойные губы мои ловили порою горячий благоуханный воздух, трепетавший вокруг тебя. Я была тогда счастлива, и я любила тебя! Я любила тебя так, как только могла любить. Я вдыхала тебя, как лилию, и я улыбалась тебе, как ребенку, но как ребенку, в котором пробуждается гений. Я хотела бы быть твоей матерью и прижимать тебя к груди, не вызывая в тебе чувств мужчины.

Иногда мне случайно открывались тайны твоих одиноких прогулок. Бывало, что, склонившись над прозрачным водоемом или припав к мшистым скалам, ты смотрел на небо в воде. Чаше всего глаза твои были полузакрыты, и ты переставал существовать для внешнего мира. Казалось, ты сосредоточенно разглядывал в себе самого бога и ангелов, отраженных в таинственном зеркале твоей души. И теперь ты такой же, как тогда, хрупкий юноша, без сил еще и без желаний, чуждый дурману и страданиям физической жизни. Ты был тогда помолвлен со златокрылою девою, ты еще не бросил своего кольца в бурные потоки наших страстей. Неужели пошло уже столько дней, столько страданий с того ясного утра, когда я встретила тебя, похожего на только что оперившегося птенца, открывающего первым порывам ветра свои дрожащие крылья? Неужели мы действительно жили и страдали после того дня, когда ты просил меня объяснить тебе, что такое любовь, счастье, слава и мудрость? Скажи мне, дитя, верившее во все это, искавшее во мне все эти воображаемые сокровища, неужели же столько слез, столько страхов, столько обмана отделяют нас от этой сладостной пасторали? Неужели твои ноги, касавшиеся только цветов, увязали потом в грязи и обивались о камень? Неужели голос, распевавший такие чудесные песни, охрип теперь от пьяного крика? Неужели грудь, расширившаяся и окрепшая от чистого горного воздуха, теперь высохла, сожжена огнем оргий? Неужели губы, которые, когда ты спал, целовали ангелы, осквернены прикосновением нечестивых губ? Неужели ты столько страдал, столько краснел и столько боролся, о Стенио, любимец небес?

– Лелия, Лелия! Не говори так, – воскликнул Стенио, падая к ногам аббатисы. – Ты разбила мое сердце твоей холодной насмешкой; ты меня не любишь, ты меня никогда не любила!..

Почувствовав, что рука Стенио ищет ее руку, аббатиса отпрянула, содрогнувшись, словно от боли.

– О, – сказала она, – не говорите так. Я думала об этом цветке; в его лепестках я видела образ, он уже исчез. А теперь, Стенио, прощайте!

Она уронила цветок к ногам, глубокий вздох вырвался у нее из груди, и, с какой-то невыразимой скорбью возведя глаза к небу, она провела рукою по лбу, словно для того, чтобы прогнать иллюзию и, сделав над собою усилие, вернуться к действительности. Стенио в тревоге ждал, что она заговорит о настоящем. Она посмотрела на него холодно и удивленно.

– Вы хотели меня видеть, – сказала она, – я не спрашиваю вас зачем, потому что вы не знаете сами. Теперь, когда ваше желание удовлетворено, вы должны уйти.

– Не раньше, чем вы скажете мне, что вы почувствовали, когда меня увидели, – ответил

Стенио. – Я хочу знать, какое чувство вы испытали, вспоминая свою любовь, о которой вы не побоялись заговорить со мной.

Никакого, – ответила Лелия, – у меня не было даже гнева.

– Как! У вас нет ко мне ненависти?

– Нет даже презрения, – ответила Лелия. – Вы для меня вовсе не существуете. Мне кажется, что я одна и что я смотрю на ваш портрет, который на вас не походит.

– Как! Нет даже презрения? – раздраженно воскликнул Стенио. – Нет даже страха? – добавил он, вставая и следуя за Лелией, которая уже снова расхаживала взад и вперед по келье.

– Страх как раз было меньше всего, – сказала Лелия, не удостоивая внимания охваченного яростью поэта. – Вы покамест еще не Дон Жуан, Стенио! Вы слабая, но не развращенная натура. Как вы не верите в бога, так не верите и в дьявола; вы не вступали ни в какой договор с духом зла, ибо, на ваш взгляд, на свете зла нет, как нет и добра. Ваши инстинкты не могут толкнуть вас на преступление; они отвергают подлость. Прежде вы воплощали собой тип человека чистого и расположенного к другим, сейчас вы уже перестали быть воплощением чего бы то ни было: вы скучаете! Скука не растлевает вас и не унижает, но она все стирает, все разрушает!

– Вам это должно быть хорошо известно, госпожа аббатиса, – едко заметил Стенио, – я ведь увидел, как вы проводите ваши ночи, и знаю, что вы не читаете, не спите, не молитесь; я знаю, что и вас тоже снедает скука!

– Не скука, а печаль! – ответила Лелия с откровенностью, которая сломила гордость Стенио.

– Печаль? – переспросил он удивленно. – Так вы сами в этом признаетесь? О да! Когда я увидел вас такой спокойной, я должен был понять, что вы спокойно и терпеливо вынашиваете у себя в груди отчаяние, как это было когда-то. Бедная Лелия!

– Да, бедная Лелия! – ответила аббатиса. – Я действительно бедная, и вместе с тем у меня есть великие богатства, великие надежды, великие утешения, сознание, что я поступала так, как должна была поступать, незыблемая вера в бога, защитника обездоленных, и понимание святых радостей, к каким может стремиться отрешившаяся от всего мирского душа.

– Но вы страдаете, Лелия, – сказал Стенио, все больше удивляясь ее искренности. – Значит, вы еще не отрешились от мира. Вы не чувствуете тех радостей, которые понимаете умом? Значит, бог, защитник несчастных, не помогает вам? Значит, иметь спокойную совесть еще недостаточно для того, чтобы быть счастливой?

– Я нисколько не удивляюсь, что вы меня спросили об этом, – ответила Лелия, – вы ведь ничего не знаете обо всех этих вещах, и вам, по всей вероятности, любопытно о них узнать; что же, я вам все расскажу.

Она сделала ему знак отойти от нее, так как он все время ходил с нею рядом, и он не осмелился послушаться этого жеста, от которого веяло какой-то сверхчеловеческой силой. Сама она тоже отодвинулась от него и, облокотившись на подоконник, начала говорить с ним стоя, пристально глядя ему в глаза.

– Я не хочу вас обманывать, – сказала она. – Я чувствую, что в разговоре, который был между нами сейчас, содержится некий торжественный смысл, и я ничего не могу сделать, чтобы это не было так. Если господу было угодно, чтобы вы беспрепятственно проникли в мое святилище, если он доверил вашему недоброжелательному или нескромному любопытству мучительную тайну моих бессонных ночей, он, очевидно, хочет, чтобы вы узнали мои мысли; и вы их узнаете, чтобы потом употребить это знание так, как господь predetermined и повелел. Независимость, которую я проповедую и которая присуща мне самой, вызывает у вас, я знаю, отвращение и негодование. Вы жестоко боретесь с ней в ваших речах, в ваших писаниях, даже здесь, в моей скромной школе; но вы прибегаете к такому неубедительному доводу, Стенио. Вы говорите, что мой путь не ведет к счастью, что сама я первая жертва этой прославляемой мною необузданной гордости. Вы ошибаетесь, Стенио! Если я и жертва, то не гордости своей, а отсутствия привязанностей, которые и составляют жизнь души. Нет ничего выше жизни души в боге, но ее недостаточно, потому что она не может быть полной, непрерывной, вечной. Господь нас любит и постоянно носит в себе; мы тоже любим его и носим в себе. Но мы не чувствуем ежечасно, как

он, биение всемирной жизни, которая в нем естественна и необходима, в нас — случайна, необычна, искрометна. Итак, бесконечная любовь есть жизнь бога. Жизнь человека состоит из бесконечной любви, которая направляется на вселенную и на бога, и любви конечной, или земной, направленной на другие души, которых к этому человеку привязывает чувство. Объединять людей могут любовь, брак, поколение, семья. Когда человек остается один и отказывается от этих необходимых для него элементов, он страдает, томится, он живет только наполовину. У него есть, правда, еще прибежище — беспредельность бога; но, будучи существом слабым и ограниченным, он теряется в этой беспредельности и чувствует себя растворившимся в ней, поглощенным, ничтожным, как атом среди небесных светил. Иногда это ощущение своей растворенности в мире способно опьянить, восхитить, возвысить; в молитве и в созерцании таятся неслыханные наслаждения, с которыми не может сравниться никакая земная радость. Но такие минуты редки, они быстро проходят и не возвращаются по первому зову нашего страдания; они редки, потому что, как бы велики ни были все наши усилия, душа наша, для того чтобы почувствовать этот восторг, должна достичь такого могущества, какое человеческая природа не в силах ни завоевать, ни поддержать в себе; они мимолетны, потому что господь не позволяет нам переходить в этой жизни из человеческого состояния в ангельское, — нам надлежит вынести все тяготы нашей судьбы и проделать наше паломничество в трудных условиях земной жизни.

Будучи строг к нам, бог одновременно к нам добр и милостив. Он позволяет нам испытывать на этой земле привязанность — нежную, сильную, исключительную; но, разрешив нам ее, он требует от этого чувства величия, справедливости и возвышенности, всего того, что делает его похожим на божественную любовь, потому что из нее оно черпает свою силу, с нею сливается воедино, а без нее становится материальнее, ниже и окончательно угасает, ибо тогда божественная любовь перестает вдохновлять его и руководить им. Таким образом, когда поколения развращаются или впадают в спячку, когда прогресс справедливости на земле бывает скован, когда законы больше уже не гармонируют с потребностями этого прогресса и когда сердца напрасно стараются жить в соответствии со свободой, благодаря которой чувства становятся искренними и верными, бог гасит тот луч, которым он освещал земную любовь. Благородные побуждения человека уступают место инстинктам зверя. Священные таинства брака совершаются в грязи или в слезах; страсти становятся жгучими, ревнивыми, кровавыми; желания — грубыми, бесстыдными, подлыми. Любовь становится оргией, брак — сделкой, семья — каторгой. Тогда порядок представляется мукой и агонией, а беспорядок — спасением, вернее — самоубийством.

Вот в этом-то беспорядке мы и живем, Стенио; вы, потому что вы окунулись в разврат, и я, потому что я ушла в монастырь; вы, потому что вы злоупотребляете жизнью, я, потому что отказалась жить. Мы оба преступили божественные законы, оттого что нами управляли не те человеческие законы, которые позволяют нам понимать друг друга и друг друга любить. Предрассудки, привитые вам воспитанием, и привычки вашей натуры, пример других людей, существующие законы дали бы вам право распоряжаться мною и мною владеть. Утвердить эти права могла только моя воля, но она не захотела этого сделать, из страха, что столько преимуществ по сравнению со мной в ваших руках привели бы вас к неминуемым злоупотреблениям.

Взять хотя бы одно из ваших исключительных прав: общество не давало мне никакой гарантии против вашей неверности, что же касается моей неверности, то все обстояло как раз наоборот: оно давало вам против меня гарантии, самые унижительные для моего достоинства. Не говорите мне, что мы могли бы стать выше этого общества и бросить вызов его законам, вступив в свободный от всех формальностей союз. Я проделала этот опыт и знала, что подобный союз невозможен; ибо при такой свободе женщине еще труднее, чем в браке, стать подругой мужчины и быть ему равной. Интересы противоположны: мужчина считает свои более драгоценными и более важными. Надо, чтобы женщина пожертвовала своими и вступила на путь самозабвенной преданности, не получая за это никакой награды от мужчины, ибо мужчина тяготеет к обществу; что бы он ни делал, он не может отрешиться от него, а общество осуждает незаконную связь. Поэтому надо, чтобы личная жизнь женщины совсем исчезла, чтобы жизнь мужчины ее поглотила, а я — я хотела жить. Я не пошла на это, я предпочла разделить мою жизнь и пожертвовать отведенной мне долей человеческой жизни во имя жизни божественной, дабы не потерять ту и

другую в безнадежной и пагубной борьбе.

Вы, Стенио, каким-то чутьем поняли мои притязания и мои права, вы ведь любили меня так, как никого не любили. Но не в вашей власти было мне уступить, ибо так же, как у мужчин существует две жизни, одна – общественная, другая – личная, у них две натуры, у них как бы две души: одна хочет присоединиться к обществу, другая – насладиться радостями любви. Когда эти два существа враждуют, сердце человека в разладе с самим собой. Он чувствует, что идеал его отнюдь не в обществе, несправедливом и развращенном, но чувствует также, что идеал этот не может отождествиться с любовью и заставить его пренебречь мнением общества. Порви он с любовью или с обществом, он и в том и другом случае потеряет полжизни. Господь наделил его инстинктом нежности и жаждой счастья, нужными для любви; но он также наделил его инстинктом верности и чувством долга, потребными для него как для гражданина. Законы примирили эти потребности и эти обязанности таким образом, что, отказавшись от роли гражданина, мужчина приносит себя в жертву женщине и что, отказываясь от любви, он жертвует собою во имя общества.

Ни вы, ни я не могли выйти из этого лабиринта. Поэтому, Стенио, мы оба остановились на пороге; вы отказались от любви. Я бы рада была сказать: вы отказались от нее ради общества! Но это общество которое распоряжалось вами, приводило вас в ужас. Вы поняли, что невозможно подняться над всеми его злоупотреблениями, не сделавшись подлецом. На вашу долю выпала великая задача – с этими злоупотреблениями бороться.

Эта роль реформатора очень уж скоро вас утомила, и вы бросились в пенистый поток, не захотев, однако, следовать по его руслу и не дав себе труда справиться с течением. Вы барахтались в нем, как муха, которая тонет в недопитом бокале и находит смерть в том самом вине, из которого человек черпает жизнь или хмельной дурман, созидающую силу или звериную ярость. Вот почему я говорю, что вы слабое существо и что вы не живете.

Что до меня, то я страдаю; если вы именно это хотите знать и если вас это может утешить в вашей тоске, то знайте: жизнь моя – сплошное мучение, ибо если великие решения и сковывают наши инстинкты, то они их не разрушают. Я решила отказаться от жизни, я не поддаюсь желанию жить; но сердце мое продолжает жить, молодое, сильное, жаждущее любви и пылкое. Его огонь, не находя себе пищи, сжигает меня, и чем выше душа моя устремляется к божественной жизни, тем больше она сожалеет о жизни человеческой и тем больше тянется к ней. Это сердце, такое высокомерное, такое, по-вашему, Стенио, бесчувственное, – это пожар, и он меня пожирает; а глаза, которые вы только раз видели плачущими, каждую ночь проливают перед этим распятием слезы, которых сами даже не чувствуют, до того источник их обилен, неиссякаем!

– И эти слезы падают на бесчувственный мрамор! Ах, Лелия! Если бы только они падали мне на сердце!..

Охваченный вновь вернувшимся к нему неодолимым чувством, Стенио кинулся к ногам Лелии и покрыл их поцелуями.

– Ты меня любишь, – вскричал он, – да, ты меня любишь! Теперь я все знаю, все понимаю! А я столько времени был несправедлив к тебе, столько времени на тебя клеветал!..

– Да, я люблю, – ответила Лелия, отталкивая его с твердостью, к которой примешивалась нежность, – но я не люблю никакого определенного человека, Стенио, ибо тот, кого я могла бы полюбить, еще не родился на свет и родится, может быть, только спустя несколько веков после моей смерти.

– О боже, – воскликнул Стенио рыдая, – неужели же я не могу стать этим человеком? Ты, пророчица, вырвавшая у неба тайны грядущего, неужели ты не можешь сотворить чуда? Неужели ты не можешь сделать так, чтобы я определил течение времени и был тем единственным из смертных, достойным твоей любви?

– Нет, Стенио, – ответила она, – я не могу тебя полюбить, ибо не могу заставить тебя полюбить меня!

Несколько ночей подряд бродил Стенио вокруг монастыря, но проникнуть за ограду ему так и не удалось. Даже рискуя жизнью, нельзя было взобраться по крутому склону горы. Груда лавы, узенькой перемычкой соединявшая эту гору с террасами монастыря, была взорвана. Эта опасная тропинка, переброшенная, словно мостик, над пропастью, не пугала Стенио. Однако и ее уничтожили – Стенио увидел как-то раз в глубине рва обломки скал, накануне еще касавшихся своими вершинами облаков. С другой стороны горы, в стенах монастыря, не было ни одного углубления, куда можно было бы поставить ногу. Всех сторожей теперь заменили другими. Новые были неподкупны. Стенио искал и придумывал всевозможные средства, но ничего не мог добиться. Он истратил все оставшиеся у него деньги и вконец расшатал свое и без того подорванное здоровье, но заколдованные стены, скрывавшие предмет его мечтаний, оставались непроницаемы. Аббатиса, которой доложили о его попытках, несколько раз посылала своих верных людей передать ему, что усилия его бесполезны, что она не может согласиться на свидание с ним и примет все меры, чтобы не допустить этого. Стенио, однако, не оставлял своих попыток, и его слепое упорство граничило с безумием. В ту ночь, когда он покинул ее, потрясенный и убитый горем, он ей подчинился. Но едва только он остался один, начал упрекать себя, что был недостаточно горяч и настойчив и не сумел победить недоверие Лелии. Он краснел при мысли о минутной слабости, которая в ее присутствии наполнила сердце его страхом, робостью и страданием, и обещал себе в будущем не быть таким застенчивым и легковерным.

Но будущее не оправдало его надежд. Под предлогом проводившегося в некоторых случаях ритуала, который требовал полного уединения, аббатиса распорядилась закрыть доступ в монастырь. Отменены были все собеседования и публичные проповеди. Лелию не смущало присутствие Стенио, любви к нему у нее уже не осталось, но она хотела, чтобы все ее обеты были соблюдены как внешне, так и на деле; как человек логического ума и большой прямоты, она была строга и к мыслям своим и к поступкам. К тому же она никоим образом не надеялась излечить Стенио. Отважившись на тот разговор, который у нее был с ним, она доказала, что стоит выше всех предрассудков и ребяческих страхов; она убедилась, что в ту ночь все уже было сказано, и возвращаться к этому, во всяком случае, бесполезно. Она всей душой молила за него бога и вернулась к привычной для нее грусти, постоянно вспоминая о своей любви к поэту, но лишь изредка задумываясь над тем, жив он сейчас или нет.

Стенио впал в смертельную тоску. Он был совершенно подавлен откровенностью и разумными доводами Лелии. Его самолюбие больше не осмеливалось уже бороться с непререкаемой истиной, говорившей ее устами. Он уже больше не мечтал заставить ее сойти в ее собственных глазах или в глазах других с того пьедестала, на котором она восседала, исполненная страдания и величия; с каждым днем у него оставалось все меньше прежней легкомысленной самоуверенности. Неодолимое сопротивление Лелии доказывало ему, что о любви своей она жалеет лишь отвлеченно, и при этом не думает ни об одном живом человеке.

В глубине души Стенио должен был признать, что она победила. Глухая и длительная борьба, которую они вели, упорно следуя каждый своим путем к противоположным целям, окончилась победой Лелии. Она была непоколебима в своем скорбном решении; она не знала жалости к Стенио, не знала снисхождения к себе самой. А Стенио становился перед ней на колени, он умолял ее, и больше всего его угнетало то, что он все еще любил ее, любил безмерно, любил так, как еще никогда не любил.

Но было уже поздно: любовь эта не могла спасти ни ее, ни его. Она ни на что уже больше не надеялась и ничего не ждала от людей, а он тоже утратил способность чего-то ждать от себя. Он не мог расстаться со своей распутной жизнью. Его бесстыдная любовница настолько овладела всеми его помыслами, что преследовала его даже в его самых чистых мечтах, являясь ему среди самых чистых образов. Она была ему нужна, чтобы на несколько мгновений забыть о потерянном идеале. Поэтому-то идеал и не мог возродиться в его душе: душа изнемогала от этого дележа себя между возвышенным желанием и его низким осуществлением.

Часто с наступлением ночи он отправлялся в горы и возвращался оттуда лишь поутру, бледный, измученный; глаза его блуждали, лицо было мрачно. Иногда он усаживался на скале Магнуса. Оттуда он видел купола монастыря, утопавшее в зелени кладбище и берега озера, где

он подолгу бродил в раздумье и где мысль о самоубийстве заставляла его ночи напролет просиживать на краю обрыва.

Однажды он получил письмо от Тренмора, который упрекал его в преступном равнодушии и звал к себе. Тренмор был поглощен новыми предприятиями, подобными тем, к которым он уже привлекал Стенио. Он по-прежнему верил в святость своей миссии, более того – он надеялся на успех своего дела в самое ближайшее время. Его последовательность, целеустремленность и увлечение, с которым он ратовал за свои идеи, раздражали Стенио. Недовольный бездеятельностью своей и бессилием, он пытался еще отрицать те добродетели, которых не было у него самого, а потом его неиспорченная совесть, врожденное и неколебимое благородство половины его существа со всею силой возмутились против этих кощунств. Стенио пережил новый припадок отчаяния, который на этот раз не пробудил в нем никаких стремлений ни к хорошему, ни к дурному. Он ушел на берег озера и назад не вернулся.

Было уже около полуночи, когда он постучался к отшельнику. Магнус, привыкший к тому, что поэт может явиться в любое время дня и ночи и разбудить его или помешать его молитвам, начал тяготиться этим взбалмошным и опасным гостем. Он испугался его богохульных речей; особенно же оскорбляло его жестокое упорство, с которым тот растравлял его незажившие раны. Терзая священника, Стенио испытывал странное наслаждение. Можно было подумать, что он счастлив тем, что нашел в этом человеке, так легко поддающемся страху и страданию, пример бесплодности всех человеческих усилий, доказательство бессилия религии перед неистовой силой инстинкта и причудами воображения. Он вымещал на нем весь тот стыд, который испытывал сам перед победой духовной силы в Тренморе и Лелии, он издевался над слабостью своего противника, пытаясь поколебать его веру в бога, утвердить свою собственную веру – атеизм. Но он только напрасно мучил Магнуса, и господь наказал его за гордость: после того как он смутил эту колебавшуюся и истерзанную душу, неуверенность и ужас овладели им с еще большей силой.

В эту ночь отшельник, притворившись, что крепко спит, не впустил Стенио. Но когда молодой человек удалился, Магнус стал корить себя за то, что был с ним недостаточно кроток и терпелив и не выдержал испытания, которое ему посылало небо. Ему показалось, что Стенио крикнул ему, уходя, какие-то странные слова и что у поэта было что-то недоброе на уме. Он встал, чтобы позвать его. Но Стенио был уже далеко. Он быстро шел по направлению к озеру, напевая изменившимся голосом какую-то легкомысленную песенку. Магнус поспешил вернуться к себе в келью и начал молиться. Но через час его вдруг стало мучить какое-то странное предчувствие, и он отправился на берег озера. Луна уже зашла; в глубине пропасти клубился туман, будто саваном одевавший кустарник. Повсюду царило глубокое безмолвие. Теплый, едва ощутимый ветерок доносил слабый запах ирисов. Воздух был такой мягкий, ночь такая синяя и тихая, что мрачные предчувствия отшельника рассеялись как-то сами собою. Запел соловей, и голос его был так нежен, что Магнус невольно остановился и стал его слушать. Мыслимо ли, чтобы ужасная трагедия могла разыграться на такой тихой сцене, в такую вот чудесную летнюю ночь?

Медленно и в полной тишине возвращался Магнус в свою келью. Все было окутано мраком, но он хорошо знал привычную ему дорогу среди деревьев и скал. Несколько раз он все-таки споткнулся о камни, и каждый раз его окутывали и словно обнимали поникшие ветви старых тисов. Однако ничей жалобный голос не окликнул его, ничья теплая рука его не остановила. Он растянулся на своей циновке, и в тишине слышно было только как бьют часы.

Но напрасно старался он уснуть. Едва только он закрывал глаза, как перед ним вставали какие-то смутные и зловещие видения. Вскоре ему явился образ более отчетливый, более страшный, и он проснулся: то был Стенио, произносивший богохульные речи; одолеваемый нечестивыми сомнениями, Стенио, которого он оставил одного в этой крошечной тьме. Ему чудилось, что поэт бродит вокруг его ложа и снова и снова задает свои оскорбительные и жестокие вопросы, чтобы терзать ими его несчастную душу. Магнус поднялся и сел на свою циновку; уткнув голову в дрожащие колени, он спрашивал себя, словно в первый раз, что же задумал Стенио. Почему поэт так торжественно с ним прощался? Может быть, он отправился к Тренмору? Но ведь

еще накануне Стенио смеялся над надеждами и чаяниями своего друга. Или он преследовал Лелию? При этой мысли священник привскочил; была минута, когда он хотел смерти Стенио.

Но вскоре это нечестивое желание уступило место мыслям тревожным и более благородным. Он боялся, как бы, устав бороться с неумолимым богом, Стенио не осуществил своего мрачного намерения. В страхе припоминал он слова молодого человека о небытии, которое служит оправданием самоубийству, о вечности, которая его не запрещает, о гневе божьем, который не в силах его предупредить, о милосердии, которое должно было бы его разрешать. Магнус не забыл, что сама жизнь была для Стенио наказанием куда более суровым, чем все грядущие кары, которыми ему грозила церковь.

Ошеломленный священник быстро ходил взад и вперед по келье. Пока не рассветет, он все равно о нем ничего не сможет узнать. Он впал в горестное раздумье.

Он припомнил дни своей молодости; он стал сравнивать свои страдания со страданиями Стенио; и мысль о том, как он высок в своем самоотречении, его успокоила. Он пробовал осудить в душе несчастного, которого оттолкнул от себя, и бормотал презрительные и высокомерные слова; измученный голодом и бессонницей, он дрожал; зубы стучали; он произносил какие-то невнятные слова, словно поздравляя себя с победой над страстями. Потом он наспех прошептал бессвязные стихи, которые успокоили его гордость, но не смягчили его затаенной горечи.

Каждый раз, когда в отдалении били монастырские часы, Магнус вздрагивал; он отмечал бег времени; он смотрел на небо; он считал упрямые звезды; потом, когда все стихало, он снова оставался наедине с богом и со своими мыслями и снова принимался читать монотонную жалобную молитву.

Наконец белая полоска обозначилась на горизонте, и Магнус вернулся на берег озера. Ветер не всколыхнул еще покровы тумана, и монах мог различать только предметы, находившиеся от него совсем близко. Он уселся на тот самый камень, на котором обычно сидел Стенио. Утро, по его мнению, наступало чересчур медленно; тревога его все возрастала. Когда немного рассвело, он увидел, что на песке у самых его ног были начертаны какие-то буквы. Он нагнулся и прочел: «Магнус, передай Лелии, что она может спать спокойно. Тот, кто не сумел жить, сумел умереть».

Рядом с этими словами – отпечаток ноги, слегка осыпавшийся песок, и больше ничего; на крутой осыпи не осталось никакого следа. А впереди – только усыпанное кувшинками озеро и стая черных чирков, скрывшаяся за белой дымкой.

В страхе Магнус пытался спуститься по склону. Он сходил за лопатой и, осторожно выкапывая себе ступеньки и рискуя упасть, стал шаг за шагом спускаться вниз, к озеру. На ковре из нежно-зеленых и бархатистых лотосов спокойно спал бледный юноша с голубыми глазами. Взгляд его был обращен к небу, лазурь которого отражалась в его неподвижных зрачках, будто в водоеме, все еще прозрачном и полном, после того как питавший его источник высох. Ноги Стенио были засыпаны прибрежным песком; голова лежала на холодных чашечках цветов; едва заметные порывы ветерка клонили их вниз. Вокруг летало множество стрекоз; одни словно упивались еще не выдохшимся ароматом его мокрых волос, другие трепетали своими пестрыми крыльями у самого лица, словно с любопытством разглядывая его черты или овеивая его прохладой. Существа эти, игривые и нежные, были так хороши, что Магнус, не веря своим глазам, пронзительным голосом стал звать Стенио и схватил его холодную руку, будто еще надеясь его разбудить. Но когда он убедился, что юноша уже не дышит, суеверный ужас охватил его робкую душу; он стал обвинять в этом самоубийстве себя. Он уже едва держался на ногах и выкрикивал какие-то глухие невнятные слова.

Пастухи, проходившие по другому берегу озера, увидели, как он безуспешно пытается вытащить из воды труп. Они сошли вниз по более отлогому спуску и, перевязав веревками несколько веток, перетаскивали обоих, живого и мертвого, на другой берег.

Пастухи не знали тайны смерти Стенио, они с благоговением несли на плечах и отшельника и поэта; дорогой они время от времени с тревогой поглядывали друг на друга и высказывали какое-нибудь робкое предположение. Но ни один из них даже не подозревал о том, что произошло в действительности.

В этих простых, грубых людях обморок Магнуса возбудил больше жалости, чем участия. У них не укладывалось в голове, как это священник, которому долг предписывает утешать живущих и отпевать покойников, мог пасть духом, как женщина, вместо того чтобы молиться за новопреставленного. Они не могли понять, почему отшельник, который хоронил столько людей и принимал последние вздохи умирающих, проявил такой страх и малодушие перед покойником, ничем не отличавшимся от великого множества других, которых ему приходилось видеть.

Вслед за пробуждением природы пробудилась и жизнь. Рассвело, и все прерванные работы возобновились. Как только жители долины заметили приближавшихся пастухов, они поспешили им навстречу; но при виде сплетенных из ветвей носилок, на которых лежали Стенио и Магнус, вопрос, который они собирались задать, застыл у них на губах; любопытство их сменилось глухой, безмолвной грустью: ведь это только в людных и шумных городах смерть может пройти незамеченной. В тиши полей, там, где живут строгою деревенской жизнью, всегда чтят промысел божий. Только люди, привыкшие за повседневною суетой забывать о жизни, отворачиваются от смерти, как от чего-то низкого. Те же, кто днем и ночью преклоняет колена и молит небо и землю о жизни, не могут смотреть на усопшего с холодным равнодушием.

Недалеко от берега озера, того самого, где пастухи нашли Стенио, они остановились и с благоговением опустили свою ношу на мокрую траву. Солнце взошло, и горизонт стал пурпуровым и оранжевым. Теплый, обильный пар реял над склонами холмов; сошедшая с неба животворная роса возвращалась снова ввысь, как благодарная душа, возгоревшись любовью к богу, возвращается в его лоно. Каждый нарцисс на горе сверкал, как алмаз. Золотые венцы горели на уходящих под облака вершинах. И вокруг этого импровизированного катафалка все было радостью, любовью и красотой.

Несколько молодых девушек шли по долине; они гнали к озеру пестрых телок и распевали свои незатейливые баллады, хоть и очень простые, но не очень скромные, и припевы их, разносимые эхом, долетали порой до слуха погруженных в молитву монахинь. Эти загорелые дочери гор без страха остановились перед мрачным шествием. Но по воле простодушной природы в их широкой крепкой груди билось отзывчивое и чуткое женское сердце. Они не плакали, но были растроганы, увидев двух несчастных, и стали все объяснять пастухам.

– Вот этот, – говорили они, указывая на монаха, – брат утопленника. Они в озере форелей ловить пошли. Тот-то был посмелей, ну больно далеко и заплыл, он, верно, звал на помощь, а другой струсил, да у него и сил не хватило. Трав бы собирать, тогда, может, и отойдет. Положим-ка ему красного шалфея на язык, девятисила к вискам. А потом смолу зажжем да папоротником над ним помашем.

В то время как девушки постарше принялись искать травы, которыми они собирались лечить Магнуса, почтенные женщины начали читать вполголоса молитвы об усопших, а маленькие девочки стали на колени вокруг Стенио; на их сосредоточенных лицах проглядывало порой любопытство. Они трогали его одежду со страхом и каким-то восторгом.

– Богатый был человек, – говорили старухи, – умирать-то ему, видно, не хотелось.

Маленькая девочка запустила пальцы в мокрые волосы Стенио, а потом старательно вытерла их о фартук: к благоговейному почтению примешивалось самое серьезное удовольствие от того, что ей удалось поиграть с чем-то недозволенным.

При звуках их голосов священник очнулся и блуждающим взглядом огляделся вокруг. Женщины приложились к его исхудавшей руке и смиренно попросили у него благословения. Почувствовав, что губы их касаются его пальцев, он вздрогнул.

– Нет, нет, – сказал он, отталкивая их, – я великий грешник. Господь отступился от меня. Молитесь за меня, молитесь, чтобы я не погиб.

Он поднялся и взглянул на труп. И, видя, что это не сои, задрожал глухой внутренней дрожью и опустил на землю, сраженный охватившим его ужасом.

Пастухи, увидев, что он не собирается делать никаких распоряжений, предложили, что донесут покойника до церкви камальдулов.

– Нет, не надо, – сказал он. – Пожалуйста, помогите мне только добраться до монастырских ворот.

Магнус еще издали увидал, как к воротам монастыря подъехала карета кардинала. Он дождался ее и, когда кардинал вышел, бросился перед ним на колени.

– Благословите меня, монсиньор, – сказал он, – я прихожу к вам, отягченный ужасным преступлением. Из-за меня погибла человеческая душа. Это Стенио, странник, друг мудрого Тренмора, юный Стенио, сын века, с которым вы разрешили мне частно вести беседы, чтобы направить его на истинный путь. Я плохо его наставлял, у меня не хватило силы и благодати божьей, чтобы его обратить; мои молитвы были недостаточно горячи, мое вмешательство в его жизнь было неугодно господу, я потерпел неудачу... О отец мой! Простите ли вы меня? Или я буду проклят за слабость мою и за бессилие.

– Сын мой, – сказал кардинал, – пути господни неисповедимы, и милость его безгранична. Что вы знаете о будущем? Грешник может сделаться великим праведником. Стенио покинул нас, но господь его не покинет, господь его спасет. Милость божья может всюду настичь его и вытащить из самой глубокой бездны.

– Господь не захотел этого, – сказал Магнус, растерянно опустив глаза, – господь допустил, чтобы он бросился в озеро.

– Что вы говорите? – вскричал прелат, вставая. – Да вы с ума сошли! Как, он умер?

– Умер, – ответил Магнус, – утонул, погиб, проклят!..

– Как же могло случиться это несчастье? – спросил кардинал. – Вы что, были свидетелем его гибели? Неужели вы не постарались его спасти?

– Я должен был это предвидеть и помешать этому; у меня не хватило духу, я испугался. Почти каждый день приходил он ко мне в пещеру и целыми часами громко жаловался. Он винил и судьбу, и людей, и бога. Он взывал к другой справедливости, не к той, на которую полагаемся мы. Он попирал ногами все самое для нас святое. Он призывал небытие. Он высмеивал наши молитвы, наши жертвы и наши надежды. Слыша, как он богохульствует, я – о простите меня, монсиньор! – вместо того чтобы возгореться священным негодованием, я плакал. Стоя в нескольких шагах от него, я не мог до конца расслышать его страшные речи. Иногда ветер перехватывал их и нес к небу, которое только одно могло бы дать ему отпущение. Когда порывы ветра стихали, этот зловеющий голос, эти ужасающие проклятия снова резали мой слух и леденили мне кровь. Я оказался трусом, я растерялся, я пытался воздвигнуть между нами стену, не дать его нечестивым речам проникнуть в мою душу, которая трепетала от страха. Все было напрасно. Уныние, отчаяние разъедали меня как яд. Я хотел заставить его замолчать, но его омерзительная усмешка сковала мне язык. Я хотел отчитать его, но от его наглого взгляда я цепенел. У меня была только одна мысль, одно желание, одно неодолимое искушение: бежать от него бежать от гибели, которую я не в силах был отвратить от него и которая теперь грозила и мне. Тогда он начинал просить оставить его одного, и я уходил от него, ни о чем не думая, радуясь, что могу избавиться от страдания и найти прибежище у ног Спасителя. Я бывал слишком занят собой, я слишком часто забывал об обязанностях пастыря, которые возложил на меня господь.

Вместо того чтобы взвалить заблудшую овцу на плечи и нести, я испугался одиночества, тьмы, прожорливых волков. Я вернулся один в овчарню. Я оказался дурным пастырем, я покинул заблудшую душу; а когда я пришел снова, ее уже не было. Она попала в лапы дьявола. Злой дух утащил свою жертву в бездну вечной гибели.

– Но что же случилось со Стенио? – воскликнул кардинал, видя, что Магнус говорит как в бреду. – Что вы знаете о его смерти?

– Сегодня утром я нашел на берегу озера его бездыханное тело; я больше ничего не могу для него сделать, мне больше не на что надеяться. Наложите на меня самую тяжелую епитимию, монсиньор, я выполню ее и этим очишусь.

– Говорите мне о Стенио! – строго вскричал кардинал. – Хоть ненадолго позабудьте себя. Неужели ваша душа столь драгоценна, чтобы ради нее мы могли пренебречь его душою? Помогимся сначала о грешнике, которого покарал господь, а потом уж подумаем о том, как вам искупить свою вину. Где сейчас покойник? Читали вы над ним псалмы? Окропили вы его святой водой? Распорядились вы, чтобы его отнесли в церковь? Известили вы всех священников, что им надо собраться? Солнце уже высоко. Что сделали вы с тех пор как оно взошло?

– Ничего, – ответил охваченный ужасом монах. – Я упал без чувств; а когда я пришел в себя, я решил, что мне пришел конец.

– А Стенио, Стенио? – нетерпеливо оборвал его Аннибал.

– Стенио, – повторил монах, – да разве он уже не погиб невосвратимо? Разве у нас есть право за него молиться? Станет ли господь менять ради него свои непреложные правила? Разве он не умер смертью Иуды Искарота?

– Какой смертью? – в испуге вскричал прелат. – Так это самоубийство?

– Да, самоубийство, – глухим голосом ответил Магнус.

Кардинал, охваченный ужасом, стиснул руки на груди. Потом, обернувшись к Магнусу, он возмущенно заговорил:

– Такая страшная катастрофа разразилась почти что у вас на глазах. Такой позор для всех нас, а вы этому не смогли помешать. И вы предпочли молиться как Мария, когда надо было действовать как Марфа! Подобно фарисею, вы возгордились перед господом богом! Вы сказали: «Посмотри на меня, господи, и благослови меня, ибо я есть праведный священник, а нечестивец, что умирает там, может обойтись без тебя и без меня!». Вы спокойно улеглись спать, когда надо было бежать за этим несчастным, кинуться к его ногам, валяться в пыли, плакать, грозить, прибегнуть к молитвам и даже к силе, чтобы не дать ему осуществить это ужасное злодеяние! Разве вместо того чтобы покинуть грешника, боясь ужаса и позора, не надо было лобызать его ноги, называть его «сын мой» и «брат мой», чтобы смягчить его сердце и поддержать в нем дух, пусть всего только на день, – ведь, может быть, одного этого дня было бы достаточно, чтобы его спасти? Разве врач покинет когда-нибудь изголовье больного из страха перед заразой? Разве самаритянин отшатнулся брезгливо, увидев отвратительную язву еврея? Нет, он подошел к нему без боязни, он пролил на эту язву целительный бальзам, посадил больного к себе на лошадь и спас. А вы, чтобы сохранить свою душу, вы упустили случай вернуть блудного сына в объятия отца! Это вы, себялюбивая и жестокая душа, это вы будете дрожать от ужаса, когда придут бессонные ночи и глас божий спросит вас: «Каин, Каин, что сделал ты с братом своим?».

– Довольно, довольно, монсиньор! – вскричал монах, падая ниц и волоча бороду по пыли. – Пощадите меня, череп мой вот-вот расколется, я схожу с ума... Пойдемте, – сказал он, хватая кардинала за мантию, – пойдемте помолимся над его телом, прочтите над ним слова, отпускающие грехи, окропите его иссопом, который все очищает и обеляет, произнесите заклинания, способные сломить сатанинскую гордость, пролейте на него священный елей, который смывает с жизни всю грязь...

Тронутый его печалью, кардинал стоял в нерешительности.

– Уверены ли вы, что он с собой покончил? – спросил он. – Может быть, это произошло случайно, или, скорее всего, это кара небес, которую мы не вправе обсуждать, и через нее душа его обретет прощение. Что мы знаем? Он мог оступиться... В темноте... Это мог быть несчастный случай. Говорите, сын мой, у вас есть доказательства, что это самоубийство?

Магнус замялся; ему хотелось сказать: «нет», он надеялся обмануть провидение и, совершив над телом таинства церкви, спасти эту заблудшую душу, церковью осужденную; но он не посмел. Дрожа, он открыл всю правду, рассказав прелату о написанных на песке последних словах Стенио: «Магнус, скажи Лелии, что она может спать спокойно».

– Так это правда, – сказал прелат, заливаясь слезами, – от этой страшной истины никуда не уйти. Бедное дитя! Господь, правосудие твое сурово, а гнев ужасен!.. Магнус, – сказал он, помолчав, – скажите, чтобы закрыли двери часовни, и попросите кого-нибудь из дровосеков или пастухов предать тело земле. Церковь запрещает нам открыть перед ним врата храма и хоронить его на святой земле...

Решение кардинала напугало Магнуса больше, чем все остальное. Он с такой силой ударился головой о землю, что по его бледной щеке потекла кровь, а он этого даже не заметил.

– Ступай, сын мой, – сказал, поднимая его, прелат, – мужайся! Будем послушны правилам церкви, но не будем терять надежды. Господь велик, господь милостив – милосердию его нет предела. Мы только слабые люди, и ум наш ограничен. Ни один человек, будь он даже князь церкви, не вправе осуждать другого бесповоротнo. Агония грешника могла длиться долго. В то

время как он боролся с приближением смерти, божественный свет мог озарить его душу. Он мог раскаяться, и молитва его могла быть так горяча, так чиста, что примирила бы его с господом. Вы знаете, что не через причастие человек получает отпущение грехов, а через искреннее раскаяние; и одна минута такого искреннего покаяния может искупить всю греховную жизнь. Помогимся и смиримся. Быть может, в юности Стенио обладал такими добродетелями, что они способны смыть все последующие его проступки, а у нас в прошлой жизни могли быть такие прегрешения, которых не смоет и полная покаяния жизнь в настоящем и будущем. Идите, сын мой. Церковные правила не разрешают мне вносить это тело в храм и провожать его на кладбище с соблюдением всех обрядов, но, во всяком случае, церковь разрешает вам находиться возле тела, проводить его к месту его последнего упокоения и сотворить над ним молитву, какую подскажет вам милосердие, но только не ту, с которой хоронят по христианскому обычаю. Ступайте, это ваша прямая обязанность и единственная возможность поправить, насколько это в ваших силах, то зло, помешать которому вы не сумели. Вы должны вымолить прощение и ему и себе. Я со своей стороны тоже буду молиться, мы будем молиться все, но не хором и не в алтаре, а каждый у себя в молельне и в глубине души.

Несчастный монах вернулся к Стенио. Пастухи положили его в тень, у входа в пещеру, где женщины жгли кедровую смолу и ветки папоротника. Эти набожные горцы ожидали возвращения Магнуса, рассчитывая, что он принесет разрешение перенести тело в монастырь. Они положили его на другие носилки, которые сделали более искусно, чем первые, переплетя ветви кедра и ели, и теперь тело Стенио покоилось на постели из темной зелени. Дети осыпали его ароматными травами, а женщины надели на него венок из мелких белых цветов, что растут в низинах. Белые вьюнки и ломоносы, обвивающие края скал, свешивались над ним причудливыми гирляндами. Это смертное ложе, такое свежее и первозданно простое, осенялось балдахином из цветов и, напоенное самыми сладостными ароматами, было достойно принять последний сон юного и прекрасного поэта, почившего в мире.

Видя, что священник преклонил колена, горцы последовали его примеру; женщины, которых теперь было уже гораздо больше, чем утром, начали перебирать четки; все приготовились проводить покойника и монаха до ворот монастыря. Они долго ждали, но когда они увидели, что солнце уже садится, а Магнус все еще не велит им уносить тело, пораженные, они решились его спросить. Магнус растерянно посмотрел на них, пытался ответить им, но вместо этого стал бормотать какие-то несвязные слова. Тогда, видя, что печаль так помрачила его рассудок, и боясь еще больше досадить ему расспросами, один из старых дровосеков решил дойти со своими сыновьями до монастыря и узнать, каковы распоряжения аббатисы.

Через час дровосек вернулся, грустный, подавленный и молчаливый. Он не решался ничего сказать при Магнусе, и, когда все устремили на него вопрошающие взгляды, знаком отозвал своих товарищей в сторону. Все, кто толпился вокруг покойника из простого любопытства, потихоньку удалились и сошлись снова уже на некотором расстоянии. Там они узнали о самоубийстве Стенио и о том, что кардинал не разрешил хоронить его в освященной земле. Их это поразило и преисполнило страхом.

Если твердость, благородство и милосердие не давали кардиналу отчаиваться, что душа Стенио будет спасена, то эти простые, ограниченные люди были потрясены известием о преступлении, столь строго осужденном католической церковью. Старухи первые начали его проклиная.

– Он убил себя! Нечестивец! – вскричали они. – Какой же он великий грешник! Выходит, он недостоин наших молитв; церковь отказывает ему в погребении в освященной земле. Должно быть, он содеял нечто ужасное – ведь монсиньор так милостив, так праведен! Верно, какая-то постыдная язва разъедала сердце этого человека, раз он не надеялся на прощение и сам сотворил над собою суд. Не будем его жалеть. Да и церковь нам запрещает молиться за тех, кто проклят. Идемте отсюда; пусть отшельник делает свое дело; это он должен сторожить его ночью. Он умеет творить заклинания; если дьявол явится за своей добычей, он его прогонит. Пойдемте.

Испуганные девушки не заставили себя просить и бросились вслед за своими матерями, и кое-кому из них, когда они шли по лесу, среди густых кустов мерещилась одетая в белое фигура

и чудились чьи-то легкие шаги по влажной от росы траве и печальный голос, жалобно моливший: «Повернись, девушка, и взгляни на мое бледное лицо. Я грешная душа и иду на суд божий. Молитесь за меня». Они ускоряли шаги и, бледные и дрожащие, торопились поскорей добраться до дома; и ночью еще сквозь сон им все чудилось, что какой-то слабый и таинственный голос шепчет: «Молитесь за меня».

Пастухи, привыкшие к лесному безмолвию и бессонным ночам, не были столь подвержены этому суеверному страху. Некоторые из них остались с Магнусом около покойника. Они воткнули у его изголовья четыре факела из смолистой сосны и расстелили на земле овечьи шкуры, чтобы укрыться от ночного холода. Но когда факелы разгорелись, на мертвое тело начали падать синеватые отблески. Колыхавший факелы ветер озарял каким-то зловещим светом обреченное на распад лицо, и колебания пламени передавались время от времени его чертам и всему телу мертвеца. Пастухам начало казаться, что он открывает глаза и поднимает руку, словно собираясь встать. Страх обуял их, и, не решаясь признаться другому в своем малодушии, каждый из них втайне решил уйти. Отшельник, чье присутствие ободряло их, теперь казался им страшнее покойника. Его неподвижность, безмолвие, бледность и печать какого-то раздумья на складках облысевшего, лоснящегося лба делали его похожим на духа тьмы. Они решили, что скорее всего это демон принял обличье человека, чтобы проклясть юношу и столкнуть его в озеро, и что теперь вот он сидит и сторожит свою добычу, дожидаясь полуночи, чтобы справить дьявольский шабаш.

Один из них, похрабрее, предложил прийти утром, чтобы вырыть могилу и опустить в нее покойника. «Не понадобится», – ответил ему другой, оцепеневший от страха. И все поняли почему. Пастухи переглянулись и испугались самих себя, увидав, как бледны их лица. Они спустились в долину и разошлись там, едва держась на ногах, готовые принять друг друга за привидения.

65

Оставшись наедине с покойником, Магнус даже не заметил, как ушли пастухи. Он стоял все время на коленях, но не молился и ни о чем не думал – он был сломлен. Он чувствовал, что еще жив, лишь благодаря острой боли в голове; он так сильно ударился, что едва не проломил череп. Это физическое ощущение боли, присоединившееся к тягостным душевным переживаниям, окончательно погрузило его в состояние оцепенения, близкое к идиотизму.

Но, увидев перед собою бледное лицо Стенио, спавшего ангельским сном, он улыбнулся отвратительной улыбкой белому савану и венку из цветов и пробормотал:

– О женщина! О красота!..

Потом он взял умершего за руку, и холод смерти смирил его жар и рассеял фантастические видения бреда. Он понял, что перед ним не спящая женщина, а мужчина в гробу и тот, в чьей гибели он считал себя виновным. Оглянувшись, он не увидел кругом ничего, кроме черных скалистых стен, на которых то тут, то там вспыхивали отблески факелов; он не услышал ничего, кроме завывания ветра в ущельях, и вдруг ощутил весь ужас одиночества; все ночные страхи огромной ледяною горой сдавили ему голову. Он увидел, как возле него что-то шевелится, будто кто-то карабкался по скале. Он закрыл глаза, чтобы только не видеть; через некоторое время он снова открыл их и, пристально всматриваясь в темноту, увидел совсем близко какую-то страшную, черную фигуру. Он смотрел на нее около часа, боясь пошевелиться, сдерживая дыхание, чтобы только ничем не привлечь внимание призрака, который, как ему казалось, вот-вот встанет и ринется на него. Пламя смоляного факела, начертавшее на скале профиль Магнуса, погасло, и призрак исчез: монах так и не догадался, что то была его собственная тень.

В кустах послышались вдруг чьи-то легкие шаги: может быть, это была серна, привлеченная светом. Магнус перекрестился и, дрожа от страха, взглянул на тропинку, ведущую в долину: ему показалось, что перед ним женщина в белом одеянии, что она идет куда-то одна в ночи; сердце его забило, он готов был броситься ей навстречу, но страх удержал его. Да, то был призрак, он явился за Стенио, то была тень, вышедшая из могилы, чтобы оглашать своими криками

тьму. Магнус обхватил лицо руками, завернулся с головой в капюшон и забился в угол, решив ничего не видеть, не слышать. Но так как все было тихо, он все же немного приободрился и поднял голову: то была аббатиса монастыря камальдулов, стоявшая на коленях перед Стенио.

Магнус хотел закричать, но язык его не слушался. Он хотел бежать, но ноги его были холодны и неподвижны, как гранитные скалы. Он смотрел на нее блуждающим взглядом, протянув руку, не поднимая надвинутого на лицо капюшона.

Лелия наклонилась над смертным одром. Лицо ее было наполовину скрыто белым покрывалом; она сама казалась такой же оцепеневшей, как Стенио, достойной невестою мертвеца.

Она слышала разговоры пастухов; ей захотелось взглянуть на останки Стенио. Увидав издали зловещий огонь, зажженный перед гротом, она пришла сюда одна, без страха, без угрызений совести, возможно даже и без страдания!

Но при виде этого прекрасного чела, на которое легла тень смерти, она почувствовала, что сердце ее смягчилось; жалость невольно овладела этой душою, мрачной и спокойной в своем безнадежном горе.

– Да, Стенио, – сказала она, как бы не замечая присутствия монаха. – Мне жаль тебя – ведь ты меня проклял. Мне жаль тебя – ты ведь не понял, что господу, сотворившему нас, не было угодно соединить наши судьбы. Ты же думал, что мне доставляло удовольствие умножать твои мучения. Ты думал, что я хотела отметить тебе за все муки и разочарования моей юности. Ты ошибался, Стенио, и я прощаю тебе проклятие, которое ты мне послал. Тот, кто судит даже мысли наши раньше, чем мы сами о них догадываемся, тот, кто ежечасно перелистывает книгу наших жизней и кто безошибочно читает еще не вписанные туда предназначения наши, не принял твоих угроз и не осуществит их, Стенио. Он не станет тебя наказывать за них, ибо ты был слеп; он не покарает твоей слабости, ибо ты не захотел довериться мудрости, исходившей не от тебя. Ты дорого заплатил за свет, который озарил тебя в последние дни твоей жизни, и господь не станет упрекать тебя за то, что ты так долго блуждал в потемках. Но страшное и скорбное познание, которое ты уносишь с собою, не требует искупления, ибо губы твои высохли, отведав плода, который ты сорвал!

Но господь, я в это твердо верю, господь соединит нас с тобою в вечной жизни. Склонясь у его ног, мы услышим его советы, и мы узнаем тогда, почему он разлучил нас в жизни земной. Когда ты прочтешь на его лучезарном челе тайну непостижимой для смертных воли, и гнев твой и изумление исчезнут бесследно.

Тогда, Стенио, ты перестанешь меня ненавидеть, ты не будешь больше упрекать меня в несправедливости и жестокости. Когда господь воздаст каждому из нас по заслугам, определит каждому работу по его силам, ты поймешь, о несчастный, что мы не могли следовать с тобою по одному пути, к одной цели. Наши горести не одинаковы. Наш строгий господин, которому мы служили, объяснит нам тайну наших страданий. Открывая нам ослепительную стезю вечной искренности, он скажет нам, почему он подготовил союз наших душ путями такими тайными, что мы о них ничего не знаем. Он покажет тебе, Стенио, мое сердце, истекавшее кровью, сердце, которое ты обвинял в жестокости и презрении. Страх, с которым ты выслушивал мои речи, унижение, которое омрачало твой взгляд, когда я признавалась, что не могу полюбить тебя, смятение в мыслях твоих – все превратится в глубокое сострадание. Лелия, которую ты считал настолько выше себя, которая была для тебя чем-то недостижимым, унижится перед тобою; ты забудешь, как забыла она сама, то восхищение и почет, которыми ее окружали, ты узнаешь, почему она была всегда одинока и ни у кого не просила помощи.

Слившись под взором всевышнего в небесном блаженстве, каждый из нас мужественно исполнит задачу, которая выпадет ему на долю. Взгляды наши встретятся и еще сильнее укрепят в нас веру и силы; воспоминания о перенесенных невзгодах исчезнут как сон, и мы будем спрашивать себя, действительно ли мы жили.

Она наклонилась над Стенио, вытащила из венка увядший цветок, приколола его к груди и стала спускаться по тропинке, ведущей в долину, не обратив ни малейшего внимания на монаха, который стоял в тени, прислонившись к скале, и не спускал с нее глаз.

Рассудок Магнуса совсем уж помутился: он ничего не мог понять из речей Лелии. Он ви-

дит только ее, видел, что она прекрасна; страсть пробудилась в нем с новой силой; он думал лишь о своих желаниях, которые так долго сдерживал и которые теперь снедали его.

Когда он увидел, что она говорит со Стенио, его охватила страшная ревность, такая, какой он никогда не испытывал, ибо для этого не было повода. Он ударил бы Стенио, если бы смел. Но это мертвое тело внушало ему страх, и желание разгорелось в нем, становясь еще ожесточеннее, чем месть.

Он бросился вслед за Лелией и на повороте тропинки схватил ее за руку.

Лелия обернулась, не вскрикнув, даже не вздрогнув, и взглянула на это бледное лицо, на эти налитые кровью глаза, на дрожащие губы без страха и, пожалуй, даже без удивления.

– Женщина, – сказал монах, – ты достаточно меня мучила, дай же мне утешение, полюби меня.

Лелия не узнала в этом лысом и сгорбленном монахе священника, которого всего несколько лет назад видела молодым и гордым. В удивлении она остановилась.

– Отец мой, – сказала она, – обратитесь к богу: только он один может вас утешить.

– Неужели ты не помнишь, Лелия, – продолжал монах, не слушая ее, – ведь это же я спас тебе жизнь! Без меня ты погибла бы в развалинах монастыря, где прожила два года. Помнишь? Я бросился в эти развалины и едва не разбился насмерть, вытащил тебя из-под обломков, посадил к себе на лошадь и вез целый день, держа тебя в объятиях и даже не решаясь поцеловать твоё одеяние. Но с этого дня в груди моей вспыхнул жестокий огонь. Напрасно я постился и творил молитву, – господу не угодно было меня исцелить. Надо, чтобы ты меня полюбила: когда я буду знать, что меня любят, я исцелюсь; я покаюсь и спасу свою душу. Иначе я снова сойду с ума и буду навеки проклят.

– Я узнаю тебя, Магнус, – ответила она. – Увы! Вот до чего тебя довели покаяние и борьба!

– Не смейся надо мной, женщина, – ответил он, мрачно на нее глядя, – ибо сейчас я могу ненавидеть так же сильно, как и любить. И если ты меня оттолкнешь... Не знаю уж, что мне тогда подскажет гнев...

– Отпусти мою руку, Магнус, – спокойно и презрительно сказала Лелия. – Сядь на эту скалу, и я кое-что тебе скажу.

Голос ее звучал так властно, что монах, привыкший к беспрекословному повиновению, машинально послушался и сел в двух шагах от нее. Сердце его билось так сильно, что он не мог выговорить ни слова. Он сжал руками свою разрывающуюся от боли голову, которая была в крови, и напряг все свои силы и память, чтобы все выслушать и понять.

– Магнус, – сказала Лелия, – если бы тогда, когда вы были еще молоды и занимали известное положение в обществе, вы спросили меня, какой род деятельности вам избрать, я никогда бы не посоветовала вам стать священником. Ваши страсти не могли подчиниться строгим правилам монашеского обета, и вы этим правилам следовали только внешне. Вы были плохим священником; но бог простит вас за ваши страдания. Вам уже поздно возвращаться теперь к мирской жизни, у вас не хватит сил быть добродетельным. Надо жить в воздержании. Вы должны жить отшельником, пока не окончатся ваши страдания, а вам не так уже долго ждать. Взгляните на ваши руки, на ваши седые волосы. Тем лучше для тебя, Магнус. Почему я не так близка к могиле? Несчастный, мы ничем не можем помочь друг другу. Ты ошибся, ты отрекся от жизни, и тебе захотелось жить; теперь ты боишься жить и все-таки думаешь, что еще можешь быть счастливым. Безумец! Уже больше некогда думать об этом. Еще несколько лет назад ты мог обрести счастье в своей свободе. Разум твой мог еще проясниться, душа – избавиться от напрасных угрызений совести. Но теперь страх, разочарование и отвращение будут тебя преследовать всюду. Ты не сможешь изведать любовь, ты будешь считать ее преступлением, и привычка клеймить, называя грехом, все законные радости жизни сделает тебя преступным и порочным перед лицом своей совести, даже когда ты будешь в объятиях самой чистой женщины. Уйми себя, бедный отшельник, смири свою гордость. Ты считал себя в силах выполнить страшный обет безбрачия. Говорю тебе, ты ошибся. Но не все ли равно? Ты уже достиг предела твоих мучений; подумай о том, чтобы они не оказались бесплодными. Ты не был достаточно высок, чтобы господь мог простить тебе твоё отчаяние. Смирись перед его волей.

Магнус слушал ее, но мозг его ничего не мог воспринять. Он страдал; ему казалось, что Лелия смеется над ним; спокойное лицо этой женщины, ее гордый вид глубоко его унижали. По временам он просто ненавидел ее, и ему хотелось бежать от нее и скрыться; но ему казалось, что она держит его дьявольской силой своих глаз.

Лелия не обращала на него никакого внимания. Она задумалась; казалось, она что-то решала.

– Слушай, – сказала она ему после минуты молчания и раздумья. – Вместо того чтобы предаваться недостойным мыслям, помоги мне исполнить последний долг перед мертвым: он достаточно скитался, достаточно мучился в своей жизни; надо, чтобы останки его почтили в мире и чтобы нога прохожего не тревожила его праха. Я знаю место, где он может лежать, никому не ведомый, лишенный церковного погребения, ибо такова воля монсиньора, но не лишенный уважения, которое должно воздавать мертвым, и общих молитв, которые читаются на кладбищах. Положи его на плечи и следуй за мной.

Магнус заколебался.

– Куда же я его понесу? – спросил он со страхом. – Монсиньор не разрешает хоронить его по христианскому обычаю, а вы говорите о том, чтобы нести его на кладбище?

– Делай, что я тебе велю, – сказала Лелия. – Я лучше тебя знаю, что думает монсиньор. Вынужденный исполнять церковные правила и не желая при подобных обстоятельствах нарушать их, чтобы оказать снисхождение самоубийце, он должен был отдавать тебе распоряжения, которые мне он позволит нарушить. Слушайся меня, Магнус, я тебе приказываю.

Лелия знала свое влияние на Магнуса. Он машинально повиновался ей, даже не сознавая, что делает. Он донес труп Стенио до кладбища монастыря камальдулов. В одном из темных углов этого сада только что вырвали с корнем сломанный грозой старый тис. Образовавшуюся при этом яму не успели зарыть. С помощью аббатисы Магнус положил туда тело и прикрыл его землею и дерном; потом, весь дрожа от волнения, он направился в свою пещеру, в то время как Лелия, склонившись над могилой поэта, молила бога быть к нему милосердным и в безмерной мудрости своей не обречь его душу на безысходное страдание, а возвратить в горнило вечности обломки металла, разбитого испытаниями этой жизни.

66

За смертью Стенио последовали другие трагические события. Кардинал очень скоро умер от столь тяжкого и столь быстро развившего недуга, что распространился слух, что его отравили. Магнус покинул свою келью. Несколько дней он бродил в горах, одержимый иступленным бредом. Пораженные горцы слышали во мраке ночи его страшные, душераздирающие крики; его неровные торопливые шаги сотрясали тихие пороги их хижин, и, опасаясь встречи с ним, они не спали по целым ночам, дрожа от страха. Наконец он исчез из этих мест и нашел прибежище в картезианском монастыре. Но вскоре в обители этой начались странные разоблачения, опорожившие жизнь самых прославленных и достойных людей. Аннибал погиб, не успев перед смертью дать никаких объяснений. Многие епископы, разделявшие его благородные взгляды, множество священников, выделявшихся среди прочего духовенства своей просвещенностью и благородством своего поведения, очутились в опале.

Что же касается Лелии, то думали, что подобного наказания было бы недостаточно, чтобы искупить ее преступления, и что ее следовало бы подвергнуть унижению и позору. Инквизиция готовила суд над ней. Влиятельный прелат, который оказывал ей поддержку, был уничтожен. Новое направление, которое они сами и их последователи придали религиозным идеям, глубоко возмутило людей, и то, что было сначала только подспудным ропотом, вспыхнуло вдруг и решило мстить. Яд клеветы пролился на еще свежую могилу кардинала – нечистая жертва, принесенная дьявольским страстям. Начали перебирать неизвестные дотоле поступки кардинала и, вместо того чтобы осудить те, которые этого заслуживали, их обошли молчанием, чтобы сосредоточиться только на последних годах его жизни, на тех самых, которые благодаря влиянию Лелии обрели чистоту, какой только могла хотеть сама Лелия, проникнутая глубокой симпатией к Ан-

нибалу. Люди с особенным удовольствием обливали грязью клеветы эту священную дружбу, которая могла бы принести великую пользу церкви, если бы только церковь, как и всякая власть, конец которой близок, не старалась сама поскорее низвергнуться в пропасть, на дне которой она спит и ныне без всякой надежды на пробуждение.

Итак, аббатису камальдулов обвинили в том, что она оказалась неверной невестой Христа и завлекла на путь гибели князя церкви, который, говорили они, до своей пагубной связи с ней был одним из столпов веры. Кроме того, ее обвинили в том, что она проповедовала какие-то новые и странные учения, пропитанные мирскими страстями и носящие на себе печать ереси; помимо этого, – в том, что она находилась в преступной связи с нечестивцем, который по ночам являлся к ней в келью; наконец, верхом ее отступничества и святотатства сочли то, что она похоронила тело этого нечестивца в земле, где покоились монахини монастыря камальдулов, что было нарушением законов церкви, запрещающих хоронить в освященной земле атеистов, самовольно лишаящих себя жизни, нарушением монастырского устава, запрещающего хоронить мужчин на кладбище, отведенном для девственниц.

По этому последнему пункту обвинения Лелия поняла, откуда ей нанесен удар. Сомнения ее окончательно рассеялись, когда, вызванная своими мрачными судьями для того, чтобы дать отчет в своем поведении, она увидела возле них Магнуса. Все эти наветы его были ей до того отвратительны, что она отказалась отвечать на вопросы и не пыталась ни в чем оправдаться. Магнус так дрожал перед ней, что, если бы только судьи были беспристрастны, волнения обвинителя и спокойствия обвиняемой было бы достаточно, чтобы решить, на чьей стороне истина. Но приговор был предreshен, и прения сторон носили чисто формальный характер. Лелия почувствовала, что слишком презирает Магнуса, для того чтобы, в свою очередь, его обвинять. Она ограничилась тем, что сказала ему, увидав, что он шатается и опирается о плечо одного из подручных инквизиции:

– Успокойся, земля не разверзнется у тебя под ногами. Наказание ждет тебя в твоем же сердце. Не бойся, что я буду платить тебе раной за рану, оскорблением за оскорбление. Довольно, несчастный, мне жаль тебя, я знаю, какому подлому страху ты повинешься, возводя на меня клевету. Сгинь, скройся от всех глаз – и не надейся несправедливыми путями войти в царство небесное. Да просветит тебя господь и да простит, как сама я тебя прощаю!

В числе обвинителей Лелии были также две монахини, из тех, что всегда ненавидели ее за ее любовь к справедливости и надеялись занять ее место. Они обвиняли ее в том, что она поддерживала связь с карбонариями и что вместе с кардиналом способствовала бегству жестокого нечестивца Вальмарины. В довершение всего, они вменили ей в преступление то, что она безрассудно расточала монастырские богатства и во время голода распорядилась продать золотые чаши и другие драгоценные вещи, составлявшие сокровища церкви, чтобы оказать помощь бедствовавшим жителям страны. Когда ее спросили об этом, Лелия с улыбкой ответила, что признает себя виновной.

Суд приговорил ее к лишению сана. Оглашать этот приговор должны были публично, в присутствии всей общины, и старались собрать как можно больше народа, но явились далеко не все приглашенные, а те, что, движимые любопытством, все же пришли, вернулись глубоко потрясенные спокойным достоинством, с которым подвергавшаяся унижениям аббатиса выслушивала все оскорбительные слова, заставляя бледнеть тех, кто наносил ей эти обиды.

Вслед за тем ее сослали в полуразрушенный картезианский монастырь, составлявший собственность общины камальдулов, в северном горном краю; часть этого монастыря была превращена в нечто вроде тюрьмы для совершивших преступление монахинь. Это было холодное и сырое помещение, со всех сторон окруженное соснами, постоянно влажными от низко нависших и застилающих все вокруг облаков.

Приехавший туда год спустя Тренмор нашел Лелию умирающей и употребил всю свою власть на то, чтобы склонить ее нарушить обет и бежать с ним куда-нибудь в другую страну. Но Лелия была непреклонна в своем решении.

– Какая разница, – сказала она, – умру я здесь или где-нибудь в другом месте, проживу я несколькими неделями больше или меньше? Разве я недостаточно страдала? Разве небо не дало

мне наконец права войти в обитель отдохновения? К тому же я должна оставаться здесь, чтобы смутить ненавидящих меня врагов и чтобы опровергнуть их предсказания. Они надеялись, что я постараюсь уклониться от мученичества. Ожидания их не оправдаются. Людям совсем не худо бы увидеть, какая разница между ними и мной. Идеи, которым я посвятила себя, требуют, чтобы поведение мое было примером, чтобы в нем не было места слабости и чтобы оно не давало повода для упрека. Поверьте, в моем теперешнем состоянии сила эта мне дается легко.

Тренмор видел, как быстро она угасала, оставаясь все такой же красивой, такой же спокойной. Но уже перед самой смертью она пережила минуты смятения и отчаяния. Мысль, что прежний мир приходит к концу, а никакого нового нет, была ей горька и невыносима.

– Как, – говорила она, – неужели же всему существующему, как и мне, надлежит умереть и погибнуть, не оставив после себя преемников, которые могли бы все унаследовать? В течение нескольких лет я думала, что, ценою полного отказа от всякого удовлетворения моих страстей, я смогу жить милосердием и радоваться будущему человечества. Но разве я в силах полюбить человечество, слепое, отупевшее и злобное? Чего мне ждать от поколения без совести, без веры, без разума и без сердца?

Напрасно Тренмор пытался убедить ее, что она заблуждается, стараясь найти будущее в прошедшем.

– Там может находиться, – говорил он, – только таинственный зародыш, которому пришлось бы развиваться долго, ибо, для того чтобы он мог начать жить, надо, чтобы старый ствол был срублен и высох. До тех пор, пока будут существовать католицизм и католическая церковь, – говорил он, – у людей не будет ни веры, ни религии, ни прогресса. Надо, чтобы эта развалина рухнула и чтобы вывели все обломки, – тогда на земле будут произрастать плоды там, где теперь одни только камни. Ваша возвышенная душа, душа Аннибала и многих других привязаны к последним лохмотьям веры, и вам всем даже в голову не приходит, что лучше было бы сорвать эти лохмотья, дабы обнажить скрытую за ними истину. Новая философия, вера более чистая и более просвещенная, всходит на горизонте. Мы приветствуем пока только зарю ее, неясную и бледную; но просвещение и вдохновение, которые составляют жизнь человечества, будут так же присущи жизни будущих поколений, как солнце, которое каждое утро всходит над спящей и окутанной мраком землей.

Пылкая душа Лелии не могла открыть себя этим далеким надеждам. Она никогда не умела жить одними надеждами на будущее, если только не чувствовала, что сила, которая должна создать это будущее, как-то воздействует на нее самое или же от нее исходит. Сердце ее было раздираемо бесчисленными потребностями, и теперь оно должно было остановиться, так и не удовлетворив ни одной из них. Этому великому страданию нужно было столь же великое утешение, которое могло бы вселить в душу уверенность. Она простила бы небу, что оно лишило ее всякого счастья, если бы могла ясно прочесть в человеческих судьбах грядущего нечто лучшее по сравнению с тем, что выпало ей на долю.

Однажды ночью Тренмор встретил ее на вершине горы. Стояла ужасная погода: дождь лил потоками, в лесу завывал ветер, и деревья вокруг трещали. Бледные вспышки молнии бороздили тучи. Накануне Тренмор оставил ее в келье совсем слабой и обессиленной; он боялся, что она не протянет до утра. Видя, что она бродит по скользким скалам, вся забрызганная пеной потоков, которые множились вокруг нее и становились все полноводней, Тренмор решил, что видит ее призрак, и стал призывать ее, как призывают духов; но она взяла его за руку и притянула к себе. И вот что она сказала ему своим твердым голосом, устремив на него горевший темным пламенем взгляд.

67. БРЕД

– По ночам у меня бывают часы непомерной муки. Сначала это только смутная грусть, какое-то необъяснимое недомогание. Весь мир наваливается на меня, и я едва волочу ноги, совсем разбитая, изнемогая под тяжестью жизни, словно карлик, которому приходится нести на плечах великана. В такие минуты мне надо вырваться вон, как-то облегчить мою ношу. Я хотела бы об-

нять вселенную как мать, как сестру, но у меня такое чувство, что вселенная меня вдруг отталкивает и надвигается на меня, чтобы меня раздавить, как будто я, ничтожный атом, оскорбляю ее тем, что призываю к себе. Тогда поэтический и нежный порыв моей души превращается в ужас, в упрек. Я начинаю ненавидеть вечную красоту светил и великолепие окружающего мира, которыми обычно люблю, и вижу во всей этой красоте только неумолимое равнодушие, которое сильный испытывает к слабому. Я вступаю в разлад со всем, и душа моя отчаянно стонет в этом мире, как струна, которая рвется посреди торжествующих мелодий священной музыки. Когда небо спокойно, мне чудится, что за ним скрывается жестокий бог, чуждый моим желаниям и нуждам. Когда буря потрясает стихии, я узнаю в них, как и в себе, бесполезное страдание – крики, которых никто не слышит!

Да, да! Увы, это так! Отчаяние царит в мире, все поры творения источают жалобу и муку. Волна эта со стоном бьется о прибрежный песок, ветер жалобно воет в лесу. Все эти деревья, которые гнутся и поднимаются, чтобы снова пасть под ударами бури, претерпевают ужасную пытку. Есть некое несчастное, проклятое существо, огромное, страшное и такое, что наш мир не может его вместить. Это невидимое существо проникает всюду и оглашает пространство своими вечными стенаниями. Оно сделалось пленником вселенной, оно волнуется, мечется, бьется головой о пределы земли и неба. Оно не может раздвинуть их, все давит его, все теснит, все прокликает, все терзает, все ненавидит. Кто же оно и откуда явилось? Что это, мятежный ангел, которого изгнали из рая? И не есть ли весь наш мир ад, который стал для него тюрьмой? Или это ты, сила, которую мы чувствуем и видим? Или это вы, гнев и отчаяние, которые открываетесь нашим чувствам и передается им? Или это ты, вечная ярость, гремящая над нашими головами и грохочущая на небе? Или это ты, дух неведомый и только ощутимый, который одновременно и господин и слуга, и раб и тиран, и тюремщик и узник? Сколько раз чувствовала я твой пламенный полет над моей головой! Сколько раз твой голос вызывал из глубины моего существа слезы сострадания, которые лились как горный поток или как дождь, хлынувший с неба! Когда ты во мне, я слышу твой голос, который кричит мне: «Ты страдаешь, ты страдаешь...». А мне хочется обнять тебя и плакать на твоей могучей груди; мне кажется, что страдание твое, как и мое, не знает предела и что муки мои нужны тебе, чтобы проникновенная жалоба звучала полнее. И я тоже кричу «Ты страдаешь, ты страдаешь...», но ты проходишь мимо, ты исчезаешь: ты умиротворяешься или засыпаешь. Луч луны разгоняет твои тучи, и кажется, что самая далекая звезда, которая блестит из-под твоего савана, смеется над твоим горем и повергает тебя в молчание. Порою мне чудится, что дух твой уносится шквалом, будто огромный орел, чьи крылья застилают собой все море и чей последний крик замирает среди волн. И я вижу, что ты побежден: побежден, как я; как я, слаб; как я, повержен. Небо озаряется и светится огнями радости, а мною овладевает какой-то бессмысленный ужас.

Прометей, Прометей, ты ли это, ты, который хотел освободить человека от оков судьбы? Ты ли это, повергнутый ревнивым богом и пожираемый твоей неизбывною желчью, падаешь в изнеможении на свою скалу, не сумев освободить ни человека, ни себя самого, его единственного друга, его отца, может быть – его истинного бога? Люди дали тебе тысячи символических имен: смелость, отчаяние, бред, возмущение, проклятие. Одни называли тебя дьяволом; другие – преступлением: я называю тебя желанием.

Я сивилла, скорбная сивилла, я дух древних времен, которого заточили в мозг, не способный откликнуться на божественный зов, разбитая лира, умолкнувший инструмент, чьи мелодии были бы непонятны современным людям, но в глубине которого таятся едва слышные звуки вечной гармонии! Я жрица смерти, я чувствую, что уже была пифией, уже плакала, уже вещала, но, увы, не помню, не знаю слов, которые исцеляют; да, да, я вспоминаю о священных пещерах, таивших истину, и о провидческом исступлении, но я позабыла слово, открывающее тайны судьбы, потеряла талисман, несущий свободу. А меж тем я многое видела на свете, и когда страдание теснит меня, когда меня снедает негодование, когда я чувствую, как Прометей мечется у меня в груди и бьется своими огромными крыльями об камень, к которому он прикован, когда ад грохочет подо мной, как вулкан, готовый меня поглотить, когда духи моря приходят плакать у моих ног, а духи эфира трепещут над моим челом... О, тогда, одержимая бредом, которому нет

имени, безграничным отчаянием, я ищу своего повелителя и неведомого друга, дабы он просветил мой ум и развязал мне язык... Но я тычусь в потемках, и мои усталые руки обнимают только обманчивые тени.

О истина, истина! Чтобы отыскать тебя, я спускалась в пропасти, от одного вида которых у самых храбрых людей кружилась голова. Вместе с Данте и Вергилием я прошла сквозь все семь кругов волшебного сна. Вместе с Курцием я бросилась в бездну, которая тут же закрылась; я разделила с Регулом его страшную пытку; я всюду оставляла свою плоть и кровь; вместе с Магдалиной я припадала к подножию креста, и мой лоб омочен кровью Христовой и слезами Марии. Я всю жизнь искала, все выстрадала, во все верила, все приняла. Я становилась на колени перед всеми виселицами, меня сжигали на всех кострах, я падала ниц перед всеми алтарями. Я требовала от любви ее радостей, от веры – ее таинств, от страдания – его возвышающей силы. Я хотела служить богу всем, чем могла, я безжалостно измеряла глубины моего сердца, я вырвала его из груди, чтобы рассмотреть, я разодрала его на тысячу частей, я пронзила его тысячью кинжалов, чтобы лучше его познать. Я приносила в жертву эти разодранные куски всем богам небес и преисподней. Я вызывала всех духов, боролась со всеми демонами, молила всех святых и всех ангелов, я отдала себя всем страстям. Истина! Истина! Ты не открылась. Десять тысяч лет ищу я тебя и до сих пор не нашла!

И десять тысяч лет, вместо ответа на мои крики, вместо облегчения моих предсмертных страданий, я слышу только, как разносится над этой проклятой землей отчаянный вопль бесильного желания! Десять тысяч лет я ощущала тебя в своем сердце и не могла понять тебя умом, не могла найти страшное заклинание, которое открыло бы тебя людям и позволило тебе царить на земле и на небе. Десять тысяч лет я кричала в пространство: «Истина! Истина!». Десять тысяч лет пространство отвечало мне: «Желание! Желание!». О скорбная сивилла, о безмолвная пифия, разбей себе голову о скалы твоего грота и смешай свою дымящуюся от ярости кровь с морскою пеной, ибо ты думала, что владеешь тайной всемогущего Слова, и десять тысяч лет ты его ищешь напрасно.

...Лелия еще не кончила говорить, но Тренмор к ужасу своему почувствовал, как ее горячая рука, которую он держал в своей, холодеет. Потом она поднялась и как будто хотела броситься вниз. Тренмор пытался ее поддержать, но она совсем ослабела и упала на камень. Она была мертва.

Всю жизнь Лелия провела под южным небом, она ненавидела страны, к которым солнце недостаточно щедро. Холод очень быстро ее убил, будто действуя заодно с ее врагами. Погубившая ее клика уже пала; на смену ей явилась другая, желавшая унижить свою соперницу, возвеличив память тех, кого та низвергла. Кардиналу были устроены великолепные похороны, а останки аббатисы были перенесены в монастырь камальдулов, где ее стали чтить как мученицу, как святую. Лелию похоронили на кладбище, и Тренмору было разрешено воздвигнуть памятник Стенио на противоположном берегу, неподалеку от заброшенной кельи отшельника; туда-то и перенесли останки поэта, которые было велено убрать из монастыря.

Вечером, похоронив обоих своих друзей, Тренмор медленными шагами спустился к берегам озера. Взошла луна; она освещала своими косыми лучами две разделенных озером белых могилы. Как всегда, над затуманенною поверхностью воды появились блуждающие огни. Тренмор печально взирал на их белый свет и на грустный их танец. Он заметил две звездочки: явившись с противоположных берегов, они встретились, помчались друг за другом и так и оставались вместе всю ночь, то играя вдвоем в камышах, то скользя по спокойным водам, то едва мерцая в тумане, как две догорающие лампы. Тренмор был захвачен суеверной и соблазнительной мыслью. Целую ночь он следил за этими неразлучными огоньками, которые искали друг друга и друг за другом гнались, как две влюбленные души. Два или три раза они приближались к нему, и он называл их дорогими ему именами и плакал над ними, как ребенок.

На рассвете все огоньки потухли. Две таинственные звездочки держались еще некоторое время на середине озера как будто им было тягостно расставаться. Потом они разошлись в разные стороны, будто каждая торопилась вернуться к родной могиле. Когда они совсем исчезли, Тренмор провел рукою по лбу, словно стремясь отогнать какой-то сон, оставшийся от ночи,

страдальческой и томной. Он подошел к могиле Стенио и на мгновение остановился перед ней в нерешительности.

– Как же я буду жить без вас? – воскликнул он. – Кому я теперь могу быть полезен? Чья участь будет мне дорога? На что нужны и мудрость моя и сила, если у меня больше нет друзей, которых я бы мог утешить и поддержать? Не лучше ли было бы и мне лежать здесь, в могиле, на берегу этого чудесного озера, близ этих двух безмолвных могил?.. Но нет, я еще не до конца искупил свой грех: Магнус, может быть, еще жив, может быть, я смогу его исцелить. К тому же всюду есть люди, которые борются и страдают, всюду есть долг, который надо выполнять, сила, которую надо применить к делу, предназначение, которое надо осуществить.

Он издала поклонился мраморной плите, под которой покоилась Лелия. Он поцеловал ту, под которой опочил Стенио; потом посмотрел на солнце, на этот факел, призванный светить человеку в его труде, на этот вечно яркий маяк, указующий ему на землю, куда изгнан человек, где надо идти и действовать и где безмерность небес всегда раскрыта для сильного духом.

Он взял свой посох и двинулся в путь.

КОММЕНТАРИИ

Роман «Лелия» впервые был напечатан в 1833 году. У этой книги долгая и сложная история. «Лелия» имеет два совершенно различных варианта, 1833 и 1839 года. (Во всех собраниях сочинений обычно печатается окончательный вариант романа 1839 года.) Эта редакция романа печатается и в настоящем собрании сочинений.

В основу «Лелии» легла повесть Жорж Санд «Тренмор», написанная в 1832 году и предназначенная для журнала «Ревю де де монд», где писательница начала сотрудничать с декабря того же года. Редактор журнала Бюлоз отклонил «Тренмора». Текст повести не сохранился, о нем можно судить лишь по письму Гюстава Планша, критика «Ревю де де монд», к Жорж Санд от 18 декабря 1832 года.

В центре повести была история Тренмора, раскаявшегося игрока, попавшего на каторгу из-за шулерских проделок. Автора интересовала проблема нравственного перерождения под влиянием страдания. Лелия и Стенио играли в повести второстепенную роль, они только выслушивали исповедь Тренмора. По словам Планша, Лелия и Стенио «были освещены в повести скупым и неярым светом». Узнав, что Бюлоз отклонил повесть, Жорж Санд решает переработать ее в роман, значительно изменив сюжет и сконцентрировав все внимание на внутреннем мире Лелии. Утверждение писательницы, что она писала «Лелию» «как придется, не думая создавать цельное произведение, предназначенное для печати» («История моей жизни» т.IV), не совсем верно. Начиная с января 1833 года, более полугодом, Жорж Санд усиленно работает над «Лелией», неоднократно изменяя первоначальный план, используя советы Г.Планша и Сент-Бева. Небольшая и несложная повесть вырастает в философский роман, в своеобразную авторскую исповедь.

15 мая в журнале «Ревю де де монд» были напечатаны 24-я – 28-я главы романа. В редакционном предисловии, принадлежащем, очевидно, перу Г.Планша, было написано «Жизнь внешнего мира в романе занимает мало места. Экспозиция, завязка, перипетии и развязка этой таинственной драмы развиваются и разрешаются в глубинах сознания».

Полностью роман был закончен в июле 1833 года и в том же месяце вышел отдельным изданием с посвящением первому литературному учителю Жорж Санд – Латушу (впоследствии Жорж Санд сняла это посвящение). Тираж был всего 1600 экземпляров, и теперь это издание – одна из библиографических редкостей. Первый вариант «Лелии», 1833 года, впоследствии не переиздавался вплоть до 1960 года, когда издательством Гарнье он был напечатан вместе с текстом второго, окончательного варианта.

Роман вызвал большой интерес, многочисленные критики изошрялись в отождествлении персонажей романа и отдельных ситуаций с биографией самой Жорж Санд и близких ей людей. В образе Тренмора находили сходство и с другом Жорж Санд Ф.Роллина (о чем, впрочем, она сама писала) и с Мериме. Утверждали, что Стенио – это Жюль Сандо, а куртизанка Пульхерия –

портрет известной актрисы Мари Дорваль.

В письме к Леруа де Шантепиль Жорж Санд признавалась, что в этот роман она «вложила самой себя больше, чем в какую-либо другую книгу». В психологии главной героини, в ее душевных метаниях и отчаянии получили выражение мысли, сомнения и душевное состояние Жорж Санд начала 1830-х годов. Эти сомнения и поиски были характерны для ее поколения. Роман «Лелия» это своего рода «исповедь дочери века», исповедь женщины, глубоко задумывающейся над проблемами жизни, с тревогой и болью вглядывающейся в окружающий мир и людей.

1832-1833 годы – время наибольшего пессимизма Жорж Санд, об этом она вспоминает в «Истории моей жизни»; ее письма этих лет полны отчаяния и тоски. Жорж Санд, как и многие французские романтики 1830-х годов, зачитывается Байроном. Горькое разочарование в жизни, свойственное байроническим героям, их дерзкий вызов обществу, их мизантропия питали настроение автора «Лелии». На страницах «Лелии» можно найти мысли, навеянные мрачной философией французского писателя Шарля Нодье. В эти годы Жорж Санд перечитывает роман Сенанкура «Оберман» и публикует о нем статью в журнале «Ревю де де монд» (июнь 1833 года). Она подчеркивает современность книги, написанной еще в 1804 году ибо, утверждает она, «наша эпоха отмечена великим множеством душевных страданий, прежде не наблюдавшихся, но ныне ставших заразительными и смертельными». Она замечает, что Оберман воплощает ту душевную опустошенность, тоску безверие, бессилие, которые свойственны ее поколению.

«Есть страдание, которое переносится тяжелее, чем любое личное горе... Это страдание – общее несчастье, это страдание всего человечества», – писала она своему другу Ф.Роллина, делаясь с ним замыслом «Лелии». «Лелия» – не книга, это крик скорби» – так определила писательница свой новый роман в письме к Мари Талон (10 ноября 1834 года). Лелия сродни великим скорбникам романтической литературы – Оберману, Рене, Манфреду.

Источник скептицизма Жорж Санд – ложь цивилизации, построенной на социальной несправедливости, ее враждебность человеку. В 1833 году Жорж Санд крайне пессимистично оценивает прогресс, по сути дела отрицая возможность изменения общества. Первый вариант «Лелии» отличался смелыми, резкими выпадами против основ современного Жорж Санд мира. Лелия всему бросала вызов и, проклиная мир, замыкалась в гордом, одиноком отчаянии. В первой редакции романа Лелия погибала от руки полубезумного Магнуса, так и не примирившись с жизнью, не найдя исхода своему отчаянию.

В 1835 году Жорж Санд решает внести ряд изменений в роман. В предисловии к изданию 1839 года она говорит, что изменила местами только стиль книги. В действительности же роман подвергся настолько значительным и серьезным переделкам, что второй вариант, по сути дела, – новая книга, имеющая иное общее звучание. Смысл переработки, затянувшейся на три с лишним года (окончательный вариант романа «Лелия» был опубликован в сентябре 1839 года издательством Ф.Боннэра) Жорж Санд раскрыла в письме к Ламенне от 3 мая 1836 года: «Я хочу закончить книгу, в которую я когда-то вложила всю горечь своих страданий, а теперь хочу осветить ее заблестевшим мне лучом надежды».

Первый вариант «Лелии» с ее безысходным мрачным отчаянием не соответствовал взглядам Жорж Санд второй половины 30-х годов, пафосу ее новых произведений, содержание которых выходило теперь за пределы романтического бунта одиноких героинь. Знакомство с республиканцем Мишелем из Буржа, а главным образом с Пьером Леру оказало значительное влияние на мировоззрение писательницы. Не мрачное, одинокое отчаяние, а стремление к активной деятельности на благо человечества воодушевляет теперь Жорж Санд и ее героев. Книга отчаяния превращается в книгу надежды.

Жорж Санд смягчает, а иногда вычеркивает особо пессимистические тирады героев, приводят Лелию к преодолению индивидуализма, к поискам деятельной жизни, к вере в будущее прогрессивное развитие человечества.

«Эта книга ввергла меня в скептицизм, теперь она меня от него спасает... Броситься в объятия матери Природы... стоически и убежденно вычеркнуть из своей жизни всю... тщеславную суету... плакать о нищете бедных и видеть успокоение в падении богатых» – так определяет

Жорж Санд новую идею романа в письме к госпоже Агу (10 июля 1836 года). Большое место отводится в романе учению Пьера Леру о всеобщей солидарности людей.

Одновременно с «Лелией» Жорж Санд в 1838 году писала роман «Спиридион», являющийся непосредственным изложением взглядов Пьера Леру. Леру, по просьбе Жорж Санд, принимал участие в редактировании вновь написанных глав «Лелии». В феврале 1839 года в письме госпоже Марлиани писательница просила передать рукопись романа Леру, чтобы он исправил корректуру, «конечно с философской точки зрения». «Он согласится на этот труд, добавляла писательница, – из дружеских чувств ко мне, а также во имя тех идей, которые я излагаю в „Лелии“».

В новой редакции большое внимание уделяется Тренмору который становится одним из руководителей тайной карбонарской организации. Появляется новый образ – кардинал Аннибал Кардинал в духе другого учителя Жорж Санд, аббата Ламенне, подвергает критике католическую церковь. В «Лелии» 1839 года усилены социальные мотивы. Героиня решительнее, чем в 1833 году, осуждает неравноправие женщин, возмущается характером буржуазного брака. Жорж Санд включает в роман страстную в своем социальном обличении «Песнь Пульхерии»

Герои философского романа Жорж Санд не столько реальные люди, данные в их неповторимости и своеобразии, сколько выразители различных философских взглядов, символы того или иного миропонимания или мироощущения. В предисловии 1839 года Жорж Санд писала о своих героях: «Они не совсем реальны... но они и не полностью аллегоричны, каждый из них олицетворяет направление философской мысли XIX века: Пульхерия – эпикуреизм, унаследованный от софизмов предшествующего столетия, Стенио – восторженность и слабость поколения, у которого мысль то парит очень высоко, возбуждаемая воображением, то падает очень низко, раздавленная действительностью, лишенной величия и поэзии... Делия... воплощение спиритуализма нашего времени».

Главное места в романе занимают философские дискуссии, единство и цельность произведения – в раскрытии сложного мира мыслей и чувств Лелии.

Роман вызвал резкие нападки реакционной критики, которая обвиняла Жорж Санд в подрыве общественных устоев, в развращении мыслей и чувств читателей. Капо де Фейид в газете «Эрой литерер» (22 августа 1833 года) назвал «Лелию» непристойной и опасной книгой, вызывающей отвращение и ужас. Ему вторили Дезессар в газете «Франс литерер», Л.Гозлан – в «Фигаро», «Лелия» сделала Жорж Санд одиозной фигурой в глазах клерикалов.

Крупнейшие писатели – современники Жорж Санд отнеслись к роману с большим интересом, видя в нем выражение трагической и беспокойной мысли своего времени. Шатобриан писал Жорж Санд: «Я не осмеливался докучать вам выражением своего восхищения, которое значительно усилилось после чтения „Лелии“». Вы будете жить, сударыня, и вы станете лордом Байроном Франции» (16 августа 1833 года) Наиболее обстоятельный и полный разбор романа был сделан Сент-Бевом. Указывая на стилистические недочеты книги, Сент-Бев в целом очень высоко оценивал произведение Он отмечал горечь авторской мысли, называл роман «книгой гнева» и решительно возражал против обвинения Жорж Санд в безнравственности (газета «Насьональ», 29 сентября 1833 года).

В своей статье, напечатанной в журнале «Ревю де де монд» Г.Планш подробно анализировал философскую концепцию книги. «Это сама мысль века», – писал он.

В России роман «Лелия» был известен менее других произведений Жорж Санд. Философская проблематика книги была далека от вопросов, волновавших русское общество конца 30-х годов. Распространение французского текста было запрещено цензурой в 1834 году. В решении цензурного комитета указывалось: «Содержание романа наполнено метафизическими отвлеченностями и софизмами, направленными против общественных понятий, нравственности и веры». Это решение цензуры задержало и публикацию русского перевода. Внимание русских читателей к роману привлек поэт и критик Аполлон Григорьев, написавший стихотворение «К Лелии» (1845), в котором он подчеркивал бунтарский характер героини Жорж Санд.

Хотела б тщетно ты мольбою и слезами Душе смирение и веру возвратить.

Аполлон Григорьев особенно высоко оценивал первый вариант романа (журнал «Русская беседа», 1856, №3), Перевод «Лелии» был напечатан в 1897 году в собрании сочинений Жорж

Санд (изд. Пантелеева). С тех пор на русском языке роман не публиковался. В настоящем издании он печатается в новом переводе.

...Милтон, изобразивший таким благородным и таким прекрасным чело своего падшего ангела? – Речь идет о поэме Джона Милтона (1608-1674) «Потерянный рай», где падший ангел Сатана воплощает богоборческое начало.

Лара – герой одноименной поэмы (1814) Байрона.

...истории прокаженного из Аосты. – Имеется в виду повесть французского писателя Ксавье де Местра (1763-1852) «Прокаженный из города Аосты».

Тассо Торквато (1544-1595) – поэт итальянского Возрождения, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим».

...умирающая Коринна слушала свои последние стихи... – Коринна – поэтесса, героиня одноименного романа французской писательницы Анны-Луизы-Жермены де Сталь (1766-1817), умирает в Италии, покинутая своим возлюбленным.

Оберман – герой одноименного романа французского писателя Этьена Пивера де Сенанкура (1770-1846).

Сен-Пре – герой романа Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

Исайя – один из библейских пророков. Свое красноречие Исайя обрел будто бы от серафима, который коснулся его уст горящим углем.

Неопалимая купина – горящий, но не сгорающий куст терновника, в образе которого, согласно библейской легенде, явился бог Моисею на горе Хорив.

...античный бог, который, по преданию, каждый вечер возвращается в море... – Имеется в виду Феб.

...вы станете кусать землю и есть песок, как Навуходоносор? – По библейской легенде царь Вавилона Навуходоносор (VI в. до н.э.), разгромив Иерусалим, угнал евреев в рабство и всячески угнетал их, за что бог наслал на него безумие; Навуходоносор превратился в животное и семь лет питался травой.

Иов – библейский патриарх, прославившийся тем, что сохранял непоколебимую веру в бога, несмотря на все испытания, которым тот подвергал его. И все же были минуты, когда Иов роптал и проклинал день, в который увидел свет.

Иеремия – библейский пророк.

...похожая на пророка, сидевшего на горе и оплакивавшего Иерусалим – то есть на Иеремию после разрушения Иерусалима вавилонянами.

Амфитрион – герой древнегреческого мифа, пьесы Софокла и одноименной пьесы Мольера. Здесь – в значении «гостеприимный хозяин».

На что нам светлых призраков круженье. – Строфа LVIII песни I из поэмы Альфреда де Мюссе «Намуна» (1832).

Лаиса – греческая куртизанка, жившая в IV в. до н.э. в Коринфе.

Лонг (III-II в. до н.э.) – древнегреческий писатель, автор пасторального романа «Дафнис и Хлоя».

...припадки истерического фанатизма святой Терезы... – Святая Тереза (1515-1582) – испанская монахиня, канонизированная католической церковью, автор книг, в которых она описывала свои мистические видения, приводившие ее в состояние экстаза.

...наивную переписку Франциска Сальского и Марии де Шанталь. – Франциск Сальский (1567-1622), епископ Женевский, автор многочисленных богословских книг, был исповедником Жанны (а не Марии) де Шанталь, известной в XVI веке своей мистической верой.

Евхаристия – таинство причастия.

Скука разъедает мне жизнь... скука меня убивает. – Лелия повторяет слова Обермана, героя одноименного романа Сенанкура.

Оссиан – легендарный шотландский певец. Под этим именем Джеймс Макферсон издал в 1762 году сборник своих поэтических произведений, в которых большое место занимали описания дикой северной природы.

Мессалина – жена римского императора Клавдия (I век н.э.), известная любовными похож-

дениями.

Оставьте надежду у врат этого ада... – Жорж Санд перефразирует стих из «Божественной комедии» Данте: «Оставь надежду всяк, сюда входящий» («Ад», песнь III, ст. 9).

Это туча, которой Моисей окутал восставший против бога Египет. – Имеется в виду библейский эпизод, бог наслал тьму на египтян, подвергавших евреев всяческому гонениям.

«О честь моя, ты больна!» – строка из пьесы Педро Кальдерона де ла Барка (1600-1681) «Врач своей чести», д. II, яв. 6.

Святой дух возложил на меня свою десницу, как на Иакова. – Иаков, библейский патриарх, согласно легенде одолел ангела в борьбе. Ангел возложил на него руки и предрек славу ему и его потомству.

Обитель камальдулов. – Камальдулы – один из средневековых мужских монашеских орденов, по своему уставу близкий к бенедиктинцам. Жорж Санд превратила монастырь камальдулов в женский.

Ессеи и терапевты – иудейские религиозные секты, предшественники христианства.

Альфьери... к предмету своей недостойной страсти. Витторио Альфьери (1749-1803) – итальянский поэт, автор трагедий. Здесь речь идет о его увлечении некоей маркизой Туринетти.

Бенвенуто – то есть Бенвенуто Челлини (1500-1571), итальянский скульптор и ювелир.

Лакрима-кристи – название вина. В переводе на русский христовы слезы.

Земля Ханаанская. – Ханаан – древнее название Палестины, куда евреи стремились вернуться из египетского плена. Здесь употребляется в значении «желанная, обетованная земля».

Рыцари Круглого стола – рыцари короля Артура, героя средневековых бретонских легенд. Их подвиги послужили сюжетом для многочисленных рыцарских романов.

Сафо (ок.628-568 до н.э.) – древнегреческая поэтесса, воспевавшая любовь как сильную трагическую страсть. Согласно преданию, Сафо бросилась со скалы в море из-за несчастной любви.

Ты переоденешь меня в женское платье, и мы вспомним... графа Ори. – Граф Ори, персонаж одноименной комической оперы (1828) Россини, проникал переодетым в женский монастырь.

На реках Вавилонских... – начальные слова псалма 136 (Библия). Евреи, лишившиеся Иерусалима, взяты в плен вавилонянами, они скорбят по своей утерянной родине.

Баптистерий – здание, предназначенное для совершения обряда крещения. В средние века и в эпоху Возрождения баптистерии строились обычно рядом с соборами (например, во Флоренции).

Неужели же никто не знает ее имени? – Следующее затем у Жорж Санд описание пострижения не вполне точно соответствует религиозной церемонии.

Блаженный Августин (354-430) – один из отцов католической церкви, автор многочисленных богословских сочинений.

Коленопреклоненная у своей арфы... Каждый невольно думал о святой Цецилии. – Святая Цецилия считается у католиков покровительницей музыки, ее обычно изображают играющей на органе.

Ключи Святого Петра – то есть ключи от рая, которые, согласно христианской легенде, Христос вручил апостолу Петру.

...повесить, подобно девам Сиона, арфы на ивы вавилонские... – то есть отказаться от радости, от веселья.

Плиний – Плиний Младший (62-120), римский писатель.

Элизиум – в античной мифологии прекрасный луг, где пребывают души умерших героев и мудрецов; в переносном, поэтическом смысле – обитель блаженного успокоения.

Ловлас – герой романа английского писателя Ричардсона (1689-1761) «Кларисса Гарлоу», развратный аристократ.

...умер смертью Иуды Искарота – то есть покончил с собой.

...вы предпочли молиться как Мария, когда надо было действовать как Марфа. – Имеется в виду эпизод из Евангелия: Христос вошел в дом к двум сестрам; одна из них, Марфа, стала хло-

потать об угощении, другая, Мария, внимала поучениям Христа Имя Марфы стало символом практической деятельности, а Марии – молитвенного созерцания.

Разве самаритянин отшатнулся брезгливо, увидев отвратительную язву еврея? – В одном из эпизодов Евангелия самаритянин, увидев незнакомого ему больного человека, перевязал его раны и язвы и позаботился о нем.

Курций – юноша-патриот, который, согласно легенде, бросился в пропасть, разверзшуюся посреди римского Форума. Этой ценой был спасен Рим.

Регул Марк Атилий (III в. до н.э.) – римский консул. Находился в плену в Карфагене и был отпущен в Рим, чтобы склонить римлян заключить мир с Карфагеном и обменять пленных. По условию, в случае неудачи он обязан был вернуться в Карфаген. В Риме он произнес речь, в которой уговаривал сограждан не заключать мира. Он вернулся в Карфаген и умер под пытками.